



ДРУЖБА НАРОДОВ 1/93

1/93

ДРУЖБА НАРОДОВ

Борис Чичибабин.

Просто, как на исповеди...

Григол Робакидзе.

Меги. Грузинская девушка. РОМАН

Александр Архангельский,
Жорж Нива,
Симон Маркиш.

Литература на свободе.

Урби эт Горби

Денис Драгунский.

*Самый короткий день.
(Россия - новое амплуа)*



ДРУЖБА НАРОДОВ



НЕЗАВИСИМЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

Учредитель — трудовой коллектив редакции «ДН»

1/93

ОСНОВАН В МАРТЕ 1939 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

БОРИС ЧИЧИБАБИН	ПРОСТО, КАК НА ИСПОВЕДИ.	3
-----------------	--------------------------	---

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

БОРИС ЧИЧИБАБИН	НОВЫЕ СТИХИ	12
-----------------	-------------	----

ЛЕОНИД ЛИХОДЕЕВ	ЖИЛИ-БЫЛИ ДЕД ДА БАБА. Давняя история	17
-----------------	--	----

ПАВЛО ФИЛИПОВИЧ	ЕДИНЫЙ ДУХ ЕДИНЫМ ПРАВИТ СВЕТОМ... Стихи. С украинского. Перевод Л. Черевичника. Вступительное слово М. Жулинского	72
-----------------	--	----

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

ГРИГОЛ РОБАКИДЗЕ	МЕГИ. ГРУЗИНСКАЯ ДЕВУШКА. Роман. С немецкого. Перевод С. Окроперидзе	75
------------------	---	----

НАЦИЯ И МИР

ДЕНИС ДРАГУНСКИЙ	САМЫЙ КОРОТКИЙ ДЕНЬ (Россия — новое амплуа)	209
------------------	--	-----

МИХАИЛ ГЛОБАЧЕВ	В КОШАЧЬЕМ КОНЦЕРТЕ НАЦИЙ	219
-----------------	---------------------------	-----

РАССЛЕДОВАНИЕ «ДН»

ВИКТОР СУВОРОВ	ЛЕДОКОЛ. Кто начал Вторую мировую войну?	133
----------------	---	-----

КРИТИКА

А. АРХАНГЕЛЬСКИЙ, ЖОРЖ НИВА, СИМОН МАРКИШ	УРБИ ЭТ ГОРБИ	186
М. КУРАЕВ	КТО ВОЙДЕТ В ДОМ ЧЕХОВА?	198

ЭХО

ЛЕВ АННИНСКИЙ	ЭХО НА ЭХО	226
---------------	------------	-----

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ ЧТЕНИЯ

БРОНИСЛАВ ХОЛОПОВ	ДОМ КАК МИФ	229
ОЛЕГ ЛАРИН	ЭХО ВЕЩЕГО ДЕРЕВА	231
	КАЛЕНДАРЬ	
	Православные и католические праздники	236
	SUMMARY	237

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор Александр РУДЕНКО-ДЕСНЯК,
Первый заместитель главного редактора Юрий КАЛЕЩУК,
Юрий АПЕНЧЕНКО, Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ,
Леонид БАХНОВ, Евгений БУДИНАС,
Денис ДРАГУНСКИЙ, Владислав ЗАЛЕЩУК,
Наталья ИГРУНОВА, Елена МОВЧАН, Елена СЕСЛАВИНА,
Заместитель главного редактора Бронислав ХОЛОПОВ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Лев АННИНСКИЙ, Василь БЫКОВ, Альгимантас БУЧИС, Юрий В. ДАВЫДОВ,
Тиркиш ДЖУМАГЕЛЬДЫЕВ, Нафи ДЖУСОЙТЫ, Иван ДЗЮБА, Фазиль ИСКАНДЕР,
Грант МАТЕВОСЯН, Геннадий ЛИСИЧКИН, Евгений ПОПОВ, Кнут СКУЕНИЕКС,
Константин ЩЕРБАКОВ, Атнер ХУЗАНГАЙ, Лев ХУНДАНОВ

Коммерческий директор Олег КРАСИВСКИЙ
Технический редактор Анна СЕЛИВЕРСТОВА

Адрес редакции: 121827 ГСП Москва, Г-69, ул. Воровского, 52. Телефоны: главный редактор — 291-62-27, первый заместитель главного редактора — 291-63-63, 291-62-27, заместитель главного редактора и секретариат — 202-52-03, коммерческий директор и зав. редакцией — 291-62-49, отдел прозы — 291-85-10, отдел поэзии — 291-63-63, отдел публицистики — 291-05-09, отдел критики — 291-64-50, редактор приложений — 202-52-03

БОРИС ЧИЧИБАБИН

Просто, как на исповеди

Я не знаю, что такое Бог, так же, как не знаю, в чем смысл жизни. Я считаю себя не вправе рассуждать об этом, да полагаю, что и никто не вправе. Просто, как на исповеди, хочу признаться, что для меня Бог начинается не «над», а «в», то есть внутри меня, в глубине моей, но в такой непостижимо-дальней, в такой невообразимо-сокровенной глубине, когда она, не переставая оставаться моей личностной глубиной, моим невозможно-идеальным, никогда в реальности неосуществимым, совершеннейшим «я», Божьим замыслом меня, свободным от искажений жизни и судьбы, становится уже и глубиной другого человека, и всех людей, живущих и живших на земле, и не только людей, но и животных и растений, тополя за окном, березки, посаженной Лилей четверть века назад и растущей перед нашим балконом. И еще я знаю, что Бог один — у православных и католиков, у христиан и иудаистов, у мусульман и буддистов, у верующих и неверующих. И пребывает Он в Вечности. Вечность, вечная жизнь в моем представлении и понимании — это не то, что будет когда-то, не то, что, скажем, ожидает нас после смерти, а то, что в отличие от проходящего времени, не проходит, а есть — есть всегда и сейчас. Живя во времени, в 1992 году, сегодня, мы, временные, смертные люди, какими-то своими мыслями, чувствами, поступками и вечности причастны, и вечности принадлежим. Вообще же, в моих мыслях об этом, о Боге, о вечности, в моем знании, что Он есть, в моем чувстве присутствия Его в мире и в моей собственной душе, в моем отношении к Нему, в моих отношениях с Ним все полно тайны, несказанности и абсолютной уверен-

ности в том, что это знание, это чувство, эти отношения и составляют Главное в жизни каждого человека, во всей мировой жизни. Думаю, что было время (сужу по книгам, по преданиям, по памятникам культуры, по самой культуре, в конце концов), когда большинство живущих людей знало про это Главное и в жизни своей руководствовалось этим знанием. Конечно, и тогда в жизни было много темного и страшного, и среди людей и тогда были и властолюбцы, и мошенники, распутники, и воры, и убийцы, — и все-таки про это Главное знали все и знали, что это и есть Главное. Знал каторжник, осужденный за тяжкое преступление, за насилие, за убийство, и знала крестьянская женщина, подававшая ему милостыню — кусок хлеба или денежку, — все знали, каждый знал. В человеческих душах, невежественных, непросвещенных, жило представление о добре и зле, понятие греха и покаяния. Совершая преступление, дурной поступок, люди знали, что они совершают грех перед Богом (или, если они не верили в Бога, против совести, справедливости, неписанных нравственных мировых законов, против смысла и лада жизни), в конечном итоге, против жизни, и что грех этот влечет за собой «Божье наказание», требует искупления. С этим знанием жили десятки поколений людей — я убежден в этом: я не могу не верить любимым книгам, истории, мировой духовности, которая вся на этом зиждется. И вся беда и весь ужас нашей сегодняшней жизни, вся ее тьма и тяжесть и состоят в том, что из жизни ушло Главное, и сама жизнь поэтому лишилась значения и смысла, цельности и подлинности.

4

...Когда я записываю эти мои раздумья, во мне все время жвет чувство благодарности и любви. В начале 70-х судьба подарила мне близкое общение с двумя замечательными людьми — Зинаидой Александровной Миркиной и Григорием Соломоновичем Померанцем, вечное им спасибо! Незадолго до этого я, как, впрочем, многие тогда из моего поколения, пережил великую и грозную духовную катастрофу, утрату того, что долгие годы было для меня ценностями и святынями. Земля уходила из-под ног, перед глазами разверзалась бездна. От самоубийства или помешательства меня спасла любовь к женщине, которую зовут Лиля и с которой я с тех пор не расстаюсь. Вместе мы прочитали какие-то, случайно дошедшие до нас в Харьков, статьи Григория Соломоновича. Сейчас имена Миркиной и Померанца стали известны многим, а тогда, особенно если учесть, что жили мы далеко друг от друга, в разных городах, найти их и обрести в них родных и близких людей было чудом. На протяжении нескольких лет они были моими духовными вожатыми. Если он остается в моих глазах примером свободного и бесстрашного интеллекта, то она, Зинаида Александровна, на всю мою жизнь пребудет для меня совершенным воплощением просветленной религиозной духовности, может быть, того, что верующий назвал бы святостью. Величайшим счастьем моей жизни были их беседы, во время которых они говорили оба, по очереди, не перебивая, а слушая и дополняя друг друга, исследуя предмет беседы всесторонне, в развитии, под разными углами, с неожиданными поворотами. Хотя говорили она и он, это был не диалог, а как бы выходящий по спирали двухголосый монолог одного целостного духовного существа, из снисхождения к слушателю, для удобства восприятия и ради большей полноты, разделившегося на две ипостаси — женскую и мужскую. Таким же счастьем было слушать Зинины стихи. К тому времени она уже давным-давно страдала какой-то страшной, неизлечимой, разрушительной болезнью, доставлявшей ей во время приступов такие нестерпимые муки, что она, терпеливица, смиренница, молитвенница, порой просила Бога о смерти. Но меж-

ду приступами, когда к ней приходило вдохновение, стихи изливались из нее безудержным, неиссякаемым потоком, иногда по несколько стихотворений в день. Это было вроде Давидовой Псалтири или, еще лучше, единой непрестанной молитвы со множеством разветвлений и вариаций. Ни до, ни после я не встречал такого интенсивного, одержимого, обильного творческого процесса. Это было похоже на чудо, в моем представлении так творили Микеланджело, Бах, Моцарт — великие гении и послушные «Божьи ремесленники».

В этом доме на Рождество устраивалась елка, — но что это была за елка! Специально для нее Зинаида Александровна писала сказку, каждый год — новую, так что теперь из этих рождественских сказок пора бы составить большую чудесную книгу, которую хотелось бы прочитать и детям и взрослым. Елка затейливо украшалась персонажами и образами написанной сказки. Ее ставили в тазик с водой, она стояла неделями, долго, для того, чтобы на нее можно было бы пригласить друзей с детьми, близких, знакомых, всех, кто хотел послушать сказку, а таких всегда было много, а комнатка — маленькая, и таинство повторялось несколько вечеров. Тушился свет, Зина тихим, сосредоточенным, как будто прислушивающимся к чему-то и повторяющим не свои, а чьи-то услышанные слова, голосом, — так она и стихи читала, — начинала рассказывать сказку. Гриша колдовал с выключателями. Загорались лампочки, освещающие разные кусочки елки, те сценические площадки с человечками, гномиками, зверушками, ангелами, звездами, предметами из рассказываемой сказки, на которых разыгрывалось ее действие и которые попеременно требовались по ходу действия. Сказка была с приключениями и тайнами, с ненавязчивым религиозным смыслом, долгой, высокой, доброй, празднично-светлой, как рождественская елка. Сколько людей побывало на этих вечерах, прослушало Зинины сказки, сколько детей, уже давно ставших взрослыми, научились из них правдолюбию, солидарности, благородству, добру! Мало кто из них остался на родине, но я убежден, что тот, кто хоть раз побывал на Зининой елке, не забудет ее, благодарный,

пока живет на земле. Она-то, Зинаида Александровна, и подарила мне свою любимую молитву. То есть, не подарила, конечно, просто рассказала в одном из писем, какая у нее есть любимая молитва, а это я уже сам принял ее на всю жизнь, как самый дорогой подарок, как святой дар. Молитва эта такая: «Господи, как легко с Тобой, как тяжело без Тебя. Да будет воля Твоя, а не моя, Господи!» Я думаю сейчас: всем бы нам повторять ту Зинину молитву. Не жить по ней, — кто же и когда жил по ней в нашем-то мире? — но хотя бы повторять, помнить, знать, что есть такая молитва, думать об этом. «Да будет воля Твоя, а не моя». Я думаю, что то, что вложено в эти слова, должно быть понятно и близко каждому, в ком есть душа и разум, каждому способному «мыслить и страдать». Еще недавно в нашей стране большинство населения были атеисты. Наверное, и сейчас многие не верят в Бога, — могут или не хотят поверить. Я с величайшим уважением отношусь к вере или неверию любого мыслящего существа. Для меня дело не в слове «Бог». «Да будет воля Твоя, а не моя» — это должно быть, по-моему, и атеисту понятно, если он посмотрит вокруг себя, а заодно и в себя заглянет и задумается. Все знают библейское предание о первородном грехе и утраченном рае: люди отступились от Бога, обманули и покинули Его, променяв райскую гармонию на беззаконие и бессмыслицу соблазненного своеволия. Это происходит на наших глазах каждый день. Но и тоска по утраченному жива в сердцах, если они еще живые. «Твоя, а не моя» — это признание той неоспоримо-очевидной истины, что в мире есть нечто более правильное и верное, чем воля, хотение, произвол отдельной личности или группы людей, общества, государства, что мир в своем существовании, вся наша жизнь подчинены вышшим нравственным законам, более естественным, могущественным и постоянным, чем все экономические, политические, правовые, государственные и прочие законы, придуманные человеческим своеволием. Уклонение от этих вечных и непреложных законов опасно и болезненно, каждый из нас испытал это на себе, а прямое нарушение их приводит к смертоносным и всеразрушительным последствиям. Гово-

ря проще и короче, «да будет воля Твоя, а не моя» — это признание того, что жизнь не может быть чем-то случайным, хаотичным, неуправляемым, что в жизни нашей должен быть смысл, что в ней есть смысл...

Конечно, пока человек живет на земле, он не может быть свободен от земных, повседневных, житейских забот. Никакой Бог не может этого требовать. Но, живя сегодняшним, люди должны помнить о Вечном. У них должны быть непреходящие ценности и святыни, которыми они и будут мерить свою жизнь. Так это бывало в старину, когда кроме понятия греха существовало понятие суеты. Не знаю, когда и как это случилось с нами, но мы в нашей жизни подменили Главное если не прямо ложным и мнимым, то уж точно «второстепенным», суетным, отвлекающим, мешающим, запутывающим. Беда не в повседневности, не в быте, — от них никуда не денешься, — а в том, что, когда мы перестали думать о Главном, повседневность, быт, суета заняли в нашей жизни главное и единственное место. Все наши мысли и чувства заняты политикой, карьерой, зарплатой, вещами, тряпками, склоками, званиями, поисками виноватых, сведением счетов — преходящим, бранным, сиюминутным, лишенным и высоты, и глубины, и света, и возможности какой-то гармонии. Но, давайте представим, что послезавтра в три часа дня мы умрем, нас не станет, — неужели эти оставшиеся нам часы мы так бы и продолжали жить, со всем этим, со всей нашей ложью, алчностью, завистью, враждой? Да не может же быть! Вот тогда бы, по-моему, с нас и сошло бы, и спало бы все неглавное, невечное, неподлинное и осталось бы то, что в нас задумал Бог и с чем мы должны предстать перед Ним, и осталось бы Главное. Но ведь мы и так знаем, что когда-нибудь умрем: почему ж не опомнимся, не задумаемся, не вспомним о забытом и утраченном? Давайте вспомним, попробуем вернуть его в нашу жизнь вот в такую, какая она есть сегодня — со всеми неурядицами и смутами, с грязней в очередях и пустыми полками магазинов, — я верю: мы увидим, как она сразу изменится, озарится, освятится добром и смыслом.

Я думаю, что для человека гораздо невыносимее, страшнее и мучитель-

нее любых испытаний, лишений и мук сознание того, что эти испытания, лишения и муки не имеют смысла, сознание их напрасности и случайности. Для мыслящего существа бессмыслица его жизни в бессмысленном мире страшнее смерти, ужаснее небытия. Но вот в сплошной и враждебной душе бессмыслице сегодняшней жизни, где небывало обильный урожай остается несобраным, а безвозмездно-щедрое дары богатых соседних народов по нераспорочности и дурости пропадают в дороге, во всем этом абсурде и хаосе вдруг видишь прекрасный храм, слышишь музыку Моцарта или стихи Пушкина, — и душа получает утешение, обретает надежду и веру: не может быть бессмысленным мир, в котором есть такие нетленные сокровища человеческой духовности. И я опять повторяю Зинину молитву: «Да будет воля Твоя, а не моя, Господи!» Помоему, мировая культура есть наглядно-слышимо-осязаемое осуществление этой воли, во всяком случае, вслушивание в нее, ее исполнение и утверждение. Культура принадлежит вечности и каждого из нас приобщает к Вечной жизни. Поэтому, когда я слышу, — и, мало того, сам повторяю, — слова о кризисе культуры, об упадке культуры, я чувствую их неточность и то, что они основаны на недоразумении. Конечно, в нашем сознании существует понятие культуры того или иного народа, общества, региона, той или иной эпохи, но ведь существует понятие единой мировой культуры, в которой ничто не отмирает и не отменяется. Кризис или упадок может переживать человеческое общество, но не культура. Сменяются экономические системы, гибнут империи, культура остается. Люди могут отказаться от Бога, но Бог не может отказаться от людей. Можно закрыть глаза и уши, души и сердца, можно не слышать зова, но он-то все равно звучит, пусть для немногих, пусть для никого: кто-то да услышит, откликнется, отзовется. Мы все повторяем слова Достоевского о красоте, которая спасет мир. Культура и есть эта спасительная красота, включающая в себя и добро, и истину. Ведь она — не только книги, храмы, музеи, философия, музыка, живопись, она, в еще большей мере, тот свет, который все это оставляет в наших

душах. Культура — это и наше поведение в жизни, и наши отношения друг с другом, наша дружба, любовь, терпимость, способность к созиданию и милосердию, наше чувство ответственности. Если нас не спасет культура, нас больше ничто не спасет.

Попутно не могу не отметить, что, в противоположность культуре, являющейся в моих глазах чем-то близким тому, что верующий определил бы как проявление Божьей воли, — то, что мы называем цивилизацией, есть, по моему, как раз уклонение от этой воли, ее искажение или нарушение, основанное на человеческом своеволии. Если культура — это воистину смысл, свет, гармония жизни, то цивилизация — ее бессмыслица, суета, разлад и разложение. В то же время между ними есть таинственная и сложная связь, удивительно, до смеха и ужаса, похожая на отношения главных антагонистических героев мудрой сказки Андерсена и Евгения Шварца. Как ученый и его тень в той сказке, так культура и цивилизация не могут, видимо, существовать одна без другой. Как в сказке, цивилизация вынуждена считаться с культурой, даже помогать ей, быть все время вместе, неразлучно, и, как в сказке, цивилизацию иногда принимают за культуру. По моему, не нужно доказывать, что в таких понятиях, как «массовая культура», «рок-культура», «молодежная», «постмодернистская» и всякая «другая культура» слово «культура» совершенно ошибочно и излишне и что к культуре эти понятия никакого отношения не имеют. Хотя бы потому, что они зависят от обстоятельств, от времени, от моды и на них рассчитаны. Рожденные безбожным человеческим своеволием, они враждебны и разрушительны для души и духа, но, по счастью, недолговечны и влияние их легковесно-поверхностно и несерьезно.

«Да будет воля Твоя, а не моя, Господи!» Так может молиться только свободный человек. Культура невозможна без абсолютной внутренней свободы тех, чьим делом и достоянием она стала. Но и свобода без уважения к культуре, без воспитанного культурой чувства достоинства и ответственности есть абсурд и дикость, производные от «бессмысленного

и беспощадного» рабского бунта, то же рабство, только вывернутое наизнанку, нечто невообразимое и страшное. Не с отстраненным и грустным безразличием и уж, конечно, не со злорадством, а с великой тоской и болью задыхающегося и истекающего кровью сердца писал замечательный русский писатель, мудрец и мученик, Василий Гроссман о том, что «русская душа — тысячелетняя раба», что развитие Запада оплодотворялось ростом свободы, а развитие России — ростом рабства. И как бы ни проклинали его за эти «исступленные нападки» на русский народ наши «духовные пастыри», лучшим доказательством его горькой и мучительной правоты является не только то, что, получив в последние пять лет всевозможные и не снисвшиеся нам прежде, политические, гражданские, «внешние» права и свободы и завоевания на митингах и съездах, все новые и новые, мы не знаем, что с ними делать, и, оставаясь внутри рабами, ведем себя как рабы, неспособные к свободному и ответственному труду, нетерпимые, завистливые, мстительные, недобрые, — но и то, что именно сейчас из нас, а уж в первую очередь из них, из «пастырей» наших «духовных» и, особенно, из самых «чистокровных» и «самородных», так и полезла наружу рабская наша вражда к мировой культуре, не просто неприязнь или нелюбовь, а едва ли не ненависть.

Рабом, если он привык к своему рабскому состоянию, в известном смысле, быть удобней и легче. «А разве плохо быть рабом?» — очень искренно и совершенно серьезно спросил мою жену ее сотрудник по работе в проектно-институте. Должен признаться, что это совсем не простой вопрос.

Многие скажут, что я повторяюсь. Однако есть мысли, которые становятся для нас руководством на всю жизнь. Такой мыслью стало для меня вычитанное у любимого Бердяева мудрое, благое и точное противопоставление религиозного, благородного и плодотворного чувства вины, присутствующего свободному человеку и приводящего к покаянию, искуплению, воскрешению — рабскому чувству обиды, безбожному, низменному и губительному, рождающему новые обиды и неостановимое, бесконечное зло. А мы

все сегодня полны и только и живем этим страшным рабским чувством. Когда один из самых культурных и уж поэтому один из немногих истинно свободных людей в стране — Дмитрий Сергеевич Лихачев призвал нас всех к покаянию, Господи, как возмутилось в нас это чувство: пусть палачи и насильники каются, разрушители храмов, голодоморы, казнокрады, начальники, аппаратчики, а нам-то в чем? Мы непричастны, мы в стороне, сами обиженные, жертвы, винтики. Да вот в том, что были винтики, и покаемся! Академик Лихачев, чудом избежавший расстрела на Соловках, не считает, что ему не в чем каяться, не снимает с себя вины за все зло, всю ложь, все грехи своего времени и государства. И академик Сахаров не снимал. И те семеро, что вышли на площадь, протестуя против ввода наших войск в Чехословакию, не снимали и не снимают. И кто в лагерях и психушках при Брежневле сидел, не считают себя героями, винятся, каются. В том, что жили в такое время, в такой стране и, значит, не могут быть непричастны ко всему, что творилось тогда, да и по сей день творится, не могут не разделять вины и ответственности за все, что делалось и делается, было и есть. Да так всегда и велось на свете: чем душа праведней, тем она сама себя считает грешней и виноватей, тем больше ей есть в чем покаяться, — а мнили о себе, что не в чем, те, кто понаглей да поподлей, ну разве что еще дурачки по слепоте да недомыслию.

Нет, не изжили мы в себе рабов и Бог весть изживем ли. Культуру мы и сейчас сплошь и рядом подменяем идеологией, к тому же тоталитарной, упрощенно-воинствующей, все богатство, всю сложность духовной жизни со всеми противоречиями, оттенками, версиями сводящей к двум полюсам: богатые и бедные, белые и красные, а «кто не с нами, тот против нас». И оттого что полюса эти противоположно поменялись, ничего в нашей рабской непримиримости не изменилось. Вчера мы все поголовно были «красные», в детские годы любили Гайдара (а ведь он, действительно, прекрасный детский писатель), потрясались фильмом о Чапаеве (а ведь это, действительно, великий фильм), собирали

в своих библиотеках лучшие книги из серии «Пламенные революционеры» (а ведь в этой серии были хорошие книги, для нее писали Трифионов и Эйдельман, Давыдов и Окуджава, Аксенов, Войнович, Гладилин), — сегодня мы все «белые», да еще и такие, что белее и быть невозможно, поем песни о поручике Голицыне и корнете Оболенском, с умилением поминаем всех без разбора русских царей, возрождаем традиции русского дворянства, и любимый герой у нас Столыпин с его идеей «великой России», и во враги этой «великой России», а, значит, и в свои враги мы зачисляем не только Ленина с большевиками, но и всех революционеров и либералов, начиная с Радищева, да и чуть ли не всю русскую литературу. А ведь русское бунтарство, скоморохи, еретики, раскольники, Болотников, Разин, Пугачев, Булавин, как и русская революционная мысль, Радищев, декабристы, Герцен, народники — это ведь тоже русская традиция, наше наследие. Что ж это у нас за судьба — вечно от какого-то наследия отказываться? Вчерашние поголовные атеисты, сегодня мы скопом бросаемся в православную церковь, опять-таки не с покаянием, а за утешением и помощью, не подозревая того, что путь веры и трудный, и тернистый, и уж в любом случае индивидуальный, личностный, свободный и ответственный путь. Не просить и ждать от Бога помощи, милости, чуда, а «помочь Богу нужно» — говорит Зина Миркина и правильно, по-моему, говорит. Разуверившись в наших любимцах и лидерах, устав от их парламентской и митинговой болтовни, поняв-таки, что они такие же рабы, не истины алчущие, не добра возжаждавшие, а воюющие друг с другом за свою правоту, за свой верх, за свою власть над душами, в предчувствии беды мы по-прежнему ждем выхода и спасения от кого угодно, но только не от самих себя. Рабы, никогда не знавшие радости свободного труда, свободного деяния, мы, может быть, и хотели бы, да не умеем, не можем, не знаем, как приложить руки и душу к какому-то конкретному живому делу, которое хотя бы чуть-чуть изменило к лучшему положение в доме, в селе, в городе, в государстве, хотя бы нанемного улучшило и осмыслило нашу жизнь.

Не нужно идти за толпой, растворяться в массе, — к этому нас уже призывали. То, что верующий называет Божьей волей, только в тишине, только в личной сосредоточенности можно услышать. Я довольно равнодушен к поэту Бродскому, какие-то его стихи, почти все ранние, я очень люблю, какие-то активно не люблю, но, в общем, он — не мой поэт, поэт, по-моему, не русской литературной традиции, не пушкинскими заветами живущий. Но вот он сказал в нобелевской речи, что человечество спасти уже нельзя, поздно, но отдельного человека — никогда не поздно, еще можно и должно спасти, — и мне это очень близко и дорого: это и моя мысль, и мои слова. Только с отдельного человека и начинается пробуждение, воскресение, спасение, только так и начинается всякий путь. И если мир спасется, то только так — через личность. Не представляю, чтобы к истине можно было придти «соборно». А у нас — как? Вот Бухарин ругал Есенина, значит, напрасно мы его реабилитировали, поскольку он враг России и русского народа. Маяковский не любил Булгакова, значит, он еще хуже Сталина и тоже враг народа. Да не могли Бухарин любить Есенина, а Маяковский — Булгакова, это же понятно и естественно. И что это за установка, что всякий русский должен любить Есенина и Булгакова, а если кто не любит, так тот и не русский? Даже о Пушкине, как ни хочется, нельзя так сказать. Толстой Шекспира не любил, Ахматова — Чехова, — это печально, но это их дело и ничего тут не скажешь. Великая личность — явление неоднозначное, сложное, меняющееся во времени. Сейчас у нас в стране антиленинское поветрие. Окончательная правда о Ленине, вероятно, сказана будет не скоро. За семьдесят с лишним последних лет нашей народной жизни накопилось столько зла, которое в нашем сознании, справедливо ли, несправедливо ли, связано с этим именем, что разобраться в этом очень непросто. Для нас сегодня что Сталин, что Ленин, что Маркс, — во всех них мы видим виновников нашей русской беды. Вряд ли это может быть правдой. Мы и в слове «социализм» не слышим сейчас ничего хорошего, а между тем, идеи социализма, идеи социальной

справедливости будут жить на земле, пока живо человечество,— это и Бердяев знал. Но только Ленин, по-моему, был еще и очень русский человек, очень русский путаник, и хотя и считал себя марксистом, но и социализм у него был не марксовый, а очень русский. В душе Ленина вполне по-русски попыталось совместиться несоединимое: русский бунт и русский порядок, великий революционер и великий государственный, что-то от Разина и что-то от Петра. В революции он шел за массой, за стихией, вероятно, потому и сумел обуздать ее и прибрать к рукам, крови на нем много, но в конце жизни что-то же надоумило его сделать и спасительный и благодатный для народа поворот к энпу...

Так же, как от Ленина, сейчас мы с обоих краев, и правые, и левые, в один голос отрекаемся от Октябрьской революции. Дескать, революция эта в историю нашу попала случайно, по ошибке, и хорошо бы эти страницы из истории выдрать, как будто их и в помине не было, да и не народная это революция, а историческое недоразумение и преступление, переворот, сотворенный кучкой злоумышленников, преимущественно нерусского происхождения. Да чушь все это! Великая русская революция вовсе не начинается, и не кончается, и не исчерпывается октябрьским переворотом, который, может быть, и был осуществлением заговора, кстати, довольно бескровным. Но не могла кучка злоумышленников всю Россию всколыхнуть от брошенных солдатами окопов на Западе до самых глухих и отдаленных окраин, до самого Тихого океана. Значит, накапливались непростимые народные обиды, чтобы разом прорваться в великую и страшную четырехлетнюю братоубийственную войну. Тому и свидетель есть непогрешимый и неподкупный, которому невозможно не верить: великая русская литература. Или уже не слышим Некрасова? Не слышим Щедрина? А если, повинувшись времени и моде, мы этих «смутьянов» уже отлучили от русского гражданства, изъяли из наследия нашего, то что ж, и великого Толстого не слышим, кого слышал весь мир? И Достоевского не слышим, которого сейчас сами на каждом шагу поминаем? Вспомним, перечитаем в «Карамазо-

вых» разговор в трактире Ивана с Алешей, историю про то, как крепостного ребенка помещик собаками затравил. Вот они — причины и истоки революции нашей. Перечитаем Александра Блока, самого чуткого, самого искреннего, самого прозорливого русского поэта XX века, стихи его из третьего тома — о «Страшном мире», о «Возмездии» (ведь не случайно же у поэта «бесстрашной искренности» это название) — и его статьи того времени. Или и Блоку не верим? Тогда перечитаем Бунина, ненавидящего революцию, — знаменитую «Деревню». Ведь очевидно же, что все в России шло и вело к революции, и не только с начала века, но и гораздо раньше, что не могла она не разразиться, не свершиться в этой стране, в нашей многогрешной России, и именно такой — великой, грозной, кровавой, стократным «бессмысленным и беспощадным» повторением разинщины и пугачевщины. Сегодня уже невозможно славить революцию, прощать ей ее преступления не в человеческих силах. Когда читаешь о всех ужасах красного террора, да и белого тоже, когда пробуешь представить, как живых людей в землю зарывали, как живых пилами распиливали, кажется, с ума сойдешь, сердце не выдержит — разорвется или остановится. Конечно, «не приведи Бог», — не с Пушкиным же спорить, — конечно же, великое преступление и великий грех. Но ведь и великая же трагедия, великая кара, великое возмездие тем, против кого она была направлена и кто в ней повинен, как предсказывала и предупреждала русская литература, как понимал все тот же Бердяев, по крайней мере, ничуть не меньше тех, кто ее осуществлял. И недаром же Пушкин во всей русской истории, наряду со всегда привлекавшим его Петром, больше всего как раз и интересовался Разиным да Пугачевым.

Хотим мы того или не хотим, а революционное сознание, революционное чувство, сама революция во всем, что ею порождено и ей сопутствовало, — это тоже наше наследие, к тому же самое близкое и прямое, самое кровное, самое живое, и не все в этом наследии — зло и грех, есть и добро и подвижничество. И ведь то, во имя

чего произошла революция, прекрасно и свято, ведь лозунги ее, обещания ее человечны и привлекательны: «мир народам, власть Советам, земля крестьянам, заводы и фабрики рабочим» — разве это безбожные призывы? Мы только сегодня беремся их в жизнь воплощать, ведь и наша «перестройка» задумывалась и начиналась как продолжение революции, — значит, живы были ее замыслы, может быть, сможет она искупить свои грехи? Может быть, и впрямь, не кончена она на страшном и стыдном, может быть, впереди у нее преображение и искупление. Ведь было же, пусть на очень короткое время, весь мир потрясшее революционное искусство 20-х годов, замечательные фильмы, замечательная музыка. Многие великие революции прошли через террор и диктатуру, но со временем отстоялась кровавая муть и замыслы их воплотились во что-то разумное и доброе, — и празднуют французы 14 июля, день взятия Бастилии, как самый великий свой национальный праздник.

Политико-экономические преобразования, начавшиеся шесть лет назад в нашей стране, я, как и большинство ее населения, встретил с надеждой, радостью и восторгом, тем более, что началось-то они для меня с безусловно хорошего и доброго: вернулись из лагерей и тюрем мои друзья и знакомые, был возвращен из ссылки академик Сахаров. 25 лет, по сути всю мою творческую жизнь, я был отлучен от литературы, от читателя и слушателя, а тут мои стихи стали печатать, — это ли не радость для поэта? Но беда не в том даже, что эти преобразования осуществляются не так, как о них мечталось, как они задумывались, а в том, что и задумывались-то они без мыслей о Главном, без той молитвы, о которой я так много говорил в этих размышлениях. Великое дело — освободить души сотен миллионов людей от казенной лжи, от государственного насилия, от ненужных, смешных и нелепых запретов, еще важнее, наверное, наполнить товарами полки магазинов, приблизить материальный уровень нашей жизни к тому, как живут люди во всем мире, — но ведь не может же быть, чтоб в этом был смысл жизни, чтоб это было исполнением того, что верующий

называет Божьей волей. Ведь надо же когда-то подумать о Главном, о душе, о духе, — нельзя же без конца откладывать. Я скажу страшное: и в нашем «религиозном возрождении», в нашем обращении к церкви не вижу я этого Главного. Когда я смотрю и слушаю по телевизору многолюдные и пышные богослужения, и где-то тут, на переднем плане, наши президенты, премьеры, мэры, использующие церковь для создания своего нового «имиджа», стоят со свечами в руках, мне становится неловко и жутко, — по моему, это самое агрессивное, лживое безбожие. Прекрасны наши русские храмы и прекрасны русские церковные хоры, но когда церковь выходит на эстраду — в этом нет Бога. В Москве, в Петербурге, во многих наших городах по улицам слоняются молодые люди, юноши и девушки, на глазах распутничают, сквернословят, дерутся, издеваются над прохожими, а на груди у каждого — православный крест. В общественном транспорте места старому человеку не уступят, еще и обматерят, а тоже с крестом. Завтра они пойдут стадом громить, убивать евреев, коммунистов, интеллигентов, «врагов России», может быть, даже с иконами и хоругвями, — было же и такое в нашей истории. Убили же Александра Меня — ничего, сошло. В киосках и на лотках рядышком лежат иконки, крестики, молитвенники — и эротические открытки и порнографические книжонки. Все это стыдно и гадко. И непредсказуемо ужасно кощунственное и в то же время абсолютно понятное и даже, вероятно, неизбежное объединение самых косных и твердолобых из коммунистов и тех, кто спекулирует на идее церковности, идеалах монархии, белого движения.

Долгие годы, да что годы, века, мы, русские, утешали себя, да, кажется, и сейчас пытаемся утешить себя мыслью о какой-то особенной русской духовности, об особенной нашей, в отличие от всех других народов и стран, близости к Богу. Пусть у нас кровавая и нелепая история, пусть другие страны и народы богаче нас, материально благополучнее и благоустроеннее, зато мы превосходим их какой-то «особенной статью», мистической «всемирной отзывчивостью», богопослушностью и богоизбранностью. Мы даже гордились своей темнотой и бедно-

стью, по крайней мере, видели в них какое-то знамение: «убогий» значит «у Бога» — вот мы какие: мы у Бога, мы ближе всех к Богу. Я был очень мало за границей: несколько дней в Италии, несколько дней в Германии, мне трудно судить о духовности живущих там людей, но и за несколько минут можно разглядеть, — это сразу и самое первое, что бросается в глаза, — что они все свободнее, спокойнее, приветливее, благожелательнее наших людей. В отличие от нас, они, например, очень внимательны и заботливы к своим инвалидам и старикам, к бедным и немощным. И я, грешным делом, никак не могу понять, как нашу «всемирную отзывчивость» и духовность, как нашу близость к Богу можно совместить с нашим невежеством и пьянством, с нашим рабским равнодушием и воровством, с нашей раздражительностью, нетерпимостью, жестокостью, бессовестностью, с нашим наплевательским отношением к бедным и больным. Не есть ли это очередной и уже, наверное, последний русский миф? Ведь если есть Главное в жизни, то оно Главное у всех и для всех: и для еврея, и для немца, и для американца, и для русского. Конечно, у каждого к этому Главному свой путь личный, отдельный, свой — у каждой личности, у каждой нации, у каждого народа, но, в то же время и в конце-то концов, если правда, что есть Главное, есть Истина, есть Вечность, есть Бог, это — и единый, и общий, и всечеловеческий, и всемирный путь. Об этом говорят, к этому ведут все религии мира, вся мировая история, вся мировая культура, и, может быть, лучше всех наш Пушкин: «Веленью Божию, о Муза, будь послушна», «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, Исполнись волею Моей». Ведь веленье это — одно для всех, воля эта — одна для всех, для всего мира, для всего человечества. Но услышать это дано только каждому в отдельности, только каждому самому по себе, услышать и исполнить — личности — всемирное. Только в этом, наверное, и спасение: «Да

будет воля Твоя, а не моя, Господи!»

Но и собственную историю нельзя переделать, от истории нельзя откazyваться. Да и незачем. Она, история русская, вся в наших костях да крови, если кто и не знает ее, а мы все сегодня плохо ее знаем, все равно с самого рождения в генах своих ее носит, никуда от нее не денешься, ни от царей, ни от бунтарей, ни от Ивана Грозного, ни от Стеньки Разина. Сергей Радонежский и Малюта Скуратов, протопоп Аввакум и Чаадаев, Петр Первый и Лев Толстой, семья Аксаковых с верой в особый, русский путь, и Маяковский, мечтавший о том, «чтобы в мире без России, без Латвий жить единым человеческим общежитием», — вот они какие разные, а все русские люди, и мысли их и идеи — русские, и самые крайние из них — как раз самые русские. И за революцией нашей, великой и русской, стоят благословляющие и вдохновляющие фигуры прекраснейших и благороднейших русских людей — от Радищева и декабристов до лейтенанта Шмидта. Она была, ее не перечеркнешь, не забудешь. Мы приняли ее наследство, страшное, темное, безобразное, но нам не избавиться от него. Это не только недостойно, безответственно, безнравственно, но, в конце концов, и безграмотно, противоестественно, просто невозможно. Наш долг, наша задача, наше дело — пока еще не поздно, покаяться во всех ужасных непостижимых грехах революции, государства, своих собственных (а их у каждого немало), исправлять ошибки революции, искупать ее преступления, не словами, а поступками, делами, трудами, искупать, преобразовывать ее (это прекрасное, любимое слово — «преображение») согласно с тем велением, с той волей, с тем зовом, которые верующий человек определил бы как Божьи, для того, чтобы вместе с ней, искупленной и преображенной, обновленными и просветленными вернуться в божественное лоно мирового человечества. И молиться. И верить. И любить.

БОРИС ЧИЧИБАБИН

Новые стихи

* * *

Нам вечность знакома наощупь.
Раскрытия тайны не жди.
Но разве стихи для того, чтоб
во лжи уличались вожди?

Претит им гражданская слава,
в почёте пиит иль гоним, —
они из другого состава
и заняты делом иным.

Душе, что от смуты раскисла,
певуче прикажут: проснись!
и жизни без воли и смысла
напомнят про лад и про смысл.

Да только услышит-то кто их?
Уж верно, не зек, не генсек.
Сидим у распивочных стоек,
не слышим, как падает снег.

Тому, кто о небо опёрся,
встревоженный вестью с высот,
убийственна пошлая польза
и вряд ли в быту повезёт.

Навряд ли судьба помогла б нам,
как белку вертя в колесе,
сказать о заветном и главном,
чтоб это услышали все.

Борению духа и плоти
еще не трубили отбой,
и, значит, поэзия против
того, что зовется судьбой.

О, ей бы хоть в ком-то из тысяч,
что низкой тщете предались,
сподобиться искорку высечь
огня, устремлённого в высь.

Но, ежели душу задела
доверчивым звоном строка,
то что ей при этом за дело
до Ельцина и Кравчука?

Современные ямбы

1

Не верю сызмала словам я,
тружусь, как пахарь, за столом...

Мы ж рушим мир до основанья
и ничего не создаём.

Звезда имперская погасла,
всё стало задом наперёд:
сидим без сахара и масла,
а президенты делят флот.

Уж так, Россия, велика ты,
что не одну сгубила рать, —
нам легче взлезть на баррикады,
чем в доме чуточку прибрать.

Как тут невежды и невежи
гуртом из дыр в поводыри!
А ты трудись, с утра не евши,
да их же и благодари.

Попал из безвести как раз ты
на погребение страны,
чьи социальные контрасты,
как в зоне нож, обострены.

Сидишь, не чуя ног разутых,
в конфорке газу не зажёг
и, как мешается рассудок,
печально чувствуешь, дружок.

Во времена живёшь не те ты —
гроша не стоят ум и честь,
сплошные суверенитеты
и очень хочется поест.

2

Среди родного бездорожья,
как у Голгофского креста,
на нас восстала кара Божья —
национальная вражда.

В дарах вседневных не скудея,
равняя всех одним концом,
несть эллина, ни иудея
пред человечества Отцом.

Мне каждой ночью лица снятся,
что красят вечности простор,
в чьих чарах я не вижу наций,
но чаю братьев и сестер.

Мы пили плеск одной криницы,
вздымали хлеб одних полей, —
Кто б верить мог, что украинцы
возненавидят москалей?

Но, как слепцы б нас не разнили,
в той розни выплывет не раз,
что лучшими людьми России
из рабства выкуплен Тарас.

Кого судьба с другими месит,
кто в общем нищенстве возрос,
тому и в голову не влезет
решать этнический вопрос.

Поэты сроду были вместе
и, разобщённые впотьмах,
несли одни и те же вести,
хоть и на разных языках.

Душа, свергая в перегрузках
шовинистический дурман,
болит за молдаван и русских,
азербайджанцев и армян.

Откуда ж пагуба такая
на землю тысячи племен?
Какому бесу потакая
друг друга губим и клянём?

3

Всю жизнь страшась
кровопролитий,
крещён тюрьмою да сумой,
я связан тысячами нитей
с простонародною судьбой.

Душе не свойственно теряться,
когда на ней судьбы чекан.
В России бунта и тиранства
я дух склонял к бунтовщикам.

Под старость не переродишься,
я сам себя не сочинил —
мне ближе Герцен и Радищев,
чем Пётр Аркадьевич иным.

Ещё не спала чешуя с нас,
но, всем соблазнам вопреки,
поэзия и буржуазность —
принципиальные враги.

Я ж в недрах всякого режима
над теми теплою ореол,
кто вкалывал, как одержимый,
и ни хрена не приобрёл.

Как мученики перед казнью,
нагие, как сама душа,
стихи обходят с неприязнью
барышника и торговца.

Корыстолюбец небу гадок.
Гори, сияй, моя звезда!

В России бедных и богатых
Я с бедняками навсегда.

Подводя итоги

Покарауль наш дом,
а я пройду по свету:
быть может, там найдём,
чего в помине нету.

С подножья до высот
круг замкнут и изломан,
и снова не везёт,
как вечно не везло нам.

Не тщаь в потоке дней
возобновлять старинку,
мы снова всех бедней
при переходе к рынку.

В ответ на зов ещё
треньбренькаю на лире,
но смутно и нищо
в сознании и в мире.

«Откуда б счастье нам?
Ведь мы ж не побирušки», —
как бедный Мандельштам
говаривал подружке.

Впотьмах календаря
с прощеньем и виною,
вернее говоря,
оно у нас иное...

Как верилось душе,
когда я был мальчишкой!
Но в гору лезть уже
приходится с одышкой.

Все книги, что люблю,
прочитаны в той рани,
и вечер тороплю
для пива и тарани...

О, да, я жил в аду
и прожитые годы
фундаментом кладу
для внутренней свободы.

Под лавою седин
я чувствую впервые,
что мир сей посетил
в минуты роковые.

Не надо, не туши,
не думай, что не время, —
веселием души
поделимся со всеми.

Уж срок тот недалёк,
когда любовь и мудрость,
раздув свой уголёк,
воздушно обоймут нас.

Да будет нам щитом
душевная отвага
отшельника, чей дом
стоит у Карадага.¹

Из «Сонетов любимой»

* * *

Не встряну в зло, не струшу, не солгу...
Есть карточка, где ты в горах на юге...
Учи меня врачительной науке,
как сладко быть у глаз твоих в долгу.

Мне трын-трава проказы и разлуки,
но я забыть до смерти не смогу,
как ты, раскинув ласковые руки,
лежишь, как жар, нагая на снегу -

в безвучной выси облачком соблазна.
Но, коль с моим восторгом не согласна,
прости его, на хмель не прогневишь.

И я, спасённый, радостью наполнюсь.
В тебе ж, как сестры милые, духовность
и чувственность безгрешно обнялись.

* * *

Издавнилось понятие «патриот».
Кто б не служил России, как богине,
и кто б души не отдал за народ?
Да нет ни той, ни этого в помине.

Прошли как жизнь. Дурак о них не врет.
Колокола кладбищенской польни
поют им вслед, печалась, как о Риме
грустит турист у вырытых ворот.

Народ — отец нам и Россия — мать,
но их в толпе безликой не узнать,
черты их стёрлись у безродной черни.

Вот что болит, вот наша боль о чём,
к моей груди прильнувшая плечом.
А время всё погромней, всё пещерней.

* * *

В воскресный день с весельем невезенье ---
у нас оно давно отменено:
наводит телек панику на семьи,
приелась вдрызг эротика в кино

И, как всегда, всё к водке сведено.
И уж нельзя взирать без омерзенья,
как мы проводим наши воскресенья.
Да сам-то я хоть в чём-нибудь иной?

¹ Дом поэта Максимилиана Волошина.

К чужим страну бездумчиво ревную,
пойду вздремну, потом пойду в пивную.
Там воздух сыр от дыма и кошунов.

Грохочет рок. Ругают демократов.
Взял кружку впрок, печаль в неё упрятав,
и на пропащих девочек кошусь.

* * *

А ну, любовь, давай в оконце глянем!
В душе разор, а в мире красота.
Что за зима, как только в детстве раннем,
трескучим светом пышно разлита!

Белым бело, а зорька золота.
И год пройдёт, а в город не нагреем,
но всей душой прильнём к искристым граням,
не для людей отлитым из льда.

А Бог дохнет — и с неба хлынут хлопья
и белизну сияньем обновят.
Нет, Божий мир ни в чём не виноват.

Он бел и свеж до неправдоподобья.
Бездарна жизнь, но в двух вещах мудра:
есть огонь и снег, всё прочее — мура.

* * *

Бессмертна проза русская. И благо
земле, чьим соком кроны впоены.
Её плоды лишь истине верны
и не вольны над ней костёр и плаха.

Но как должны быть распределены
в одной душе и мера, и отвага,
и ум, и страсть у автора «Войны
и мира», «Жизни и судьбы», «Живаго».

О, дай мне, Бог, быть истинным и щедрым,
грянь в парус мой мирооблётным ветром,
пред коим ложь презренна и тиха.

Пока мой ковш серебряный не допит,
пусть русской прозы мужественный опыт
упрочит прелесть русского стиха.

В бессонную ночь думаю о Горбачеве

Всю ночь не сплю. Все ночи, Бог ты мой,
душа вопит на плахе перекадаин.
С ней плачут кошки, просятся домой,
а дома нет — дом кем-то обокраден.

И вот, бесовством общим не задег,
не столь по разуменью, сколь по зову,
поскольку он уже не президент,
шепчу сквозь боль спасибо Горбачёву.

Его бытё молвой не обросло,
без добрых слов прошла его минута.
Да был ли он? Молчат добро и зло.
Всем не до них, но надобно ж кому-то.

Он мнил, что революционный дух
в сердцах людей ещё не уничтожен,
меж тем как дух в соратниках протух
и стал, как смерть, всем россиянам тошен.

В ком брезжит свет, тот чернью не щадим.
Вот и сидим без света и без хлеба.
Влип Михаил Сергеевич один
в ту распрю зол, как справа, так и слева.

Не верить грех, что вправду он хотел,—
и верой той пожизненно блажен я,—
прозрев душой, от наших страшных дел
не разрушенья, а преображенья.

Когда в свой срок пришла его пора
и в суете подрастерялась челядь,
он выдал нам хоть толику добра,
а большего ему не дали сделать.

Да и не мог: хоть не о небе речь,
на холм и то без Бога не взобраться,
тем паче мир от войн не уберечь,
не превратить империи в собратство.

Но, если мы нуждой обозлены
и за труды земные не почтенны,
в том нет его особенной вины,
он до того силком сошёл со сцены.

Мы с той поры и дышим вполудых,
творим врагов, потворствуем угару,
как он пропал с экранов голубых
с Раисою Максимовной на пару.

Нам не дано в отеческой звезде
вообразить лампаду африканца,
но суждено не взлюбивать вождей
и от святынь кровавых отречься.

Всю ночь не сплю, раскаяньем томим,
вдыхаю дым непокарманной «Варны»,
под плач кошачий думаю: кто мы?
Так недобры и так неблагодарны.

Политика — бесовская игра,
и нас, объятых ею, коль почёл он
безумцами, разрушившими храм,
кому о том поспорить с Горбачёвым?

Не нам судить,— лишь боль разбередим,—
кто виноватей в роздури базара —
он перед нами, мы ли перед ним,—
но есть судья и по заслугам кара.

ЛЕОНИД ЛИХОДЕЕВ

Жили-были дед да баба

Давняя история

Так что я вам скажу
за моего деда?

Из разговора.

I

Дед мой ходил зимою в синей нагольной романовской поддевке. Были когда-то такие поддевки — сверху по фигуре, в талию, а от пояса — складчатая юбка. Воротника на поддевке не было, не полагался. А полагался к ней огромный козловый тулуп с неохватным шалевым воротником. Тулуп такой у деда был, но дед не надевал его по причине не сильной зимы. Тулуп находился в сундуке, пересыпанный от моли махоркой.

Во дворе, где жил дед, стояли брички, разворы, площадки и небольшая бедарочка, в которую я любил залезать и сидеть там, думая уже не помню о чем. О чем может думать тихий шестилетний мальчик, который ищет уединения в старой бедарке, похожей на большой черный фанерный ковш, к которому приделаны два огромных окованных колеса.

В конюшне, в самом низу двора переминались лошади. Оттуда шел луговой запах сухого сена и сытого овса.

Лошадей было пять. Один конь, по имени Буланный, стоял отдельно за загородкой. Конь был стар, его никогда не запрягали. Это был конь-аристократ. Иногда он тоненько ржал, и в ржании его слышались молодцеватые трубы. А ржать было о чем. В юности своей, давным-давно, еще, кажется, в двенадцатом году, Буланный принес деду моему приз на бегах. Потом коня украли барышники. Конь отбилсЯ, отлягалсЯ, перекусал конокрадов и прискакал домой.

Дед знал конокрадов. Иногда он встречал их в шинке Шлеймы Голомозого. Один из конокрадов был цыган Макар. Он был меченый. У него не хватало правой ноздри. Ноздрю ему откусили в драке при дележке краденого. Макар мог пустить кровь, при нем всегда был ножик. После того, как Буланный вырвался и прискакал домой, дед спросил Макара:

— Ты меня понял, Макар?

Этот вопрос содержал в себе многое. Дед не боялся ножика и, когда бил в челюсть, собеседник падал, а поднявшись, терял охоту разговаривать.

Макар сказал:

— Мы не знали, что это ваш жеребец. На нем не написано.

— Макар, — сказал дед, — на нем все написано. Ты меня понял, Макар?

И Макар сказал, что понял.

Шлейма Голомозый предпочитал, чтобы в его шинке было тихо. Потому что когда в его шинке возникал шум, господин исправник взимал с него прибавочную стоимость за беспорядок в заведении. Но зато, когда в заведении было тихо, господин исправник смотрел на шинок сквозь пальцы. У него были кургузые пальцы, а на безымянном — обручальное кольцо, широкое, как обрезок золотой трубки.

Шлейма Голомозый никогда не стригся. Но не потому, что собирался в назо-реи Господу. Он не стригся оттого, что голову его ошпарили когда-то кипятком и была она вся в плешах, вокруг плешей кустились редкие волосы, и те волосы он берег. Ермолка не скрывала этого. Шлейма приговаривал своим гостям:

— Делайте тихо, люди, делайте тихо...

Все это было давно, в годы ранней молодости Буланого, как бы в иной жизни, ибо молодость и для людей и для лошадей — это иная жизнь, которая с одной стороны будто бы и была, но была, словно с кем-то другим. Сейчас Буланный стоял на покое. Ему стукнуло уже лет семнадцать, а то и восемнадцать. Он был стар и памятлиВ, о чем свидетельствовали молодцеватые отзвуки труб в его одиноком ржании. Ржание это не вызывало жалости, а вызывало мудрые мысли о том, что все проходит и всему свой черед и Господь устроил мир таким, каким

устроил, переделывать его не собирается. И тот, кто собирается переделать Божий мир — тот дурак, о котором нет разговора. Буланый стоял на покое. Возможно, он это понимал.

А Макара я помню детской памятью. Помню его обезноздренный нос и ухмыляющееся коричневое лицо, кажется, побитое оспой. Макар жил на дедовой улице, наискосок от моего деда, у сестры своей Маринки. Дом у них был каменный, в отличие от дедовского саманного. В Маринкином доме всегда было много людей, на подворье стояли фуры и толклись на коротких поводках пугливые кони, всякий раз — другие. Иногда оттуда неслись песни, играли гитары, гармошка, а во дворе разводили костер. Маринка была грудаста, непомерную грудь ее прикрывали тяжелые монисты. Я знал о Маринкином доме, что это — богатые цыгане, бродившие когда-то табором по Екатеринославской губернии, по Мариупольскому уезду, а теперь они уже не таборуны, ибо советская власть сделала их оседлыми, не то, что при царском режиме. Отчего они богаты, я не знал и не думал об этом.

Я стал бывать на дворе у моего деда лет с пяти. То есть, разумеется, я бывал там и раньше, но самостоятельно, без провожатых мне было позволено ходить туда году на шестом. Мы жили отдельно, на той же улице, но домиков через двадцать.

Когда я сам пришел на дедово подворье и был встречен бабкой как первопроходец, я стал осваивать окрестности и лазить куда не след.

На чердаке у моего деда лежала обросшая пылью домашняя утварь — обломки гнутых стульев, старые рваные одеяла, набитые слежавшейся прелой ватой. И какие-то сундучки. На чердак лазить не разрешалось — можно упасть с лестницы и разбиться. Но я понимал, что дело не в лестнице. Я очень рано стал понимать, что дело вовсе не в лестнице. А в том дело, что сундучки на чердаке скрывали в себе тяжкую тайну, они скрывали в себе ушедшее время. Они были заперты висячими замочками, ключи от которых давно утеряны, да и найдись эти ключи — отпереть замочек нельзя было: он проржавел насквозь, и ржавчина его даже лоснилась в слабом свете слухового окошка. Но открыть сундучок можно было: щеколда вынималась из истлевшего дерева вместе с замочком.

В одном сундучке лежали влажные почерневшие пачки николаевских денег. Те, на которых был нарисован Петр Первый, лежали отдельно от тех, на которых была нарисована Екатерина Вторая. Петра Первого и Екатерину Вторую я уже знал в лицо. Я видел их в старых книгах, которые любил перелистывать. Я уже знал буквы и умел читать, но эти книги я перелистывал из-за картинок. Некоторые картинки занимали целую страницу, были раскрашены и еще прикрыты папиросной бумагой. Сквозь эту бумагу картинки виделись неясно, туманно, но если осторожно отвернуть папиросную бумагу — картинка вспыхивала чистыми ясными красками, на нее хотелось смотреть долго-долго.

Книги эти хранились у нас дома, но были спрятаны во второй ряд книжного шкафа. Я добирался до них, понимая, почему они спрятаны: потому что в них попадались портреты царей, императоров, которых народ сверг давно — за четыре года до моего появления на свет...

Петр Первый надевал кованые рыцарские латы с заклепками и, глядя на него, я думал, что если латы железные — как же поднять руку, прижатую наплечником? Иногда я пытался вставить плечо в кастрюлю, чтобы испытать то, что должен был испытывать царь в своем металлическом наряде. В кастрюле было неудобно, она сковывала движения. Екатерина Вторая казалась мне старой тетей, которая прежде чем сфотографироваться, долго избиравала самую неудобную позу. Она как-то косилась, старалась улыбаться и хотела, чтобы на фотографии непременно вышла палочка, которую она держала в руке.

Я уже знал, что царей рисовали на деньгах. Как-то я нашел в старой книге купюру с бородатым дядькой в белогвардейских погонах.

— Что это? — спросил я у мамы.

Мама ответила вскользь, чтобы не останавливать моего внимания:

— Это когда-то были такие деньги.

— Какие смешные!

— Да, очень смешные.

И я понял, что об этом разговаривать не нужно.

Поэтому, обнаружив в сундучке сырые полустгнившие пачки, я закрыл сундучок. Деньги не показались мне смешными. Они меня пугали. Зачем они здесь лежат, подумал я, и понял, что никогда ни у кого об этом не следует спрашивать.

И еще на чердаке лежала старая проржавевшая берданка. Как я теперь понимаю — десятого или даже восьмого калибра. Берданка еще умела щелкать затвором, и я щелкал им, сидя на сундучке. Я ощущал какое-то особенное чувство обладания оружием, какое-то особенное удовольствие ладно сделанным металлом, который послушно ходил в металле и послушно заворачивался в сторону, сжав внутри себя пружину, и надо было погнуть пальцем крючок, чтобы металл в металле сорвался и чокнул по пустоте впереди себя. По пустоте, которую полагалось заполнить патроном. Но патрона у меня не было, и я думал о том, что когда-нибудь он у меня будет и отпущенный крючком боек не чокнет в пустоту, а грохнет всамделишным выстрелом. Куда я буду стрелять — я не думал.

А был еще один сундучок, а в нем — газеты, журналы и книжки. Буквы были незнакомы. Когда я приходил от деда домой, я рассказывал маме о своих открытиях. Мама сказала:

— Когда мы были маленькие, мы учились в гимназии. Знаешь, как трудно было учиться до революции? Нас заставляли учить иностранные языки. И дедушка выписывал нам иностранные газеты, чтобы мы практиковались. Эта газета называется «Фигаро».

— Фигаро! Фигаро! — закричал я, ибо название показалось мне игрушечным и веселым.

— Зачем ты лазишь на чердак? — спросила мама. — Там пыльно и душно.

И я понял, что и газета «Фигаро», и сундучок с Петром Первым и Екатериной Второй, и те книги, которые от меня прятали, и уж, конечно, иностранные языки — все это было запрещенным и не подлежало огласке.

Слово «фигаро» показалось мне игрушечным и веселым еще и потому, что папа мой пел песню, где Фигаро был здесь и там. Папа, вообще, иногда пел. Голос у него был красивый — можно заслушаться. И я заслушивался, потому что папа пел как-то непохоже ни на кого. Когда в наш город приезжали певцы, папа непременно ходил их слушать и брал с собою меня. Голоса приезжих артистов были похожи на папин голос — они были чистые, звонкие и сильные, сразу было слышно, что они не сами научились петь, а их научили. Это вызывало во мне уважение.

Папе очень нравилось, когда я слушал музыку. Меня пытались учить на скрипке. Скрипка была крошечная, четвертинка. А бывали еще скрипки половинки и три четверти. Но дальше половинки я не пошел.

— Мальчик ленив, — сказал скрипач городского оркестра, который меня учил, — у него абсолютный слух, он, если захочет, сможет читать ноты и записывать на слух мелодии. Но скрипачом он не будет, он не усидчив.

— Жаль, — сказал папа.

Папа мой когда-то учился в консерватории, но артистом не стал.

Я, действительно, научился читать ноты и записывать мелодии. Но — все позабыл.

II

Я ходил к деду с бабой и лазил там куда не след.

А однажды, переверачивая картонные страницы синего бархатного бабкиного альбома, я увидел фотографию моего деда, который был сфотографирован не с бабушкой, а какими-то другими людьми с бородками и среди тех людей было несколько белогвардейцев в погонах. Мне показалось, что фотография эта должна лежать на чердаке, в сундучке под замком.

Через несколько дней я услышал, как мама отчитывала бабушку:

— Неужели это нельзя спрятать?

— Но он же всюду лазит!.. Я не могу это спалить — это не дрова и не уголь...

— Но там же — Родзянко!

— Он еще маленький,— сказала бабушка,— он не понимает...— И вдруг — звонко, зло: — Ты можешь это спалить?! Так спали!

— Я не могу...

— А не можешь — так не трави мою душу! У него кончается рыбий жир. Ты об этом подумала?

Из разговора я узнал, что кончается рыбий жир, а это хорошо. И еще я запомнил фамилию Родзянко. Наверно это был главный белогвардеец. Зачем же с ним фотографировался дедушка?

Я ничего не понимал. Но я пытался понять. И это держало в страхе семейство. Ибо наступило время, когда нужно было ничего не понимать. Наступило время, когда непонимание сделалось добродетелью, а попытка понять — преступлением.

Но всегда, во все времена на свет появлялись дети, а детям свойственно стремление понять. Так устроен Божий мир. Я был первый внук в немалом семействе. И они не знали, как со мною быть.

Дед мой занимался извозом. Если бы мы жили в Одессе — деда называли бы балагула. Но там, где мы жили, его не называли даже возчиком. Потому что он был — кем-то другим, мой дед. Он говорил:

— Что бы вы обо мне ни сказали — плохое или хорошее — я в десять раз хуже.

Откуда же он взялся, этот дед?

Один мой приятель, ученый человек, прочитавший все энциклопедии, а стало быть, помнивший массу никому не нужных сведений, рассказал мне, что в древнем Риме жил да был некто Лорий Агриппа. Был этот Лорий не то патриций, не то всадник. И служил он одно время в завоеванной провинции Иудее. И были у него, разумеется, рабы — сыны покоренного племени. И были среди его рабов хлебопашцы и зодчие, торговцы и ремесленники, поэты и лекари, инженеры и скотоводы. И были они умелы каждый в своем деле. И Лорий Агриппа дал им всем вольную с тем, однако, чтобы к именам своим прибавили они имя Лорий. Такой он был благородный честолюбец. И пошли от тех вольноотпущенников Лориев измененные местом и временем имена на разные лады — Лурье и Лурьевы, Лории и всякие другие, ибо мир велик и много в том мире языцев.

Проверить эту байку нетрудно. Но я не хочу ее проверять. Пусть будет, как будет. Почему я не хочу ее проверять — не знаю. Может быть, потому, что когда-то мой младший дядя Давид показал мне какую-то златопереплетенную книгу из дедовых книг и в той книге было напечатано, что фамилия деда — это известная еврейская фамилия во Франции.

— Ну и что? — спросил я.

— Ничего,— сказал Давид.

Вот именно, что — ничего.

Нет, не стану я разыскивать патриция или всадника Лория Агриппу. Ну разбрелись по свету вольноотпущенники его. Может, было, может, нет. Может быть, фамилия деда была действительно — известная еврейская фамилия во Франции. Все может быть. Не знаю.

Откуда же он взялся, мой дед? Откуда явился он в маленький городок-поселок при заводе и шахтах, в бугристый городок, где чернозем прикрыт был домишками и шахтным глеем¹ и все-таки пробивался сквозь них на волю, когда весною и осенью наваливалась на наш городок непролазная распутица.

А взялся мой дед из хутора Кобыльный, колонии Сладководная, Розовского повета, Мариупольского уезда, Екатеринославской губернии. Это — точно. Современников этого исхода я помню в лицо.

Я думаю, что хутор этот назывался когда-то Ковыльный — по канонам прекраснословного восемнадцатого века. Но ковыли годились для стихотворений больше, чем для производства сельскохозяйственного продукта. Тем более, рядом существовали уже конные заводы.

Газета «Фигаро» приходила в хутор Кобыльный из Парижа через семь дней.

¹ Глина (укр.).

Так был устроен Божий мир. Так он был устроен когда-то, когда дед мой жил на хуторе Кобыльный.

А теперь, переехав почему-то с хутора в маленький при заводский и при шахт-ный городок, дед мой занялся извозом.

Он был лишенец. То есть, рабоче-крестьянская советская власть справедливо лишила его гражданских прав, как представителя побежденного революцией класса эксплуататоров.

И он жил потому, что был еще жив.

III

Зачем было евреям селиться в России, не знал никто. Но они селились.

Земля, о которой я рассказываю, была создана Богом для изобилия. Она желтела тучными злаками и голубела чистым небом. Она была сотворена для благоденствия.

Но именно в этих местах издавна звенело оружие и лилась кровь. Трудно было найти землю более опасную. Трудно было найти землю, на которой жизнь была бы так не защищена ни законом, ни обычаем. Но евреи ее нашли. Они нашли эту землю и поселились на ней. Зачем они сделали это — никто не знал. Поколения цадиков пытались ответить на этот вопрос, да так и не ответили. Ответ на вопрос этот не давался, ускользал, прячась в толкованиях и стихах Торы. Ответ на вопрос этот стал мистическим, недоступным человеческому пониманию. Он уводил от бытия и, возможно, если не облегчал, то хотя бы скрашивал бытие, превращая его, бытие, во второстепенную тягость, которую надо перетерпеть.

В этих местах звенело оружие и лилась кровь — казацкая, польская, московская, турецкая, а в часы затишья, как бы не давая оружию отдохнуть, лилась кровь жидовская, будто поселились здесь сыны израилены как раз для того, чтобы не бездействовали ни шашки, ни ятаганы, ни пики, ни трезубцы. Поселились они как бы для похмелья в чужом кровавом пиру.

А пир был кровав и громы его и клики и бряцания уходили далеко-далеко в глубину времен.

Турков называли басурманами, за то, что молились они мусульманскому богу.

Украинцев называли хохлами за то, что обривали они голову, оставляя чуб-хохол.

Русских называли кацапами за то, что носили они бороды «як цап», то есть как козел.

Поляков именовали ляхами, должно быть, производя это звание от слов шляхта, шляхетство, коими они весьма гордились.

А жидов называли жидами — просто за то, что были они жиды.

Ляхи — разбродные, легковоспламеняемые, были похожи необузданностью своей и вольнолюбием на хохлов, рубились они на своих сеймах, бесились они и даже звали себе в короли французов. Объединиться бы ляхам с хохлами, чтобы выстоять меж басурманов и москалей. Но — ляхи были католики, чужие по вере, ибо ихний пан Езус происходил, как говорили знающие люди, из жидов — не то, что истинный православный Спас. И были меж хохлами и ляхами пожары и кровь за истинную веру.

Не хотелось думать, что именно кацапы — есть опора истинному православию. Но — думалось. Бородатые, малоподъемные, покорные своим государям, хранили они цареградское величие, изгнанное басурманами из Цареграда, но обретшее покой на московской земле.

Гетманов назначали вольнолюбивым украинцам польские короли, как бы привязывая хохлов к своему расшитому золотом седлу. Однако гетман Богдан Хмельницкий двинул войско и народ малороссийский под православную руку царя Алексея Михайловича, чтоб иметь тыл от басурманов и прикрытый бок от католиков. И с той поры украинских гетманов благословляла московская рука.

Нельзя сказать, что под московскими царями Украина обрела покой.

Казацкая бескрайность не давала покоя. Турки притихли, смельчали, царь Петр окоротил их северные притязания. Но вольнолюбивые украинцы доказывали вольнолюбивым полякам, чей бог истиннее. На правобережье появились гайдамаки. Их набеги опустошали фольварки, кострами полыхали следы их набегов. Польское и русское правительства нечасто приходили к согласию, однако гайдамацкий ужас объединял их. Гайдамаков — и в России и в Польше — четвертовали, сажали на кол, сдирали кожу с живых. И гайдамаки платили тем же.

А время шло, и вскорости kobzarь споет свою песню:

*Посіялы гайдамаки
На Вкраїни жито.
Та не воны його жалы.
Що мусымо робыты?*

Гайдамацкое жито еще придется жать.

Дед мой хранил в памяти скорбные воспоминания, ибо в тех гайдамацких набегах разменной мелкою монетой и для хохлов и для ляхов были жида, среди тех погибших в чужой драке жидов был и дедов пращур на Волыни.

В редкие минуты этнологических размышлений дед говаривал, шурясь левым глазом:

— Дывы, хлопче, що оти кляти ляхы зробылы з нашими жидами! За тэ мы усих йихних жидив перебьемо!

Посеяли гайдамаки на Украине рожь...

Нет, не справлялись гетманы с украинским козацким вольнолюбием. Требова-лась рука не отецкая, не батькина, а царская, не с булавою и клейнодами, а со скипетром и державою. И Екатерина (ридна мамо, если верить Гоголю) от-менила гетманов. Она переселила на Кубань строптивую запорожскую сечь. Кто попорворнее — убежал за Дунай, к туркам. Остальных придавили к земле крепостным правом. С незалежностью и самостийностью было покончено. Укра-ина так и не смогла стать вольной и самостоятельной, ибо для сего великого состояния была она слишком вольна...

А время шло и, надо сказать, Зиновий Богдан Михайлович Хмельницкий не пользовался такой уж явной симпатией истинных, то есть щирых украинцев. Иные злобствующие языки побалтывали, будто был он вовсе не хохол и даже не лях, а наполовину — жид. То ли мать его происходила из племени израилева, то ли возник он на свет Божий стараниями какого-то залесского шинкаря. Напраслине этой имелось объяснение: Хмельницкий отдал Украину москалям, кацапам и с той поры, с Переяславской рады, стала вильна Украина Малороссией, то есть всего лишь частью Великороссии. Во всяком случае, москаль, в отличие от щирых украинцев, почитали Богдана весьма высоко и даже соорудили ему памятник посреди Киева...

IV

К двум занятиям приспособились люди, пока живут: к войне и торговле. Началось, конечно, с войны, когда брат убил брата. Впрочем, иные знающие люди говорят, что началось все с торговли — когда Ева подкупила Адама запретным плодом. Во всяком случае — война и торговля были занятиями людскими отродясь. Торговля затыгивала, залечивала раны, нанесенные войною, война же истребляла нажитое торговлей.

Когда дед мой поселился в южных степях Малороссии — там шумели, как ни в чем не бывало, ковыли и лениво пролег чумацкий шлях, по которому шагали во-лы, тянувшие разворы, нагруженные солью азовских лиманов. Во-лы шагали небыстро. На деревянных ярмах — по ярму на две бычьи холки — отдыхали перелетные степные птицы. Свесив рыжие чоботы сбоку разворы, краснолицые усатые, задубелые солнцем и солью чумаки потрошили сухую геническую тарань и лениво бодрили волов:

— Цоб-цобе... Цоб-цобе...

Иногда они отгоняли птиц длинным вишневым кнутовищем — сами не зная для чего, должно быть, для развлечения. И везли соль, отдыхая прямо на возу

при жидовских постоянных дворах, выпивая чарочку у пейсастого шинкаря и — цоб-цобе — цоб-цобе — на пивнич, аж в кацапы.

На юге Малороссии располагались украинские села и стояли в тех селах саманные хаты под соломенными, а то и камышовыми, стрехами, и те хаты — беленькие, а иные разукрашенные петухами-курями, разными фигурьями — назывались по-старинному куренями. И стояли в тех селах приземистые южные православные церкви. А чутко поодаль, в чистеньких, как вымытых, немецких экономилах и хуторах, торчали кирпичные кирхи.

Праздниками тельнякали кирхи, и плыли колокола с православных церквей, и благовест расплывался по тихому пространству. Пространства было много. Земля была щедра. На ней легко и нетесно уместился дедов клин.

Когда война сменяется торговлей — ненависть переходит в благодушие и слова, которые во дни кровопролитий становились свирепым кличем убивать, превращаются в едкие, но незлобивые бытовые определения, как бы в память о прошлом, которое уже насытилось кровью, откатилось в былины и притчи.

Малороссов называли хохлами, великороссов — кацапами, поляков — ляхами, евреев — жидами, но за кличками этими не трубил зазыв лить кровь.

А турков уже никак не называли, разве что по старой памяти басурманами, но — без зла, ибо турки были и вовсе давно. Теперь это были торговые люди, вроде греков или армян, державших торговлю и контрабанду на юге Малороссии. Мариупольские весельчаки распевали неприличную песенку, когда мимо проходила какая-нибудь южная красавица:

*Ой, мама, я пропала!
Меня любит кто попал!
Греки, турки, банабаки,
Кошки, мышки и собаки!*

Отец моей бабки Меры (стало быть, мой прадед) когда-то увидел в Харькове универсальную лавку Шпильмана. Лавка поразила его воображение и он положил себе открыть в Сладководной подобное предприятие. Если бы он занимался делом по своим силам — все бы было неплохо. Но прадед мой витал в мечтах и желаемое воспринимал как сущее, причем воспринимал осязаемо, ничего сам не имея. Они были настолько бедны, что кроме хлеба, сурепянного масла (олии), свежих яиц и козьего молока в доме ничего не было. Такие они были бедняки.

Бабка Мера была красавица. Разговоры о ее красоте доходили до Розовки, что там Розовка — до самого Мариуполя доходили разговоры о ее красоте. Какой-то мариупольский грек, у которого были с дедом некоторые дела, связанные с прасольством, сказал, что такую хозяйку в дом — не надо приданого.

А дед мой был в свои двадцать два года порядочный шалопай. Он сносно читал по-французски, умел вскакивать на ходу на коня и накидывать петлю на необъезженного юного жеребца. Кроме того, он никогда не оставлял обиду без сдачи. Земли у него было немного — всего шестьдесят три десятины. Это — если вообразить квадрат земли — так получится примерно восемьсот на восемьсот метров. Но рядом были немецкие колонии и была степь, по которой летали табуны. Коннозаводчики уважали деда за его хватку.

Уважали его не только коннозаводчики, но и местные красавицы.

Как я уже сказал, дед мой был изрядный шалопай. Он соблазнил мою бабушку не потому, что увидел, как она красива, а потому, что услышал об этом из уст молвы. Молва трубит в уши и освобождает глаза, ибо честолюбие и самодовольство питается не тем, что видят глаза, а тем, что слышат уши.

Как воспринял падение своей дочери мой прадед, я рассказывать не стану — горько это рассказывать. Он, разумеется, мечтал, чтобы случились обстоятельства, которые принесли бы богатство в дом, чтобы Мера удачно вышла замуж, чтобы приданое за ней дал екатеринославский генерал-губернатор (его не забудет). Но вышло иначе, и как воспринял то, что произошло, незащищенный, не очень умный, добрый и никчемный нищий человек — судите сами.

Но еврейские старики, узнав, что дед мой обесчестил бедную девушку, позвали деда моего в дом молитвы. Они позвали его в дом молитвы и он сел

перед ними, а они, раскачиваясь и поглаживая седые свои бороды, стали говорить ему, какой он плохой. Они говорили:

— Мендл, у евреев так не делают. Ты обесчестил бедную девушку, бесприданницу. Это — грех.

Но дед мой был молод, красив, богат и избалован. Он смотрел на стариков, как может смотреть молодой, богатый, красивый и избалованный парень, которому все равно, что написано в Талмуде по поводу его необузданного нрава. А они раскачивались и зудели. Ребе сказал:

— Мендл, послушай стариков. Старики уже были молодыми, а молодые еще не были стариками. Зачем-то они прошли свой путь? И тот, кто не понимает этого — тот глуп и несчастен.

— А вы понимаете? — спросил мой дед.

— Мы понимаем.

— Ну и что? Вы счастливые?

Он смотрел на их сутулые спины, на их красноватые глаза и сваленные пейсы.

— Но ты доживи до наших лет!

— Зачем мне доживать до ваших лет?

И дед мой ушел из дома молитвы.

Но он ушел из дома молитвы, унося в сердце своем угрызение. Это угрызение злило его, ибо был он молод и горяч и все, что хотелось ему, он делал. И вот угрызение как бы сковывало его и он вырывался на волю из своего угрызения, но оно не отпускало его.

И тогда деда моего позвали сверстники. Его позвали такие же сорванцы и шалопаи, как он сам. Они еще не были стариками, его сверстники, и поэтому позвали его не в дом молитвы, а в шинок Шлеймы Голомозого. Они позвали его в шинок и приказали Шлейме Голомозому выставить им вина. И Шлейма сделал, как они хотели.

Это были кряжистые нарны — хлеборобы и гуртоправы. Они не рассуждали о грехе в доме молитвы, они брали быка за рога в шинке Шлеймы Голомозого. Ибо если не взять быка за рога — бык может забодать. А если взять быка за рога, так даже бык сообразит, что есть у Господа закон на этой земле и есть время бодаться и время впрягаться в ярмо. И есть время шалить и время платить за свои шалости. И они сказали моему деду:

— Мендл, ты женишься на Мере. Ты нас понял, Мендл?

И мой дед их понял.

И дед мой женился на моей бабке.

Когда же он женился — глаза его открылись и он увидел красоту ее собственными глазами, он увидел кротость ее и верность. Она не знала грамоты, но ум ее был прост и надежен, как бывает прост и надежен ручей, вертящий мельничное колесо.

Бабка моя рожала раз в два года.

Сначала трех мальчиков — в девяносто четвертом, девяносто шестом и девяносто восьмом. Затем трех девочек — в девятисотом, девятьсот втором и девятьсот четвертом. После этого наступил перерыв в пять лет и в девятьсот девятом бабка моя родила мальчика, в девятьсот одиннадцатом — девочку, в девятьсот тринадцатом — снова девочку и в девятьсот пятнадцатом — последенького.

Дети, рожденные после перерыва, весьма отличались от старших своих братьев и сестер. Они были рождены как бы для нового века, еще неведомого и загадочного. Мальчик девятого года стал бешеным коммунистом, девочка одиннадцатого года — покорной и неспособной к самовыражению. Зато девочка тринадцатого года стала яростной комсомолкой, а последенький — читателем газет, выпивохой и слесарем. Его я любил больше всех. Может быть, оттого, что разница в нашем возрасте была невелика, всего шесть лет, и дядюшка мой еще ходил в школу, когда я только поступил в нее.

Школы у нас были разные. Дядюшка ходил в школу для детей лишенцев, а я в обыкновенную трудовую, поскольку отец мой был по социальному положению советский служащий...

V

Двадцатый век начался с поворота на войну.

Война накапливалась исподволь, вызревая в мирной жизни.

Война намечалась на краю света — в Японии. Что там делать в той Японии, таврические мужики и колонисты не знали толком, зато знали они, что власть повезет туда рекрутов, оторвав их от мирного бытия.

Говорили, будто Государь Император все никак не может простить япошкам, как они саданули его палкой по башке, когда он, еще Наследником-Цесаревичем, посетил ту дальнюю страну. Больше десяти лет прошло с той обиды, и вот государь нашел время поквитаться. Должно быть, ждал, пока протянут железную дорогу до Тихого океана, чтобы везти по той дороге солдат. Говорили также, что еще тогда, более десяти лет назад, государь, будучи наследником, возвратившись в пределы Империи, собственноручно прокатил от Владивостока саженей тридцать первую тачку песку для насыпи той дороги. И еще говорили, что напросился он у своего августейшего отца быть главным начальником строительства дороги, чтобы не томиться. Такие у него были дальние планы отмщения. Покойный государь Александр Александрович Миротворец соизволил склониться, понимая, что строить-то будет все равно граф Витте, а стало быть, дорогу протянут.

Так или иначе, а Империя уже гудела предвестием войны. И, конечно, вспыхивала бунтами и погромами.

Японскую войну Россия проиграла, хоть государь и пообещал закидать япошек шапками.

Дед мой говорил, что, действительно, закидал бы, если бы хватило шапок.

Многих мужиков не досчиталась Таврия от той далекой войны. Многие геройски ушли матросами на дно чужого моря, многие еще долго возвращались из далекого плена — кто покалеченный, кто больной, а кто и — ничего — здоровенький, пригодный для дальнейшего крестьянствования.

Зато выросли на крымском берегу поместья скоробогатеев, ибо господа интенданты разворовывали войско. Разворовывали так, что ни шапок не хватало, ни ружей, ни пушек, ни кораблей, ни подштанников, ни обуви.

И тогда уже не вспышками, не погромами — яростными бунтами запылала страна.

Надо было что-то делать в огромной стране, надо было как-то переиначивать ее житье-бытье, надо было как-то окорачивать самодержавие, ибо ясно становилось, что все беды империи — от упрямой самодержавной власти.

Министром внутренних дел был тогда Булыгин, но дед отношения к нему не имел, а имел он отношение к екатеринославским разговорам о том, каков должен быть парламент в России. Название тому парламенту было определено чисто русское — Государственная Дума. Кто-то даже говорил, что лучше бы назвать и вовсе по-славянски — Вече, а, может быть, Собор. Дед мой не очень верил по первым порам, что в России возможен парламент. Его удручали споры — как назвать народное представительство, будто в названии суть.

В конце лета объявлено было от министерства внутренних дел положение о созыве Государственной Думы. Однако дума все не созывалась. В больших городах бунтовали мастеровые и нужно было что-то решать и поскорее. Бог с ней с Думой, лишь бы утихомирить государство.

Бабка в политику не лезла. Но она понимала эту политику по-своему. Как-то, будто бы ни с того ни с сего, она сказала деду:

— Мендл, если у тебя уже есть царь — не проси лучшего...

— Почему это я не могу попросить лучшего царя?

— Потому что лучших царей не бывает... Царь — это царь... И убереги нас, Боже, видеть его и слышать его... Пускай он сидит себе на троне... Не буди лихо, Мендл, нехай спит... Скажи им — не дай, Бог, если он встанет со своего трона...

Это относилось к екатеринославским собеседникам моего деда.

Бабка как в воду глядела.

В середине октября царь приподнялся и объявил-таки с трона свободу. Россия возрадовалась и возликовала.



Однако свобода, дарованная царем, воспринималась русским человеком не только как повод для ликования и патриотства. В Одессе, в Киеве начались погромы. Но если в кишиневском погроме пролилась кровь почти безответно, то одесские молодые евреи запаслись оружием и отстреливались весьма метко.

Царский манифест дал свободу бунтам, и были те бунты уже не погромами, а войной против власти. Ибо когда власть дает свободу, она должна подумать, чем та свобода обернется в непривычной к свободе стране.

И пришли солдаты, и полилась кровь, и не еврейская кровь, что было бы не удивительно, а кровь христианская. Ибо если христиане начинают стрелять — они стреляют один в другого и хватают один другого и куют один другого в железо.

Однако Государственная Дума состоялась. В нее были избраны ученые люди — профессоры, и адвокаты, и землевладельцы. И дед мой поверил, что некоторое послабление в сторону здравого смысла в России все же предвидится.

Дед ездил в Екатеринослав, и там шли разговоры о том, что надо устроить вселенский запас земли и в тот запас определить земли казенные, кабинетные, монастырские, а также отобранные помещичьи, за которые уплатить помещикам из казны. Но главное, о чем разговаривали в Екатеринославе — о том, что ведать землею должны не из Петербурга, а местные самоуправления, выбранные самими местными обывателями. Дед полагал такой оборот дела справедливым.

А в Сибирь тянулись арестанты. Они расплачивались за то, что царь приподнялся с трона, чтобы даровать свободу.

Некоторым арестантам удавалось бежать. Иные бежали в таврические степи, привольные, сытые, и в общем, незлобивые, где рассчитывали укрыться от розыска.

На хуторе появился молодой беглец, с виду — кацап, светлородый и светлоглазый. Дед привез его из Екатеринослава и сказал, что это — домашний учитель для маленьких. Маленьких было, слава Богу, уже четверо. То есть старшенькие — Гриня и Марк — были уже большими, жили в Мариуполе у тети Песи и ходили в реальное училище. Дед считал, что мальчики должны учиться в реальном училище, а девочки — в гимназии. Потому что мужчина должен содержать семью, а девица выйти замуж за достойного человека и стать достойной женой. Но пока маленькие были еще маленькие и дед мой привез им из Екатеринослава домашнего наставника.

Бабка не очень понимала, чему учит детей этот наставник. Но она понимала, что привезен он для того, чтобы скрыться от полиции...

VI

Семейные предания вперемишку со старыми книгами, вперемишку с житейскими наблюдениями, вперемишку с размышлениями о том, каков бывает человек в различных обстоятельствах бытия — будоражат воображение. И воображение становится странной реальностью, которая существует только на бумаге, но существует прочно: ее можно перелистнуть и вернуться к ней снова, и она, эта странная реальность, всегда будет жива, всегда будет ждать лишь поворота страницы, чтобы возникнуть вновь и вновь.

Жизнь ушла, истлела, иссякла, жизнь никогда не повторится, а эта странная реальность — вот она.

Учитель был аристократом.

Подлинного своего имени он не открывал, назывался Николаем Петровичем, но дед мой не сомневается, что это — кличка.

Что толкало молодых респектабельных русских аристократов на каторгу? Вина перед народом? Мечта? Иллюзия? Миф? Книги?

Дед полагал, что толкало их безделье. Их энергия, знания, безусловно, бескорыстная страсть добиться для народа счастья и справедливости уводила их в подполье, бросала в конспирации и в конце концов завершалась каторгой.

Русское освободительное революционное движение зародилось, все-таки, в барских усадьбах, так сказать, на всем готовом. Окруженные толпою холопей, молодые бары читали Вольтера, Смига, Руссо в подлинниках и стремились

перенести на русскую почву идеи свободы, равенства и братства. Они думали, что перевод с языка на язык — это перевод с жизни на жизнь. Но они ошибались. Русская почва выращивала не только философов, склонных к общественному договору. Она выращивала Разиных, Пугачевых и Калиновских. И росли эти всходы там, где жилось сытнее — подальше от усадеб с крепостными холопами. Заботники народные, вскормленные убогим трудом своих крепостных, были не просто чужды своим кормильцам — они были иной плотью, иным тестом, иной породой. У них были разные способы пропитания. Для тяглых людей — баре, которые гонят на каторгу, и баре, которых гонят на каторгу, были все одно барам, то есть теми, кого велено кормить и кому велено кланяться. А что они временами грызутся между собою — на то их барская воля.

Так или почти так дед мой втолковывал беглому аристократу свои воззрения на житье-бытье в Российской империи.

— Как видите, — говорил дед, — я ничего не имею против ваших взглядов, здесь вы — в полной безопасности. Но мне кажется — для того, чтобы была свобода, равенство и братство, мало читать Вольтера. То есть его можно читать, но когда есть свободное время. Вот лежит «Фигаро», я ее еще не читал. Потому, что началась бескормица и надо спасать стадо. У свободы такое свойство, что ее толкует каждый по-своему.

Учитель, должно быть, понимал, что перед ним — отсталый человек. Но из снисхождения к человеку, давшему кров и пищу, старался не возражать. Иногда они говорили по-французски. Учитель говорил по-французски с детства — легко и красиво. Дед произносил звуки, предназначенные для прононса и грассирования, грубоватым русским проговором. Учитель сказал, снисходительно улыбаясь:

— Вы говорите на языке Вольтера, как на латыни. Так, вероятно, говорили римские легионеры.

Среди дедовых работников (а было их всегда два-три) особенно выделялся смысленный малый Василь.

Учитель подружился с Василем, как может подружиться образованный барин с тянущимся к свету истины своим холопом. Он называл его «товарищ Василий» и непременно на «вы».

Работник Василь был философ. Он был пришлый, откуда-то с харьковщины и за что-то отсидел в екатеринославской тюрьме — то ли за драку, то ли за кражу, то ли за политику — дед не допытывался. Когда дед нанял его, бабка сказала деду, но так, чтобы слышал и Василь:

— Когда человек работает плохо, так это — нехорошо.

Она говорила на русско-украинском языке и сказанное на этом языке было переводом с идиш.

Василь работал хорошо, руки у него были складные, однако своего хозяйства заводить не мечтал. Он любил говорить о хозяйстве, но не заводить его. Временами на Василя находил запой и он отлеживался в конюшне (любил коней) — дед не трогал его. Запой на Василя находил не в страду, а как бы в затишек крестьянской работы.

Учитель разговаривал с Василем, как с маленьким. Простые очевидные житейские истины, ясные Василю сызмальства, учитель облекал неведомыми словами, придавая этим истинам недостижимое мистическое значение. Беседы с учителем отвлекали Василя от дела, как-то сами по себе звали выпить, чтобы прояснить голову. Но выпивал Василь один или с такими же батраками, как сам, не смея выпивать с этим барином.

Учитель говорил о классовой борьбе, об эксплуататорах и эксплуатируемых, а Василь примеривал к живым, знакомым людям, кто к какому классу прилагается. Дед мой был, конечно, эксплуататор, а сам Василь — эксплуатируемый, потому что не владел частной собственностью — то есть, проще говоря, не было у него ни кола, ни двора, ни коняги. То есть был он пролетарий. Однако Василь почему-то не страдал от своего состояния, учитель же втолковывал, что должен страдать. Учитель говорил складно, увесисто, и складные слова его вызывали в Василе робость непонимания и зло на самого себя за неловкое устройство своей

башки. Вот же все ясно — Михайло Абрамович принимает от батрака прибавочную стоимость, каковая прибавочная стоимость есть богатство, которым хозяин никак не делится с наймитом. Но с другой стороны, Василь никак не желал держать в голове то, что держит хозяин — все это хозяйство, и думать о сапе, или о налогах, или о том, чего сеять, чтобы не прогореть. Василь желал быть вольным ото всего и вылавливал из слов учителя утешение, что в том царстве-государстве, за которое учитель страдает по каторгам — вольными будут все — каждый хочешь работай, хочешь — песни пой. Но и утешение это, приманив своей раскрепасной видимостью, все же наталкивало Василя на сумление, ибо с титешных годков замечал он, что растет лишь посеянное и от песен еще ничто не вырастало, а кушать надо каждый день.

В минуту такого сумления он спросил, кашлянув от почтительной робости:

— А сами то вы, Николай Петрович, из каких будете? К какому классу принадлежите?

— Я служу интересам пролетариев, — сказал учитель.

— Значица, моим интересам, — смелел Василь.

— В том числе и вашим.

— Интересное дело получается, — хмыкнул Василь, — я служу Михайле Абрамовичу, а вы — мне. Он мне жалованье дает, а я вам — разговоры...

Учитель с усмешкой принимал наивность простого человека.

— Не все так просто, товарищ Василий, дело не в жалованье, а в идейном объединении ради общей цели. В будущем обществе классов не будет, не будет эксплуатации, не будет никакого жалованья.

Но главный вопрос Василь учителю не задавал. Будучи человеком простым и практическим, он понимал, что поставит учителя в неловкое положение. Как же поступить в том царстве-государстве с Михайлом Абрамовичем, который покуда кормит и прячет от полиции? Куда его, к примеру, девать? Ну, коней, скажем, заберем, землю заберем. А самого куда? Этот вопрос Василь не задавал, думая про учителя беседы по-своему: сказки все это.

Ибо был в Василе Бог. Может быть, феномен морали покуда — мешал Василю взяться за вилы. Но Василь не читал Ницше в подлиннике. Он еще не знал, что доктрина совести приносила практический вред пролетариату. Это ему толкуют ученые люди, ринувшиеся служить интересам пролетариев.

VII

Николай Петрович щадил дедову деликатность. Он исчезал из хутора на несколько дней — будто бы на прогулку, но, разумеется, исчезал он по подпольным своим делам.

Деда забавляла детская конспиративность, в которую играл учитель. У Николая Петровича была свитка, были черные очки, иногда деду казалось, что борода у него наклеенная. Что исповедовал учитель, дед не понимал. Учитель читал Прудона по-французски, Маркса по-немецки, Адама Смита по-английски. А дед мой думал — сколько трудов стоило воспитать этого молодого человека, который носит машкерадную свитку и черные очки. Как-то он пытался заговорить с учителем о его родителях. Учитель смотрел честными непонимающими серыми глазами и уходил от разговора.

— Как вам трудно жить, всего и всех опасаясь, — говорил дед.

— Наоборот! — парировал учитель. — Мне легко! Я обрубил прошлое, будто его и не было!

— Но ведь оно было! И от вашего прошлого вы оставили при себе кое-что. Например, образование, знание языков. Этим вы обзавелись именно в прошлом, которое обрубили.

Учитель смеялся:

— Вы странный человек, Михаил Абрамович! Ничто так не мешает революции, как феномен морали! Я взял от обстоятельств то, что они могли мне дать, но взял их для того, чтоб они служили великой цели!

— Что же тогда вы обрубили?

— Михаил Абрамович! Мир, в котором мы живем — обречен! Его я и обрубил! В конце концов, его обрубит и все человечество!

— Стало быть, вы как бы предтеча нового мира? Но тогда что же это будет за жизнь, если вы, предтеча ее, все время оглядываетесь по сторонам, конспирируете и прячетесь?

— Но ведь и вы не все делаете в открытую? Вы ведь стараетесь купить дешевле, продать дороже! Вы ведь не раскрываете своих замыслов контрагентам? На этом, собственно, и построена эксплуатация!

— Николай Петрович, я занимаюсь торговлей. Мораль этого занятия проста и открыта: успеть вовремя. Вовремя посеять, вовремя купить, вовремя продать. Этого никто никогда не скрывал. В чем же заключается суть вашего занятия? Вы ведь все время притворяетесь. Неужели вы думаете, что Василь, которому вы оказываете честь своей странной дружбой, верит вам?

— А неужели вы думаете, что он верит вам, когда вы сажаете его за стол рядом с собою?

Дед удивлялся:

— Во-первых, я его не сажаю рядом с собою. У него — свое место за столом. Он работник, а я — хозяин. И он это понимает. А во-вторых — он работает за этот стол. Если вам угодно знать мои воззрения — я их вам скажу открыто. Мне кажется, основа общественного благополучия — равная пища. Равная для работника и для хозяина.

— Но ведь так не бывает!

— У меня не бывает иначе.

— Но вы ведь тоже недовольны существующим общественным строем!

— Не доволен. Но я не доволен тем, что в нем нет закона.

— О каком законе вы говорите?

— О законе государства. О законе, который обеспечивает равные условия, чтобы стать хозяином и стать батраком.

— Но это же смешно, Михаил Абрамович! Не закон определяет движение жизни, а классовое противоборство! Общество делится на классы!

— Я не думал об этом, — смутился дед, — но мне кажется, общество делится на людей...

Законы Российской империи писаны были не только для здравого смысла, но и для того, чтобы при них кормились чиновники. Пятерки, десятки, реже — четвертные вполне удовлетворяли писарей, урядников, приставов, чьи сердца размягчались, а очи обволакивались куриной слепотой, когда длань их ощущала шуршание купюры. Пятерки, десятки, реже — четвертные ощущались на том житейском уровне, на котором, собственно, и происходила житейская жизнь. На этом уровне не хрустели катеньки и петруши, ибо российский чиновник знал, что — по Сеньке шапка и брал по чину. Катеньки и петруши залетали слишком высоко для его роста. Они залетали туда, где простодушная житейская истина звучала на бронзовой недоступной латыни: что позволено Юпитеру — не позволено быку.

Дед имел дело с быками, он не задира голову, Юпитер не занимал его.

За стол садились человек пятнадцать — дети, работники, пришлые люди.

Как-то прибыл исправник.

Дед посадил его рядом с учителем, которого этот исправник разыскивал.

Ни дед, ни учитель исправника не опасались.

В развращенной стране законы не могут действовать. Они служат либо способом обогащения, либо орудием устрашения, либо предметом насмешки. Исправнику было выгодно не брать разыскиваемого и он — не брал. Было бы выгодно взять — он взял бы. Быть в ладах с законом означало быть в ладах с исполнителем.

Когда начальство прикажет исправнику под страхом кары очистить повет от беглых революционеров — он предупредит деда. А пока они сидели за столом и разговаривали как люди одного класса.

Однажды на подворье появился какой-то странный человек неопределенного возраста, немый, неухоженный. Если бы не блаженное безгрешное лицо его, заросшее клочковатой, уже седеющей бородой — совсем бы грабитель и вор. Он явился к Николаю Петровичу, и они о чем-то говорили за клуней. Человек этот принес довольно тяжелую котомку. Дед не сомневался, что в котомке той — брошюры или прокламации. Николай Петрович спросил у деда позволения накормить пришельца. Дед не возражал. Им накрыли столик там же, за клуней.

Пришелец оказался не чужд бутылке. Когда он выпил первую рюмку, темные глаза его просветлели, он как-то помолодел и неухоженность его отдалилась и сделалась несущественной.

Учитель говорил, изящно управляясь прибором, но время от времени откладывал вилку и нож, беря пищу руками.

— Михаил Абрамович,— говорил учитель,— ваши воззрения весьма близки к воззрениям Всеволода Михайловича (он элегантно метнул ладошку на гостя).

— Чем же они близки?

— Всеволод Михайлович — анархист. Я не согласен с целым рядом его позиций, как, впрочем, и с вашими. Но он самобытно трактует Кропоткина и Прудона.

Учитель говорил вальяжно, снисходительно, как барин о дворежном, отличающемся какой-то особенностью. А дед мой думал, что этот Всеволод Михайлович не родовой аристократ. В разговоре выяснилось, что отец его — одесский врач, а что сам он — фактор какой-то типографии в Мариуполе. (Отсюда и котомка с брошюрами). Всеволод Михайлович конспирировал плохо, неумело. Водка развязывала ему язык. Фамилия его была Волин — безвкусный псевдоним многих борцов за свободу. То, что это — псевдоним, выяснилось довольно быстро: гость назвал фамилию своего отца — доктор Эйхенбаум.

— Но я порвал с прошлым,— сказал гость.

— Да,— кивнул дед,— это главное условие революционеров.

И все-таки гость заинтересовал моего деда.

В России гремело имя Петра Аркадьевича Столыпина, человека жесткого и непримиримого в проведении своих государственных реформ. Столыпинские реформы, поставившие целью разрушить крестьянскую общину, сотрясали страну. Одни называли Столыпина — председателя Совета министров и одновременно министра внутренних дел — великим преобразователем, другие — сатрапом и вешателем.

Дед мой, человек земной и немногословный, чуждый отвлеченным рассуждениям о благе народном, видел в столыпинских реформах определенную угрозу самодержавию. Он видел, как мелкие чиновники сопротивляются этим реформам и чувствовал за ними мощную невидимую поддержку высших государственных сфер. Столыпин — был как бы огражден непроницаемой стеною. Община была основой самодержавного правления, ибо лишала производителя сельского продукта полной свободы действий, то есть полного священного права собственности. Столыпин же хотел создать в России именно класс собственников. Россия сопротивлялась. Столыпин не останавливался в мерах пресечения. Он разрушал общину, не гнушаясь ни виселиц, ни насильственных отселений. Он как бы сознательно поддерживал свою непопулярность.

Революционеры, разумеется, были яростными противниками Столыпина. Одни из-за того, что почитали общину основой русского социализма, другие из-за того, что Столыпин укрепляет класс эксплуататоров, третьи из-за того, что Столыпин торопит Россию,— но все сходились на том, что Петр Аркадьевич — вешатель и сатрап, то есть истинный слуга самодержавия.

Дед сказал:

— Николай Петрович, вам ненавистен Столыпин, но ведь и власти он не по душе. Как совместить вашу нелюбовь к самодержавию с нелюбовью к Столыпину, который этому самодержавию — поперек глотки?

— Они — одного класса! — парировал учитель.

— Но ведь и вы — того же класса, что и они...

— Я порвал со своим классом!

— Так, может быть, и Столыпин порвал?

— Как же — порвал, если он пользуется методами насилия, присущими его классу?

— Но ведь и вы пропагандируете методы насилия?!

Пьяненький Эйхенбаум рассмеялся:

— Я думаю, диктатура, которой добиваются эсдеки — и есть насилие, позавистованное у самодержавия! Мы отрицаем государство как аппарат насилия! Вот скажите, Михаил Абрамович, вам нужно государство? Именно вам, производителю сельского продукта?

Дед пожал плечами:

— Не могу сказать, что государство возит на мои поля навоз или налаживает мне жатку-лобогрейку.

— Вот! — смеялся Эйхенбаум. — Добровольный договор производителей! Добровольное соглашение! Здесь нет места вашей диктатуре пролетариата, Николай Петрович!

Учитель возражал:

— Все блага нужно рассматривать как продукты труда! Источник ценности — труд! А труд и капитал — непримиримы!

— Они непримиримы, пока существует государство! Производство анархично по самому своему существу! Уберите государственную удавку!

Эйхенбаум больше не приезжал к Николаю Петровичу. Как-то учитель сказал деду:

— Нужно организовать все силы на борьбу с самодержавием. Анархисты, эсеры, социалисты всех мастей — пожалуйста!

— Прибавьте к этим силам и Столыпина, — посоветовал дед.

— Нет! — твердо отрубил учитель.

VIII

А к зиме надвигалась бескормица, мясо дешеVELO, начинался забой.

Дед ездил по селам и платил за бычков, как за мясо, но за бычков пока еще живых, хотя и трудно стоящих на ножках.

Бычки эти, телята, лежали на повозке, в соломе, тихо, безразлично, и жизни в их слабодышащем нутре оставалось немного — дня на три-четыре.

Дед свозил этих телят к себе на хутор и клал их на солому в хлеву мордами к жолобу, в котором находилась дерть, разболтанная в барде сахарного завода Бродского. Телята лизали эту похлебку последними силами, и крепили малопомалу и становились на ноги, и входила в тех телят резвость жизни. Барда была сладковата, пахивала пареным буряком, она начинала бродить на дерти, на отрубях, но дед следил, чтобы было ее немного, чтобы брожение ее гасло, а работник Василь, приставленный к телятам, был уверен, что никудашные телята воскресают от самогона, который таился в барде.

Телята становились на ноги, обрастали плотью, шерстка их уже не топырилась — лоснилась, как намыленная.

— Михайло Абрамыч, — говорил работник, — пьяниц лепим — накажи меня Бог!

На бычков этих приходили смотреть по весне, когда являлись мариупольские прасолы отгонять упругое стадо.

Мужики глядели на стадо, удивлялись:

— Мы дывы, що жида роблять... Мабуть им известно замороженное слово. Тут не без ихнего нечистого жидовского сатаны.

Дед спрашивал:

— Какое такое замороженное слово?

— А такое слово, что у нас бычки дохнут, а у вас — он яки! Отчего такое?

— Оттого, что вы — дураки.

— Може и дураки... Это еще неизвестно...

— Известно! — говорил дед, — я вам что ли бескормицу устраиваю? Поезжайте к Бродскому — он барду в канаву выливает, он еще приплатит, чтоб вы ее забрали.

— Непривычно, Михайло Абрамович, непривычно.

— Привыкайте, — вставлял работник Василь, — а то сами самогон жлекаете, а скоту жалеете...

Но замороженное слово знали не только жида или немцы-колонисты. Открывало то слово свою тайну также и хохлам-хуторянам, которые отселялись помалу, по новому закону. У тех мужиков и хлеб был не хуже, и скотина и прочая живность.

Однако боязно было отделяться на хутора. Это вроде бы как спали все под единой кошмою и вдруг — на тебе! — справляй себе особую ряднину, да подтыкивайся со всех сторон, чтоб другой не залез — хоть сват, хоть брат, хоть кто угодно.

Непривычно, словом.

IX

Главный вопрос, все-таки, мучил работника Василя. Как же быть, все же с Михайлом Абрамовичем в том справедливом царстве-государстве, о котором учил Николай Петрович? Он никак не мог накачать в себе классового гнева против хозяина. И эта трудность наталкивала его на оправдание того обстоятельства, что он, православный христианин, нанялся батраком к жидам. Он даже выработал свою концепцию христианства, которую излагал в беседах с Николаем Петровичем.

— Христос принял муки за чело^веков. А был он из жидов. И племя это доселе принимает муки за чело^веков. Про Христа кричали — распни его. И про жидов будут так кричать до скончания века.

Учитель разъяснял Василью, что религия — это сказки, выдуманные эксплуататорами для обмана трудящихся, а Василь пытался уловить, где ж тут сказки, если все так складно понимается и все есть как есть на самом деле. Тем более — Михайло Абрамович, будучи эксплуататором, ни одной сказки трудящемуся своему батраку не рассказал.

Василь все больше подпадал под влияние Николая Петровича, отягчая себя новыми неведомыми ему прежде сомнениями, на которые искал управу в самом себе. Он старался ожесточить себя против моего деда, но вместо ожесточения находил резоны, которые все больше мрачили его и озливали. Перед запоем Василь поучивал мужиков:

— Ось вы брешете — жиды, жиды, чи, скажемо, лютераны... А зерно в их бачили яке? Ну що, що вони лютераны?

Мужики, кто пообразованнее, возражали для порядка беседы:

— Жиды не лютераны, воны Христа распяли...

— А ты бачив ях вони його разпиналы?

Василь серчал. Его врожденный интернационализм был хорошей почвой для классовых посевов Николая Петровича.

Мужики, кто пообразованнее, все же не сдавались:

— У них — шинки... Бачив, яка у нас п'янь?

— Ну и шо? Вони тебе тягнуть у ти шинки?

— Тянуть не тянуть, а коли есть шинок — мимо не проскочишь...

Это была святая правда. Мимо шинка проскочить было трудно.

Исправник предупредил деда, а дед предупредил Николая Петровича: власть очищает уезд от революционеров.

Николай Петрович исчез вмиг — вот был и не стало, будто не было. Деда рассмешила эта поспешность, она была похожа на детскую игру. Бабка же сказала:

— Надо пересчитать ложечки...

— Ну, ну, — сказал дед, — ложечки... Он даже жалованья в расчет не взял...

— Мендл, — сказала бабка, — может быть он дитя благородных родителей, но когда человек не живет, а все время скрывается — за ним нужно посматривать...

Пропагандистская деятельность Николая Петровича оставила глубокий след в душе Василя. Василь не ввязывался в разговоры с дедом. Но после исчезновения господина учителя случилось событие, всколыхнувшее империю: в начале сентября убит был премьер-министр Столыпин. Выстрел в Петра Аркадьевича прогремел по всей стране и первая новость состояла в том, что стрелял еврей.

— Что ты скажешь теперь? — спросил дед Василя.

Василь был мрачен. Ответ его удивил деда. Василь сказал:

— Угнетенные народы первые идут на борьбу с самодержавием.

— Это ты сам придумал или тебе Николай Петрович сказал?

— Что ж, у меня своей головы нету?

— Нету, — сказал дед.

Василь обиделся, озлился.

— Теперь все свалят на евреев, — сказал дед, — а убили Столыпина свои.

— Выходит, Столыпин — революционер? — язвительно спросил Василь.

Но дед ответил совершенно серьезно:

— Выходит, что революционер. Потому и убрали.

— Чудно вас слушать, Михайло Абрамович! Как же это понимать — главный министр при царе — революционер!

— А ты думаешь революционеры — это кто от исправника прячется? То не революционеры. То — бунтари.

— А кто ж по-вашему революционеры? — спросил Василь.

— Революционеры — это которые суть жизни меняют... Нет хозяина на русской земле, а надо, чтоб был. Надо суть менять — чтоб был хозяин. Будет хозяин — будет достаток. А будет достаток — заживут люди открыто и полиции делать будет нечего.

— Чудно вы говорите, Михайло Абрамович. А как же тогда — классовая борьба, за которую люди на каторгу идут?

— За классовую борьбу ничего тебе сказать не могу. Одно скажу — на классовой борьбе хлеб не растет, хоть мотайся ты по каторгам всю жизнь.

Несколько дней Василь помалкивал, думал, должно быть. И вдруг спросил у деда:

— Что ж, выходит, Столыпина царь убил?

— У тебя своя голова есть, — сказал дед, — думай сам... Надо у Зоммера два катка взять, а то с обмолотом не управимся до дождей... И Каурый расковался...

— Сам подкую, — кивнул Василь, — я говорю, Зоммер локомобиль ставит...

— На тот год купим, — сказал дед.

X

Дед ночевал у тети Песи и явился к Гершелю Непомнящему раненько утром.

Лавка Гершеля Непомнящего помещалась неподалеку от Мариупольского порта. Гершель происходил из кантонистов. То есть Господь не очень пристально наблюдал за его отклонениями от закона. Гершель Непомнящий жил бобылем, бакалейное дело его шло хорошо и никто не удивился бы (и не удивлялся), когда выяснялось, что мариупольские контрабандисты знали дорогу в Гершелеву лавку лучше, чем того хотела бы таможня. Но — что интересно — даже схваченные контрабандисты не называли Гершеля, а адвокаты этих контрабандистов имели у него кредит. Контрабандисты не засиживались в тюрьме — им было некогда, дело не ждет и Гершель Непомнящий понимал это сам и умел внедрить свое понятие тем, кто ведал судьбою узников.

И было у Гершеля, как бы в отдохновение души, правило блюсти закон Господа среди еврейских клиентов. Товары свои он держал в таком порядке, что даже самый придирчивый хасид оставался доволен, ибо трепное у Гершеля содержалось отдельно от кошерного. Нельзя сказать, чтобы он не торговал трепным, он торговал всем. И то, что могло вызвать сомнение — кошерное ли? — содержалось у него отдельно. Он, например, не знал, можно ли евреям кушать устриц, ибо сказано в законе: не станешь ясти от гадов без чешуи. С одной стороны, устрица не имеет чешуи, но с другой стороны — она не гад, то есть не рыба. Вот и стой над ней и думай — куда ее сунуть, в трепное или в кошерное, — если ее привезли греки, минуя таможню, она еще живая и надо успеть ее продать вместе с лимонами, которые таможню прошли.

Дед мой приезжал к Гершелю Непомнящему закупать провизию на зиму. Он закупал ее бочками, мешками, рогожными кулями и ящиками. Гершель встречал моего деда на пороге своей лавки и вел к себе в закуток, оставив лавку на двух приказчиков. Туда, в закуток, приносили вина, немного горилки, солений, мочений и копчений. Они разговаривали о погоде, о политике, о европейских новостях, известных Гершелю Непомнящему от мариупольских шкиперов и контрабандистов и проверяемых им у своих ученых клиентов, среди которых был также и мой дед, получающий газеты из самого Парижа.

Этой осенью было о чем разговаривать, особенно евреям; в Киеве раскручивался процесс над приказчиком кирпичного завода Менахем-Менделем Бейлисом.

— Что это будет, реб Лурье? — спрашивал Гершель Непомнящий. — Нас выселят из России?

— Никто нас не выселит, — говорил дед, — но поугаать — поугаут. Евреи должны быть под рукою... Не будь евреев — не на кого сваливать свои козни. Бейлисом закрывают убийство Столыпина...

— Как закрывают?

— Вы же видите: приехал сенатор Трусевич расследовать дело об убийстве, но сразу был отозван. Для чего? Чтоб не ворошить подробностей. А теперь морочат голову Бейлисом. Там же ничего нет в этой чепухе...

— Но стрелял еврей!

— Ну и что? Вы думаете нельзя нанять еврея для какой-нибудь пакости?

— Кто же его нанимал?

— Не знаю. Я его не нанимал. И вы, я думаю, тоже... Кто его нанял, тот его и повесил сразу после выстрела... Вам дано право вешать? Не дано. И мне — тоже не дано. Думайте сами...

Гершель Непомнящий уважал моего деда. И в закутке они закусывали такой пищей, которая никак не одобрялась в доме молитвы. Они закусывали копченой грудинкой такого животного, которое я даже не хочу называть, и балыком осетра, которого я вынужден назвать, ибо это был как раз «гад без чешуи».

Пока они закусывали и беседовали, речь о законе не шла. Но едва они спускались в закрома, Гершель Непомнящий становился на стражу закона.

Приказчики выносили сушеную тарань и вяленого рыба, в рогожных кулях, они выкатывали бочонки с пузанком — донской селедкой, которую надо уметь солить — и с шемайкой, и распластанного лобана на бечевке, и брикеты лобаньей икры, завернутые в пергамент. Они выкатывали кадушечку красной икры и выносили ящички копченой скумбрии. И еще они выкатывали бочонок греческих маслин, прибывших в Мариуполь с Пелопонесского полуострова, на котором когда-то заварилась вся красота человечества.

И дед говорил, показывая на кадушку с паюсной икрой:

— И еще бочонок этого...

Гершель Непомнящий делал удивленные глаза:

— Реб Лурье! Дус а трейф! Это — трэфное!

— Я что — сказал вам, как это называется? — говорил мой дед. — Несите в бричку! И еще вот это...

И он показывал на полупудовую пластину осетрового балыка.

Гершель Непомнящий пожимал плечами, ибо закон есть закон, а торговля есть торговля.

— Реб Лурье, — советовал Гершель, — возьмите еще бочонок шабли, к нему хорошо идут устрицы.

И приказчики выкатывали бочонок и выносили ушат, прикрыв его камышом, чтобы солнце не напекло — все-таки путь не близок — с утра до темна. И еще они выносили ящик лимонов, переложенных белой стружкой.

На прощанье мой дед спрашивал:

— А что, реб Гершл, мои байбаки вам не очень досаждают?

Байбаки — это старшие дедовы сыновья, которые жили у тети Песи и учились в реальном училище.

— За Марка я вам ничего не скажу, — поглаживал бороду Гершель Непомнящий, — а за Гриню скажу: если ему завязать глаза — он определяет вино по вкусу. У него хороший чуткий язык, дай ему Бог здоровья. Впрочем, у такого отца — не могло быть иначе.

Это была лесть, и дед мой понимал, что это — лесть. Вынув из-за голенища вишневою кнутовицу и усаживаясь боком на бричку, дед говорил:

— Пореже ему завязывайте глаза, реб Гершл. Не хватает мне еще шкуруника¹ в доме.

— Реб Лурье, — прижимал ладонь к груди Гершель Непомнящий, — поверьте мне — у такого отца никогда не вырастет шкуруник. Гриня будет винодел.

Реб Непомнящий был провидец. Гриня, действительно, стал чем-то вроде винодела. Лет через двадцать он будет ведать всеми винными и коньячными запасами нашего города и располагать великим кредитом доверия местного начальства — как партийного и советского, так и некоторого другого. Он будет чувствовать себя настолько прочно, что позволит в узком кругу называть власть рабочих и крестьян босяками, ни разу не поплатившись за это.

¹ Шкуруник — пьяница (евр. жарг.).

Однако и провидцы ошибаются. Шикурник у такого отца, как мой дед, все-таки вырос. В те времена, о которых я рассказываю, он еще не родился. Это будет дедов последний, мой младший дядя Давид, читатель газет, франт, слесарь и выпивоха. Он мне нравился больше всех моих родичей.

XI

В шинке Шлеймы Голомозого на Пасху гуляли батраки с соседних экономий и хуторов. Они пели песню. Голоса их, слаженные, певучие, наталкивали на мысль, что это — церковный хор. Но спевок у них никогда не было. Они пели слаженно с детства. Это была особенная малороссийская чуткость к песне.

Они пели, вдумчиво глядя в одну точку и слегка набычив головы, будто излагали давние мысли, наконец, дождавшись часа, когда можно их изложить.

*Ой наступала та чорная хмара,
Став дощ накрапати.
Ой то збиралася бідна голота
До корчми гулять.
Пили горілку, пили наливку,
Ще й мед будем пить.
А хто з нас, братця,
Буде сміятися,
Того будем бить.
Ой іде богач, ой іде дукач
Насміхається:
— Ой на що, на що бідна голота
Напивається?
Ой беруть дуку за чуб за руку,
Третій в шию б'є:
— Не ходи туди, собачий сину
Де голота н'є...*

35

Шлейма Голомозый служил им бесшумно, в шинок никто не заходил, батраки пили как пели: вдумчиво, не перебивая ни песни, ни питья разговорами.

Но дед мой в шинок вошел.

Увидев деда, работник Василь нехорошо блеснул глазами. Вон он — дука, которого надо за чуб, за руку! Дед усмехнулся и попросил чарочку. Василь пьяно катал желваки, придумывая разговор.

Для того, чтобы взбунтоваться, для того, чтобы крошить и убивать, толпа должна быть упоена простой, ясной и четкой задачей. В то время она еще не была упоена ясной и четкой задачей. Беглые революционеры вырисовывали эту задачу перед толпой. Но покамест толпа только еще грозила.

Назавтра, когда Василь отрезвел, дед сказал ему:

— Ты начинаешь проповедь свой ум... Думаешь я тебя выгоню? Я тебя не выгоню. Может быть, ты опомнишься.

Давние екатеринославские разговоры не пропали бесследно. Прошло шесть лет с первой Государственной Думы. Было тех дум — три. И вот намечалась Четвертая Дума и в выборах той думы дед уже принимал участие, не заметив, как стал политиком.

Люди становятся политиками не по одному своему желанию. Иной может мечтать о политической карьере и даже владеть какой-нибудь идеей, но так и не станет демагогом, то есть олицетворителем нечетких интересов какой-нибудь группы населения. Люди становятся политиками по странному, не подчиняющемуся никаким замыслам стечению обстоятельств. Интриги и опасные игры, затеваемые ими, либо сгорают в роковой борьбе за главенство, либо сохраняются, чтобы уже в самом главенстве этом расталкивать менее удачливых

и взбираться по их спинам и головам все выше и выше, покуда новый интриган и игрок, доселе неопасный, вдруг выкинет неожиданный вольт или нащупает невидимую прежде жилу и разрушит складывающуюся было стройную пирамиду демагогии.

Дед мой пошел в политики от тех екатеринославских разговоров. Должно быть, рассуждения его запомнились в Екатеринославе, и, когда пришла пора ладить Четвертую Думу, кто-то вспомнил о нем, как о человеке рассудительном и справедливым, ибо рассудительные и справедливые люди и являются теми самыми лошадьми, которых впрягают в свой выезд демагоги.

Третья Дума просуществовала пять лет — ровно столько, сколько ей полагалось по закону, что само по себе вселяло надежду на то, что парламент в России укореняется и в дальнейшем Империя приобщится к европейским обычаям.

Подальше от политики держались хозяева — землевладельцы, арендаторы, колонисты, видевшие резон бытия не в словах, но в результате своих трудов. Опыт же Третьей Думы, продержавшейся полный срок, сдвинул их отчуждение, и Четвертую Думу выбирали с подъемом даже те, кто держался подальше от политики. Дед мой сам не понимая как, ничего не делая для того, — стал участником уездного съезда землевладельцев, представителем общины малой народности и, наконец, выборщиком. Политический резон его был прост: нива, охраняемая законом, даст лучший урожай. Столыпинская реформа, заторможенная гибелью самого Столыпина, виделась деду наиболее правильным направлением хозяйства российского. И видел он в Четвертой Думе надежду оживить труды великого преобразователя.

Дед пошел левее екатеринославского политического деятеля Михаила Владимировича Родзянки. Дед поддерживал прогрессистов, которые занимались не столько патриотизмом, сколько истинными нуждами производства, промышленности, хозяйства. Дед был человек прямодушный. Он не мог предвидеть нарастающего крушения Империи. А может быть, не хотел предвидеть? Он ведь был хлебороб и гуртоправ, то есть человек мирного занятия. А пока человек жив, даже в самые невеселые времена он несет на своих плечах заботы детей своих и внуков и правнуков.

Что бы не накатывалось на страну, как бы ни пировали в ней глупость и бездумие, как бы не буйствовали в ней пустые страсти — есть земля, которая кормит, утешает, обнадеживает. И родит та земля не от словес и заблуждений, а от кинутого в нее весомого ошутимого зерна...

XII

Летом четырнадцатого года моя будущая мама, которой было тогда четырнадцать лет, повезла маленьких в Сладководную. В гости. Она повезла их на бричке о двуконь. От хутора Кобыльного до колонии было версты три и ехать надо было в гору.

Кто видел справногo коня, идущего в гору, тому не нужно много рассказывать про лошадей. Справный конь, идущий в гору, надувается особенным лошадиным тщеславием, которое прибавляет ему силы, бодрости и красоты. Кони легко, трусую преодолели это расстояние, как преодолевали его неоднократно, мама легко управляла выездом. Мариупольская гимназистка ничем не отличалась от иных сельских отроковиц, когда брала в руки вожжи.

Они приехали к старой дедовой двоюродной сестре, бездетной, безмужней, доброй как тихая летняя погода. Старуха души не чаяла в племянниках. Она пекла крендельки с маком и, должно быть, испытывала особенное счастье, когда крендельки эти поедались, запиваемые топленным молоком. Молоко с толстой коричневой пенкой в высоком глечике томилось на шестке огромной русской печи, называемой в этих местах почему-то груба. Тетка всякий раз встречала племянников, будто наконец дождавшись из дальних странствий. Совсем маленькие Аббасик, Олечка и Тасечка побежали во двор смотреть на цесарок. Это были такие серенкие курочки, совсем не похожие на курочек. Тетка придавала особенное значение яичкам цесарок. Она носила эти яички в Кобыльный и уговаривала золовку:

— Мера, заведи цесарок, это очень полезно для детей.

— Пусть кушают, что им дают,— отмахивалась бабка.— Ну высиди нам десяток цесарок... Пусть ходят по двору... Я знаю?..

Маленькие побежали смотреть, как за квочкой-цесаркой послушно ходят уже не пуховые, а слегка оперившейся цесарки-цыплята.

— Сейчас их не забирай. Пусть еще немного побудут,— сказала тетка, лучась от счастья, потому что дети радовались — цыплята скоро вырастут и будут ходить по их двору.

Тетка и мама сидели в саманной избе, к дверному косяку которой была прибита мезуза — длинненькая узенькая жестяная коробочка, хранящая в себе свиток закона. Коробочка была ровно такая, чтобы, проходя, коснуться ее пальцами. И ее коснулся пальцами взъерошенный, пейсастый молодой еврей, войдя в открытую дверь. Вид у него был такой, что тетка схватилась за дряблые щеки:

— Что случилось?!

— А мелхоме ¹,— шевельнул он дрожащими губами.

Лицо его было белым, как белая известь на саманной стене.

Мама гнала лошадей назад, на хутор, везя домой страшную весть. Ей казалось, что кроме нее вести этой еще никто не знает и чем скорее она доведет ее до дома, тем лучше. Потому что дома был мой дед, который знает все на свете, в том числе и — как жить, когда началась война.

Кони выскочили на бугор и ринулись вниз. Они летели, подгоняемые накатывающейся бричкой. Они храпели от того, что мама сдерживала повод. Постромки от края дышла натягивали хомут тяжестью накатывающегося тарантаса. И вдруг постромки левого коня лопнули. Дышло теперь сдерживалось только правым конем. По ногам левого ударила барка, конь загоготал, пытаясь выскокить из шлеи. Бричка подалась влево, ее занесло, мама дернула правую вожжу, чтобы развернуть повозку назад, в гору, пока она не опрокинулась. Левый конь бесился, отбрыкивался, мешал. Не отпуская правую вожжу, мама полезла через передок, обмотав руку вожжею и — откуда взялась сила — скинула барку с крюка. Теперь левый конь, волоча отцепленную барку, был прикреплен к бричке только вожжею. Надо было отцепить вожжу. Но повозка уже не била левого коня по ногам, он успокаивался, тарантас наклонился, став поперек дороги.

Маленькие сидели в сене, прижавшись друг к другу от страха, от непонимания. И только тарантас остановился, они заревели.

— Тихо! — закричала на них мама и соскочила на дорогу. Она соскочила на дорогу и стала поглаживать успокаивающегося коня по вздрагивающей шее.

И в это время к тарантасу подошел дед. Он сразу сообразил, что произошло, увидел волочащуюся барку, услышал испуганных детей и потрепал дочку по голове.

— Чего ты так летела? — спросил дед.

— А мелхоме! — закричала мама и заплакала. Страх от только что пережитой опасности наконец вырвался наружу.

— Я уже знаю,— сказал дед.

— А мелхоме! — повторила мама.

Дед обошел бричку и сказал:

— Чего ты испугалась? Ты только что была на такой мелхоме — не дай Бог никому...

Вечером дед запряг Буланого в бегунок и поскакал к своему приятелю немцу-колонисту Теодору Зоммеру, которого в округе называли просто Федор Иваныч.

К крепким воротам Федора Иваныча приколочена была штампованная позлащенная жестянка — двуглавый орел. На какой-то давней ярмарке Зоммер удостоен был звания поставщик двора. Маслобойня его славила в округе.

Сто тридцать лет проживания в Малороссии давно уже обрусело шесть поколений Зоммеров, первый из которых прибыл сюда еще при Екатерине

¹ Мелхоме — война (евр.).

Второй. Федор Иванович говорил, что он — русский, который ходит в кирху, играет на фисгармонии и говорит на русском немецком языке.

Зоммер действительно играл на фисгармонии в минуты задумчивости. Фисгармонию в давние времена привезли из Нюрнберга, где сделали ее те же мастера, которые сооружают органы в храмах. Она составляла особенную гордость Зоммеров. Федор Иванович играл, размеренно покачивая педалью и негромкие усталые трубы излагали далекую немецкую печаль.

У Зоммера сидел пастор — сухой длинный немец с костистым носом, розоватыми скулами и бесцветными глазами. Пастор покашливал — у него была чахотка. Чахотка эта была у него давно, должно быть, Господь не торопил его чахотку. Когда дед вошел, Федор Иванович оставил было клавиши, но дед сказал:

— Играйте, герр Зоммер, играйте... Я жалею, что не научился на скрипке...

Различие в вере не разделяло лютеранина и иудея. Веры не обособляли их. Может быть, потому что оба они были пришлыми на этой земле. Они искали единения в том, что оба — инородцы, но оба понимали вздорность этой причины. Единение их покоилось на том, что было у них дело, одинаковое дело, в котором политика не помощник. Они были хлеборобы и вот над делом их нависла беда.

Если бы люди обороняли свое имение от разбоя и грабежа, без всяких идей, а лишь по здравому смыслу, — монолит их был бы тверже. Но война началась и ждать на земле здравого смысла уже не приходилось. Потому что война — это организованная государствами форма грабежа и разбоя, узаконенная и освященная лукавым вздором очередной идеи.

Грине не хватало года до призывного возраста, Марку — трех. Война еще не затрагивала семейство. Но дед знал — затронет, ибо растянется на годы.

Василь был взят на войну в первые же дни, в дни, когда пролилось много воды, слез, в дни, когда звонили колокола и патриоты истово грозили вероломному тевтону дойти враз до Берлина, до Вены, кончать с кайзером и стариком Францем-Иосифом. Патриоты ходили дружно, сплоченно, звали на войну, сулили скорую победу, как бы оттягивая, отодвигая тот час, когда все же придется и самим сменить хоругви на ружья.

Патриоты не торопились под снаряды и пули. Они искали места возвышенные, красивые, звонкие и — доходные. Они подстрекали на войну и обворовывали подстрекаемых. Ибо война — это освященная патриотством и организованная государством форма грабежа и разбоя не только чужой земли, но и своего отечества.

О том, как шла война, написано много книг.

Был ранен сын Зоммера, пропал на несколько лет Гриня, получил медаль покалеченный Марк.

А в Петрограде Государственная Дума воевала против немецкой партии при дворе, партии, возглавляемой самой царицей, юродивым Распутиным, министром Сухомлиновым. Была такая партия или не была, — но казнокрадство достигло таких размахов, что пропадали уже не только вагоны и поезда — пропадали урожаи целых губерний, пропадали дивизии, флоты.

А дед мой хозяйствовал на своей земле, растил хлеб и хлеб тот проваливался в прорву российского казнокрадства. Федор Иванович тоже растил хлеб, постоянно оглядываясь, как бы патриоты не подпалили его владений за то, что был он — немец. В конце шестнадцатого года прибыл приказ из Екатеринослава: немцев-колонистов из губернии выселять, на основании высочайшего указа. Федор Иванович говорил с дедом о глупости российской, как о первопричине отсталости этой страны. Зоммера не выселили: то ли помогла жестянка на воротах, то ли он откупился. Патриоты, заскрипевшие было вокруг него, как вокруг тевтонского агента, вдруг, после смазки, запели мягко о том, что даже заклятый враг русского народа — немец отрывается от вероломного кайзера.

— В этой стране никогда ничего не будет, — говорил деду Федор Иванович, — ни закона, ни порядка. Страной этой управляют взятчники.

— А может быть, все-таки, что-нибудь будет? — спрашивал дед.

Он так спрашивал потому, что в феврале царь отрекся от престола и страну стало управлять Временное правительство.

Временное правительство приостановило указ, касающийся Федора Иваныча. Приостановило, но не ликвидировало. Потому что переняло от прежнего главную хоругвь патриотов: «Война до победного конца».

XIII

Новая жизнь затевалась в Малороссии — старинная мечта о самостоятельности всплыла, зазвенела с новой силой, позвала отделяться от москалей, от кацапов, зажечь своим умом. Появились жовто-блакитные флаги, замаячили трезубцы — воля вышла, свобода, живи не хочю.

В апреле семнадцатого года собрался Всеукраинский национальный конгресс и объявил на Украине Центральную Раду. Это была власть самостоятельной независимой Малороссии. Власть начинала править радушно, как бы приглашая народ кушать галушки со сметаной, ибо той сметаны и тех галушек намечался по свободе непочатый край. Для текущей работы (надо же работать и власти) устроен был генеральный секретариат, а председателем того генерального секретариата сделан Владимир Кириллович Винниченко, известный литератор, чьи книги попадались у деда в шкафу. Владимир Кириллович провозглашал в своих сочинениях внутреннюю честность с самим собою, что было весьма благородно, хотя дед сомневался — как это можно, к примеру, брехать самому себе.

Конечно, первым делом Центральная Рада заговорила об отделении Малороссии от Великороссии, о самостоятельности в самоуправлении, поскольку вышла свобода, нет больше царя.

Но князь Львов, министр-председатель Всероссийского Временного правительства думал иначе и имел на то резон, ибо верстах в шестистах от Сладководной находился пролив Босфор, плескавшийся у стен Цареграда, ко вратам которого еще звон когда был приколотен щит Вещего Олега. А за Босфором плескались Дарданеллы, изборожденные русскими военными кораблями, и надо бы наконец тот Босфор и те Дарданеллы оттягать у турков, воевавших заодно с Германией против Российской империи. Так что самостоятельность малороссов была в Петрограде как бы ни к чему.

А Центральная рада располагалась так, будто никакого Босфора и никаких Дарданелл нету. Выходила свободная газета «Известия Украинской Центральной Рады», выходила и на русском языке и на мове, и создано было при новой власти особенное представительство бывших угнетенных национальных меньшинств, в какое-то записали и деда. Но деду моему, который не умел брехать самому себе, сдавалось, что все это — благодушные игры взрослых людей, сроду не пахавших землю, а все рассуждавших, как жить на свете, будто свет этот стоит не на земле, а помещается на чистом облаке.

Как раз в июне месяце Центральная Рада провозгласила свой первый Универсал, как бы манифест о том, что отныне быть Малороссии свободной от России.

Однако, размышлял дед, — одно дело разговоры в приятной компании, а другое дело — земля, тихая Божья земь, которая платит сторицею, если в нее кинуть зерно, но если кинуть в нее не зерно, а политику — не жди пощады ни пеший, ни конный. Адом прорастет политика и не дождя взалкают всходы, но — человеческой крови...

Политические воззрения моего деда выравнивались помалу, а к августу семнадцатого года он задумался о демократии. Там, в Москве, в древней столице собиралось совещание демократических партий и обещало оно быть все той же говорильней, что и Государственная Дума, только злее. Империя, конечно, распадалась, рассыпалась, но так уж она была создана Господом, что рассыпаться не могла и ожидала крепкую руку. Дед хотел было съездить в Москву, да так и не съездил.

Августовское совещание в Москве подтвердило дедовы рассуждения. Не зерно кидали в Божью земь, собравшиеся на то совещание, не зерно. Кидали они политику, да каждый свою, и заоблачное благодушие стало таять мало-помалу.

А в конце октября явилась крепкая рука: большевики арестовали Временное правительство.

И тогда, как бы спасаясь от надвигающегося загона в прежнюю кошару, Центральная Рада объявила новый свой Универсал. И в том Универсале сказано было, что отныне Малороссия есть — Народная Республика Украина. Частная собственность была, конечно, отменена — да и как ее не отменишь, если большевики на всю империю провозгласили такую радость для оторванного от земли народа, вооруженного трехлинейками и штыками? Однако по аграрному вопросу все же было сказано в Универсале, что Центральная Рада не зарится на те хозяйства, в коих земли не более сорока десятин.

Конечно, сорок десятин — клин приличный. Однако деда моего смущало не то, что у него лишних двадцать три десятины. А смущало его все возгорающееся сатанение, ибо не зерно было кинуто в землю.

В начале декабря собрался в Киеве Всеукраинский съезд советов. И был этот съезд вроде августовского московского совещания с той однако разницей, что на московском совещании при оружии находились только некоторые военные, согласно уставу, здесь же, в Киеве, маузеры и наганы прицеплены были к гражданским одеждам. И действительно, в самый разгар свары — как жить на свете — часть делегатов, увидев, что съезд склоняется к самостоятельности, покинула съезд с нехорошими криками, подалась в Харьков и там — в пик киевскому съезду — собрали свой большевицкий и провозгласили на Украине советскую власть. Оружие уже поблескивало и в Киеве и в Харькове, однако пока еще не бухало в человека.

И тогда, чтобы заявить твердую свою власть, Центральная Рада провозгласила новый свой Универсал, который объявлял Малороссию не просто Народной Республикой Украиной, но еще и самостоятельной, да еще и независимой. И в доказательство самостоятельности своей и независимости Украина предложила немцам отдельный от большевиков мир. Мир этот обсуждался, конечно, в Бресте, ибо всякий мир с германцами обговаривается в Бресте, а именно в старинной Брестской крепости на реке Мухавец. И пока товарищ Троцкий с бывшим царским военным министром генералом Поливановым уговаривали людей генерала Гофмана мириться на любых условиях, Центральная Рада свой мир подписала, опередив большевиков.

Случилось это в феврале месяце восемнадцатого года и мало кто понимал, как обойдется тот год. И пока большевики уговаривали германцев лепить мир на любых условиях, маузеры и наганы, прилепленные к гражданским свиткам и палетотам, начали гукать в людей и впервые сверкнуло над первыми пожарами имя Симона Петлюры.

Дед ездил к Винниченке (по поручению того самого — особенного представительства бывших угнетенных национальностей), уговаривал унять погромы, доказывал — если Украина хочет быть свободной — уберите политику, дайте колоситься нивам. Владимир Кириллович возмущался Петлюрой, возмущался нивесть откуда взявшимся шовинизмом, говорил, что украинскому хлеборобу не свойственна националистическая скверна, говорил также, что мечта у него, у Владимира Кирилловича, сделать такую Украину, на которой кацапам жилось бы лучше, чем в Москве, ляхам лучше, чем в Кракове, а жидам — лучше, чем в обетованном Ханаане. В это дед верил ибо, как говорили, Владимир Кириллович страстно любил свою Розалию Яковлевну. Однако увидел дед, что люди, рассуждающие о земле, сидя на облаке, не боги, и сеют они со своего облака политику, а политика, прорастая, хочет одного: крови, ибо кровь — ее живительная влага.

На Украину вступили немцы. Должно быть, по договору с Центральной Радой. Конечно, люди ожидали, что культурный германец придавит, уймет резню. Но немцы не очень вникали в разногласия деятелей Центральной Рады. Их занимали более существенные заботы: надо было гнать в фатерланд хлеб и скотину. Германия была истощена войною и другого случая пополнить запасы не будет. Немцам нужен был орднунг, помогающий обирать оккупированную страну.

Поэтому, когда германцы стали разгонять петлюровских погромщиков, дед мой не очень поверил немецкому человеколюбию. В конце апреля германский отряд явился без спросу на заседание Центральной Рады и разогнал эту Раду, как три месяца назад большевики разогнали Учредительное собрание в Петрограде. Тут никто ни у кого не учился. Такая наука приходит сама собою.

В те же дни, в конце апреля восемнадцатого года, в Киеве был устроен немцами Съезд хлеборобов. Немцам нужен был скот и хлеб. Поэтому им нужны были хлеборобы. А чтобы унять местную гордыню, взамен Центральной Рады провозглашена была Украинская держава во главе с гетманом Павлом Петровичем Скоропадским. Немцы полагали, что на гетмана малороссы клонут охотнее, чем на беллетриста.

Тем более, толмачи докладывали, что в селах и всях все чаще звучит старинная фольклорная «Ще не вмерла Украина». А какая может быть Украина без гетмана? Немцы весьма поверхностно разбирались в этнических особенностях аборигенов. Немцев вполне устраивала оперетка, разыгрываемая целым сонмом ряженых народолюбцев, которые слетаются на страну, как мухи на падаль, если в землю той страны кинут не зерно, а политика...

XIV

В ясном чистом июле дед мой ехал на бричке по проселку и придержал коня, увидав на большаке сажень в двухстах колонну немцев. Немцы шагали гулко, пыля тяжелыми сапогами, и орали песню. Дед осмотрелся и увидел в полуверсте позади колонны кавалеристов, а с ними две пушки. А еще дальше — влеклось облако пыли. Это гнали скот. Должно быть, немцы шли с реквизиции. Скота в рыжем пыльном облаке было не видеть, но было понятно, что гонят овец и коров, а лошадей в облаке нет — во-первых, потому, что лошади так не пылят, а во-вторых, потому, что немцы пока не отбирают лошадей, ибо предстояла косовица, молотьба, а немцам еще нужен был хлеб.

Дед придержал коня и ждал, покуда пройдет войско.

И вдруг на дорогу, на большак, навстречу германской пехоте-кавалерии, откуда-то из степи, как из-под земли, выскочил какой-то неведомый отряд на трех или четырех тачанках, сопровождаемых всадниками.

Отряд летел бодро, весело, пьяно, с гиком, свистом — как на свадьбу. В тачанки были впряжены кони тройками и с дуг коренников, с грив пристяжных развевались ленты. Сваты и дружки скакали верхом, размахивая шашками и в махании этом сверкал все тот же избыток веселья. Оставалось только разглядеть невесту и жениха.

Немцы остановились и, должно быть, собрались уступить дорогу этим дикарям, ибо имели приказ поощрять национальные чувства. Но уступить дорогу не успели. Свадьба врезалась в них и стала рубать шашками, выхваченными для веселья. С тачанок залаяли кольты через головы коней. Немцы разбежались, залегли согласно военной науке, они отстреливались, преодолевая испуг неожиданности. Прискакала немецкая конница, ударила пушка, рванула шрапнель. Немцев оказалось много для небывалого этого отряда, конница уже налетала на него. И вдруг, так же неожиданно как появился, отряд сходу развернулся задом наперед и поскакал обратно, в степь, не отстреливаясь, а как бы спасаясь бегством. Бегство преступников, рискнувших нанести урон немецкой армии, воодушевило кавалеристов. Они помчались вдогонку, чтобы задержать, связать, развезти по селам и повесить бандитов для примера, чтобы население знало, как шутить с германской армией. Но едва кавалеристы приблизились к бегущим, — с задков тачанок враз брызнули «максимы». Как они там оказались, эти пулеметы, — то ли были прикрыты сеном, то ли были высунуты со дна тачанок, но «максимы» затрещали дружно, перетрескивая один другого и уносясь вдаль. Пулеметы били не абы как, а именно с умом — валя всадников и шадя лошадей, потому что лошадей здесь шадилы всегда. Такой налет, такая безупречная простота действий и — пулеметы на задниках улетающих в степь тачанок поразили моего деда.

— Молодцы,— сказал он не то себе, не то коню, не то бескрайному пространству.

Свадьба исчезла, растаяла в степи, в пыли и тут дед мой сообразил, что его собственные дела не так уж веселы. На дороге, на окраинах придорожного поля метались пустые кони. Там, должно быть, были убитые, раненые. А на проселке стояла его бричка и неизвестно, что думают о ней немцы. Немцы могли пристрелить в горячке и его. Тогда он слез с брички и пошел навстречу беде. Долго шагать ему не пришлось: навстречу летел улан, размахивая палахом. Дед помахал рукой, как бы сбивая его пыл.

— Сволош! — закричал ему всадник, однако палахом не замахнулся.

— Герр фельдфебель,— сказал дед,— я все видел, я вам сочувствую...

— Ваше счастье, что вы говорите по-немецки! — закричал фельдфебель.—

Кто вы?

— Я — колонист... Может быть, вам нужна помощь? Там, наверно, раненые. Вот моя повозка...

— О! Я такого никогда не видел! — герр фельдфебель все не мог остановить пританцовывающего разгоряченного коня.— Это какая-то дикая война! И этот пулемет сзади повозки! Какой дьявол это выдумал?! Если бы вы не были колонистом, я вас пристрелил бы!

К ним летел другой всадник.

— Что ты с ним возишься? — закричал он.

— Замолчи, это — колонист. Там много раненых?

— Там много убитых! — закричал этот всадник.— Герр колонист, вы можете объяснить, что тут было?

— Мы теряем время,— сказал дед,— если там есть раненые — можно попытаться их спасти.

Дед вскочил на свою бричку и, сопровождаемый двумя немецкими кавалеристами, пустил коня в галоп туда, где все еще метались пустые кони. Дед не мог сказать, что это было.

Это был налет молодого гуляйпольского анархиста Нестора Махно, пока еще не известного в Малороссии.

Через несколько дней стали загораться стога, предназначенные для германских лошадей.

Возле экономии Теодора Зоммера у загоревшегося стога немецкие кавалеристы схватили Иону — третьего дедова сына. Ионе успели дать три плети и замахнулись четвертой.

Немцы стояли небольшой толпой вокруг лавки, приговаривая:

— Зо! Зо! Гут! Чтоб он знал, с кем имеет дело.

И вдруг донесся топот коня со стороны маслобойни и крик: — Хальт! Дас ист майн брудер!¹

Солдат задержал руку, обернулся.

Конь влетел в толпу, а на коне сидела худенькая медхен и яростно размахивала нагайкой, стараясь попасть по расступившимся солдатам. Она была очень смешна в своей ярости — хрупкая, тоненькая, с распатланными черными волосами. На ней были бриджи и сапожки, она умело привстала в стременах над широкой конской спиной и, как гусар палахом, хлестала нагайкой. Она была бесстрашна, и немцы сперва удивились, а потом развеселились от несуразицы. Они только отворачивали лица, чтоб не зацепило, и нагайка хлестала по здоровенным спинам, по тяжелым плечам.

Немцам почему-то стало смешно: маленькая бесстрашная красивая медхен (успели, все-таки, разглядеть красный некрашенный рот, бледные щеки, черные брови), маленькая бесстрашная красавица не считала, кого лупит, не боялась и не побоялась бы самого дьявола, окажись он в роте.

— Фройляйн! Фройляйн! — уворачивались солдаты и хохотали.

Это было неожиданное развлечение.

— Дас ист майн брудер! — яростно кричала медхен.— Дас ист майн брудер!

¹ Это мой брат (нем.).

И секла спины и плечи. Секла она не больно, конечно, по-девичьи, но то, что она так умело управляла конем, ставя его на свечку, то, что конь под ней храпел и гневался, как под бывалым кавалеристом, добавляло веселья.

Фельдфебель — высокий, крупноплечий, в каске с шишаком, весело подскочил к вздыбившемуся коню, схватил за уздечку:

— Фройляйн! Генуг! Мы оценили вашу смелость!

Медхен взмахнула над ним нагайкой и вдруг встретилась взглядом с его веселыми глазами. Она встретилась с его синими веселыми глазами и почувствовала, что ее никто не защитит от этих солдат, если они вздумают причинить ей зло. Никто, кроме этого фельдфебеля. И она опустила нагайку, опустила поводья и, уткнувшись в черную гриву сникшего коня, заплакала.

Она плакала тихо, и немцы тоже притихли, и кто-то попробовал было хохотнуть, но его одернули. А фельдфебель держал сникшего коня и тихо, как маленькой девочке, говорил:

— Фройляйн... Фройляйн... Если это ваш брат, фройляйн, это весьма печально... Он нанес ущерб немецкой армии... Он поджег скирду, предназначенную...

Она немедленно выпрямилась. Слезы на ее лице не просохли, но она сказала так, будто не плакала:

— Вы видели, как он поджег скирду?

— Нет... Но он оказался около горящей скирды...

— И все?! Как он мог поджечь скирду? Как он мог вообще что-нибудь поджечь!..

— Фройляйн... Мы вам верим... Но, может быть, произошла ошибка... В этом случае мы приносим извинения вам и вашему брату... Но идет война...

Иона стоял, поддерживая штаны и кусая губы.

— Почему вы оказались около горящей скирды?!..— спросил фельдфебель.

— Это надо было спросить у меня раньше!..— зло ответил Иона.

— Я вижу, господа, ваша семья — не робкого десятка,— сказал фельдфебель.

И тут раздался бас соседа-колониста старика Зоммера, который подошел незаметно, неслышно:

— Господа солдаты... Это дети почтенного землевладельца, моего соседа... Что здесь произошло, если это не военная тайна?

— Господин Зоммер,— сказал фельдфебель,— вы можете поручиться за этого молодого человека?

— Натюрлих! Это приятель моего сына.

Солдатам стало скучно. Они расходились, будто ничего не было. И только фельдфебель все еще держал уздечку коня, на котором сидела странная бесстрашная медхен, на красивом личике которой уже просохли слезы, оставив по себе след дорожной пыли.

Это была моя будущая мама. Тогда ей было восемнадцать лет.

Дед шурился левым глазом на выпоротого сына:

— Сколько тебе влепили?

— Три.

— Немного...

— Если бы не Рахиль — они дали бы еще.

— Что ты им наделал? — спросил дед.

— Я им поджег скирду! — огрызнулся Иона.

— Дурак. — пожал плечами дед.

Иона обиделся, засопел, а дед тихо запел песенку, в которой немцы рифмовались с кнутами. Эту песенку он напевал маленьким, подкидывая их на коленке:

Штеен дорт ди дайчен

Мит ди ланге байчен...

Что означало — «там стоят немцы с длинными кнутами». А дальше был припев:

*Оц, моц, коценю
Мит ди ланге байчен...*

«Оц, моц, коценю» — ничего не означало. Оно означало только то, что дед жалеет сына.

Деду всегда казалось, что дети его все еще маленькие.

XV

А фельдфебель, тот самый, который велел сечь Иону и сдержал коня этой бесстрашной медхен, нашел дорогу в хутор Кобыльный.

Небольшое — саженой сто — поле клещевины привлекло внимание фельдфебеля. Клещевина росла пышно, стрельчатыми черно-зелеными мясистыми листьями, которые и на вид были жирны. Немец потер лист и понюхал черноватые следы на пальцах.

— Я вижу,— сказал он деду,— рициниум у вас хорошо растет.

Дед кивнул, соображая, какого черта он явился. Но тон оккупанта был весьма миролюбив.

— У нас рициниум растет хуже,— сказал немец, напрашиваясь на разговор. Дед сощурился:

— А кто ваш отец?

— Бауэр,— обрадовался разговору немец.

— Войдите в помещение,— сказал дед,— вы давно служите?

— С самого начала. Меня уже дважды ранили.

— А зачем вам рициниум?

— Я думаю, в Германии после войны появится много машин. А машины хорошо смазывать рициновым маслом. Это мне сказал один пилот. Оказывается, аэропланы смазывают этим маслом. Я думаю, мой отец сможет хорошо заработать на этом растении. Надо же будет как-то жить после войны? А у вас рициниум хорошо растет... Если бы у меня была здесь земля — я бы знал, что с нею делать...

— Что же вам мешает взять эту землю? — спросил дед, пытаясь выяснить истинные намерения германской армии.

Но немец был простодушен. Он вздохнул:

— У нас поговаривают, что мы здесь останемся и получим землю... Кто будет хорошо служить... Я хорошо служу, но я в это не верю...

— Почему?

— Французы все еще воюют... И пока мы здесь, они займут Эльзас и Лотарингию... Лучше не потерять свою землю, чем взять чужую...

Дед увидел перед собою человека молодого, но весьма рассудительного и, чтобы поддержать разговор, сказал:

— Российская империя распадается. Русские воевать не хотят...

— Так что же они хотят? — с некоторой надеждой спросил немец.— Чтобы мы заняли эту землю?

Он даже выглянул в окно — как бы оценивая неожиданно привалившее богатство. Дед заметил это и сказал серьезно, не оставляя надежд:

— Вы ее и так заняли. Но вы скоро уйдете. Вы подавитесь этой землей. Вы ее не освоите.

Немец вздохнул;

— Я тоже так думаю.

Потом помыслил с минуту и спросил:

— А если бы там, в Петербурге, а теперь в Москве не затеяли эту республику — как бы пошла война?

— Она пошла бы так, как пошла. Российская империя была привержена противогерманскому пакту — и царь и Временное правительство. А Троцкий с Лениным сыграли на нежелании русских воевать. Они пытаются не дать империи развалиться.

Немец вздохнул, как о потерянном, кивнул, сказал нетвердо:

— Ходят слухи, что мы их подкупили...

Дед не оставлял надежд:

— Это не те люди, которых можно подкупить... Возможно, вы дали им какие-то деньги, но они, принимая их, уже подумывали, как вас надуть. Вы не знаете этих людей. Но, боюсь, скоро они появятся и в Германии.

— Кто? — испугался немец. — Троцкий и Ленин?

— Я не знаю, как их будут называть, — сказал дед, — но они появятся. Это люди, не имеющие ни перед кем обязательств и не признающие никаких правил. Вы же помните этот налет, когда мы с вами познакомились?

— О! Герр колонист! Я смотрю — лицо ваше знакомо! Теперь я узнаю — это были вы! Я до сих пор не могу опомниться!

— Привыкайте. Это — Россия. Здесь не знают ваших порядков. И не хотят знать.

— Но если люди договариваются, они должны придерживаться договора. Мы же здесь — по договору...

— Ни Троцкого, ни Ленина это не касается, — сказал дед.

— Но таким образом нельзя управлять государством! — воскликнул фельдфебель.

— Почему? Никто еще не пробовал, но это очень заманчиво.

— В Германии такого не может быть, — сказал немец, на что дед загадочно возразил:

— Поживем — увидим.

Он сказал так потому, что жил на земле, а не на облаке, и видел, что совесть уходила и ее место занимала напористо и беспощадно вседозволенность. И едва ли кто-нибудь устоит от этого соблазна, пробираясь к власти в разваливающейся стране.

А фельдфебель навещал хутор Кобыльный, и моя будущая мама всякий раз краснела. Она понимала, что немец ходит из-за нее. Конечно, он для приличия вел разговоры с дедом, разговоры достаточно умные и деловые, чтобы скрыть истинную причину посещений. Дед, разумеется, тоже понимал причину посещений и когда фельдфебель наконец уходил, дед пошучивал:

— Следующий раз он попросит руки.

Бабка не понимала шуток:

— Моя дочь не выйдет за немца!

Дед поддразнивал бабку:

— Эстер вышла за Артаксеркса не без пользы для своего народа.

— Что ты сравниваешь? — кричала бабка. — Она вышла за царя, а это — Бог знает кто!

— Почему? — не унимался дед, — этот мальчик мне нравится. Он — хозяйственный. Он предвидит, что в Германии скоро понадобится ризинка. Смазывать машины. У них будет много машин.

— Ризинка нужна не для машин, а для запора! Если у Германии запор — так ей и надо! Мне надоели твои немцы. Пускай идут себе домой!

Эти слова не выражали бабкиного отношения к немецкой оккупации. Они выражали ее отношение к некоторому интересу старшей своей дочери к этому голубоглазому немцу.

А фельдфебель все не решался. Впрочем, он намекнул на свои намерения:

— Я встречаюсь с вашим прекрасным семейством при огорчительных обстоятельствах. Но это — война. Я был бы счастлив встретиться с вами, когда эта проклятая война кончится.

— Он был бы счастлив! — передразнивала немца бабка, когда он нехотя уходил. — Смотрите на него — он был бы счастлив! А я была бы счастлива, если бы Германия провалилась сквозь землю! Моя дочь не выйдет замуж за немца!

— Ша, — говорил дед, — ее пока никто не гонит замуж.

Но бабка гневалась:

— Мои дети не переступят закон, который переступает их безбожный отец!

Немецкие оккупанты в восемнадцатом году отличались от своих детей, которые оккупируют эту же землю через двадцать три года. Через двадцать три года моей маме будет сорок один, она уже вдовееет, а мне будет двадцать и я пойду на войну против злейших врагов человечества — немецко-фашистских захватчиков. Возможно, среди них окажется и сын того фельдфебеля из восемнадцатого года, который интересовался касторовым маслом для смазывания немецких машин...

Иона после порки подался со двора от греха подальше. Кажется, в Харьков. Фельдфебель же навещал деда, поглядывая на старшую его дочь. Про Иону фельдфебель сказал:

— Я думаю, он поджег скирду. Если бы вы заняли Германию, я бы, наверно, тоже поджег скирду.

— Зачем? — спросил дед.

Фельдфебель подумал и усумнился в сказанном:

— Трудно вынести, когда чужой забирает твое... Лучше пусть сгорит...

— Вот видите, — сказал дед, — вы уже заразились русским духом.

— Да, я это иногда замечаю... Отнимать нельзя, нужно зарабатывать своим трудом.

— Вы же — отнимете?

— Мы — военные. Есть приказ, бефель, надо его исполнять. Надо в точности исполнять приказ.

— Но вы же его не выполнили? — улыбнулся дед.

Немец задумался. Потом порозовел и сказал смущенно:

— Я был поражен бесстрашием вашей дочери...

XVI

Гетманщина, устроенная немцами взамен Центральной Рады, не утоляла малороссийскую тоску по прошедшим временам, когда Украина металась меж турок, ляхов и москалей. В мимопрошедшие времена выбирала она на козацком кругу куренных атаманов и кошевых атаманов — батек над сынами, чье слово и плетка были закон. И нужен был ей атаман атаманов — гетман. И гетмана этого поставили над нею германцы.

Гетманщина, устроенная германцами, напоминала спектакль по пьесам пана Гулака-Артемовского, она как бы пыталась восстановить былую суть с помощью древних свиток, сопревших в старых скрынях. Заговорили громко, певуче те неугомонные витии, которые во все времена выкликали сечевиков и гайдамаков. Однако, находясь под немцами, были они покуда неопасны. Да и Украина уж никак не походила на уплывшую в мимопрошедшие времена Сечь. Она завела экономии, протянула железные дороги, запустила плавильни, вырыла шахты, построила причалы. И для того, чтобы управлять хозяйством, нужен был уже не батко, а спокойный расчетливый ум-разум, тихая, упрямая работа ученых голов. Уже копошились на украинской земле англичане, бельгийцы, французы, инженеры, знатоки дела, банкиры. Да и местные господа, поучившиеся в других странах, никак не походили на предков своих, разве что носили висячие усы.

Гетманщина, устроенная немцами, находилась под их присмотром. Немцы явились ненадолго и торопились отобрать побольше и всякие местные междуусобицы были им ни к чему.

А междуусобицы накапливались исподволь. И уже прокатился по Украине резон — а на бис нам оти шахты, железные шляхи, чорный дым, коптящий блакитное небо? А бис нам оти англичы с французами и заодно с москалями да и с нашими высоколобыми?

Дед мой понимал, что резон этот пустит море крови, да и сам в той крови утонет. Понадобится сильная рука. И протянут ее люди новые, сроду ничего не навивавшие, сроду ничем не владевшие, и вдруг — на тебе! — обретшие все на свете за так, задаром...

В конце восемнадцатого года германцы ушли, прихватив с собою гетмана Павла Петровича Скоропадского. И — началась кровь.

Когда немцы уходили, они ограбили уезд. Но дедову скотину не взяли. Должно быть, из-за этого фельдфебеля.

Дед сказал:

— Эстер вышла за царя Артаксеркса и спасла наш народ. Рохеле еще ни за кого не вышла, но уже спасла нашу скотину ...

— Когда-нибудь Бог лишит тебя языка,— сказала бабка. Дедово кощунство возмущало ее.

Насчет приверженности своих детей закону пращуров бабка ошиблась.

Один ее сын женился на сибирской казачке, другой — на армянке. Одна моя тетка вообще не разбирала наций, а любимая дедом моя мама вышла вторым браком за бывшего штабс-капитана, который был к тому еще и сын благочинного. Они встретятся в Сибири. Мама будет в эвакуации, а будущего отчима моего только выпустят из лагеря, где он просидит десять лет — с тридцать второго года. Потом выяснится, что арестовали его в день смерти моего деда. Это поразит маму. Когда я вернусь с войны и подружусь с отчимом, мама покажет мне фотографию деда:

— Смотри, как они похожи...

Они действительно были похожи — те же залысины, тот же бочковатый лоб. Но отчим брился, а дед носил бородку, как все люди его времени — как Плеханов, как царь Николай, как Родзянко или как Столыпин.

Но я говорю об отчине. Его арестуют потому, что будет он — убийца Горького. Отчим, действительно, не любил Горького, однако не настолько, чтобы его убивать. Отчим был горный инженер и поэтому попал в Шахтинское дело. Однако, когда разыгрывали суд, отчима под рукою не оказалось: он находился далеко, на Сучане, в командировке. Он восстанавливал шахту. Ловить его не стали, а просто перенесли из одного списка в другой, на случай, когда понадобится очередной процесс. Случай не замедлил. Затевалось дело Промпартии. Но и здесь отчим мой под руками не оказался: он был на Экибастузе, в командировке. Там разрабатывали вскрышным способом угольные залежи. И его опять перенесли в другой список — буде понадобится. И он понадобился. Он понадобился в тридцать втором году, когда вернулся из командировки. Затевалось новое дело: банда бывших офицеров, скрывавшихся под видом спецов, инженерно-технических работников, готовила убийство великого пролетарского писателя Максима Горького. Должно быть, Сталину понадобилась смерть Горького еще в тридцать втором году. Должно быть, готовился новый процесс над извергами, которые подняли руку на Буревестника революции. Но, должно быть, в последний момент Сталин передумал кончать Буревестника, он ему еще зачем-то был нужен. Однако отчим мой уже был арестован, а Сталин не имел привычки давать отбой. Отчим мой оказался в Сибири, в лагере, среди начальства в котором еще попадались идеалисты. Идеалисты эти строили коммунизм также и в лагерях. В тридцать седьмом году их всех перестреляют. Но пока они еще носили ромбы и шпалы и присматривались к узникам с целью извлечь из них пользу для построения коммунизма. Отчим предложил этим идеалистам устроить для уголовников школу маркшейдеров и идеалисты его поддержали. И отчим взялся за эту школу, потому что умел и любил работать. Говорят, из той школы вышли приличные угольщики, начальники шахт и участников, среди которых были даже два Героя Социалистического Труда. В сорок втором году отчима выпустили: ранний арест спас его от крови тридцать седьмого года. Он отбыл свои десять лет и направлен был — уже вольным — на Донбасс восстанавливать разбитую войною угольную промышленность. На Донбасс он вернулся с моей мамой.

Почему я вдруг заговорил о своем отчине? Потому, что я его любил и память моя о нем весела и неизбывна.

Родного отца моего я знал всего семнадцать лет. Отчима моего я знал тридцать семь...

XVII

Когда немцы ушли, в Белой Церкви, в излюбленном городке еще старых гетманов, объявлена была Директория и провозглашена победа над германцами. Председателем той Директории стал Владимир Кириллович Винниченко. Председателем Директории, каковая со времен французской революции как бы перемехнула через всю Европу и осела в Белой Церкви.

В начале девятнадцатого года вспыхнула Украина небывалыми пожарами и потекла, потекла кровью.

Совсем недолго возглавлял возрожденную Украинскую республику благородный Владимир Кириллович Винниченко — беллетрист и драматург. Говорили тогда — еще до немцев — выпирал его Симон Петлюра. И ушел Владимир Кириллович в отставку, подчиняясь грубой силе, каковая всегда ходит след в след цивилизованным людям и дожидается своего часа.

Зоммер ушел с немцами и увез фисгармонию. Он звал с собою деда:

— Неужели вы не видите, что все разрушено, империя распалась и уже никогда не встанет на ноги? Германия — культурная страна, там вы быстро оправитесь.

— Я думаю, германская империя — тоже распалась, — возразил дед.

— Она соберется, — пообещал Федор Иванович Зоммер.

После ухода немцев очнулись всевозможные батьки и пошли жесть и грабить колонии. Загорелся теперь уже ничейный Зоммер. Его подожгли не только потому, что был он немец, как бы вдогонку оккупационным немецким войскам, но и за двуглавого орла на воротах.

Потом налетели на хутор Кобыльный.

Дед успел спрятать в погреб бабку и маленьких. Сам он в погреб не полез, сидел в доме, думал — что делать. Безвластие не предвещало ничего хорошего.

Дверь была открыта. В нее вошел коренастый чубатый батько в замазанном известкой смокинге, надетом на казачий бешмет. Шелковые лацканы смокинга топырились. Красного сукна шаровары нависали над лакированными театральными сапогами. В руке он держал оголенный маузер.

— А ну, — сказал он деду, — пойдем, я тебя шпокну.

— Стреляй здесь, — сказал дед.

Батько осмотрелся, поиграл маузером:

— Тут — неудобно... Другой раз шпокну...

Батько мог шпокнуть, но — не шпокнул. Он, должно быть, и шпокал, когда мог не шпокать. Он не знал толком, что делать, его распирала воля! Он — гулял.

— Где ты взял такую свитку? — спросил дед.

— То — фрак, — батько оглядел себя и расправил неширокие плечи... —

Теперь уси козаки фраки натягнуть.

— Это хорошо, — похвалил дед.

— Михайло Абрамович, — неожиданно сказал батько, — я наказав хлопцам вас не палыты...

— Так чего ж ты меня шпокнуть хотел?

— То так, шутки ради... Мы з вами горилку пили у Мариуполи.

Возможно, и пили. Дед не гнушался портовых босяков.

У него был также и смокинг, в котором он пил шампанское в Екатеринославе, и даже чокался с Родзянкой.

Про знакомство деда с Родзянкой бабка говорила:

— Мендл! Еврей не должен дружить с вельможей, от этого бывает только горе и никакой радости.

Про знакомство деда с портовыми босяками она не говорила ничего.

Нестор Махно учил:

— В России возможна а либо монархия, а либо анархия. И только. Но анархия — недолго.

Зная, что анархия — недолго, Нестор Махно как бы торопился исчерпать небольшое время, отпускаемое анархии историей.

Войско его было небывалым. Ядро этого войска исчислялось двумя-тремя сотнями отпетых головорезов, которых называли на пригородном жаргоне ракло¹. Штаб его состоял из беглых офицеров, мыслителей, профессиональных революционеров — всех, для кого идеи Прудона — Кропоткина, переведенные с высокоумного философского языка на будничнейший, бытовой, были истиной в последней инстанции. Оружие, в том числе и тяжелое, Нестор Махно прятал в селах и куренях у мужиков, которые, собственно, и составляли армейскую массу войска. Днем они крестьянствовали, а ночью были готовы собраться по первому кличу батьки. Это были невидимые, дремлющие полки и даже дивизии, просыпавшиеся по первому свисту. Я думаю, Нестор Махно был изобретателем истинной партизанской войны.

Махно воевал один против всех — против белых, против красных, против Петлюры, против таких же батеков, как сам, только менее удачливых.

Троцкий хотел приручить его, дал ему красный орден, объявил его войско Третьей Конной армией. Но Нестора Махно нельзя было приручить.

49

Махновцы влетели на хутор Кобыльный, и дед мой подумал, что на хутор влетел последний час. Всадников было немного — человек десять. Кони у них были справные, сытые, всадники — в бараньих папахах, в офицерских кителях без погон, в кожанках и в петлюровских мундирах, опоясанных пулеметными лентами. Это была одежда, отбитая и у белых, и у красных, и у жовто-блакитных.

Всадники сопровождали легкий фазтон с откинутой кожаной крышей. В таких фазтонах разъезжали в мирное время зажиточные земские врачи. В фазтоне сидел бородатый человек в черной шляпе с мятыми полями, в крылатке. Сидел он, положив руки на набалдашник трости. Человек этот показался деду знакомым. Дед сунул смит-вессон в кобуру на кожаном поясе и вышел из дома.

— Михал Абрамович, — сказал человек в шляпе, — мы к вам в гости!

Это был тот самый наборщик Волин, который когда-то посетил аристократа-учителя.

— Чем могу служить? — спросил дед.

— Вы меня узнаете?

— Узнал, конечно...

Всадники гарцевали вокруг фазтона, не обращая внимания на деда. Волин вылез из коляски, являя явную несуслаицу с ними, ибо был не только безоружен, но даже — со щегольской тростью, увенчанной набалдашником слоновой кости.

— Хлопцы, — сказал он всадникам, — чтоб было тихо...

— Войдите в помещение, — сказал Волину дед и подумал, что этот наборщик стал теперь каким-то батькой.

Волин объяснил, что проезжал мимо и решил нанести визит старому знакомому.

— Кто же вы теперь? — спросил дед, на что Волин ответил, что заехал ненадолго.

Впрочем, Волин был весьма словоохотлив и вскоре дед мой понял, что мариупольский типографщик теперь большая фигура в штабе Нестора Махно.

Дед звал какого-то гуляйпольского прасола Ивана Махно. Возможно, это был отец нынешнего батьки. Но спросить счел неуместным. Он подумал, что сын одесского известного доктора служит у сына мелкого гуляйпольского прасола, что весьма естественно в такое время.

Чем же он занимается, сын известного доктора, со своими рассуждениями о Прудоне, Бакуине и Кропоткине в штабе знаменитого батьки? И зачем типографщику в крылатке ездить с махновцами в докторском экипаже?

Из разговора дед понимал мало-помалу, что махновцы отнюдь не бандиты,

¹ Ракло (укр.) — бездельник, вор, налетчик, бандит. Слово происходит, как это ни странно, от имени античного великого героя Геракла. Когда харьковские семинаристы учиняли набег на базарных торговков, они провозглашали клич: «Братие! Сверхшим же тринадцатый подвиг Геракла!» Торговки, защищая снедь, кричали: «Полиция! Рятуйте! Раклы идут!»

что у них есть идея, за которую они воюют, и проводником этой идеи как раз и является мариупольский типографшик.

Ракло-телохранитель сидел в уголке, глядя набожно и беспонятливо. Так, должно быть, полагалось слушать беседу богов. Когда вошел другой ракло, вошел вольно, шумно, телохранитель распылил на него глаза.

— Цыть!

Волин сказал:

— Вы были выборщиком в Государственную Думу. Зачем вы голосовали за седьмой список?

Дед усмехнулся:

— Вы приехали расстрелять меня за это?

Волин сделал вид, что не расслышал вопроса. Он сказал:

— Что может быть естественнее для производства, чем анархия?

Понимаете ли вы это?

— Я это понимаю. Но я понимаю все яснее, что в этой стране нужен кнут, иначе ее разворуют.

— Ваш кнут,— многозначительно сказал Волин,— у вас за голенищем.

Это был совершенно бесцельный разговор, и круглые периоды волинской речи напоминали неуклюжие притчи.

— Что значит — мой кнут у меня за голенищем? — спросил дед.

— Это значит, что надо предвидеть могущие случиться обстоятельства.

Волин был трезв. Приезд его был непонятен, пока третий ракло, войдя в помещение, не сказал, расплываясь веселой беззаботной физиономией:

— Михайло Абрамович! Нехай мы щось сховаемо у вас у скирди...

— Ховайте,— улыбнулся дед и спросил Волина,— вы так мне доверяете?

— Да,— ответил Волин,— мы вам доверяем потому, что вы хлебобоб, эрго — анархист. Буду с вами откровенен: мы рассчитываем на поддержку образованных классов, склонных к анархизму...

Дед мой был человек практический: предложение ракла «щось сховати у скирди» было ему понятнее разговоров о расчете на поддержку образованных классов, склонных к анархизму. Тем не менее он спросил:

— Но почему вы считаете меня склонным к анархизму?

— О, вы этого сами не понимаете. Производство не может подчиняться власти. Власть — паразитична по своему существу.

О каком производстве шла речь, если махновцы грабили и уничтожали все вокруг? Дед спросил Волина об этом.

— В чем наша сила? — риторически рассуждал Волин. — В том, что с нами — производитель продукта, сельский хозяин. Он нам прощает издержки, надеясь, что в конце концов обретет покой и сможет хозяйствовать по своей воле, не подчиняясь государству.

Дед считал благоразумным не высказывать своих сомнений.

Здесь следует сказать еще об одном уроженце Гуляйполя. В те дни, о которых идет речь, его еще не знали в дедовой семье. Несколько позже, в моем детстве, гуляйпольское происхождение его скрывалось. Возможно, потому, что с Гуляйполем связано было имя Нестора Махно, а Нестор Махно был враг советской власти. Человек этот из Гуляйполя отношения к махновщине не имел, но страх перед прошлым нависал над дедовым семейством.

— Не буди лихо, нехай спит,— говорила бабка.

Она была осторожна, поскольку человек этот из Гуляйполя занял в дедовом семействе место важное.

Махновцев же или, по крайней мере, близких к ним людей я помню детской памятью.

Наискосок от деда жили какие-то Задовы. Они жили рядом с Маринкиным домом и занимались извозом, как мой дед. Говорили, что Задовы эти — отец и братья знаменитого Левки Задова — начальника махновской контрразведки. Так это было или нет, я не знаю. Но чем дальше, тем утвердительнее звучала эта версия. Старик умер, кажется, в тот же год, что и мой дед. А братья дожили до осени сорок первого года, когда городок наш заняли немцы. Это были не немцы

восемнадцатого года, которых секла нагайкой моя мама. Это были дети тех немцев. А Задовы думали, что это — прежние немцы, культурная нация, и все рассказы о зверствах этих новых немцев — враки. Задовы не эвакуировались. А через две недели по приходе немцы собрали евреев и повели их кидать в шурф шахты Калиновской. Повели они и Задовых. И тогда Гришка Задов, прежде чем свалиться в шурф, сграбастал двух конвоиров и кинулся вместе с ними. Это были неукротимые люди, которые задорого отдавали свою жизнь...

XVIII

Дней через десять после волинского визита дед принимал участие в драке махновцев с гайдамаками.

Гайдамаки напали на Сладководную. Они были в папах, над которыми болтался длинный чулок-панчоха с кисточкой на конце. Они были в синих жупанах и красных шароварах. Они зарубили Шлейму Голомозого и стали жечь хаты, чтобы рубать жидов, когда они выбегут из огня. Маленький Аббас помчался домой на хутор, а за ним поскакал гайдамак с пикой, чтоб насадить жиденка. Десятилетний отрок не мог кричать от страха, он задыхался ужасом и бегом. Выскочив из-под копыт коня, увильнув от пьяной, неточной пики, он скатился в балку и упал в ручей, журчавший на дне. Домой он добрался к вечеру. Он не мог говорить, он только всхлипывал. Бабке казалось, что парень онемел.

Пулемет, оставленный Волиным в скирде, дед тогда еще перенес на чердак, выставил пулеметное рыло из слухового окошка на дорогу. Он это сделал потому, что наступило такое время, когда дорога, идущая вдоль жилища, на всякий случай должна простреливаться. После погрома в Сладководной дед ждал налета. Ночь он провел без сна.

Было совершенно тихое утро, когда у деда на дворе появились трое махновцев. Молодой ракло, незнакомый деду, закричал, белея глазами:

— Де вин?!

Дед понял, что речь о пулемете :

— На гориши, хлопче...

Ракло кивнул, полез на чердак с другим парнем и крикнул третьему:

— Василь! Бижи!

И тут дед даже растерялся: третий махновец был никто иной, как его работник Василь. Должно быть, он отслужил в армии, отвоевался, вернулся в родные места и вот — объявился.

— Зараз я им, собачьим сынам! — пообещал Василь и, не обращая внимания на деда, сиганул в овраг, обломавший землю за двором.

Почему Василь, воспитанный эсдэком Николаем Петровичем, оказался анархистом, думать было некогда. Дед полез на чердак.

— Шо тут будэ, хлопци? — спросил он.

— Зараз побачите... Мы на вас гайдамаков навели... А воны зараз без артиллерии, без ничего! Нехай покуштуют трошки! Усих перестриляемо, сучих дитей!

Почему и как махновцы навели Петлюру на дедов хутор, разбираться было некогда и незачем. Должно быть, махновцы готовили гайдамакам какой-то сюрприз, какую-то военную игру.

Дедово семейство сидело в погребе. Десятка два гайдамаков, предводительствуемые тремя конными, вошли во двор спокойно, весело, не ожидая сопротивления.

— Уси вбиглы! — закричал кто-то из них.

И вдруг из погреба залаял кольт. Работник Василь очень хорошо знал расположение хозяйства. Как он успел переместиться из балки в погреб, было непонятно, но стрелял он. Он ударил по всадникам и свалил их с коней. Кони заматались, гайдамаки потеряли кураж, по улице на выстрелы мчался конный гайдамацкий взвод. И тут с чердака затрещал волинский «максим»...

Кольт из погреба и «максим» с чердака были только началом. Откуда-то совершенно неожиданно, как из-под земли, влетели пулеметные тачанки. Гайдамаков расстреливали в упор, они бегали, кричали, пытались спрятаться, но отовсюду их ждали махновские пули.

Вероломство играло не последнюю роль в стратегическом арсенале людей Нестора Махно. Должно быть, шла драка за сферу влияния в этой местности и махновцы решили показать гайдамакам, кто здесь истинный хозяин. Они заманили их на хутор, расстреляли и оставшихся заставили увезти трупы на дедовых бричках, на дедовых лошадях.

— Василь,— сказал дед,— что ж вы со мной сделали? Они же очухаются и придут, я ж один с ними не справлюсь.

— Не придут,— сказал Василь,— они сюда сто лет не придут... Я вам так скажу, Михайло Абрамович, с Петлюрой надо кончать на Украине! Он первый враг советской власти.

— А кони мои? — спросил дед.

— Коней мы вам пригоним. Не этих, так других... Война идет, Михайло Абрамович!

— Я тебя не пойму, Василь,— сказал дед,— ты теперь махновец?

— Я — большевик,— сказал Василь,— надо — временно — махновец! Как советская власть прикажет.

— Так, может быть, она тебе петлюровцем быть прикажет?

— Вряд ли... А прикажет — буду! Я кого хочешь обдурю... А с вами как быть — не знаю... Мабуть вам надо идти звидси... Ревкомы придут советскую власть устанавливать... А вы — эксплуататор трудового народа... Вам бы, Михайло Абрамович, куда-нибудь податься, где заводы и шахты... Там человек затеряется — днем с фонарем не найдешь... Я вам так скажу: Петлюру правильным войском задавим, Махно либо к нам перейдет, либо — разбежится... И наступит советская власть...

Какая-то возвышенная убежденность горела в очах Василя. Откуда она взялась, эта убежденность? Должно быть, пропагаторские посевы Николая Петровича дали всходы. Должно быть, там, на войне, или еще где-нибудь — черт его знает, где он был эти годы — Василь получил свое революционное образование и от бесшабашного парубка осталось разве что категорическое мировосприятие.

Дед спросил:

— А ты Николая Петровича не встречал?

— Как же не встречал, когда встречал...

— Кто же он теперь?

— Теперь его рукой не достанешь. Его товарищ Ленин за границу посылает — буржуев дурить...

— А меня ты не дуришь, Василь?

— Вас не дурю... Вы человек старый, со старого режима, скоро помрете и начнется распрекрасная жизнь. Россию будем рушить! В церквах, в кирках песни петь будем! Нехай Бог сидит себе на небе, а попов разгоним!

— А попы причем? — осторожно спросил дед.

— А на шо они нужны в распрекрасной жизни? Мировая революция будет! Мировая советская власть! Это товарищ Ленин припечатал, как гвоздь вбил! Чего вас дурить? Я правду говорю...

Деду тогда было под пятьдесят. Столько же, сколько Ленину. Они были ровесники.

Что же произошло с Россией? Что же произошло с двуглавым орлом, который растопырил крылья над неохватным пространством и схватил когтистыми лапами скипетр и державу, раззявил хищные клювы на запад и на восток? Чем же держался его насест? Отечеством? Царем? Верою?

Как бы не так.

Православная Украина отскочила от православной России с тем же проворством, что и мусульманская Азия, католическая Польша, протестантская Финляндия. Двенадцать земель, сорок сороков языцев — православных, исламских, буддийских вскинули каждый свой бунчук свободы. Безбрежные просторы Сибири и Дальнего Востока — русские люди — отгородились друг от друга, брат от брата. И все они рушили Россию.

Все, что было российским, русским, сделалось неохватным злом, потому что русским оказалось все, что пребывало под двуглавою птицей — присяга, погоны, храмы, богатство, торговля, ремесло, хлебопашество, дворцы, книги, демократичес-

кие попытки, пробы самоуправления, законы, обычаи, совесть, Бог. Все, без чего не живут люди на земле, оказалось русским, стало быть, подлежащим истреблению.

И все, для кого присяга была пустым звуком, богатство — воровством, дворцы — лютой обидою, книги — излишним мудрствованием, законы — тесной клеткою, совесть — нелегкой обузой, Бог — выдумкой, — ринулись сокрушать Россию. Неосязаемая, но ярко блещущая идея какого-то нового мира осенила бедовые головы, вооружила бездельные руки, ожесточила беспощадные сердца. Они объявили небывалое царство справедливости, в котором не будет ничего, что было Россией. И стали убивать всех, кто смел усомниться в пришествии такого странного царства...

Они согнали с насеста двуглавую птицу и установили на том насесте красную звезду, полагая, что покончили со старым режимом, со старой империей.

Но они не развалили империю.

Они остановили ее распад и собирали ее под красную звезду, воздвигнутую на том же насесте, и растопырили над пространством штыки и схватили беспощадной мозолистой рукою все, что было державою и властью и раскрыли речистые пропагаторские рты на запад и на восток, призывая все бедовые головы рушить старый отживший мир.

И империя вставала из пепла, объединяясь все той же верою, царем и отечеством, каковые отныне оборотились коммунистической идеей, диктатурой пролетариата и все тем же пространством, над которым угрозило светила небывалая, новая красная звезда.

Василь после той драки махновцев с гайдамаками появился через некоторое время на дедовом подворье. Он появился в кожанке, с маузером на боку, и дед не понял, кем ему на сей раз приказала быть его советская власть и кого на сей раз предназначила дурить. Впрочем, Василь раскрылся сам:

— Михайло Абрамович, советька власть устанавливается. Я, как комиссар, явился к вам, пока не пришли наши хлопцы. Надо вам звидси тикать. А то — кто вас не знает — ненароком кончит при реквизиции.

— Выходит, Василь, ты сейчас дуришь своих?

— Выходит, что так. Я с вами пуд соли кушал и зла от вас не терпел... Зараз пригоним коней, арбу и покуда я тут за комиссара — дуйте от греха. Я до вас приставлю продотряд... Буланого забирайте — я знаю, вы того коня уважаете... Ну, конечно, добра возьмете, сколько увезете, остальное — советской власти. Тут красная экономия будет... Машины, конечно, оставите — ну там лобогрейки, веялку, молотилку...

— Василь, — сказал дед, — красная экономия это — хорошо... Вы будете говорить речи и петь песни — это хорошо... Но Гнедому надо мыть бабки, ибо он подсекается... Не забывайте об этом...

— Помоем, — сказал Василь, — а кто не захочет мыть — к стенке. Мы на разговоры короткие... Не старый режим...

И дедово семейство, сопровождаемое обещанным продотрядом, перебралось в наш городок...

Вот тут, собственно, следует отметить странную последовательность, сопровождавшую деда всю жизнь: люди, от которых зависела его судьба, почему-то творили с ним не то, что должны были бы творить по символу своей веры. Они как бы сдерживали зло, творить которое были приставлены.

Продотряд сопровождал реквизированное зерно и в том обозе ехала дедова арба. В продотряде состоял молодой тощеватый светлоглазый еврей, который изо всех сил старался походить на комиссара. Он носил черную кожаную фуражку со звездой и кожаную черную куртку и даже черные кожаные галифе. Но на комиссара он похож не был, а был похож на заучившегося юноше-шиботника, который, возможно, знал наизусть тору, а, может быть, по нынешним временам и откровения Карла Маркса.

Дед спросил его по-еврейски:

— Откуда вы родом, господин молодой еврей?

Он ответил по-русски:

— Я из Гуляйполя.

Дед присматривался к нему, объясняя его немногословие тем, что продотряд

был как бы охраной, а дед как бы охраняемым, а разговоры между охраной и охраняемыми не позволялись. Однако молодой человек вдруг сказал:

— Я знаю дом, который продают... И недорого... Если хотите, я вам покажу.

— Спасибо. Могу ли я вас спросить: вы давно служите в продотряде?

— Я не служу в продотряде. Я принимаю реквизируемый хлеб.— И вдруг — по-еврейски: — Если хлеб отнимают, так надо хотя бы следить, чтобы он не рассыпался по дороге.

Дед усмехнулся:

— И долго вы собираетесь следить?

— Я тоже об этом думаю... Мне кажется, военный коммунизм не прокормит себя... Я говорил об этом, но меня пригрозили зачислить в оппозицию...

— Почему же не зачислили?

— Я не член партии...

— Вам повезло...

Разговор прекратился.

Дед размышлял об этом молодом человеке, осторожно осуждавшем продразверстку, которой занимался. Деду все чаще встречались люди, поступавшие по вере, которая бывала в неладах с совестью, но возносящих веру свою выше совести. Дед думал об этом молодом человеке — почему он, этот молодой человек, пошел в комиссары и что он делал в своем Гуляйполе. Ладони у него были длинные, пальцы тонкие, легкие.

— Вы учились на скрипке? — спросил дед.

— Нет. Я пытался учиться петь. В консерватории. Но у меня не было возможности.

— А теперь возможность появилась?

Молодой человек не ответил, разговор снова прекратился. Но вдруг этот молодой человек сказал:

— Советская власть защищает угнетенных. Кто знает, может быть при советской власти я выучусь, наконец, в консерватории.

Так они ехали, так добрались до городка, в котором мне было суждено родиться.

А дед все размышлял о странных временах, опустившихся нивесь от куда на землю, о временах, толкающих людей на обходные пути. Работник Василь, ставший теперь большим комиссаром, говорил искренне, чистосердечно: мы, большевики, кого хочешь обдуришь. Писатель Винниченко толковал о внутренней честности с самим собою, о ладах с собственной совестью. Почему писатель стал политическим деятелем? Почему этот художавый молодой человек из Гуляйполя, безусловно образованный, никак не похожий на прибывших с новой власти неучей, подался в комиссары? Но ведь и Николай Петрович, аристократ, универсант, ушел в подполье, чтобы готовить какую-то новую жизнь. Что же это будет за жизнь?

Вот он едет на арбе, которую грузили люди новой жизни, люди, для которых дед мой был — классовый враг, буржуй, эксплуататор. И люди эти заботливо сопровождают его, оберегая все, что подлежит реквизиции, оберегают от других людей — таких же, как они сами, той же веры, той же революционной непримиримости. Что это? Простое везение или что-то иное?

И вдруг молодой человек этот будто догадался до дедовых мыслей, сказал честно, доверительно:

— Надо стараться пересилить нелепость, которая возникла от революции. Нелепость исчерпает себя и сменится благоразумием. Надо сдерживать зло. Я пытаюсь это делать...

Что же это будет за жизнь? Дурить, сохраняя внутреннюю честность с самим собою? Лгать ради добра?

Но ведь не зерно кинуто в землю и не Божьей властью возвращено. И не сдастся ли наконец совесть на милость вселенской нелепости и не станут ли врать ради зла и служить злу честные люди, поставленные временем на обходные пути?

Молодой человек этот навещал деда в новом его жилище, и принят был в семье и отмечен благорасположением.

Это был мой отец.

XIX

Улицы в нашем городке назывались линии. Они были немощеные. Домишки на них поставлены были по линейке, наспех, поскольку городок рос при огромном заводе и завод подминал под свои интересы окружающее пространство.

Первые мои впечатления о природе были связаны с серым золотистым песчаником, который заваливал все вокруг, но сквозь который упрямо пробивалась мелкая травка. Деревья на линиях попадались редко: здесь всегда была степь. Поэтому дворики за домишками выглядели маленькими садиками, как бы непричемными к местности. Там, в двориках, росли небольшие фруктовые деревца, посаженные и выращенные стараниями домохозяев. Но охотнее всего почему-то росла дикая маслина.

Мы проживали в небольшом саманном домике о четырех окошках, выходящих на линию. В домике этом я родился или, по крайней мере, жил отродясь. Принадлежал он Василию Васильевичу Фоменке, рабочему-аристократу, механику, смотрителю водоочистительного узла огромного завода, к которому прилепился наш городок-поселок. Сам Фоменко с семейством проживал во флигеле внизу двора, а домик сдавали нам внаем.

Фоменку я помню. Это был седоусый старик, должно быть, небольшого роста — тогда я был слишком мал сам, чтобы верно определять чужой рост. Но Василий Васильевич не казался мне и тогда очень большим. Надо думать, я тянулся к нему детской дружбой. Во всяком случае, первое механическое устройство, с которым я познакомился, было устройство водопроводного крана. Василий Васильевич возился в своей небольшой мастерской и весьма педагогично приспособливал меня в помощники. Я думаю, мое влечение к механике и некоторая способность справляться с отверткой и гаечным ключом начинались с уроков старика Фоменки.

Василий Васильевич курил трубку, а в трубке — махорку. Седые усы его желтели махорочным следом. Меня он называл ерусалимский козачок. Я был голубоглаз и белобрыс, что составляло некоторую несуразицу, ибо сыны Израиля (а отца моего, действительно, звали Израиль) обязаны быть чернявы и кудрявы. Впрочем, и отец мой был голубоглаз и белобрыс.

От Фоменки хорошо пахло металлической стружкой и машинным маслом. Это был чистый запах какого-то важного дела, серьезного занятия, всамделишного времяпрепровождения.

Отец мой не был привержен к механике. Иногда он заходил к нам в мастерскую и я чувствовал, что ему доставляет удовольствие видеть мои вымазанные черным руки и, разумеется, физиономию.

— А теперь будем мыть руки, — говаривал в конце работы Василий Васильевич и учил, как обращаться с пемзой.

И еще он говорил моему отцу:

— Израиль Леонтьевич, парень будет механик. Уже сам собирает-разбирает кран.

Вероятно, они дружили или, во всяком случае, были расположены друг к другу. Иногда они сживали за столиком под дикой маслиной, сживали без пиджаков и при небольшой бутылочке. Иногда приходили гости и за тем же столиком устраивался преферанс. Одного гостя я помню. У него была зеленая фуражка с блестящими молоточками крест-накрест. И еще я помню электрическую лампочку, подвешенную к дикой маслине, поскольку преферанс затягивался за полночь, когда мне уже давно полагалось спать.

Фоменку я помню, и это воспоминание — одно из приятных воспоминаний детства.

У Василия Васильевича была жена Авдотья Степановна. Каждый год она ходила пешком в Святогорский монастырь молиться. Монастырь этот вырублен был в меловой скале, а над скалою высился сложенный из бетонных кубов памятник известному революционеру. Я помню этот памятник и этот монастырь, потому что в Святогорск меня вывозили на лето.

Монастырь был древний, памятник был свежий, и он пугал меня своим беспощадным несуразным видом. Про монастырь говорили, что его вот-вот закроют и мне казалось, что закроют его из-за этого памятника.

Авдотья Степановна ходила на богомолье, видимо, постом, чтоб успеть к Пасхе. Она ходила с котомкой, с посохом, в черной одежде и мне было грустно думать о том — куда же она будет ходить, когда монастырь закроют.

И еще в те годы случилась подробность, о которой я узнал позже. Как-то мама моя сказала Авдотье Степановне, что Иисус Христос — еврей. Это было опрометчиво. Проходя мимо нашего домика, Авдотья Степановна отплевывалась. Но однажды, вернувшись с богомолья, просветленная и уставшая от долгого пути, не заходя домой, Авдотья Степановна постучалась к нам.

— Михайловна,— сказала она,— а Он-то и в самом деле был из жидов... И как это Он — наш Батюшка?..

И — заплакала.

Должно быть, в Святогорске мамини слова подтвердили.

Мама утешала старуху, как могла.

А потом — в тот ли год или позже, но в те времена, ночью взорвана была церковь нашего городка. Кажется, я помню эту церковь изнутри, потому что меня водила в нее наша домработница Фрося. Во всяком случае, в глубокой глубине моей памяти светятся тепленькие огоньки перед тепленьким золотом. Я не помню синагоги, куда однажды водил меня дед, но почему-то помню эту церковь, куда водила меня Фрося.

Когда церковь взорвали и над городком оседала кирпичная пыль, Авдотья Степановна пришла к нам и снова заплакала. Мама села с нею рядом на кушеточку, обняла старуху и плакала с нею вместе.

Василий Васильевич был мрачен и неприветлив. Они с моим отцом сидели за столиком и отец сказал зло и тихо:

— Бандиты...

Фоменко кивнул в сторону улицы, где стояли реквизированные под ГПУ особнячки:

— Видите, как обступили...

Я не понимал их разговора.

Место это, где мы жили, сколько я его помню, связано было со словом ГПУ. ГПУ находилось вокруг, оно занимало особнячки вокруг нашего домика и оно же выстроило поразивший всех размахом стеклобетонный трехэтажный небоскреб. Трехэтажный небоскреб поражал воображение детей и взрослых, ибо был одной из первых построек советской власти, то есть сооружением из стекла и бетона, то есть живым воплощением коммунистической мечты. А в том небоскребе разместились библиотека ГПУ, и клуб ГПУ, и кино ГПУ, и столовая, и зал, и все, что надо для коммунизма. Здание это построили очень быстро. Окна в нем были невиданно большие, с переплетами не деревянными, а алюминиевыми. На эту особенность обращал мое внимание мальчик Костя, мой приятель и однолесток. Он говорил, что при коммунизме все дома будут такими и даже красивее и выше. Сам Костя жил в небольшом особнячке напротив нас. Особнячок принадлежал буржуям и эппманам Красикам, которые держали какую-то торговлю и были переселены, поскольку особнячок их отошел к ГПУ. Мы с Костей бегали во двор трехэтажного небоскреба играть в серсо. Это была такая игра — надо накинуть колечко на палочку. Костя говорил, что в эту игру до революции играли только дети помещиков, буржуев и вообще эксплуататоров, а теперь — дети трудящихся, для которых построен специальный газон и даже дают газированную воду с сиропом «свежее сено». Костя много знал и понимал.

Папа Кости был большим начальником в этих местах.

Что он делал на службе, я не знал. Я помню, что для нас с Костей он соорудил превосходных воздушных змеев из разноцветной бумаги. Змеи были непростые: забравшись высоко в небо, они трещали особенными трещотками и вся линия сбегалась на них смотреть. Костин папа учил запускать их, ловко отматывая тоненькую бечевку с палочки. Когда ему бывало некогда, он делал

нам «монаха» — быстро складывал лист бумаги пирожком, привязывал к уголкам петельку, прилаживал тряпичный хвост и говорил:

— Запускайте сами, мальчики, мне некогда.

И мы бегали против ветра, «монах» взмывал в небо, но ненадолго. И, падая, непременно цеплялся за провода, тянувшиеся от столба до столба вдоль нашей линии. Один «монах» так и застрял в проводах, истлел, промок, пропал, надолго оставив по себе обрывок тряпичного хвоста.

Во дворе трехэтажного небоскреба был устроен не только газон для серсо. Там еще была площадка для крокета, в который играли девчонки и, что особенно важно, площадка для волейбола с настоящей сеткой, до которой я едва дотягивался рукой. В волейбол играли взрослые. То, что взрослые бегают и прыгают, как мальчики, было само по себе удивительно. Я не мог вообразить своего отца, прыгающего таким образом. Лучше всех в волейбол играл Мачковский. Имя его знали все мальчики.

Мачковский носился на огромном неудержимом мотоциклете, скакал на рысаке и, говорили, умел управлять аэропланом. Говорили также, что он летал на Северный полюс и ловил тигров. Он покорял наше воображение. Мы все хотели быть как Мачковский.

Он приходил на волейбольную площадку, снимал широкий ремень, на который была надета маленькая блестящая кобура, а в ней — браунинг. Он клал ремень на лавку возле площадки, снимал гимнастерку, майку и оставался нагим по пояс.

Тетя, выдававшая воду с сиропом детям и бутерброды взрослым, непременно говорила:

— Мачковский! Что-то ты похудел...

— Ничего, справлюсь, — подмигивал ей Мачковский и тетя тихо смеялась.

А он разводил руки и сгибал их с силою, отчего на руках и на груди его вздувались мускулы. Мы непроизвольно ошупывали свои жиденькие ручонки. Иногда Мачковский позволял нам щупать его бицепсы. Бицепсы были каменные. Мы восхищались и мечтали — когда-нибудь и у нас будут такие.

— Развивайтесь, малыши, — учил Мачковский, а тетя с сиропом и бутербродами говорила ему с восторгом:

— Здоров ты, чертяка...

И от тихого смеха ее мне почему-то становилось неловко.

Однажды какой-то дядя, стащив с себя гимнастерку, весело сказал:

— Мачковский! Расскажи что-нибудь!

Мачковский посмотрел на него, странно улыбаясь. Мне показалось — дядя этот испугался:

— Ну чего ты... Чего ты... Что ж, и пошутить нельзя?..

— Играть не будешь, — тихо сказал Мачковский, и дядя этот послушно сел на лавку.

Мачковский распределял — кому с какой стороны сетки играть, кому свистеть в свисток. Та сторона, где он играл, всегда выигрывала. Мачковский, нагой до пояса, в синих галифе и сверкающих сапогах, прыгал выше всех и бил по мячу через сетку беспощадно. Отбить такой мяч было невозможно.

— Называется — туш! — кричал он нам и тете с сиропом.

Все, что было связано с Мачковским, вызывало у нас восторг. Мы рассматривали его ремень, лежавший на лавке и — кобуру, наклоняясь и присаживаясь на корточки, чтобы заглянуть под застегнутый клапан, под которым виднелось металлическое донышко обоймы. Как-то Мачковский расстегнул кобуру, вынул браунинг, щелкнул им, вытащил из ручки обойму, еще раз щелкнул и протянул браунинг мне: на, поддержи. Я принял тяжелую, черную, сбивающую дух игрушку. Потом эту игрушку поддержали другие мальчики. Мачковский погладил нас всех по головам, взял браунинг, сунул в него обойму, вложил в кобуру и сказал:

— Вырастете — будете чекистами.

Дома я восторженно объявил, что держал в руках настоящий браунинг. Мама тоже погладила меня по голове, но ничего не сказала. Папа пришел к вечеру и выслушав мою радостную новость, молча переглянулся с мамой. А потом



пришел дед, я объявил и ему, что держал в руках настоящий браунинг самого Мачковского. Дед тоже погладил меня по голове и улыбнулся:

— Дурачок...

И я почему-то не обиделся. Я заявил:

— Когда я вырасту, я буду чекистом!

— Сначала вырасти,— сказал дед.

И еще я похвастал своей удачей Василию Васильевичу...

Я не знаю, что стало впоследствии с Мачковским. Но лет через десять Костиного папу расстреляют и Костя пропадет в лагерях вместе с сотнями тысяч детей врагов народа. А пока Костин папа ладил нам змеев, учил нас запускать их, складывал «монахов» и рассказывал, как хорошо будет жить при коммунизме и мы с Костей непременно будем там жить.

Теперь линий нет. Теперь — улицы. С асфальтом, с тротуарами, с цветниками. От старого городка-поселка не осталось, в общем, ничего, как ни вглядывайся. Но домик, в котором я появился на свет, сохранился до моей старости. Когда я его увидел лет через шестьдесят после моего рождения, удивился — как это он уцелел. Вокруг выросли огромные домищи во множество этажей, а этот домик тихо дремал среди них, и его почему-то никто не трогал. Трехэтажный небоскреб, выстроенный напротив нашего домика еще во дни моего детства и поражавший воображение детей и взрослых, — тоже затерялся среди новых зданий. Здания эти были типовые или полутиповые, кирпичные или блочные, ни на какую мечту не похожие, а похожие на типовые и полутиповые постройки о девяти и двенадцати этажах, сгущающие во всех городах.

Однако дух, сообщенный этому месту во время оно — сохранился. Меж длинных домов ходят милиционеры с портфелями, курсанты с узенькими погонами и катятся черные лимузины с занавешенными окнами. Здесь размещены милицейские учреждения и милицейские жилые дома. Думаю, не только милицейские, поскольку отродясь место это, сколько я его помню, связано было со словом ГПУ...

XX

Дед мой жил на той же линии, что и мы, но — в трех кварталах от нас. Дорога казалась мне по малым моим размерам неблизкой, но я любил ходить к деду. Три квартала это — домишек двадцать по немощеной улице, на которой все собаки были мне знакомы. В первый раз, когда я самостоятельно двинулся в этот путь, мама строго наказала: только никуда на сворачивай! Я не сворачивал. А мама шла за мною в отдалении, чтобы я не видел, как она идет, и чтобы быть спокойной за меня.

Сначала мама никак не соглашалась отпустить меня одного и я думал, как бы убедить ее. И нашел повод. Домиков через пять от нас помещалась бакалейная лавка дяди Меликянца. Раза два меня посылали к нему с запиской. Дядя Меликянц, большеносый, рыжебородый встречал меня с учтивым поклоном:

— Что прикажете, молодой человек? Чем могу служить?

И, подмигнув, протягивал леденец в прозрачной бумажке, держа его двумя пальцами, как светлую золотистую каплю.

— Дядя Меликянц,— важно говорил я, не глядя на конфету,— мама прислала письмо.

— Давайте меняться, молодой человек! Вы мне письмо, а я вам вот это!

И он брал записки, а я брал леденец, и мы одновременно отпускали пальцы и смеялись, как это ловко получалось: у него оказывалась записка, а у меня — конфета.

Он читал записку и говорил:

— Передайте маме, молодой человек, что завтра к утру товар будет доставлен!

Слово товар меня смущало. Оно никак не подходило к тем вкусным вещам, которые дядя Меликянц приносил в корзине, когда я еще спал.

— К дяде Меликянцу ты же сама меня посылаешь, а к дедушке — боишься, — сказал я маме. Это был убедительный довод.

Я любил бывать у деда. Там были лошади, голуби, которых гонял мой дядя Давид и — бабушка, которую я любил, несмотря на то, что была она ужасно пристающая, когда дело касалось еды. А дело касалось еды всегда. Всегда надо было что-нибудь скушать.

— Какой ты худой, — говорила бабушка, — ты весь светишься насквозь, такой ты худой! Посмотри на других мальчиков — они такие красивые, такие толстые!

Я не видел толстых мальчиков, бабушка тоже их не видела, но считала, что быть красивым значило быть толстым.

Три кумира было у моей бабушки: дед, Давид и я. Дед потому, что это был дед, Давид потому, что это был ее последний, и я потому, что был ее первый внук. Ради нас она совершала величайший грех: она нам жарила яичницу на копченном свином сале. Она нам жарила эту яичницу на большой сковороде, которую держала в сарайчике, в особенном шкафчике и, жаря, отворачивалась, как будто ожидала взрыва. Но дед, Давид и я очень любили копченую свинину и бабушка совершала грех.

— Гейт, майне хазейрим, — звала нас бабушка, когда пища была готова, — идите, мои свиньи.

И старалась не смотреть, как мы уписываем запрещенную законом Моисея еду.

— Папа, — спросил деда мой дядя Давид, — а почему евреям нельзя кушать свинину?

— Потому что евреи не такие умные, как о них говорят, — отвечал дед.

— А татарам — тоже нельзя.

— Думаешь, они умнее?

— А кто самый умный?

— Самый умный еще не родился. Кушай...

Бабка издали посматривала на нас и одобрительно вздыхала:

— Нивроку... Нивроку...¹

Я любил бывать у деда.

На возу под тополем спал мой другой дядя, постарше Давида, дядя Аббас. Он спал прямо на сене, не подстелив под себя ничего. Так спать нельзя, но он спал. И еще нельзя было спать неумытым, а дядя Аббас был измазан черной угольной пылью. Бабушка смотрела на спящего, вздыхала и не будила его. Она позволяла спать ему неумытым. Это был беспорядок, но именно этот беспорядок ввергал меня в печаль и не потому, что мне полагалось мыться перед сном и я подчинялся такому правилу, а потому, что я ни разу не сказал маме, что хочу спать, как дядя Аббас. Должно быть, я понимал, что — не равня ему.

Аббас работал на шахте в ночную смену. Он возвращался утром и валился на воз. У него не было сил вымыться. Днем он просыпался, бабушка успевала согреть ему ведро воды. Он просыпался и подмигивал мне:

— А-а-а... Ты уже здесь? Ну — давай!

И я поливал ему на спину из ковшика. К вечеру он уходил на шахту.

Как-то дед показал бабке газету, фотографию. Там было несколько людей в сюртуках и галстуках, а некоторые — в буржуйских шляпах. Это был снимок с какой-то международной конференции.

— Ты узнаешь его? — спросил дед. — Это же наш Николай Петрович!

— Какой Николай Петрович?

— Ты помнишь нашего господина учителя?

— А! Этот беглый каторжник? Ну и что?

— Это — он. Видишь, все-таки они берутся за ум. Он образованный человек, он знает языки. Они уже не держат в дипломатах матросов.

¹ Слава Богу, не сглазить бы... (жарг.)

— Мендл,— сказала бабка,— они никогда не возьмутся за ум. Я им никогда не верила и не поверю. Это — не люди.

— Кто же они?

— Я не знаю, Мендл. Си гейт фон кац — нявчет эс ¹. Ты говорил, что он даже жалованья не взял в расчет, когда я хотела пересчитать ложечки... Где наши ложечки, Мендл? Где наше все? Не взял жалованье! Вы слышали? Этот благородный король — не взял жалованье! Они взяли жизнь, Мендл. Они свое не упустят... Главное горе они еще не сделали. Они его еще сделают...

XXI

Летом двадцать шестого года пришла весть: в Париже убили Петлюру.

Бабка моя не была кровожадна, Боже упаси! Но она все-таки сказала:

— Так ему и надо.

Застрелил Петлюру какой-то Шварцбард. Он мстил за своего брата, погибшего от петлюровских погромщиков.

Слово «петлюра» было ругательством наряду со словом «мазеп». Мальчишки на нашей линии называли петлюрами и мазепами всякого, кто воровал голубей, или мучил кошек и собак, или лез в драку с пусканием юшки. Кто такой Петлюра на самом деле, я не знал. И кто Мазепа — тоже. Теперь я узнал, что Петлюра убивал евреев. Пошли слухи, что Шварцбарда послало в Париж ГПУ, поскольку ГПУ — за всех угнетенных, в том числе и за евреев.

Но через несколько дней после парижской вести ГПУ арестовало моего дядю Аббаса.

— Выпустят,— сказал дед,— там ничего нету...

— Но надо что-то делать! — возразила бабка.

— Ну — делай... Скажи Леньке, пусть сбегает к папе этого мальчика, с которым он запускает змеев.

Костин папа сидел в очень большой комнате. Пол в этой комнате был не крашеный, как у нас, а сложенный из маленьких деревянных кирпичиков.

Костин папа сидел за очень большим столом и стол отражался, как в воде — такие блестящие были эти деревянные кирпичики. А за спиною Костиного папы была большая белая дверь с большой блестящей медной ручкой, и я вмиг вообразил, что дядя Аббас находится за этой дверью, запертый на замок и со связанными руками.

Я вообразил его черным от угольной пыли, спящим на возу, и мне показалось, что он спит и сейчас там, за белой дверью. И я вообразил ведро горячей воды и ковшик, из которого я поливал его спину. Воображение было настолько реальным, что я заплакал, глянув на эту дверь.

— Почему ты плачешь? — спросил Костин папа.

Я сказал:

— Выпустите, пожалуйста, моего дядю.

Он спросил:

— А кто твой дядя?

Я сказал:

— Мамин братик.

Он спросил:

— А как его зовут?

Я сказал:

— Дядя Аббас.

Он спросил:

— А как его фамилия?

Я сказал:

— Не знаю.

Он спросил:

— А чья дочка твоя мама?

¹ Если происходит от кошки — мяукает (*евр.*).

Я сказал:

— Дедушкина.

Он сказал:

— Вот видишь, как много ты знаешь. И плакать не надо — ты уже не маленький.

Он встал и открыл большую дверь. Я был уверен, что сейчас оттуда появится Аббас и Костин папа развяжет ему руки. Но за дверью оказалась другая комната, устеленная такими же блестящими кирпичиками, и в той комнате стоял стол, который отражался как в воде.

Костин папа взял из того стола коробку конфет и сказал:

— Мальчики, съешьте по конфете и валяйте на улицу. Мне надо работать.

И я не мог понять, в чем состоит работа Костиного папы в этих двух чистых-пречистых комнатах.

Несмотря на то, что я уже был не маленький и знал что мама — это дедушкина дочка, я не мог знать, что арест дяди Аббаса был связан с убийством Симона Петлюры.

Я не мог знать, что Шварцбард добивался у Дзержинского денег на поездку в Париж и, не добившись, стал собирать их среди евреев и собрал, и поехал, и убил. Я не мог знать, что молодые горячие люди, рожденные для наведения справедливости в этом мире, мало-помалу заносились в списки ГПУ. За ними послеживали зоркие чекисты. А мой дядя Аббас сказал, что и сам поехал бы мстить погромщикам, убежавшим за границу. Должно быть, благородный этот порыв не ускользнул от зорких чекистов и дядя Аббас, горячий семнадцатилетний парень, рожденный как раз для наведения справедливости, был арестован, как активист сионистского центра. Я не уверен, что Аббас в те давние времена так уж ясно представлял себе, что такое сионизм. Гайдамацкую пику он запомнил на всю жизнь и советская власть, оградившая евреев от погромов, была для него оплотом благородных действий. Но ГПУ не любило самодеятельности и пресекало ее, едва она начинала дышать.

Я не знаю, отчего Костин папа выпустил моего дядю. И Костин ли папа его выпустил. В семье считалось, что по моему ходатайству. Дед не перечил этой версии. Щурясь левым глазом, он говорил:

— Пока еще не пришло время брать дураков. Вот его и выпустили. Но ты — все равно — молодец.

Потом выяснилось, что Аббаса арестовали перед спуском в шахту. Наверно, чтобы не запачкаться, подумал я.

Размышления вырывают из времени и уносят вперед, как бы торопя развязку. Они уносят в будущее, где все будет хорошо, поскольку мы еще не добрались до этого будущего и не сделали его настоящим.

Но я не залетаю так далеко. Я позволяю себе удаляться от времени, в котором обретаюсь со своим повествованием всего на несколько лет. Лет на пять-шесть.

Отсидев несколько ночей в ГПУ и отработав несколько лет на шахте, дядя Аббас уехал в Сибирь. Он не объявил в газете, что отрекается от своего отца — лишенца и бывшего эксплуататора. Он не выстраивал своей карьеры на низости. В дедовой семье совершались дурные проступки, но низких в ней не было, потому что не могло быть.

Дядя Аббас искренне работал на шахте и искренне уехал в Сибирь, и искренне работал на слюдяных коях, искренне веруя, что строит новую жизнь, небывалую счастливую, неведомую старикам, неведомую даже такому умному человеку, как его отец. То есть — мой дед. Дядя Аббас писал в анкетах, в графе «социальное положение», что он — сын зажиточного хлебороба. И эта странная формулировка, принятая в семействе, не вызывала настороженности, ибо была правдива. Дед мой, действительно, был хлебороб и, действительно, был зажиточным. Он не был кулаком: его никто не раскулачивал и никто не ссылал, потому что оставил он землю как бы сам, не дожидаясь пока ее реквизируют. Впрочем, там, в Сибири это уже

никого не касалось. Там в Сибири, дядя Аббас вступил в партию, потому что верил в новую небывалую жизнь, которую жадно рвался создавать.

Он был смышлен, деятелен и надежен. Он нравился начальству. Он ездил в Москву добиваться благ для своего производства и добивался, и был избираем в руководящие органы, как молодой перспективный кадр. Так он стал заведующим слюдяной фабрикой. А когда он стал заведующим и младшенькому, Давиду, пришла пора устраивать жизнь — Давид поехал к брату и был устроен чернорабочим, потому что никаких родственных поблажек, твердокаменный коммунист дядя Аббас не признавал. Дядя Аббас не признавал родственных поблажек, но простодушные люди на фабрике не забывали, что Давид — все же родной братан самого заведующего. А родной братан был урожденный изобретатель-рационализатор. И ему не понравилось, что слюдорезка режет только в одну сторону, гуляя холостым ходом. Давид был далековат от стремления в два раза быстрее построить коммунизм. Его занимала лишь ускоренная работа слюдорезки. И он сказал о своих заботах дяде Аббасу. Дядя сказал, что если Давид только притронется к технике, принадлежащей народу, он, Аббас, лично пристрелит его, несмотря на то, что он ему — родной брат.

— В строительстве коммунизма нет братьев, — сказал он, — а есть борцы за победу!

Сказал и уехал в Москву, добывать новый кабель.

И тогда Давид разобрал станок и заставил машину не лениться и на холостом ходу. Простодушные люди не перечили, а иные даже помогали ему реконструировать отсталую, доставшуюся в наследство от проклятого царского режима технику. Тем более, товарищ Сталин уже учил, что техника в период реконструкции решает все.

Усовершенствование было почти закончено, когда в цех влетел дядя Аббас с наганом в руке. Он только что вернулся из Москвы, а в те времена энтузиасты с вокзала являлись не домой, а на службу. А явившись на службу, дядя Аббас был уведомлен своими доброхотами об антисоветских действиях младшего брата. И старший брат бухнул в младшего брата сходу. Он выстрелил, конечно, над головою, но ярость его была велика и люди сбежались держать его за руки.

— Ты с ума сошел! — сказал Давид, ничуть не испугавшись.

Белея глазами от ярости, дядя Аббас захлебывался словами:

— Чтоб к утру все было, как было... Иначе пойдешь под суд... Я шутить не умею...

К утру слюдорезка, действительно, работала, но не так, как было, а так, как задумал Давид. Дядя Аббас посмотрел, хмыкнул:

— Молодец! Чтоб к вечеру были чертежи! Пошлем в ВОИЗ,¹ в Москву! Пусть все знают, что у нас тут люди не зря едят государственный хлеб! Техника в период реконструкции решает все!

Доброхоты сразу предложили устроить митинг и позвать корреспондента, чтоб расписал в газете, какие люди работают на фабрике. Тем более, товарищ Сталин учит, что кадры решают все.

Дядя Аббас подумал и сказал:

— Не надо митинга, не надо корреспондента. Он мой брат, а в строительстве коммунизма нет братьев!

И действительно, когда из Москвы прислан был значок ВОИЗа и денежная премия, дядя Аббас сам надел Давиду значок, а деньги отобрал, чтоб не развращать:

— Эти деньги пойдут в общественный фонд!

— Но бутылку ты хоть можешь мне дать выпить с ребятами! — закричал Давид.

— На бутылку я вам дам из своего жалованья. Но если я увижу пьяного на работе — всех отдам под суд!

В те времена пьяные еще не покачивались над станками. В те времена коммунизм еще строили стрезва...

¹ ВОИЗ — Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов.

Это случилось в году тридцать четвертом или в тридцать пятом, когда деда моего уже не было в живых.

А пока шел двадцать седьмой год. Это был богатый сытый год. Это была вершина НЭПа.

XXII

Год начался с того, что родилась моя сестренка.

Я уже был большой — было мне шесть лет и сестренка отвлекла от меня внимание и надзор семейства.

Мне почему-то нравилось находиться при взрослых, одетых в телогрейки, в ватники, в поддевки, мне нравилось находиться при взрослых, от которых пахло махоркой, овчиной и пряным спиртным следом. Взрослые эти принимали меня, не отличая, как будто я был такой же, как они, только поменьше ростом. Это мне очень нравилось. Никто меня не хвалил за сделанное и никто не восхищался моей сообразительностью в столь молодом моем возрасте. Это было ново и — прекрасно. Меня посылали за делом: принести, унести, поддержать. Должно быть, мне нравилось находиться при таких взрослых еще и потому, что были они похожи на моего деда.

— Ты чей? — спрашивал меня, кто не знал чей я. За меня отвечали:

— Это внук Михайлы Абрамыча. Звать — Ленька.

— А-а-а... Ну ладно, садись на подводу, поехали... Боком садись... Возьми вожжи, пока я сигарку скручу...

Если еще совсем недавно я мог хвастать тем, что держал в руках самый настоящий браунинг, то теперь мне в голову не приходило хвалиться, что кони меня слушают и поворачивают туда, куда я дерну вожжей. Я уже не говорил «лошади», я говорил — «кони», как говорили эти люди. Да и если подумать — кони и лошади — это, все-таки, не одно и то же.

Люди эти не играли ни в серсо, ни в волейбол, они не запускали змеев и не говорили, как хорошо будет жить при коммунизме. Они возили ящики, бревна, тюки и дружили с моим дедом. А ранней весной они возили колотый лед — закладывать на лето в погреб.

Лед возили со ставков, которых при нашем городке было три. Самый лучший лед был на третьем, дальнем ставке, он был чист и прозрачен. Его откалывали ломами, вытаскивали на берег, разбивали и грузили на брички. Мне задавали дело на берегу, чтоб я не лез на лед, чтоб ненароком не сорвался в воду. Если бы мне говорили: осторожно, сорвешься — я бы, наверно, не послушался. И еще у меня, бывало, спрашивали:

— Лень! Расскажи, как ты Аббаса из ГПУ вытащил!

И все смеялись, но смеялись необходимо и я важно шмыгал носом:

— Ну — вытащил и вытащил...

В это время мне уже не хотелось быть чекистом. Мне хотелось быть возчиком.

Лед развозили по дворам — кто заказывал — и там, возле погребов, глыбы льда обкладывали рубленой соломой, сносили вниз, в погреб, и заполняли оцинкованные ящики. Лед сохранялся в погребах долго. В дедовом погребе — до поздней осени.

Однажды мы привезли лед дяде Меликянцу. Погреб у него был большой и требовал много льда. Там, в погребе, стояли бочки, висели окорока, лежали на деревянных настилах мешки и пахло в этом погребе чем-то значительным, вкусным, сытым и одновременно чистым. Дядя Меликянц не протянул мне конфету. Он сказал:

— Молодой человек, окажите любезность, доставьте товар вашей маме, у меня нет времени, а она ждет.

Корзинка была невелика — фунтов на пять, мне по силам. Я понимал, что дядя Меликянц поручает мне дело, вместо того чтобы сказать: иди домой, дома волнуются. Я и сам понимал, что — пора домой. Я важно говорил: давайте товар! И принимал корзинку. И выходя со двора, я слышал одобрительное замечание дяди Меликянца:

— Видали? Понял. Кошка не сделает...



А дома было не до меня. И не из-за сестренки. Из-за папы. У него вдруг хлынула кровь горлом. Я слышал, что у папы обострился туберкулез. Что это такое, я толком не знал. К нам ходила сестра из туберкулезного диспансера, меня тоже водили в тот диспансер и царапали там руку, отчего царапина краснела и долго чесалась. А сейчас папа сидел тихий, напуганный, как нашаливший. И мне стало так жалко папу, что я заплакал. Папа сказал:

— Ты называешь лошадей конями. Человек, который называет лошадей конями, не имеет права плакать.

А сестренка кричала. У нее, наверно, болел животик. Маме помогали мои тетки. Потом пришел дед. Я плохо помню этот день, но должно быть день этот был очень важным. Приходили какие-то люди, среди которых я узнал того, кто мне царапал руку.

Через несколько дней папа уехал в Крым, в туберкулезную санаторию. На вокзал, который находился в семи верстах, нас отвозил дед. Сестренка оставалась с бабушкой. Папу провожали я и мама. И тут, на вокзале, возле зеленого вагона я увидел, как они обнялись и оба заплакали — папа и мама.

Дед ехал назад молча, изредка причмокивая на коня.

Папа был в Крыму долго. Жил он в Симеизе. Туда к нему ездила мама. Зачем она туда ездила, я не знал, наверно, потому, что соскучилась. Я ведь тоже скучал.

Меня и сестренку взяла к себе бабушка.

Сестренку кормила какая-то тетя. Говорили, что у мамы пропало молоко. Я не знал, что это значит.

На меня бабушка кричала:

— Кушай! Кушай все! Иначе ты будешь чахоточный, как твой отец!

— Мой папа не чахоточный! — вскрикивал я, а бабушка, как спохватившись, обнимала меня:

— Кушай, мальчик, кушай... Папа выздоровеет и все будет хорошо. Вот увидишь, они скоро приедут с мамой! И мы все поедем на станцию их встречать...

А моя сестренка смеялась. Наверно, ей нравилось молоко, которое она высасывала из большой груди этой тети.

Папа с мамой вернулись, правда, не так скоро, как говорила бабка. Но зато папа, действительно, поправился. Оказывается, у него была вспышка, но каверна явно зарубцовывается, и палочек в последнем анализе нет. Я не знал, что означают эти слова, я только чувствовал, что слова эти — хорошие. А бабушка говорила:

— Видишь? Папа вылечился, потому что хорошо кушал!

На дедовом дворе жили несколько семей, каждая в своем домике, в своей пристройке, каждая располагала своим сарайчиком, где лежала разная рухлядь и запас угля на зиму. Однако были на дедовом дворе и общие владения. Это были погреб и летняя кухня. Погреб был большой, каждая семья имела в нем свою часть. Летняя кухня представляла собою длинную печь-плиту конфорок на десять. Плита находилась под навесом и грелась каменным углем. Хозяйки приносили с базара снедь — синенькие, красненькие, перец, капусту, буряк — кошелки были неохватны и неподъемны. Они приносили с базара живых кур, висящих вверх ногами, обернутое капустными листьями масло и темно-красное тяжелое мясо с неременной желтоватой мозговой костью. И еще с базара приносили рыбу. Огромные пучеглазые рыбины шевелили безмолвными ртами, хватая последний воздух.

С утра на летней кухне гремели ножи, секачи, а у Островских была новая мясорубка, из которой, если крутить ручку, вылезал котлетный фарш.

С утра двор переговаривался, перекрикивался новостями.

— Мадам Фукс! Что вы будете сегодня варить?

— Боршт.

Мадам Фукс всегда варила борщ и борщ этот славился на весь двор, потому что такой борщ, который варила мадам Фукс, не получался ни у кого.

Интеллигентная инженерша мадам Бродская всегда почему-то варила бульон с лапшой. Лапшу она раскатывала на своем небольшом столике, и лапша ее была тонкой, как папиросная бумага.

Печь была раскалена с утра до вечера, на ней стояли сковородки, на которых доспевала, покрываясь темным коричневым золотом, рыба, шкворчали котлеты, а в кастрюлях томились борщи и супы. В печи, сбоку, имелись еще три духовки, в которых запекалась все та же беспощадная еда.

Днем, в самое пекло, приходили бродячие жестянщики, возвещая мир о своем пришествии:

— Пяять-лудить касрули! Пяять-лудить касрули!

Новых кастрюль я не помню. Все они были паяные и латанные.

Я боялся еды. В двадцать седьмом году ее не только волокли с базара. Ее разносили, развозили по дворам, торговались тут же из-за копеек и пятачков.

А ближе к осени двор загромождался порожними бочками, кадушками, кадками. Бочки эти заполнялись водою и в ту воду кидали раскаленные добела кирпичи. Вода всклокатывала, гудела, исходила густым паром. Бочки грохотали, парую, и были похожи на вулканы. Бочки быстро становились горячими на ощупь. Я спрашивал у бабки:

— Для чего это?

Она отвечала:

— Чтобы было чисто.

Так готовили посуду под соленья — под капусту, под огурцы, под красненькие, под синенькие, под кавуны. Укропный и чесночный дух висел над двором. Лавровым листом и перцем насыщен был этот дух.

А в углу летней кухни складывали остывшие, сделавшие свое дело кирпичи, треснувшие пополам или уцелевшие. Складывали до следующей осени.

XXIII

Беспокойная служба моего отца бросала нашу семью (папа, мама, сестренка и я) по Украине. Отец мой занимался заготовками сельскохозяйственной продукции для угольных шахт и металлургических заводов. Для этого он устраивал в разных местах особенные конторы. Я не понимал, зачем это нужно, когда еду разносят по дворам и ее так много. Но я не спрашивал отца, стараясь уразуметь самостоятельно. Я думал, что шахтеры не имеют времени ходить на базар, потому что все время либо находятся под землей, либо спят, либо моются. Мое воображение крепко держало в себе образ дяди Аббаса.

Папа как будто выздоровел, был весел и бодр — должно быть, он, действительно, поправился оттого, что хорошо кушал. Однако и этот несомненный факт не мог преломить моего настороженного, во всяком случае, избирательного отношения к еде. Одно время мы жили в древнем городке, название которого я немного позже с горделивым удивлением прочту в былинке.

В городке этом у нас был телефон под номером сорок девять. Телефон был огромный, висел на стене меж двух окон и мне очень хотелось поговорить в этот телефон. Надо было сначала покрутить ручку, потом снять с крючка трубку, потом, услышав голос телефонистки, назвать нужный номер. Звонить было некому, никаких нужных номеров я не знал. Я краснел и говорил:

— Скажите, пожалуйста, который час...

И телефонистка с удовольствием отвечала, который час. Должно быть, и она томилась от безделья.

Впрочем, дело у меня было. В тот год я пошел в школу. Я пошел в школу в тот год, когда над страной прогремело слово коллективизация. Этим словом заполнились газеты, оно звучало в стихах, которые нам читала учительница, оно было напечатано большими буквами в журнале «Пионер», который мама выписывала для меня.

Коллективизация шла всю зиму, папа ходил мрачный и я никак не мог примерить радостные статьи в журнале «Пионер» к папиному настроению.

Весною, когда мне исполнилось девять лет, мама с папой устроили день



рождения и позвали мальчиков и девочек. Но никто к нам, кажется, не пришел. И вдруг зазвонил телефон.

— Возьми трубку, — мрачно сказал папа, — это тебя кто-то поздравляет. Я покрутил ручку, снял трубку и сказал «алло!». И узнал голос телефонистки: — Товарищ! Застрелился поэт Владимир Маяковский... Отбой... Я передал новость родителям. Мама сказала:

— А... Он всегда был футурист...

Папа ничего не сказал.

А я вспомнил, как три года назад моя тетя Тася вела меня за руку — мне было шесть лет — и вдруг вскрикнула:

— Маяковский! Смотри! Маяковский!

Я увидел в спину высокого дядю, у которого сзади висел наган в коричневой кобуре. Был ли это Маяковский, я не знаю, но наган этот помню до сих пор.

Мне нравилась коллективизация. Мне казалось, что все теперь будут жить вместе, как вокруг летней кухни на дедовом дворе, и меня только настораживало обилие еды. Я поделился своими соображениями с папой. Папа сказал:

— Не бойся. Много еды не будет.

Он вообще был мрачен в этот год, печален и неразговорчив. Я кое-что знал о деятельности моего отца. Знал, что он устраивал кроличьи фермы, животноводческие пункты, птицеводческие комбинаты — что это такое, я не вдумывался. Но я еще знал, что отец помогал покупать трактора, которые назывались фордзоны. Трактора мне виделись яснее. Я просил отца показать мне их.

— Я их сам не видел, — отвечал он. — Они в деревнях, туда далеко ехать.

Все это было непонятно. И еще более непонятны были разговоры отца с мамой. Из тех разговоров я уяснил, что кролики мрут от кокцидиоза, племенные пункты развалились, а куры и гуси потеряли хозяев. И еще я узнал из тех разговоров, что трактора не работают. Почему это случилось, я не понимал, спросить не решался. Папа все чаще покашливал. Однажды он сказал маме:

— Бандиты.

Сказал тем же голосом, как тогда, когда взорвали церковь, сказал это слово Василию Васильевичу.

Веселая коллективизация несколько омрачилась в моем воображении, поскольку сопровождалась явным ухудшением здоровья папы. Кушать еще было что, но это уже не помогало.

Мы вернулись в свой город. Когда мы вернулись, у Фоменок жила семья моей тетки. Нам предоставили домик на дедовом дворе. Сами дед да баба перебрались во флигель. Оказывается, домик был маминым приданым.

Мы поселились на новом месте, которое я хорошо знал. Теперь я был совсем большой, я был ученик второй группы и ходил куда хотел. Город наш не изменился, но кое-что в нем появилось новое. Например, водопроводные колонки в каждом дворе. И еще я увидел лавку дяди Меликянца, на окнах которой были прибиты крест накрест доски. Я не спрашивал отчего закрылась лавка. Я почувствовал, что никто мне не скажет правды. Я вообще ощущал, что в жизнь вошло что-то плохое. Что-то неохватно плохое появилось в жизни. Папа снова заболел, он уезжал в больницу, потом возвращался и снова уезжал. Он был худой, с красными худыми скулами и чужими, какими-то виноватыми глазами. Дядя Аббас уехал в Сибирь. Дядя Меликянец куда-то пропал и даже Василий Васильевич, встретив, потрепал меня по плечу и не назвал ерусалимским казачком. Что-то плохое накатывалось на жизнь.

Мне перешивали отцовы рубашки и отцов пиджак, и отцовы сапоги. Мама пошла куда-то служить. Все вокруг стали злее. Как-то бабка моя сказала деду про моего отца:

— Это ишиве бохер! Чего он добился своми книгами и своим пением? Чахотки он добился? Я не могу видеть эту нищету...

— Конечно, ты не можешь видеть, — сказал дед, — конечно, тебе непривычно. Ты же взята из самого богатого дома в колонии.

Бабка отвечала тихо и плакала:

— Мендл, когда приходит несчастье — люди сходят с ума. А пока они сходят с ума, несчастье делает свое дело. Ты думаешь, у меня сердце не обливается кровью за Израиля?

— Когда приходит несчастье, — говорил дед, — не надо сходить с ума. Иначе оно никогда не уйдет.

Несчастье пришло в наш дом и не уходило. Может быть, потому, что люди сходили с ума, а несчастье делало свое дело.

Отец мой умрет в тридцать восьмом году, разрушенный туберкулезом. Он не сойдет с ума. Он умрет в здравом уме и твердой памяти. Он узнает перед смертью об арестах и расстрелах своих друзей, знакомых и сослуживцев. Он и сам почувствует над собою топор палача, потому что в газете нашего города напишут, что он — пособник классового врага, добывавший кулакам сельскохозяйственную технику. Теперь кулаки уничтожены как класс, а прихвостни их получают справедливую кару пролетариата и беднейшего крестьянства, объединенного в колхозы.

— Я — прихвостень, — хрипло говорил отец, — уколите меня морфием. У меня все болит...

Он не сошел с ума. Справедливая кара пролетариата и беднейшего крестьянства, объединенного в колхозы, не дотянулась до него. Ее опередила смерть...

Когда мы вернулись в свой город, я увидел, что бабкин интерес ко мне поубавился. Причина тому была: в домике, где мы жили прежде, у Фоменок, там где теперь жила семья моей тетки, родился мой двоюродный братик. Бабка теперь занималась этим братиком.

Я не ревновал, но мне казалось, что привязанность бабкина чрезмерна. Она учила тетку как кормить и как пеленать и вообще проводила большую часть времени там, в нашем старом жилище, ставшем теперь не нашим. Она нянчила нового внука так, будто боялась выпустить его из рук.

Братик мой отвечал ей странной привязанностью: он поднимал рев, когда его уносили от моей бабки. Он ревел и тянул руки назад через теткин плечо, а бабушка шла за ними и успокаивала:

— Я тут, я тут, я иду, не плачь...

Бабка не знала, не могла знать и не должна была знать, что через двенадцать лет внук этот, мой двоюродный братик, далеко, в неведомых краях, в песках Средней Азии, когда товарняк с эвакуированными остановится на неведомое время и по неведомой причине: братик мой снимет ее, бабку, умершую в пути, и закопает в придорожном песке. Он сделает это не один, потому что у него одного на это сил не будет. Ему помогут такие же мальчишки, как он — голодные, оборванные и напуганные страшной войной.

Но это будет потом.

А пока бабка покрикивала на мою тетку:

— Что ты себе думаешь? Дитя захляло от крика!

Лошади исчезли со двора. Дед уже не занимался извозом.

Умер Буланый. Я не видел, как его увозили. Я был в школе. Давид сказал, что Буланый прожил двадцать три года.

— Он был старше меня, — сказал Давид, шмыгая носом. — И старше Аббаса...

XXIV

Конюшня опустела и ее стали переделывать.

И вот в переделанную конюшню поселилась шумная семья, как мне показалось — очень большая. Звали их Гайворонские. Я не знал, откуда взялась эта семья и почему она живет в конюшне. Но в связи с этой семьей я столкнулся вплотную с недавно возникшим словом, похожим на дозволенное и поощряемое ругательство. Это было слово «раскулаченные». Везде это слово гремело вызывающе и беспощадно. У нас же во дворе его произносили тихо или старались не произносить. Гайворонские были — раскулаченные.

Я не узнал конюшни. Из нее была сделана большая комната с высоко расположенным узким длинным окном. Окно выходило на зады, на грязную линию. От младшего — семилетнего Ваньки Гайворонского я узнал, что дед мой — тоже раскулаченный, но в отличие от них, еще и буржуй.

Я возмутился и стал подыскивать слово пообиднее, чтобы припечатать Ваньку. Я искал это слово среди немногих знакомых мною ругательств и — нашел.

— А ты — петлюра, — сказал я.

— А ты — мазепа, — сказал Ванька.

Может быть, я подрался бы с Ванькой, но старший Гайворонский — черный, усатый, огромный мужик погладил меня по голове:

— Хлопче, ты ще малый... А Ванька зовсім малый... Уси люды, люды...

Почему все люди — люди, я не подумал, но драться с Ванькой мне хотелось. Я принес ему свои книжки и увидел, что Ванька еще не умеет читать. Я стал учить его буквам.

Дедовы дети, то есть мои тетки и дядя, родившиеся после пятилетнего перерыва, начинали свою биографию с нуля. Они начинали свою биографию с нуля чистосердечно, бесхитростно и преданно. Они любили советскую власть, верили ей и не видели своей жизни вне советской власти. Они резко отличались от своих старших братьев, которые не любили советскую власть, не верили ей и терпели ее, как несчастье, которое нужно пережить. Они служили на своих службах, сжав зубы, но служили исправно.

Началось лето тридцать второго года и из Харькова приехала моя младшая тетя Тася, та самая, которая, когда я был маленький, воскликнула: «Смотри! Маяковский!»

Она была комсомолка, носила красную косынку и бабушка называла ее, вздыхая:

— Майнс куфике тохтэрл.

Это означало: моя партийная доченька. Слово «куфике» происходило от слова «куф», так называется по-еврейски буква «к» — первая буква слова «коммунист». Советская власть вламывалась в семейство со всех сторон.

Тете Тасе было теперь лет восемнадцать. Она уехала в Харьков года два назад и строила там тракторный завод. Там же, на строительстве этого завода, она познакомилась со своим мужем — дядей Ромой.

Тетя Тася все время смеялась и пела. Она ходила с огромным животом, а в том животе находился еще один мой двоюродный братик. Я не сомневался, что там — именно братик, а не сестричка.

Тети Тасин муж — дядя Рома — носил сандалии и на одной сандалие вместо ремешка была веревочка. Дядя Рома сплел эту веревочку петелькой и она ловко надевалась на блестящий шпенец. Мне нравилось смотреть на дяди Ромину обувь.

Кроме такой обуви, у тети Тасиного мужа была книжка, написанная на украинском языке. Эту книжку он написал сам. Он был писатель. В книжке рассказывалось о строительстве Харьковского тракторного завода. Рома познакомился с тетей Тасей, когда они месили ногами бетон. Наверно, они месили бетон, смеялись и пели песни. Потому что дядя Рома был тоже очень веселый. Я уже хорошо читал и по-русски и по-украински и очень хотел прочесть о том, как они познакомились. Но об этом в книжке не говорилось. А говорилось в ней — как все месили бетон, пели песни и смеялись.

Рома говорил, что Харьковский завод утрет нос Катерпиллеру. Я не знал, что такой Катерпиллер, но догадывался, что это — какой-то буржуй, да к тому же еще и сопливый.

Дед мой тоже листал книжку тети Тасиного мужа. Он спросил:

— Сколько будет стоить твой трактор?

Тети Тасин муж рассмеялся:

— Какая разница! Это — советский трактор! Маркс говорил...

И он стал громко рассказывать деду, что говорил этот Маркс. Маркса я хорошо знал в лицо. Его портрет висел у нас в школе, потому что Маркс знал все на свете. Возможно, он был умнее даже моего дедушки. Я, вероятно, становился марксистом, потому что дедов вопрос к тети Тасиному мужу показался мне старорежимным и даже в чем-то — буржуйским. Может быть, Ванька Гайворонский прав? Мне не хотелось, чтобы мой дедушка был буржуй, да еще раскулаченный.

Я продолжал учить Ваньку Гайворонского буквам. Тетя Тася и дядя Рома похвалили меня:

— Ты очень хорошо поступаешь! Пионеры должны помогать партии ликвидировать неграмотность!

— Я еще не пионер, — стеснялся я похвалы.

— Будешь! Все мальчики и девочки должны быть пионерами! А потом — комсомольцами! Знаешь, как хорошо и весело быть комсомольцами!

Наверно, это действительно было так. Когда комсомольская организация на харьковской стройке узнала, что у тети Таси в животе завелся мой двоюродный братик, ей подарили новую красную косынку и совершенно новый ночной горшок. С этим горшком она прибыла. С этим горшком она явилась на летнюю кухню, варить в нем суп.

Это была уже не та летняя кухня, что два-три года назад. Кастрюль было меньше, сковородок не было совсем, интеллигентная инженерша Бродская уже не раскатывала свою лапшу, мадам Островская не крутила свою мясорубку, а мадам Фукс варила свой борщ, но уже не такой, какой варила еще сравнительно недавно, а жидкий, постный, приправленный крапивой. Она-то, собственно, и закричала, увидев тети Тасину посуду:

— Не могу я смотреть на этот горшок!

Тетя Тася и инженерша Бродская втолковывали старухе, что пора кончать с предрассудками, что горшок новый и чистый. Но мадам Фукс не принимала их разъяснений:

— Прежде всего, это — горшок! Я не хочу на него смотреть! Ему не место на плите! Я тебе дам кастрюлю, только убери с моих глаз этот горшок!

Кастрюля была старая, запаянная, но она соответствовала предрассудкам.

А дядя Рома рассказывал, как будет хорошо жить при коммунизме, где не будет предрассудков и каждый будет получать по потребностям, а работать по способностям.

Хозяйки слушали его, вздыхали и уныло поглядывали на скудные припасы, полученные в рабкоопе по недавно введенным карточкам — рабочим, служащим и иждивенческим.

Напротив дедова двора находился двор, над которым еще три года назад приколочена была вывеска «Мясная торговля». Теперь вывески не было, а проемы забора, бывшие когда-то дверью и окнами, заколочены крест-накрест досками, как лавка дяди Меликянца. Там, в том дворе, жила старуха Корб, чей сын Арончик служил в красной кавалерии. Старуха Корб каждый день сообщала своему двору и всем соседним дворам, что Арончик скоро приедет на побывку и постепенно вся улица начала ждать этого приезда, как великого события. У старухи даже стали спрашивать — когда же приедет Арончик.

— Скоро! — отвечала старуха Корб и дряблые глаза ее светились сумасшедшей радостью.

И вот — свершилось.

Старуха Корб, ополоумев от счастья, бегала по улице и кричала:

— Эйлим! Арончик гекумен цу форт! Мит ди шашке, мит ди шпоре — мит дем могоиндовид, мит ди ¹ ...б твою мать!

Когда она кричала про шашку, она хлопала себя по боку, когда — про шпору, она подгибала назад тощую венозную ногу и била себя по пятке, когда — про могоиндовид, ляскала себя по лбу, а когда про ...б твою мать — трясла кулаками над распатланной седой головой. Бег ее, крики и движения были похожи на какую-то пугающую пляску.

— Дос а хасидим! — презрительно сказала бабка про Корбиху. — Они хасиды...

Сам Арончик — плотный, важный, румяный, расхаживал по раскаленной безлистной улице, под палящим солнцем — чтоб все видели его длинную до пят кавалерийскую шинель с шашкой на боку, шпору, выблискивающие из-под подола, и фуражку со сверкающим лакированным козырьком и красной звездой.

Целый день он либо чистил свои блестящие сапоги ваксой, либо наводил

¹ Люди! Арончик прибыл! С шашкой, со шпорами, со звездой, со... (евр.).

сверканье на медные плашки ножен кирпичной пылью, либо протирал снятые с сапог шпоры. Мы ходили смотреть на его сокровища. Он был к нам благо-склонен и охотно объяснял назначение этих небывалых предметов, сопровождая объяснения тем самым заклинанием, которое мадам Корб восторженно выкрикивала, радостно тряся кулаками.

Арончик подружился с тети Тасиным мужем Ромой. Они говорили о ликвидации кулачества, как класса, и о том, что Красная Армия всех сильнее, потому что она есть плоть от плоти трудящихся масс. От Арончика пахло серым хлебом и дегтем. Мне казалось, что это и есть запах плоти. Дядиromина обувь, несмотря на блестящий шпенок под веревочкой, разумеется, и в счет не шла рядом с Арончиковыми сапогами. Мне казалось, что плоть отличается от всего остального, как сапоги от сандалий.

Когда Арончик появился в нашем дворе, Гайворонские велели Ваньке сидеть дома, да и сами предпочитали не выходить. Они прятались от Арончика, а Ванька смотрел на него с недетским испугом.

— Почему ты его боишься? — спросил я Ваньку.

Ванька был чистосердечен:

— Та воны ж налетели на село та гналы нас висимнадцать верст! Плятямы...

Должно быть, Ванька сболтнул больше, чем следовало. Старый Гайворонский вмешался:

— Та не слухай його! То булы маневры красной кавалерии!..

— Эгэ ж! Маневры! — не унимался Ванька. — Панаса забылы нагайками... И Петра... (И вдруг — спохватился.) Воны куркули булы... А мы не куркули, мы — середняки... Батько на шахту пришов працювать... И мы з ним...

Старший Гайворонский работал на шахте. Коногоном. Он любил лошадей. В их комнате, переделанной из конюшни, все еще стоял давний запах сена и овса.

Я стал смотреть на Арончика если не с испугом, то с настойчивым желанием вообразить его, размахивающего нагайкой над Ванькиной головой.

Через несколько дней я все-таки спросил Ваньку:

— С ними был Арончик?

— А бис их зна, — тихо сказал Ванька, — була кавалерия з плятямы...

А дядя Рома все беседовал с Арончиком о ликвидации кулачества, как класса.

Дед смотрел на меня, будто хотел спросить — хочу ли я стать красноармейцем, когда вырасту. Но если в пять лет я хотел быть чекистом, в шесть — возчиком, то теперь я уже был большой. И не хотел, чтобы моя мама носилась по улице в пугающей пляске по случаю моего прибытия на побывку. Я не хотел, чтобы моя мама была похожа на мадам Корб. Мне было стыдно. И еще я не хотел, чтобы кто-нибудь от меня прятался.

XXV

Ласкательное домашнее имя Тася происходило то ли от Татьяны, то ли от Натальи. Можно покопаться в архивах (если они сохранились) и проверить.

Но я не тревожу бумаг.

Конечно, какой-нибудь педант непременно сострит: «Мог бы и потревожить». Пускай его — как хочет. Жизнь и литература — это не одно и то же.

Жизнь пробивается к истине и иссякает, не пробившись. Литература же — истиной владеет. Ей некуда торопиться и не перед кем оправдываться.

Итак, тетя Тася (Татьяна или Наталья?) все время пела и смеялась. Она пела и смеялась не потому, что была исполнена себялюбия, а потому, что полагала, будто истина уже достигнута жизнью, будто истина эта есть не что иное, как яростная победа в классовой борьбе и завершение строительства Харьковского тракторного завода.

Но однажды я видел, как тетя Тася плакала. Она плакала, и ее муж дядя Рома обнимал ее, утирал ей слезы и целовал в глаза. Он утешал ее:

— Это издержки классовой борьбы, Тасенька...

Она быстро кивала головой, наверно, соглашаясь. А плакала она потому, что во двор все чаще заходили нищие просить милостыню.

Незнакомая женщина с синим лицом и огромным животом держала за руку закутанную, как маленькая старушка, девочку. Живот был огромен, как у тети Таси, и я сразу подумал, что в нем сидит братик этой девочки и мне стало страшно от того, что братик этот показался мне крохотным старичком, закутанным в старый платок.

Это были нищие. Откуда берутся нищие, я не знал. Мама кормила эту женщину с синим лицом на кухне, кормила торопливо, как бы опасаясь, чтобы ее никто не увидел. Но ее видели все и все делали вид, что не видят. И мрак, тяжелый недетский мрак висел над двором.

Вот тогда тетя Тася заплакала:

— Она же умрет... Она же не сможет родить...

— Это — перегибы на местах, — утешал ее муж Рома.

А мой дед молчал. Он молчал уже года два. То есть он говорил, но говорил очень редко. Иногда он садился, ставил меня меж колен и смотрел мне в лицо, как будто считал веснушки (у меня были веснушки), потом гладил меня по голове, быстро кивал и отпускал меня:

— Иди... Побегай...

Но я не мог бегать. Мне казалось, что ноги мои тяжелы и руки тяжелы.

А Ванька Гайворонский говорил про нищих:

— То — куркули. Вони не любять совещьку власть.

— А ты любишь советскую власть?

— Люблю. Мы не куркули. Мы — середняки. Батько прихав робить на шахту и мы — з ним...

71

Тетя Тася умерла родами, родив мне еще одного двоюродного братика.

Когда тетя Тася умерла — с дедом моим случился удар. Меня к деду не пускали. Теперь мама плакала все время. А бабушка не плакала. Она говорила:

— Иди, сынок, иди... Делай уроки... Побегай...

И вдруг дед мой поднялся. Он вышел во двор. И вышел как раз тогда, когда мы с Ванькой Гайворонским, воспользовавшись каменной тишиной, слезили на горище (на чердак) и взяли там берданку. Мы возились с берданкой — рыжей от ржавчины, и Ванька говорил, что надо это ружье помазать конопляным маслом. Конопляного масла у нас не было. И Ванька сказал, что годится любое. Я слышал, что касторка называется также рициновое масло. Я взял в аптечке пузырек касторки, и мы с Ванькой Гайворонским смазывали берданку, не заметив, как подошел мой дед. Всегда прищуренный левый глаз его слезился. И дед не сказал ничего. Он только — промычал. А когда он промычал, мне стало одновременно смешно и страшно. Дед взял у нас берданку, уперся в ствол коленом и согнул этот ствол. Согнул, не глядя на нас, бросил берданку и вошел в дом. Больше я моего деда не видел: он умер.

Вот и все, что я собрался рассказать про моего деда. Теперь я понимаю, что был он в десять раз хуже, когда о нем говорили хорошее, и в десять раз лучше, когда о нем говорили плохое.

Здесь мне остается только добавить, что когда дед мой умер, я два дня не ходил в школу. А в группе нашей как раз шла борьба за первое место в школе по дисциплине. Когда меня спросили, почему я нарушил дисциплину и подвел группу, прогуляв два дня, я заплакал и сказал, что у меня умер дедушка. Объяснение не было принято. Один активный мальчик сказал, что недисциплинированный ученик — наш враг, хуже Деникина и Колчака.

— Отговориться всегда можно, — сказал этот мальчик, — то дедушка умер, то еще что-нибудь.

Учительница сидела с каменным лицом.

Был на исходе всего только тысяча девятьсот тридцать второй год...

СТИХИ И СУДЬБЫ

ПАВЛО ФИЛИПОВИЧ

*Единый дух
единым правит светом...*

С УКРАИНСКОГО.

ПЕРЕВОД ЛЕОНИДА ЧЕРЕВИЧНИКА

Павло Филипович родился на шевченковской Черкащине — в селе Кайтановке Звенигородского уезда 2 сентября 1891 года. После гимназии даровитый Павло по конкурсу поступил в знаменитую Коллегию Павла Галагана. Здесь он подружился с Михайлом Драй-Хмарой, блестяще изучил французский и русский языки, здесь начал писать первые стихи на русском языке. Они появляются на страницах русских журналов «Вестник Европы», «Заветы», «Жатва», в киевском журнале «Куранты». По окончании с золотой медалью Коллегии — Киевский университет, факультет права. Он переходит на историко-филологическое отделение славяно-русской филологии, пишет научный труд о творчестве Евгения Баратынского.

Здесь он и работает. Сначала приват-доцентом, потом профессором, читает курс новой украинской литературы, пишет монографические исследования, предисловия к собраниям сочинений украинских писателей, переводит французских и русских поэтов.

В литературных кругах знали, что среди пятерых неоклассиков — Максима Рыльского, Миколы Зерова, Освальда Бургардта, Михайла Драй-Хмары место Павла Филиповича было одно из почетных. Его называли поэтом-мыслителем; строгость и сдержанность образного самовыражения покоились на глубокой филологической культуре стилистики и формы.

Философская лирика — определяющая особенность количественно скромного лирического наследия поэта, за его короткую творческую жизнь вышло две книги стихов — «Земля и ветер» (1922) и «Простор» (1925).

1935 год — трагический для неоклассиков. Первым — в апреле — арестовали Миколу Зерова, в сентябре — Михайла Драй-Хмару и Павла Филиповича. Органы НКВД сфабриковали версию о контрреволюционной националистической организации. В феврале 1936 года трибунал Киевского военного округа осудил Павла Филиповича на «десять лет лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях с конфискацией имущества».

3 ноября 1937 года по решению «особой тройки» УНКВД по Ленинградской области (от 9 октября 1937 года) вместе с другими украинскими интеллигентами был расстрелян Павло Филипович — оригинальный поэт, талантливый ученый, блестящий переводчик.

Микола Жулинский

Саломея

Пусть проклинал пророк Йокanaan
Под полотняным небом Иудеи —
Был слышен только голос Саломеи,
Слепили плечи, извивался стан.

И пламень страсти, словно ураган,
Зал охватил до самой галереи,
В истоме трепетали орхидеи,
Стонали флейты и звенел тимпан.

Слепая страсть, красы победной сила!
Народа жизнь бы ты испепелила,—
Нет для тебя преграды никакой!

Подносят блюдо с головой кровавой,
И жизнь свою ты отдаешь за право
Навек остаться в памяти людской!

Ночь

Придет, на синее тканье
Просыплет золотые зерна,
Для всех есть сказки у нее,
Для всех напитков чудотворный,—

Чтоб усыпить, заморозить
Всех — человека и травину
И за долиною долину
Густым туманом обложить,

Но старая не спит земля
И по ночам, зимой и летом,
Все поворачивает к свету,
Навстречу дню свои поля.

73



* * *

Камни, тени людские —
Тяжко глазам. Надо мной
Пятна видны голубые —
Неба товар мелочной.

А среди улиц купы —
Тошно, муторно всем.
Кто обменяет, купит,
Кто обнищает совсем.

Так я ходил и слушал,
Слушал и крикнул сам:
«Кто обменяет душу?
Душу свою отдам».

Но — голодные, злые,
Сонные — мимо прошли,
И не возник, как в былые
Дни Властелин земли.

Кто наделял красотою,
Золотом всем владел,
Нынче — чего он стоит? —
Сам теперь не у дал.

...День умирает. Убого
Никнет шатер небес.
Город, проклятый Богом!
Бросил тебя и бес!

* * *

На поругу холодным льдинам,
На глумленье глухим ветрам,
На презренье стаям звериным,
Что цветок пропустят и храм,

Отдаю свой разум и душу,
И надеюсь — настанет срок,
И стою, чтоб смотреть и слушать:
Не идет ли уже Пророк.

Солнце красное над землею
Поднялось в синеве кружить —
Рядом сердце стынет чужое,
Умирает, не может любить.

И в стране безбрежной донине
Ни один не воскрес, восстав.
Только сумрак черный и синий
Проплывает над морем трав.

* * *

Старой цыганкою ночь
Сонным степям ворожила,—
Знали, что не превозмочь,
Пусть еще копится сила.

Вольно дышали поля,
Спали дорог повороты.
Что же таишь ты, земля,
И поджидаешь — кого ты?

Ветер молчал на лугу
И не шептались ракиты,
Что на прогале в логу
Два неизвестных убиты.

Нет, ты, земля, не раба;
Думали: серость, сермяга —
Дух твой звенит, как труба,
Мощь твоя бродит, как брага.

Ночь не уснет уже тут —
Взор ее видит остывший:
Снова, вздымаясь, растут
Черные в поле могилы.

* * *

Единый дух единым правит светом,
Единый путь в грядущее ведет,
И мы умрем с единственным заветом
В своих сердцах, где вечный наш оплот.

Мы красоту спасем, и над руиной
Жизнь вновь взойдет — прекрасней чем была —
Великой грезы, мудрой и единой
Всемирные звонят колокола.

Века летят, и в беспредельном море
Для сей земли горит звезда одна,
Соединятся все в одном просторе —
Зверь, человек, цветок, голубизна.

ГРИГОЛ РОБАКИДЗЕ

Меги. Грузинская девушка

РОМАН

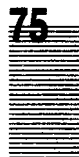
С НЕМЕЦКОГО.

ПЕРЕВОД СЕРГЕЯ ОКРОПЕРИДЗЕ

Читатели журнала «Дружба народов» не в первый раз встречаются с творчеством выдающегося грузинского писателя Григола Робакидзе (1880—1962), умершего в эмиграции. Роман «Убиенная душа» был опубликован в 4 номере за 1990 год с послесловием Е. Курганова, в котором достаточно подробно рассказывалось об

основных вехах биографии и творческом методе писателя, ставшего в 1931 году невозвращенцем.

Роман «Меги. Грузинская девушка» (первоначальное название «Косы Медеи») был написан в 1926 году, а в 1932 выдержал на немецком языке уже третье издание. На русском языке публикуется впервые.



Я родился в октябре. Почти все, сыгравшее для меня и всей моей жизни решающую роль, пришлось на этот месяц. В октябре 1928 года вышел в свет мой роман «Змеинная рубаха» на немецком языке. Это событие имело для меня особо важное значение, ибо книга эта является первым литературным произведением, представляющим европейскому читателю более чем 1500-летнюю грузинскую культуру. Само собой разумеется, что этим я не хочу сказать, будто это единственная книга, достойная быть переведенной на европейский язык. Но то, что это событие произвело на меня глубокое впечатление, надеюсь, будет правильно понято. Издательство выслало мне несколько экземпляров немецкого издания книги, и мне захотелось передать ее моей любимой родине, с которой она кровно связана, которой, собственно, и обязана своим появлением. Мне захотелось самому положить ее в руки моей седой матери, которую я давно не видел. И вот в один прекрасный день я собрался в путь и поехал в свою родную деревню.

Я прошу читателя взять карту Кавказа и отыскать на ней железную дорогу от Тифлиса до Батума. Это был маршрут моего путешествия. После восьмичасовой поездки я прибыл на маленькую станцию Свири. Здесь проходит граница между Верхней и Нижней Имерети. Европейскому читателю мне хотелось бы сказать еще следующее: в грузинском государстве живет несколько родственных племен. Это кахетинцы, карталинцы, имеретинцы, гурийцы, мегрелы, аджарцы, а также горные племена сванов, хевсуров, пшахов и тушин. Все они грузины и говорят на одном и том же грузинском языке за исключением сванов и мегрелов, говорящих на своих диалектах. Но и эти диалекты тоже являются разновидностями грузинского языка. А литературный и церковный язык сванов и мегрелов тот же, что и у других грузин.

ПРОЛОГ

Октябрьским вечером мой поезд прибыл на станцию Свири. Пожилой родственник встретил меня, и мы верхом отправились в нашу деревню.

Аромат родной земли пьянил. Воспоминания детства, подобно стаям птиц, закружили во мне и затем медленно исчезли. И вот что удивительно: казалось, будто все сколько-нибудь значительные мысли, занимающие меня в зрелую пору, были

Перевод романа выполнен по изданию: Григол Робакидзе. Меги. Грузинская девушка. Изд-во Райнер Вундерлих. Тюбинген, 1932. Журнальный вариант.

близки мне уже тогда, когда я ребенком бегал по этой земле. Оглядываясь назад, я воспринимал их как туманные образы, плывшие, словно прозрачные медузы, по безбрежной водной глади детского сознания. Возможно ли, чтобы подобные видения были прообразами доисторического сознания, которые дитя несет с собой из темных недр плодотворящей земли? Я боюсь потревожить то, что таится под туманным покровом Неизведанного.

Был тихий осенний вечер. Я упивался картиной родных полей. Вот уже появилась первая после станции сторожевая будка! Незабываемое переживание связано с ней. Мне тогда исполнилось восемнадцать лет, и я принял решение учиться в Германии. Отец проводил меня, но не дождался прибытия поезда. Он коротко попрощался и ушел. В его словах сквозила печаль, которую он скрывал с большим трудом. Ему было нелегко отправлять единственного сына в неведомые края. Но слез он не проливал. Я, конечно, понимал, что прощание у поезда было бы для него еще более тяжким испытанием. Это пытящее чудовище в буквальном смысле слова оторвало бы меня от отца. Отец безгранично любил меня, и я знал это, но он никогда не обнаруживал своих чувств. Я стоял смущенный и с грустью смотрел вслед удаляющейся фигуре. Отец ни разу не оглянулся. Наконец подошел поезд. Я поднялся в вагон и сразу открыл окно. Поезд тронулся. Я прощался с родными полями. А вот и первая железнодорожная будка, недалеко от которой, в двух-трех шагах от полотна дороги, я увидел человека, прислонившегося к стволу дерева. В следующее мгновение наши взгляды встретились. Жадными очами провожал он проносившийся мимо поезд, каждый вагон, людей, стоявших у окон: его взгляд искал кого-то, жаждал ответного взгляда. Это был мой отец. Я ощутил слезы в его глазах. Мне никогда не забыть этот взгляд, исполненный любви и тревоги. Почувствовал ли он, что я увидел его? Заметил ли он меня? Я не был в этом уверен. И позднее никогда не спрашивал отца об этом.

Сейчас, когда мы приблизились к сторожке, я заметил, что того деревца уже не было. Но мне все еще мерещился пронзительный взгляд, жадно поглощавший пространство. Моя лошадь споткнулась.

— Что с тобой? — спросил мой двоюродный брат.

— Да так, ничего... — ответил я уставшим голосом.

Мы перешли вброд реку Квирила и прошли еще с полмили. Вот и ореховое дерево. Оно немного постарело. Как часто я отдыхал в тени его густой кроны. Сколько грез посетило меня под его низко склоненными ветвями! Одно переживание ярче других светится в воспоминании. Мне было тогда шестнадцать лет. Я ехал верхом в соседнюю деревню. Недалеко от этого дерева я встретил пастушку со стадом овец и свиней. На фоне полуденного зноя она показалась мне чарующе красивой. Я был ослеплен. В то же мгновение я соскочил с лошади, привлек к себе перепуганную девушку и прижался к ее целомудренным устам, забыв обо всем на свете. Не помню, вскрикнула ли тогда девушка от испуга. Память моя сохранила лишь мой собственный крик, вырвавшийся из моей груди, словно рев одержимого похотью дикого зверя. Я тут же вскочил на свою лошадь. Словно заряд молнии, ей передался мой восторг, к которому теперь примешалась смутная тревога, — и я полетел. Это был мой первый поцелуй. Где теперь эта пастушка? Жива ли она? Может быть, она стала матерью, у нее, возможно, взрослые сыновья и дочери, и она, наверное, с улыбкой вспоминает иногда того озорного мальчишку, в мгновение ока сорвавшего с ее юных губ поцелуй, быть может, первый и для нее?

Мы поскакали дальше и доехали до моста, соединявшего оба берега у слияния рек Чолабури и Дзирула. Снова воспоминания, и такие же неизгладимые. Мне было четырнадцать лет, и я хотел во что бы то ни стало участвовать в празднике водоосвящения 6 января в Кутаиси. Отец мой проводил меня. Мы решили пойти пешком до остановки. Подойдя к реке, мы заметили, что наводнение унесло все лодки, а мост находился далеко. Что делать? И тут подъехали два всадника. Они могли бы перевезти меня через вздувшуюся реку, но, к нашему сожалению, оба были пьяны и направлялись на свадьбу. Наконец подкатила арба, в которую былапряжена пара буйволов. Погонщик взялся перевезти.

Отец остался на том берегу. Арба вошла в воды Чолабури и некоторое время поплыла, затем накренилась и стала тонуть. Буйволы испугались. Течение реки понесло нас в сторону Дзирула. Там, где обе реки сливаются, тяжелую арбу швыряло

как щепку. С того берега я услышал крик отца. Я спрыгнул с арбы и поплыл к правому берегу Дзирула. Так как я неплохо плавал, мне без особого труда удалось добраться до берега. Меня, промокшего насквозь, привели в близлежащую мельницу. Вскоре подошел и отец. Ему пришлось сначала обойти реку, чтобы выше по течению дойти до моста. Меня уложили в постель, и я всю ночь провел на мельнице...

И вот теперь мы приближались к этой мельнице. Какой ветхой и заброшенной она показалась мне в надвигающихся сумерках! Начал накрапывать дождь.

— Не передохнуть ли нам здесь немного? — спросил мой двоюродный брат.

— Охотно...

Мы спешили. Мельник дружелюбно приветствовал нас. У разведенного тут же огня, под мерный стук жерновов я погрузился в мир моих детских грез. Мне вдруг показалось, что и эта мельница всего лишь видение. Не грезились ли и я сам себе? Вдруг открылась дверь, и в комнату вошел старик. Я вздрогнул. Не призрак ли это? Или и в самом деле тот старец, которого я видел здесь тридцать лет тому назад? Ужас обуял меня. Шепотом я спросил своего спутника:

— Это Гегия?

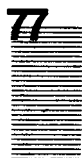
Он ответил мне с усмешкой:

— Да, это он...

Я знал этого старого человека с детских лет.

Нередко случается, что в какой-нибудь деревне моей родины появляется странник, оседающий затем там навсегда. Таким странником был когда-то и этот старец. Он уже приближался к преклонным годам, когда я был еще только мальчиком. Утверждали, что появился он у нас из соседней Мегрелии. И кроме того, что звали его Гегией, о нем ничего не было известно. Роста он был среднего. Его необычайно густые, коротко стриженные волосы отливали свинцом. В загорелом лице было что-то отталкивающее. Несмотря на свой возраст, он держался прямо. Чем-то, напоминающим пепел, веяло от всего его облика. Лишь глаза были такие черные, что их настоящий цвет невозможно было определить. Взгляд старика то и дело скользил в сторону. Когда же он смотрел своему собеседнику прямо в лицо, то становилось не по себе. Детей он любил, но они боялись его. Он носил серую куртку, сшитую из старой солдатской шинели, перехваченную толстой веревкой вместо пояса. Рубашка на нем была из грубого полотна. Он всегда ходил босиком. На занозы не обращал внимания. Несколько довольно крупных щепок, которые он вовремя не вытащил, вросли в огрубевшую кожу его ступней. Никогда не подстригаемые ногти на ногах совершенно окостенели и были толщиной с палец. Старик влачил жалкое существование, переходя от одной семьи к другой, не оставаясь более недели в одном доме. Нетрудно было накормить его, ибо он был весьма непривередлив и питался почти исключительно фруктами. Он умел шить и часто помогал этим своим ремеслом тем семьям, где жил. При нем была четырехугольная клеенчатая сумка, с которой он никогда не расставался. Никто не знал, что он прятал в ней. Гегия был крайне молчалив и никогда не говорил о себе. Весь его облик напоминал какое-то меланхоличное животное. Улыбался он редко, а смеющимся никому не удавалось его увидеть. В церковь он ходил регулярно, но молился лишь в полном уединении. Иногда на него находила какая-то ничем не объяснимая дикость. В таких случаях он переселялся в маленький деревянный домик, стоящий около церкви; и здесь происходило нечто странное, сбивавшее с толку сельчан. Поговаривали, что он соорудил себе качели, но не только для того, чтобы качаться на них, но и для того, чтобы истязать себя ими. И так как церковь находилась всего в нескольких шагах от нашего дома, то мы однажды ночью подкрались к его обиталищу. Со страхом и любопытством заглянули мы через щель внутрь. Посреди комнаты на глиняном полу горел огонь. Тут же лежала его сумка, на сей раз открытая. К большому камню у очага была прислонена какая-то картина, показавшаяся нам иконой. Старик покачивался на качелях, бормоча при этом какие-то непонятные слова. Мы тогда подумали, что он молится. Вдруг Гегия приподнял концы веревки, сделал из них петлю и просунул в нее голову. Мы испугались и без оглядки побежали домой. Однако на другой день увидели его здоровым и невредимым.

Меня он любил, но я испытывал по отношению к нему лишь любопытство; может быть, и я полюбил бы его, если бы меня не напугали слова отца, произнесенные угрожающим шепотом: «Он слуга дьявола». Только один-единственный



раз я по-настоящему рассердил старика. Это случилось в послеобеденное время, когда он был в нашем доме и спал. Я увидел его ноги. Занозы, вросшие в кожу его ступней, возбудили мое любопытство. Я тихо подкрался к нему и потянул за одну. Гегия повернулся, бросив такой устрашающий взгляд и так прикрикнув, что я два дня не мог прийти в себя, и моя бабушка лишь с помощью заклинаний вылечила меня. Но уже на третий день мы с Гегией помирились и стали, как прежде, друзья. Что терзало его? Никто не мог разгадать его тайну. Я смутно вспоминаю как бы случайно брошенные слова одного нашего обычно весьма неразговорчивого соседа: «Говорят, что он изнасиловал свою сестру, и отсюда его помешательство». Но эти слова почему-то прошли мимо ушей любопытных, не произведя на них почти никакого впечатления. Сам Гегия постоянно и упорно молчал. Когда кто-нибудь докучал ему вопросами, он тотчас вставал, брал свою сумку и молча удалялся. В последний раз я видел его здесь, у этой мельницы, в тот вечер, когда, после неудачной переправы меня привели сюда!

Старик подошел к нам и поздоровался. Я был поражен: он почти не изменился. Сколько же ему могло быть лет? Это не поддавалось определению. Да, он, пожалуй, и сам не знал точную дату своего появления на свет. Он родился в Мегрелии в ту пору, когда там отмирал феодализм, во время правления «дедопали» (владельцы) Екатерины Дадияни. Затем началось русское господство, потом образовалась Грузинская буржуазная республика и, наконец, Советская Грузия в составе Союза Советских Социалистических Республик. Он пережил мировую войну, революцию. И вот он вновь стоит передо мной, такой же, как прежде. Неужели все эти огромные социальные потрясения могли пройти мимо него? Неужели время — самое таинственное, что есть в этом мире, — уже не касалось его? Старик, кажется, одеревенел; и лицо его производило впечатление произведения искусства, созданного из дерева.

— Ты не узнаешь меня, Гегия? — спросил я его после продолжительного молчания.

Он угрюмо взглянул на меня и ответил:

— Нет... — Снова молчание.

Когда же мой двоюродный брат назвал мое имя, Гегия чуть-чуть вздрогнул и смущенно пробормотал:

— А-а-а-а...

На лице его, однако, при этом не отразилось и тени удивления. Он подсел к нам, поближе к огню, так как ночь была довольно сырой, хотя и не очень холодной. Старик снова посмотрел на меня своим обычным тяжелым взглядом. Вид этого уже почти нечеловеческого создания, на котором, может быть, целое столетие оставило свои следы, был ужасен. Он задал мне несколько вопросов, на которые я ответил ему в смущении. Мало-помалу старик потеплел: высохшее дерево ожило. На его губах на миг даже мелькнула улыбка. И вдруг он спросил меня, сильно прищурив глаза:

— Ты еще помнишь, как я рассказывал тебе сказки?

— Да, конечно... Как я могу это забыть?.. Одну из них я даже напечатал в книге, — ответил я.

— Какую?

— О мальчике, превратившемся в камень...

— А-а-а!... В какой книге?

— В этой.

Я достал из саквояжа немецкое издание моего романа, раскрыл книгу и показал ему то место, где речь шла о сказке. Гегия взял книгу и стал сосредоточенно разглядывать ее. И в самом деле: впервые на этой земле видели готический шрифт! Но удивления я не заметил на лице старика. Он произнес лишь едва слышно:

— Так ты, значит, стал писателем!

Меня так и подмывало сказать ему, что и он упоминается в этой книге, но я встретил вдруг его взгляд и испугался: этим глазам невозможно было солгать.

Мой кузен лег спать. Мельник осмотрел мельницу, затем вышел и направил воду в сток. Все три жернова остановились. Теперь и он лег отдыхать. Я устроился на тахте, сооруженной на скорую руку из досок. Мельник и мой кузен сразу же заснули. Гегия неподвижно сидел у печки и выглядел как старая гравюра на дереве. Огонь тихо догорал, убаюкивая старика. Я не мог уснуть, хотя и был утомлен. Я взял из саквояжа томик стихов Поля Валери и начал листать его. Но в этой глуши, на этой

старой мельнице слова парижского александрийца показались мне такими неубедительными, такими поверхностными. Да и я был уже не тот: я чувствовал, как слой за слоем с меня спадала вся западная культура. Разум Гегеля, дарования Гете, звуки Баха, черно-белые контрасты Рембрандта — все это показалось мне теперь далеким и чуждым. Журчала вода. Какой-то первобытный ритм стал мерно вибрировать во мне. Я начал воспринимать время как нечто единое и целое, и мне казалось, будто ход его приостановился. Я был теперь таким же как и тогда, тридцать лет тому назад; но я с трудом различал эти «теперь» и «тогда»...

Далеко-далеко уносил меня шум мельничного колеса. Мой взгляд скользнул по остановившимся жерновам, и с чувством, близким к страху, воспринял я их первобытный покой. Старик также погрузился в безмолвие. Все было так таинственно. Вдруг я вспомнил о сумке Гегии и замер: неужели ее уже нет у него? Я отложил книгу и закрыл глаза, но сон не шел ко мне. Я притворился спящим. Гегия встал и взглянул на моего кузена и мельника. Оба спали. Старик посмотрел в мою сторону. Я лежал, не шелохнувшись. Во дворе залаяла собака. Гегия подошел к двери, открыл ее и выглянул во двор. Лай прекратился: значит, никого не было. Старик вернулся, кашлянул и стал, как мне показалось, намеренно шумно ходить взад и вперед. Потом он еще некоторое время внимательно наблюдал за мной, но я лежал не шевелясь. Теперь он, по-видимому, убедился, что я сплю. Затаив дыхание, я следил за каждым его движением. Он направился в угол комнаты, где под кучей лохмотьев у него был спрятан небольшой деревянный ящик и что-то достал из него. Когда он повернулся ко мне лицом, я увидел все ту же старую сумку, которая теперь вся была покрыта заплатами. Гегия раскрыл сумку, вытащил из нее какую-то дощечку и подсел к огню, спиной ко мне. Я осторожно приподнялся и украдкой взглянул на дощечку. Но каково было мое изумление, когда я увидел портрет. Это был портрет женщины! Я остолбенел, не в силах отвести глаз от изображения. Гегия что-то пробормотал. Мой взгляд превратился в пламя. Я почувствовал, что старик вот-вот ощутит спиной этот огонь и обернется.

В следующее мгновение Гегия оглянулся. Лицо его исказилось от гнева. Множество мелких морщин собрались в один пучок. Я был словно околдован: вместо того, чтобы опустить глаза и лечь, я вскочил с постели и подбежал к нему. Теперь оцепенел Гегия. Он молчал. Может быть, ему показалось, что я сошел с ума. Я взял у него дощечку и сразу же понял, что картина эта изображает девушку, именно девушку: ее волосы отливали солнцем, глаза ее... Но как описать их? Это были фиалки под кустом на сверкающем талом снегу. Но к чему описывать эти глаза? Любые слова были бы здесь жалким лепетом, переводом с мертвого языка. Это был не портрет, а какая-то магия, схваченная и овеществленная кистью мастера. Конечно, портрет не мог сравниться с женскими ликами Боттичелли или Леонардо да Винчи. Техника исполнения была просто беспомощной. Но от этого несовершенного произведения искусства исходила колдовская сила... Меня охватила дрожь. Я тяжело дышал. Я не мог отвести зачарованного взгляда от портрета. Чем больше я смотрел на изображение девушки, тем сильнее было очарование:

— Ну, что скажешь? Хороша, не правда ли?.. — услышал я голос старика.

Мне показалось, что кто-то невидимый вдруг нарушил мое одиночество, пытаюсь рассеять очарование, в плену которого я оказался.

— Прекрасна... Да!.. Прекрасна... — пролепетал я.

Словно спустившись снова на землю, я вдруг неожиданно для себя произнес почти деловым тоном:

— Сколько золота дали бы за нее!

— Золота? — спросил Гегия с раздражением. — Для чего мне золото?

В его раздражении теперь сквозило презрение. Собравшись с духом, я по-детски пролепетал:

— Подари мне ее, Гегия... Пожалуйста...

Лицо старика вздрогнуло и исказилось, но лишь на одно мгновение. И он ответил хитровато, как будто найдя единственно возможный, а, значит, и верный выход:

— Хорошо, но при одном условии.

— При каком?

— Что ты не станешь выпытывать у меня ее историю.

Я не мог вымолвить ни слова. И вдруг во мне пробудилось любопытство, неудержимое и неодолимое, похожее на то, какое было у первых людей, когда змей соблазнил их. Я взглянул на Гегию: в его змеином взгляде была мудрость искуителя.

— Ну, так как же? Согласен? — спросил он. Его усмешка перешла в смешок. Желание раскрыть тайну портрета, разгадать загадку этого лица слишком сильно горели во мне, чтобы поддаться искушению. Я решил отказаться от подарка.

— Нет, я не хочу ее... — ответил я разочарованно.

— А почему ты ее не хочешь? — спросил искуитель, все еще усмехаясь.

— Я хочу узнать историю этого портрета!

— А если я скрою ее от тебя?

— Нет, нет, ты должен рассказать мне все, что связано с этой картиной. Без этого портрет мне не нужен... — что-то в этом роде я ответил ему.

— Ну хорошо, будь по-твоему... Я расскажу... Один раз в жизни я расскажу ее кому-нибудь... Тебе расскажу... — Улыбка исчезла с его лица.

Гегия начал говорить. Он рассказывал долго, чуть ли не до рассвета. Я внимал ему, ловя каждое слово. Позднее я записал историю, рассказанную мне Гегией. Имена я не изменил, так как Гегия настоятельно просил меня об этом. Все события, о которых идет речь, я передал так, как поведал мне о них Гегия.

В финале драмы я кое-что добавил от себя. Пример великого поэта в «Поэзии и правде»? ¹ оправдывает меня, ибо для поэта правда всегда становится поэзией.

У ИСТОЧНИКА

Она вышла из воды, словно из ребра Адама. Она совсем забыла, что этот источник предназначен для питья, и искупалась в нем. Но в это время едва ли кто-нибудь придет — полуденный зной расслабляет тело, а часа через два-три не останется ни одной капли той воды, что наполняет теперь бассейн, — так мощно бьет источник.

Этот источник похож на обнаженное сердце дикой кобылицы, — подумала девушка. Прохладу земли взяла с собой девушка, когда вышла на мшистый бережок. Она почувствовала себя вновь рожденной. Мгновение она стояла неподвижно. Жизнь ее тела в этот миг была полна первородных сил земли, словно замедленная, тихая жизнь богатых рудных недр. Девушка прикоснулась рукой к вакхической выпуклости своих высоких бедер, в которых, как плоды, созревали все семнадцать весен ее юной жизни; одна весна порождала другую. Девушка взяла лежащее на траве полотняное полотенце и обвила им свое свежее, закаленное тело. Тугие мускулы. В грудях созревали два солнца. Крепкое тело напряглось. Каждая жилочка в нем была готова к оплодотворению. Взор блуждал в туманной дали. Ноздри нервно вздрагивали, как у благородного животного. Легкие жадно всасывали пряный воздух. Девушка сделала несколько шагов вперед и погрузилась в тень раскидистого орехового дерева. Взгляд ее глаз цвета морской волны скользнул по солнечным бликам, сверкающим, будто пятна леопардовой шкуры, сквозь большие листья ореха. Она вдруг снова замерла и устремила взор вдаль, поверх безграничной шири отливающих изумрудной зеленью кукурузных полей. Девушка как бы срослась с пейзажем, стала его частью. В блаженном смущении ощутила она, как сливается в единое целое с природой. Она потянулась. Тело наполняло нечто доселе неизведанное.

Послышался топот копыт. Девушка насторожилась, будто волчица, прислушивающаяся к биснию сердца земли. Она быстро накинула на голое тело белое шелковое покрывало. На проселочной дороге из-за кустов показались два всадника. Одного из них она узнала. Это был Джвесе, высокопоставленный правительственный чиновник княгини Дадияни; второго она не знала. У обоих всадников на левой руке сидел сокол. Заметив девушку, мужчины прервали разговор. Они подъехали ближе. Девушка смело взглянула на них. Несмотря на то, что Джвесе знал ее, он не сказал ей ни слова. Но она увидела улыбку, мелькнувшую на его губах. Девушка почувствовала неловкость, усугубившуюся еще тем, что мужчины молчали, и вдруг краска стыда залила ее лицо. Ее тело, правда, было прикрыто, но оно ощущало свою наготу

¹ Автор имеет в виду автобиографическую книгу И. В. Гёте (*прим. пер.*).

под тонким покрывалом. Всадники подъехали еще ближе. Незнакомец изменился в лице. Разгоряченные лошади жадно пили прозрачную воду источника, бившую сильной струей из земли. Животные то и дело поднимали головы, втягивая воздух нервно вздрагивающими, похожими на жабры кроваво-красными ноздрями. Джебеласково погладил своего сокола по шее. Незнакомец украдкой посмотрел на девушку. Изумленно, почти по-человечески взглянул на нее и его сокол. Постепенно смущение девушки исчезло, уступая место негодованию. Ее взгляд теперь был подобен сдержанно-строгому пламени соколиных глаз. Незнакомец не выдержал ее взгляда и потупился. Когда лошади утолили жажду, всадники усаkali. У поворота дороги незнакомец оглянулся и бросил прощальный взгляд на гранатové волнистые волосы нимфы.

Девушка облегченно вздохнула. Ее гнев, казалось, иссяк, и она вновь почувствовала себя сильной, но в глубине души она была смущена. Кто был тот незнакомец! Мегрел? Но мегрел не так держится в седле: в его осанке чувствуется и ловкость, и мужество. У незнакомца же осанка была совершенно иной: в ней было что-то от естественно-небрежного изящества красивого животного. Хотя он носит черескуру, он все же не похож на наших,— подумала девушка. У него не мегрельское лицо. Глаза его серо-зеленого цвета, брови на концах загнуты вверх, худое лицо, изборожденное морщинами, как бы застыло, но озарено внутренним пламенем. Взгляд недоверчивый, строгий и холодный. На носу глубокий шрам.

КОЛХИДА

Девушка оделась и пошла домой, вверх по холму, высота которого не превышала семидесяти пяти футов и имела форму усеченного конуса. На его тупой вершине стоит дом; обозреваемый со всех сторон, словно орлиное гнездо. С холма на север взору открывались склоны Сванских гор, являющихся отрогами Большого Кавказа, а на юг — Джавахетские горы, упирающиеся в Гурийское предгорье. На востоке простирается утопающая в зелени Имерети, а на западе необъятное Черное море, или Понт Эвксинский — Гостеприимное море, как его называли древние. От подножья холма до самого моря пролегла широкая равнина, которая, подобно огромным входным воротам, раскинулась между склонами Сванских гор и Гурийским предгорьем. Повсюду кукурузные поля и леса. Там и сям видны озера и болота. По равнине, словно блестя чешуей, тянутся длинными лентами реки Цхенис-Цкали, Абаша, Кодори, а также знаменитый Риони. Древние называли его Глаукос, Гиппос, Коракс и Фазис. Это — Мегрелия, или Колхида далеких времен. На берегах Фазиса пришельцы когда-то увидели необыкновенную птицу, которую они по месту ее обитания называли фазиянусом, то есть фазаном. Эту птицу, как сообщает в своем стихотворении Марцмал, аргонавты привезли затем в Грецию:

Перенесен я впервой на корабле был аргивском.

А перед тем ничего, кроме Фазиса, не знал.

(Перевод А.Фета)

Дом, стоящий на холме, срублен из крепкого дуба. Это ода с тремя комнатами. В самой большой из них пол глиняный. Дом построен не из досок, а из бревен, плотно пригнанных друг к другу. Спиленные и разрезанные, деревья как бы застыли в летаргическом сне. От этого зрелища становится немного не по себе. Крыша дома сделана из камыша. По вечерам вокруг оды порхают летучие мыши, эти порождения мрака, ищущие свет своими трепещущими, клейкими лапками. Из густого лиственного леса, расположенного недалеко от дома, в полночь слышится жалобный зов совы.

Девушка вышла на балкон. Она была сегодня одна в доме. Душный зной, нависший над миром, казалось, обьял и ее. Она смотрит вдаль, на широкую равнину. Ее глаза цвета морской волны, так часто загоравшиеся от гнева, впервые восприняли картину родной земли, представшей перед ней словно огромные триумфальные ворота. Мужество, наполнившее сердце девушки там, у источника, вдруг покинуло ее, и теперь в душе осталась тревога. Это был страх перед неизведанным.

Мысленно она ясно видела перед собой незнакомца с соколом на левой руке. Этот сокол лишь теперь стал отчетливо обрисовываться в ее сознании. Она вспомнила вдруг, что он ведь был белым. Такое считалось редкостью даже в Мегрелии. Она ясно представила себе и необычную желтую полоску вокруг его шеи, похожую на серп молодого месяца. Девушка сама не знала, кто больше смутил ее сердце: незнакомец или его сокол. Девушка погрузилась в созерцание широкой Мегрельской равнины. Солнце пылало. Но здесь солнце пылает не как в других южных странах.

«Неподалеку от Кавказских гор, исходив всю гористую местность, он покинул солнечную страну восточных равнин, обратившись лицом к полуденной границе солнца». Так пишет Ноннус из Панополиса в Египте о легендарном походе Диониса в Индию. Не была ли та «солнечная страна восточных равнин» частью древней Колхиды? Дионис прошел мимо нее и «обратился лицом к полуденной границе солнца». В Мегрелии этой границы солнца нет. Поэтому Дионис, возможно, прошел мимо этой страны. Здесь солнце не палит, здесь оно сушит, ибо вся эта страна пронизана невидимой, но вездесущей сыростью. «У народов, обитающих на берегах Фазиса, болотистая, жаркая и сырая земля, покрытая лесами. В любое время года здесь идут проливные дожди. Люди здесь проводят свою жизнь в болотах. Прямо в воде они строят себе жилища из дерева и хвороста, которые они покидают лишь тогда, когда идут на базар или в город. Передвигаются они на своей земле по многочисленным каналам, в лодках, выдалбливаемых ими из цельных бревен. Они пользуются «теплой, стоячей водой, гниющей на солнце или собираемой ими после дождя». Так пишет Гиппократ о Колхидской низменности. Когда читаешь его описание этой страны, оживает картина сегодняшней Мегрелии.

Земля здесь вся как бы погружена в дремоту. Она отдыхает, спит. Но сон ее полон сновидений. Может быть, поэтому люди этой страны придают такое же важное значение сновидениям и их толкованию как древние египтяне. Над ее полями простирается не золотой покров аполлоновских очертаний, а туманная дымка. Страна погружена в сон, и все предметы парят в воздухе, как сновидения, как сливающиеся друг с другом призраки. Сознание и воспоминание подобны темному лону матери-земли. Все переменчиво в этом сознании. Здесь стираются воспоминания, словно сновидения детей Священного Писания, не отлихающие правую сторону от левой. Каждый предмет имеет несколько названий, ибо единственной в своем роде вещи здесь нет. Люди нарекаются не одним именем, а несколькими, будто в одном лице воплощено множество людей. Сама страна также не имеет одного, раз и навсегда установленного названия: древние называли ее Колхидой, а ныне она называется то Мегрелией, то Одиши. Здесь все бродит и грезит. Здесь не найдешь элемента, который с самого же начала не был бы подвержен постоянному изменению. Мысли, едва родившись, превращаются в фантомы. Повсюду волшебники, ведьмы, на каждом шагу торгоши мудростью, знахари, шарлатаны, заклинатели духов, прорицатели, оборотни и лешие, словно на шабаше призраков. Это страна луны, а не солнца. Здесь обитают не солнцепоклонники, а почитатели Луны, в страхе и трепете служащие и поклоняющиеся своему божеству. Самый таинственный день для них — понедельник — день луны. При виде молодого месяца одни обнажают саблю, другие — нож, приветствуя его таким образом. При этом они снимают перед ним свои шапки. Луна — космическое олицетворение кажущегося, призрачного, небесный знак двойника. Все дурные влияния исходят от нее в виде астральных потоков. Своими чередующимися фазами она регулирует и определяет жизнь женщины. Для Мегрелии это вполне домашняя планета. Здесь она выглядит не так, как в других местах, она как бы пропитана клейкой желчью и напоминает цветом застоявшуюся мочу. Да она сама, пожалуй, не что иное, как лужа буйволиной мочи. Кругом сырость, болотные испарения, лихорадка. Малярия в крови кур, и всюду царит желтизна, лихорадочная лунная желтизна. Вещи здесь — отблеск лунной зеркальной поверхности, люди — элементы лунного сияния, особенно мужчины, ибо женщинам нет надобности уподобляться луне: ведь они изначально содержат в себе лунные свойства. Дочери Мегрелии — самые женственные, самые нежные создания во всей Грузии, и не только в Грузии. Они волшебницы и чародейки, русалки и лесные феи...

УТУ

Девушка стояла, погрузившись в глубокое раздумье. Она смотрела на знакомые ей с детства поля, в которых, казалось, все элементы еще пребывают в состоянии первородного брожения. Они, правда, уже познали резкое, сладостно-жуткое прикосновение животворящего дыхания, но их еще не тронула последняя, завершающая печать: «Да будет так!». Может быть, это объясняется тем, что Понт Эвксинский не дает земле окончательно превратиться в земную твердь, не переставая пропитывать ее своим влажным духом?! Задумчиво глядя на родные нивы, девушка размышляла о незнакомце, но еще больше о белом соколе с желтым полумесяцем вокруг шеи. Вдруг во дворе раздался чей-то сильный голос:

— Меги!

Это была Цицино, мать девушки, высокая, сильная женщина, не старше тридцати пяти лет.

— Что-нибудь случилось, мама? — спросила Меги.

Цицино подошла к дочери. Мать и дочь ходили друг на друга как две капли воды. Только волосы у Цицино были другие — иссиня-черные с фиалковым отливом. Красота ее могла поспорить и спорила с красотой дочери.

— Что случилось, мама? — повторила Меги.

— Твоя лошадь захворала!

— Какая?

— Джондо!

Меги вздрогнула. Джондо была ее любимая лошадь. Незнамец и его сокол тут же были забыты.

— Что с Джондо? — спросила она взволнованно.

— Не знаю. У нее какой-то недуг.

Меги повернулась, чтобы бежать в конюшню.

— Ее там уже нет. Я отвела ее к Уту. Может быть, ты хочешь привести ее обратно? Тебе незачем так волноваться.

Но Меги уже потеряла покой. Не ответив матери, она убежала, обеспокоенная и рассерженная. Через полчаса она уже была у цели. Ее подруга Бучу, дочь дворянина Одишария, вышла ей навстречу. Она была ростом с Меги, но чуть стройнее ее, черноволосая, с агатовыми глазами.

— Ах, это ты, Меги!

— Как здоровье Джондо?

— Уту, наверное, уже поставил ее на ноги.

Показался Уту. Он служил исцелителем животных в доме Одишария. Это был мужчина очень низкого роста, худощавый и жилистый. Глаза на его лице карлика напоминали высохших, блеклых ос. Он мало говорил, и какая-то сила исходила от него. Его зубы истерлись все до одного, как у старой лошади. Меги забросала его вопросами.

— Что с моей лошадью? Что с Джондо?

— Ничего, — ответил Уту, и усмешка заиграла на его губах. — Сухожилия растянуты. Я уже пустил ей кровь и натер ноги мазью... Но лошадь хороша... Очень хороша... — немного погодя добавил он. И ушел, чтобы привести ее.

Меги и Бучу последовали за ним. Лошадь была привязана к небольшому дубу. Это была кобыла черкесской породы, красно-бурой масти, без единого пятнышка, словно выкупанная в йоде. Увидев хозяйку, лошадь заржала и стала бить правым передним копытом землю. «Она в хорошем настроении», — подумал, улыбаясь, Уту.

Меги подошла к лошади и погладила ее по шее. И в самом деле животное было радо хозяйке. Есть что-то прекрасное в том, что человек и животное узнают друг друга. Две чуждые по своей сути стихии сближаются и чувствуют внутреннее сродство между собой. Не оттого ли радость при их встрече? И не в этом ли причина смутной, безграничной, ни с чем не сравнимой тоски животного? Может быть, ему от рождения свойственно неосознанное и неизъяснимое влечение к человеку? Уту загадочно улыбнулся, глядя на девушку и лошадь. Он был полон земной мудрости. Исцелитель животных отвязал поводья и взял лошадь за голову. Вдруг лицо его искажилось, и он стал произносить какие-то странные заклинания. Как неясные обрывки первобытного хаоса, они проникали в ухо лошади. Сам заклинатель не

понимал этих слов, но они были полны живой жизни. Это были не истертые, засохшие и бессильные разменные слова, монеты повседневности, а чеканные, выразительные образы. Лошадь ободрилась. Наблюдательный глаз заметил бы призрачную, едва уловимую улыбку на ее морде, длившуюся не более доли секунды. Но какой-то ужас был применен к этой улыбке, подобной наилегчайшему дуновению «teggog antiqqis».¹ Лошадь подняла голову и уродливо зевнула. Поодаль висел на колу ограда череп лошади: согласно древнему обычаю голые черепа, прогнившие кости, в которых пауки плетут свои сети и в трещинах которых водятся змеи, оскал зубов, наводящий ужас — все это верные средства от дурного глаза. Глядя на этот череп, понимаешь, почему в Апокалипсисе, в этой жуткой книге преследуемого злым духом поэта, так страшен белый конь, на котором летит всадник Смерть. И снова призрачная улыбка на морде лошади, которая, возможно, лишь померещилась, как последний ужас. Но улыбка эта исчезла вместе с новым зевком животного.

Заклинатель сделал свое. На земле лежал железный инструмент, использованный им для кровопускания.

Уту удалился.

— Ты не встретила Джвебе с каким-то незнакомцем? — спросила Бучу подругу. «Опять этот незнакомец...?» — подумала Меги, ничего не ответив.

Бучу продолжала:

— Они собирались на перепелиную охоту.

Снова молчание.

— Незнакомец, говорят, абхаз, — сказала Бучу. — Его зовут Астамур Лакербая. Отец сказал мне, что он гостит у княгини Дадияни.

Меги и теперь не нарушила молчания,

Она вдруг вскочила на неоседланную лошадь и спросила:

— Когда ты зайдешь к нам, Бучу?

— Может быть, завтра утром, — ответила подруга с некоторым удивлением. Такой сконфуженной она еще не видела Меги.

— Прощай! — крикнула Меги и ускакала.

ВЫЗОВ

Кобыла Меги и в самом деле была исцелена. От ее прежнего недуга не осталось и следа. Лошадь неслась во весь опор. Были ли то заклинания знахаря или же волнение хозяйки передалось животному? Когда Меги доскакала до открытого поля, она заметила вдалеке обоих всадников. Это были Джвебе и его друг Астамур Лакербая, как его назвала Бучу. «Какое красивое имя! — подумала Меги. — Астамур! Как чудесно это звучит!..» Ее глаза цвета морской волны вдруг загорелись, и, словно морской волной, ее захлестнуло неизведанное доселе дерзкое чувство. Меги пустила лошадь в карьер по направлению к всадникам. Она промчалась мимо молодых мужчин как опытная наездница, достойная дочь своей матери Цицино. Мужчины поначалу были немало удивлены. Но уже через считанные мгновения и они пустили своих коней в галоп, вслед за юной амазонкой. Волна неожиданного вызова передалась не только мужчинам, но и их коням. Разгоряченные, они мчались во весь опор, но впереди их была гнедая Джондо. Прижавшись головой к гриве Джондо, девушка — белокурый кентавр — вихрем неслась по полю. Как драгоценную добычу, уносила лошадь наездницу. Меги отдалась чувству безбрежной дали, и Джондо мчалась, охваченная диким порывом. Кто догнал бы их? Взмывшая лошадь вихрем влетела во двор.

— Что с тобой, Меги?! — крикнула мать.

— Видишь, Джондо поправились.

Разгоряченная, вся в поту, она спешила. Цицино взглянула на лошадь, потом на дочь. Ее наметанный глаз наездницы ликовал. Ноздри Джондо нервно раздувались. Но и ноздри девушки дрожали. Мать заметила это, и в ее сердце закралась тревога: обе, лошадь и наездница, были необычайно возбуждены. Но разве волнение Меги не было гораздо сильнее возбуждения лошади?

— Уту просто волшебник... — сказала Цицино.

Подожел Нау и увел Джондо.

¹ Первобытный ужас (латин.).

МЕНИКИ

На балконе дома появилась Меники — няня Цицино. Это была пожилая женщина лет за шестьдесят. Но она бы смертельно оскорбилась, если кто-нибудь из мужчин не почувствовал бы в ней женщину и не дал бы ей это понять каким-нибудь образом в ее присутствии: словом, жестом или интонацией. Она когда-то была красивой. Теперь же ей приходилось пускать в ход все колдовства и средства косметики, чтобы избежать разрушительного действия времени: басму для бровей, хну для волос — ту самую хну, которую, по свидетельству Клеменса Александрийского, впервые применила колхидянка Медея. Для лица она приготавливала особую мазь из жженных ракушек и еще чего-то таинственного, что она скрывала от всех. Оспа оставила на ее лице загадочные следы, хотя и не очень заметные. А чтобы они не бросались в глаза, Меники замазывала их тонким слоем таинственной смеси. Она редко смеялась и никогда не плакала, боясь, что морщины выдадут ее возраст. Так же редко она улыбалась, но в улыбке ее было нечто, внушавшее страх. Она никогда не уставала ухаживать за собой и проводила за этим занятием не менее трех-четырех часов в день. Между неумолимым временем и обладательницей стареющего тела завязалась борьба не на жизнь, а на смерть, в которой победа пока оставалась за женщиной. Меники обладала исключительным даром колдовства, способным перехитрить саму природу. Она еще уверенно и прямо держалась в седле и была, несмотря на свой возраст, все еще женщиной... Как! Превратиться в старую ведьму? Нет! Нет! И еще раз нет! Меники не сдавалась. Она была весьма далека от того, чтобы стать старой ведьмой. Но волшебницей она была. Она знала секрет целебной силы растений, камней, корней и семян. Ей были ведомы таинственные слова и имена. Она была искушена в магических заклинаниях. Вся Мегрелия боялась ее глаз, излучавших зеленый свет, ее твердого, колющего взгляда. Она любила Цицино больше, чем свою дочь, а Меги — больше, чем Цицино. Когда она увидела разгоряченную девушку, ее опытный глаз распознал первое волнение крови юного девичьего тела. Меники улыбалась. Цицино еще раз бросила взгляд на дочь. Меги потупилась от смущения.

85

РАССКАЗ ЛИСТВЕННОГО ЛЕСА

Легким воздушным покровом опускался вечер на землю, становясь все плотнее и темнее. Издалека донесся шум деревни и замер. Тихо шелестя, пробуждался лиственный лес. Не появилась ли там на дубе птица феникс? Но нет, ведь полночь еще не наступила. Меники, Цицино и Меги приветствуют мегрельскую ночь. Меги с отсутствующим взглядом молчит, Цицино ушла в свои мысли, Меники рассказывает. В шелесте лиственного леса роится множество древних историй. Меники рассказывает... Чужестранцы вошли на кораблях в устье реки. Они видят замок царя и тенистую рощу, там огромный дракон охраняет дуб, обвив ствол своим чешуйчатым телом. На шишковатых ветвях дуба висит Золотое Руно. Плакучие ивы и боярышник в белом цвету увидели там пришельцы...

Меники рассказывает. Она путает имена, но в шелесте лиственного леса, в котором слышен шепот случившихся тысячи лет назад историй, имена эти звучат первозданно: это аргонавты во главе с воином Ясоном, это устье реки Фазис, замок царя Аэта и его священная роща, дуб с Золотым Руном, охраняемым огнедышащим драконом... Меники рассказывает. Те ивы и тот боярышник не исчезли, они все еще растут и размножаются из века в век, пуская все новые и новые ростки... Меники рассказывает. Лиственный лес шелестит. Может быть, он — праправнук той священной рощи! Кто знает! Ведь в нем роятся и перешептываются древние истории... Меники рассказывает дальше и доходит в своем рассказе до того места, когда появляется Медея, светловолосая дочь сына солнца Аэта. Меники иначе произносит ее имя. Она говорит: «Медиа». И тут Меники преображается. Цицино очнулась от своих раздумий. Меги вся превратилась в слух. Меники ведет рассказ дальше. Может быть, она цитирует Аполлония Родосского! Нет, она не цитирует Аполлония Родосского. Она слышит эту историю в шелесте лиственного леса, откуда весть о ней когда-то пришла и в страну родосского поэта... Меники продолжает рассказ. Когда Медея (она говорит: «Медиа») видела, что заря занимается, она связала свои небрежно

распущенные волосы и умыла свое сухое лицо. Тело она умастила лавандовым маслом и надела красивое платье, застегнув его искусно изготовленными пряжками. На голову, намазанную благовониями, она накинула белую вуаль. Затем она занялась делами в замке и забыла о своем горе. Но ее ожидало нечто еще большее. Все двенадцать девушек, ее ровесниц, прислуживавших ей, находились в передней ее благоухающей опочивальни. Им она велела быстро запрячь мулов в арбу, на которой она решила поехать в сверкающий храм Гекаты. Пока прислужницы готовили упряжку, Медея достала из ларца снадобье, называемое Прометеевым... (Вместо «Прометей» Меники говорит: «Амирани»). Того, кто ночными жертвоприношениями умилостивил богиню-девственницу и умастил свое тело этим снадобьем, не брал ни меч, ни огонь; более того: он и душой тогда становился гораздо сильнее, чем когда бы то ни было. Это целебное средство появилось тогда, когда кровожадный коршун на склонах Кавказа пролил на землю кровь страдальца Прометея. Меники говорит: «Амирани». Цветки растения, выросшего из этой смешанной с кровью земли, стебель которого достигает двух локтей, похожи на шафран, а его корень — на свежерубленое мясо. Темными ночами, облаченная в черное платье, собирала Медея (Меники произносит: «Медиа») сок этого растения, подобный бурому соку черного бука, в каспийскую раковину для снадобий. Но прежде чем выйти для этой цели из дому, она купалась в семи вечно текущих водах и семь раз призывала Бримо, девственницу Бримо, ночную странницу, богиню преисподней, царицу усопших... Меники умолкает. Она любит делать паузы. Удивленные глаза Меги сверкают, а Цицино с загадочной улыбкой смотрит на няню. Наверно, думает она, няня знает тайну волшебного напитка и на смертном одре раскроет ее тем, кого она когда-то вскормила. Она хочет спросить няню о чем-то, но Меники не дает себя перебить и рассказывает дальше. Она рассказывает с том, как золотоволосая Медея влюбилась в чужестранца Ясона, как она спасла его со спутниками, как вместе с ними она совершила побег и еще о многом другом...

Лиственный лес замолкает на миг, будто одна из его тысячелетних историй вот сейчас подошла к концу. И Меники умолкает, глядя с загадочной улыбкой на Меги: не воскресла ли в ней колхидская девушка Медея, чародейка, так щедро, так расточительно наделенная природой даром любви! Меги подсознательно думает о том же самом и чуть-чуть краснеет от стыда. И вдруг перед ней вновь встает образ того незнакомца с белым соколом на левой руке.

РОМАШКА

Дом погружен в глубокий сон. Лишь Меги не спится. Она и в самом деле поверила, что является наследницей той, ставшей на весь мир знаменитой колхидянки, и трепет предчувствия охватил ее. Она вспомнила, что сегодня новолуние, и тайком вышла из дому. Луна, казалось, излучала соблазн, и девушка сама была олицетворением соблазна. На лугу Меги увидела ромашку. Не сводя глаз с луны, она шептала слова, звук которых не доходил до ее слуха. Дрожа всем телом, она нагнулась к ромашке, и на мгновение биение ее сердца слилось с ритмом природы. С замирающим сердцем девушка сорвала цветок и, бледная, утомленная, пошла домой. Она прокралась в свою комнату, спрятала ромашку под подушку и легла спать в надежде увидеть во сне суженого. Но странно: желанное сновидение не приходило к ней. Однако в полусне ей постоянно виделся тот незнакомец. Нет, ей непременно должен присниться ее будущий жених, тот, кто назначен ей судьбой. К чему этот призрак полусна?

Девушке стало не по себе. Она взяла в руки ромашку, разорвала ее и, скомкав, бросила на пол. После этого она закрыла глаза, но еще долго беспокойно ворочалась в постели. Лишь под утро к ней пришел наконец сон, глубокий, без сновидений.

ЦИЦИНО И ЕЕ РАБ

Нау Баркая любил лошадей. В этом он был истым мегрелом. Мегрелы могут за хорошего коня отдать любую красавицу. Но в чувстве Нау к лошади тайлось еще что-то другое: он чтит в ней первобытную божественную силу. Недаром он был потомком древних колхов; согласно представлениям античных поэтов, они в этом

были похожи на египтян, видевших в животном воплощение космической силы. В облике Нау и было что-то от сухопарого египетского жреца: голова гладко выбрита, взгляд неподвижный и тяжелый, как бы придавленный каменными складками век. Священный трепет египтян перед мирозданием и жизнью находил выражение в фантастических образах: в бесчисленных сфинксах, грифах с телом шакала, головой и крыльями орла, в тиграх со змеинными головами и в других диковинных созданиях. Чтобы увидеть эти чудища — так утверждали египетские проводники караванов — надо проникнуть глубоко в пустыню. Они, эти чудища, околдовывают человека, подчиняют его своей воле и всячески вредят ему. Нау заходил в глубину Чаладидского леса и порой ему являлись такие же призрачные существа, но всегда только на миг. На стенах мегрельских церквей он часто видел изображения, напоминавшие грифов: рога оленя, клыки дикого кабана и крылья фазана. Но особенно взгляд его приковывал к себе высеченный в камне гриф, которого он видел в замке Дадияни. Этот гриф был найден в 1839 году в Кахети, в северной части Восточной Грузии, в имении поэта, князя Александра Чавчавадзе, отца владельницы Мегрелии Екатерины и тестя русского поэта Грибоедова. Высота грифа не превышала тридцати сантиметров. У него была голова орла с прорезанными щелями вместо ноздрей, оттопыренные уши, борода и тело льва; крылья связаны поперечной дугой, на голове небольшое квадратное отверстие, по-видимому, когда-то закрывавшееся крышкой, в настоящее время утерянной. Остался лишь редкий зубчатый гребень. Гриф поразил фантазию варвара, каковым был Нау. За всю свою жизнь он не видел ничего более прекрасного. Зачарованный, он долго стоял перед грифом. Ничем не объяснимое восхищение и легкое предчувствие беды наполнили его душу — именно так, как по рассказам путешественников, миражи пустыни завораживают человека! Нау был весь во власти необыкновенного создания, преодоливая сила влекла его к этому диковинному существу, как будто он желал слиться с ним, стать одним существом. Он искал выхода, а потом вдруг выбрал в качестве объекта безграничного почитания лошадь. Ритм человека при верховой езде соединяется с ритмом лошади: две разные стихии сливаются воедино. Без слов и без малейшего движения любая мысль наездника мгновенно передается животному. Нау изучил лошадь вплоть до мельчайших ее жилок. По ее взгляду и ржанию он мог определить самые, казалось бы, неуловимые изменения в атмосфере, а также приближение таких космических явлений, как, например, землетрясение, гул которого лошадь улавливает раньше человека. Когда в полдень лошадь погружалась в таинственную, бездонную глубину зноя, слух Нау фиксировал приближение козлоногого бога; тогда он молча смотрел на лошадь, не осмеливаясь подойти к ней. Нау любил и глубокую ночь, когда блеск лошадиных глаз, словно живое пламя, светил во тьме, стремясь оторваться от них. Нау весь погружался в эти излучавшие необычайную силу глаза.

Он чтит свою лошадь как тотем, как символ и образ божественного. Но однажды этот тотем чуть было не покинул его в беде. Или, может быть, все-таки покинул? Это случилось 23 апреля, когда в крови его заговорила весна. В трех часах езды от Зугдиди возвышается гора Урта. Под огромным буком там стоит деревянный крест с изображением Георгия Победоносца. Лучи солнца не проникают сквозь густую листву дерева, и крест этот стоит в вечной тени, как немая тайна. Во всей Грузии 23 апреля отмечается праздник Святого Георгия, или, как его обычно называют Белого Георгия. Он считается здесь грузинским Дионисом, явленным в христианском образе. Ему приносят в жертву хлеб, сыр, бараньи головы, восковые свечи и монеты. От иконы Святого Георгия паломники с песнопениями направляются в Цаиши, где в этот день проводятся скачки. Нау часто принимал участие в этих паломничествах и неизменно выходил победителем в конных соревнованиях. Но в этот год, 23 апреля, когда он встретил свою двадцать пятую весну, его опередили. С тех пор прошло пять лет, и никто до сих пор не знает имени победителя, так как он сразу же после своего триумфа куда-то ускакал. По уверению одних, это был разбойник Микава, орудовавший в окрестностях, которому захотелось показать всем не только свое искусство верховой езды, но и бесстрашие. Другие же настаивали на том, что то была переодетая женщина, и женщина эта, — так утверждали третьи, была не кем иным, как Цицино, молодой вдовой князя Мхеидзе. С горечью в душе прислушивался Нау к этим слухам. Но когда он впервые увидел Цицино, он уже не сомневался, что это и был тот «незнакомец», который победил его тогда. Нау не расспрашивал Цицино

об этом, ибо безошибочный инстинкт подсказал ему: то была она. И странно: такая уверенность сразу же избавила его от огорчения, не покидавшего его после того неожиданного поражения. Глядя на эту бесстрашную женщину, он ощущал, как силы оставляют его, будто перед ним стоял какой-то роковой зверь пустыни, приковавший его к себе таинственным взглядом. Женщина оглянулась и бросила на него полыхающий взгляд. Этот взгляд всецело завладел им. Нау предал свою лошадь. Его варварская душа была теперь полна лишь этой женщиной. Он страстно желал ее...

В Горди, неподалеку от княжеского летнего замка, стоит старая ель, пораженная молнией. Местные жители поговаривали, что эту ель по ночам посещают злые духи. Поэтому никто не отваживается подойти близко к дереву, вызывающему в душах людей священный трепет. Но они знают и другое, о чем лишь изредка тихо перешептываются: тому, кто, преодолев страх, просидит в дупле этого дерева ночь, передастся демоническая сила. Нау однажды заночевал в дупле. Наутро он почувствовал в себе необычайную силу. Чары рассеялись, и Цицино покорилась ему. Душа Нау была охвачена огнем. Но чары вернулись. Цицино все же не принадлежала ему. Это он, Нау, был в ее власти. Она была не такой, как другие женщины. В ее жилах кипела кровь колхидских амазонок. Цицино не была обыкновенной возлюбленной, нет, она брала, покоряла и отвергала то, что ей покорялось. Она ни к кому не привязывалась и никому по-настоящему не принадлежала. Боясь растерять свою страсть, свое пламя, она обращала свой взгляд, взгляд амазонки, лишь на немногих. Она была вакханкой, от нее исходили неведомые токи, парализующие мужскую волю. В этом, должно быть, разгадка ее власти над душами мужчин. Нау страдал. Он пришел к Цицино как простой слуга, и любое ее желание было для него законом. Он помогал ей в управлении хозяйством и даже ведал сбором налогов с крестьян. О ее тайной связи с ним никому не было известно. Да и была ли она на самом деле, эта связь? Может быть, раз в году она бросала ему подачку любви, как бросают верному псу кусок мяса или кость. Жизнь Нау была сплошным мучением. Нечеловеческая ревность, распространяемая им на все сущее, на все окружающее, снала его. Стоило ее взгляду просто случайно задержаться на ком-нибудь, как его обжигало так, как если бы к телу приложили раскаленное тавро. Священное животное, тотем, воплотился теперь в женщине, и он навсегда покорился, стал ее рабом. Ревность истощала его тело, охваченное лихорадкой страсти. Но он молчал, ничем не выдавал себя. Однако на расстоянии аршина можно было услышать, как бешено колотилось его пылающее сердце, когда кто-нибудь из избранных Цицино появлялся в воротах дома.

ХУДОЖНИК

Нау облегченно вздохнул, когда утром увидел, что остановившийся у ворот всадник не был из числа поклонников Цицино. Это был Вато Накашидзе, который приехал из соседней Гурии. Он был молочным братом Цицино, то есть Меники была и его няней и кормилицей. А так как в Мегрелии молочный брат не менее дорог, чем родной, то его по праву считали близким родственником Цицино. Нау побежал навстречу стоявшему в воротах всаднику. На его загорелом, бронзовом лице мелькнул луч радости.

— Приветствую тебя, Нау! — окликнул Вато.

— Здравствуй, Вато! — ответил Нау.

Вато соскочил с коня и передал поводья Нау. Меги выбежала из комнаты и от радости так крепко обняла щедедушного родственника, что тот чуть было не упал наземь. Цицино приняла его на балконе. Она нежно, как любящая сестра, расцеловала молочного брата, которого давно не видела. Они вошли в комнату. Меники, по-восточному скрестив ноги, устроилась на широком диване. Вато подошел к няне и поцеловал ее в правое плечо. Она нежно и ласково приветствовала своего «мальчика». Этому «мальчику» было уже тридцать семь лет. Его низкий рост, узкая грудь и бледно-желтое лицо производили впечатление болезненности. Вато можно было принять за чахоточного, однако он был вполне здоров, и от него, несмотря на щедедушный вид, исходила даже некая сдержанная сила. Он мало говорил, и поэтому его называли молчаливым. Неразговорчивость Вато действовала на всех угнетающе, и никому общение с ним не приносило радости. Люди чувствовали стеснение

даже тогда, когда он находился в соседней комнате. Взгляд его выдерживали с трудом. У него были разноцветные глаза: правый — карий, а левый — серый, и это придавало их выражению что-то двойственное.

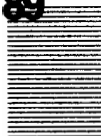
После обеда Вато установил мольберт в густой тени широколистного орехового дерева. Он был художником и учился в Петербурге, но тамошний суровый климат не подошел ему, и он вернулся на родину. Рисовать он тем не менее продолжал. Он изучал фрески и орнаменты грузинских церквей, а также индийскую и персидскую миниатюрную живопись. Из восточной архитектуры и скульптуры его больше всего интересовали произведения стран Малой Азии. С итальянской живописью он познакомился благодаря копиям, которые в XVII веке были завезены в Мегрелию и Гурию католическими миссионерами. Один из тех миссионеров — Архангело Ламберти — написал две книги о Мегрелии. Самое сильное впечатление произвел на молодого художника Леонардо да Винчи, произведения которого он долго и серьезно изучал. Он нашел в картинах Леонардо то, чего по его мнению не было у других художников. Его живопись содержала в себе тщательно скрытую или же воплощенную, явленную тайну. Та или иная картина, принадлежащая кисти Леонардо, не была для него простым изображением, ибо лицо, запечатленное на ней, таило в себе еще другое лицо, которое то проявлялось, то снова исчезало. Оно обретало благодаря этому жизнь, и жизнь эту нельзя было назвать ни реальностью, ни просто видимостью. Художник страдал, оттого что не мог разгадать тайну искусства великого художника. И все же он был уверен, что рано или поздно тайна эта откроется ему, ибо он не напрасно носил имя Накашидзе. Ведь слово «накшун» по-арабски означает «художник».

Вато писал Меги. Эта девушка постоянно изумляла его. В ее облике было что-то от портретов Леонардо да Винчи. Ему хотелось передать на полотне ту таинственность, которая временами мелькала на ее лице. Порой Меги казалась ему Мадонной, непорочной девой, так и ожидавшей в своем совершенстве божественной кисти художника, и тогда лицо ее отражало светлую лазурь неба и его неземную гармонию. Наступали минуты, когда девушка была вся охвачена вакхическим порывом. Черты ее становились неопределенными, весь облик превращался в часть природы, зловещей, беспощадной и смертоносной. Во взоре художника в такие мгновения отражался страх, и он был не в состоянии писать. Он пытался постичь и зафиксировать ее сущность. Ему хотелось не только создать ее портрет на фоне пейзажа, чтобы природа была лишь ее продолжением, но чтобы она сама была воплощенной душой природы. Работал он на открытом воздухе. Вокруг Меги прежде всего должно было сиять солнце — ощутимый золотой поток огня. И еще: влажность многогрудой земли.

Вато работал медленно, с перерывами. И все же картина не получалась. Художником овладело беспокойство. Может быть, причиной того, что мешало ему создать образ этой необыкновенной девушки, был он сам? Он пытался беспристрастно разобраться в себе. Он, правда, любил Меги, но любил ее как свою дочь. А что, если к отцовскому чувству примешалось еще что-то? Он вспомнил, что в своем чувстве к Цицино он когда-то тоже чуть было не перешагнул границу дозволенного. Он вспомнил, как боролся с этим чувством, ибо молочному брату подобает любить свою сестру лишь братской любовью. И ему в конце концов удалось побороть вспыхнувшее вожделение. Теперь все повторилось. В чувстве к Меги тоже заговорила плоть. Но если бы Меги и ответила ему взаимностью, он никогда бы не пожелал осуществления того, что было мечтой, ибо прелесть любви для него заключалась в мыслях о ней, а не в наслаждении ею.

Девушка смущалась каждый раз, когда позировала ему, ибо уже не могла вынести взгляда его разноцветных глаз. Художник заметил, что она внутренне противоборствует ему. Он знал, что для той магии, которую требует рождение картины, одной воли художника недостаточно, какой бы стихийной силой он сам ни был преисполнен. Сам прообраз должен для этого с радостью покориться ему. И как раз этого он не мог добиться от Меги.

И вот между ними началась непримиримая, хотя до конца и не осознанная борьба. Меги казалось, что ее хотят выманить, похитить из себя самой и ввести бог весть куда. И она постоянно была настороже. Вато делал все, чтобы преодолеть сопротивление. Его разноцветные глаза обретали магическую силу заклинателя



змей. Но Меги не покорялась. Измученная и обессиленная, она ускользала из западни, а потом молча, с сумрачным лицом убегала от художника.

Сегодня она казалась вялой и безучастной, не готовой к борьбе. Вато был рад этому, но желаемые штрихи все же не удавались. Меги была рассеяна как никогда. Ее юное гибкое тело почти вызывающе возлежало на круглых подушках кровати. Однако художника занимало лишь лицо, выражение которого постоянно ускользало, уходя в бесконечные солнечные дали. Казалось, Меги сама была плодом солнца и дерева, имя которого еще не коснулось человеческого слуха. Художником наконец овладел гнев. Но это не было божественным неистовством творческих мгновений.

СОКОЛ

Нерожданно какой-то всадник въехал во двор. Это был Джвебе. Он приблизился к Меги и Вато, спешился и привязал коня к дереву. Мужчины обменялись приветствиями. Меги встала. Художник отложил кисть. Джвебе подошел к Меги со словами: «Это подарок от моего друга...» Затем он передал девушке сокола. Меги вспыхнула. Ее лицо, еще совсем недавно неуловимое в своей неопределенности, обрело вдруг отчетливые черты. Вато украдкой взглянул на нее и вдруг увидел в этих чертах нечто, поразившее его.

— Какой прекрасный сокол! — сказала Меги и погладила птицу.

— Да, он великолепен! — сказал Джвебе. — И к тому же редкой породы. Он бел, как снег. А эта полоска вокруг шеи, не напоминает ли она ожерелье?

— Ожерелье, мерцающее, словно мягкий свет луны, — добавил художник, вместе с остальными залюбовавшийся соколом.

— Он попал к нам из Абхазии. Ардзакан Маргания поймал его там, а мой друг Астамур Лакербая отдал за него целую крестьянскую семью.

Художник молчал...

— Разве он не стоит этого? — спросил Джвебе.

Вато и теперь ничего не ответил. Он перевел взгляд с сокола на девушку. Что-то изначально общее связывает обоих, — подумал он. Художник сравнил глаза сокола с глазами девушки. Обе пары глаз были не только похожими, но совершенно одинаковыми. Кто же послал Меги сокола? Кто этот незнакомец? Острое жало ревности вонзилось в сердце художника, однако разноцветные глаза не выдали его. Вот, значит, как обстоит дело с Меги, — подумал Вато и опустил голову.

— Все ли дома? — спросил Джвебе девушку. Меги утвердительно ответила на вопрос гостя. Они вошли в дом. Цицино и Меники уже вышли на балкон.

ПОЕДИНОК

Изумрудом переливаются летом мегрельские поля. Кажется, что Черное море вылилось на них из огромной раковины, и волны в блаженном порыве застыли в кукурузных кустах, а сами поля впитали волнение безбрежного, далекого моря. Солнце изливало себя на кукурузные волны, на стебли, на листья. Густое кукурузное поле колыхалось и волновалось, словно море.

На берегу реки появляется всадница на кобыле ярко-йодной масти. На левой руке у девушки сидит белый сокол с желтым полумесяцем вокруг шеи. У наездницы и у сокола, сидящего на ее руке, одна и та же гордая осанка. Меги едет вдоль берега реки: она хочет испытать своего сокола. Но нигде не видно фазанов. Вдруг над кукурузным полем взлетела стая птиц. Сокол сразу же напрягся, приготовив крылья к полету. В его глазах цвета темной стали вдруг вспыхнуло пламя. Он был весь готовность. Меги отпустила хищника. Птицы тут же растерянно замерли и с трудом поднялись чуть выше. Но сокол уже парил над ними, совершая размеренные круги. Эти круги становились все уже. Испуганные птицы стали тянуться друг к другу. И вот круг замкнулся в плотное кольцо, согнав птиц в один живой, трепещущий от страха комок. Вдруг сокол взлетел, будто стрела, оттолкнувшись от тетивы, высоко над беспомощным роем, безропотно ожидающим своей участи. Он сделал резкий разворот правым крылом и молнией обрушился на птичью стаю, которая в растерянности рассыпалась в воздухе. Меги была вне себя от счастья. Она забыла позвать сокола, который сейчас все дальше улетал от нее. Когда она наконец свистнула

и позвала его, было уже поздно: сокола нигде не было видно. Меги подстегнула лошадь. Ее сердце так сильно забилося, будто сокол вырвался из него. Прошло полчаса, а сокол все еще не возвращался. Меги понурилась.

На противоположном берегу реки блестела агатовая поляна, в середине которой стоял дуб. Под этим дубом стоял вороной конь. Возле коня спешил всадник, на руке которого покачивался белый сокол. Глаза Меги загорелись от радости. Ее кобыла заржала, и это тоже был крик радости. Сердце девушки ликовало. Однако она молча остановила лошадь и замерла в ожидании. В наезднике она узнала незнакомца. Она смутилась, но не промолвила ни слова. Астамур Лакербая вскочил на коня, перешел вброд реку и остановился возле Меги. Оба хранили молчание. Это были те мгновения, когда все вокруг превращается в музыку. Абхаз передал мегрелке сокола и четко произнес: «Он принадлежит тебе». Не издавая ни звука, будто онемев, Меги приняла птицу из рук Астамура, но и Астамур уже ничего не мог сказать. Могучий джигит вдруг лишился уверенности в себе. Черкеска из тонкого полотна плотно облекала его сильное тело, шелковый башлык был перекинут через плечо. Гетры с красивым узором обтягивали его голени, а ноги — обуты в сандалии. От него исходила мощь хищного зверя, мышцы рук и ног его в любое мгновение готовы напрячься для резких движений. Но теперь он был мягок, как свет луны. Он молчал. Меги погнала свою кобылу, а Астамур — своего коня. Абхаз был в чаду упоения любовью. Меги чувствовала эту любовь и все же не могла промолвить ни слова. Астамур взглянул на сокола. Слово «сокол» было для него паролем любви, которым он выражал то, что сейчас пылало в его душе. Он начал говорить о соколе. Этот сокол из той редкой породы «капулети», которая линяет в первый раз во время приручения. Затем он рассказал, что при великом Леване Дадияни, правившем Мегрелией в середине XVII века, лишь у правителя было право на обладание белым соколом. Абхаз, не переставая, говорил о соколе. Этим словом он выражал свою любовь. Меги прислушалась. Слова Астамура пронизали все ее тело. Сокол вдруг захлопал крыльями. Может быть, он — крылатый Эрос? Меги подстегнула свою кобылу. Скоро обе лошади так сблизились в узком проходе между двумя оградями, разделяющими поля, что колени всадников соприкоснулись. Абхаз почувствовал пламя в крови, вспыхнувшее тут же и в теле его коня. Он пустил его сначала рысью, затем перешел в галоп. Кобыла девушки помчалась за ним. Всадники, словно два живых смерча, неслись по полю в невиданном поединке. Абхаз ни на миг не забывал о том, что в эту минуту он должен был показать, чего он стоит, ибо для него речь шла о жизни и смерти. Он не щадил коня, и конь был доволен седоком. Лошадь девушки мчалась во весь опор. Но на какую-то долю секунды наездница почувствовала, что потеряла привычную уверенность. Может быть, все объяснялось тем, что ее лошадь только-только поправилась? Или смятение души передалось ее телу? Она не отдавала себе в этом отчета. Ее лошадь неслась изо всех сил. Перед ней показался выступ горы, который мог бы быть финишем скачки. Конь Астамура первым достиг цели. Абхаз обернулся, когда прискакала его соперница. Лицо девушки омрачилось. Астамур улыбнулся, как бы заглаживая свою «вину», но улыбка его угасла при виде искаженного гневом лица. Меги отвела лошадь в сторону. Взгляд мужчины застыл. Он долго стоял неподвижно, глядя вслед удаляющейся девушке.

Меги въехала во двор и передала Нау лошадь и сокола, после чего вбежала в комнату, легла на кровать, зарыв лицо в подушку. Вато не осмеливался заговорить с ней. Скоро Меники и Цицино подошли к Меги, но она лежала безмолвно и неподвижно. Няня и мать озабоченно переглянулись. Затем мать вышла из комнаты, а Меники остались с Меги. Старая женщина пустила в ход все свое искусство волшебницы: словно птички, запорхали ее ласковые слова. Девушка лежала, как камень. И вдруг под действием волшебных слов камень дрогнул, и няня услышала, как Меги всхлипнула. Старуха нагнулась к девушке и стала что-то ласково нашептывать ей. И вот Меги мало-помалу пришла в себя и рассказала все, что с ней произошло. Меники тихо, радостно рассмеялись: «Ах ты глупышка! Ты ведь знаешь, что твоя кобыла слаба лишь на коротких дистанциях! На длинных же она никакому жеребцу не даст обогнать себя! Ах ты моя сорвиголова! И не стыдно тебе из-за этого горевать?» Девушка вдруг повернула к няне заплаканное лицо, и детская радость засияла сквозь слезы: по-детски радуясь, она спросила волшебницу: «Бабушка, это правда?» Меники нежно погладила гранатové косы Меги и сказала: «Красавица ты моя!».

БОРЬБА СТИХИЙ

Слова няни не выходили у Меги из головы. Она часто выезжала верхом в поле. Что тянуло ее туда? Было ли это желание расквитаться с абхазом или же его лицо притягивало и звало ее? Меги вся отдалась своему новому чувству, ее сердце стало биться сильнее. Но лишь на пятый день она встретила абхаза. В первое мгновение она чуть было не потеряла рассудок от радости, но уже в следующую секунду — замкнулась в себе, как улитка в своей раковине. Астамур приветствовал девушку. Она ответила на приветствие едва заметным наклоном головы. Меги и Астамур поехали рядом. Вдруг конь абхаза шарахнулся при виде большого ежа и встал на дыбы. Взбешенный всадник ударил его плетью, и конь понес. Как раз это и нужно было Меги. Она отпустила поводья. Поле было широкое. Через две минуты она нагнала абхаза. Но тот как бы намеренно придержал своего коня, чтобы затем снова погнать его. Разгоряченная Меги мчалась вперед. На пути обоих всадников стояло большое дерево, ветви которого свисали почти до земли. Этой бешеной скачкой девушка бросила вызов самой судьбе. Астамур направил своего коня чуть в сторону от дерева. Меги же летела прямо, как стрела. Она пригнула голову, касаясь шеи лошади, и промчалась под деревом, ветви которого зацепились за прядь ее волос. В ее памяти всплыли волосы Авессалома¹ — Меники рассказывала ей истории из Ветхого Завета. Меги вздрогнула, но уже в следующее мгновение была вне опасности. Джондо снова нагнала своего соперника. Перед косогором абхаз чуть замешкался, но Джондо влетела наверх, не сбавляя скорость. Теперь уже Меги была впереди. Астамур бешено гнал жеребца, но догнать Меги он уже не мог. У подножия горы всадница спешилась. Астамур прискакал через несколько секунд. Он проиграл поединок. Девушка сияла от счастья. Скованность ее прошла, и абхаз впервые услышал глубокое звучание ее голоса. Она произнесла несколько слов, которые вывели его из состояния оцепенения. Он улыбнулся и похвалил соперницу. В Абхазии, сказал он, никому еще не удавалось обскákat его. Он говорил о Джондо, о равнине, о дереве, о косогоре и еще о многом. Но Меги чувствовала, что говорил он о ней, лишь о ней. Меги ликовала. Все с большим упоением говорил абхаз. Но и на девушку нашло упоение. Цветок на ее груди, который Астамур преподнес ей при встрече, источал дурманный аромат. А может быть, дурман этот исходил не от цветка, а от нового, еще неизведанного чувства? Она вдруг оступилась и, наверно, упала бы, если б абхаз не поддержал ее. Его руки коснулись плеч девушки. Меги была на грани обморока. Ее взор затуманился. Незнакомый доселе шум, напоминающий глухой гул в больших морских раковинах, становился сильнее и сильнее, словно все твердые тела растворялись в нем. Пасти разверзлись. Блеснули оскалы зубов. Огромный вепрь пробивался сквозь бездонную тьму. Земля извивалась, стена и рыча. Реальная действительность исчезла из памяти Меги.

Разгорелась извечная борьба полов, первородная схватка между мужским и женским началами, смертельный поединок первозданных элементов. И одним из них являлась она сама. Это было содрогание перед утратой невозмездимого. И все же на несколько мгновений ее охватило глубочайшее блаженство самоотдачи. Она потеряла сознание. Когда Меги пришла в себя, абхаза уже не было рядом. Девушка взглянула на Джондо и потупила взор перед красноватыми глазами лошади. Краска еще не испытанного доселе стыда залила щеки. Неукротимый гнев наполнил сердце. Она подошла к Джондо, но подняться в седло не было сил. Разбитая, потерянная, она побрела домой. Лошадь пошла за ней.

Словно сорванный с дерева плод, упала Меги на диван. Она и в самом деле чувствовала, что погибает, погибает, как плод, отделенный от растущего дерева. Цельность ее души была разбита. О, стать бы снова несорванным плодом! Потеряно все! Огонь гнева разгорелся в ее диком теле. Сокол сидел на своем колышке, удивленно глядя перед собой. Резко вскочив с дивана, Меги схватила птицу и... оторвала ей голову. Гнев ее чуть утих. Она снова легла на диван, но все еще никак не могла успокоиться.

В комнату Меги зашла мать и испытующе посмотрела на дочь. Меги молчала.

¹ Персонаж из Ветхого Завета (Книга Царств). Авессалом славился необычайной красотой и длинными волосами. Однажды во время сражения с рабами Давида, проезжая на муле под дубом, он зацепился волосами за низко свисавшие ветви и повис. Был тут же убит. (Прим. пер.)

Цицино с ужасом заметила пятна крови на платье Меги. Она огляделась и увидела мертвого сокола. Наверное, это его кровь, подумала мать, немного успокоившись. Но кто же мог оторвать голову бедной птице? Неужели Меги? Невероятно! Предчувствуя недоброе, Цицино позвала няню. Меники не заставила себя ждать. Она ласково обратилась к девушке, но не получила ответа. Меги не спала, она лежала неподвижно, как камень. Если бы, однако, старая волшебница прикоснулась к этому «камню», то ощутила бы своими сухими пальцами конвульсивное биение пульса. Теперь и Меники заметила пятна крови. Цицино показала ей на мертвого сокола. Меники перевела взгляд с оторванной головы птицы на неподвижно лежавшую девушку. Молчание. Меники нагнулась и подняла смятый цветок, лежащий на краю дивана. «Неужели это его дурман?» — пробормотала она еле слышно. В ее зеленоватых глазах блеснула злая искорка. В голове многоопытной няни и волшебницы стала вдруг проясняться страшная истина, лицо ее помрачнело. Она медленно подняла голову и посмотрела серьезно и страшно в глаза той, кого она когда-то кормила грудью. И Цицино прочла все в ее взгляде. Внезапно вспыхнувшее бешенство ослепило мать, и лицо ее стало страшным, как топор амазонки.

ТОПОР АМАЗОНКИ

Словно бирюзовая пелена, опускался вечер на землю, делаясь все плотнее и темнее. Издалека доносился, то и дело замирая, шум деревни. С тихим шелестом проснулся лиственный лес. Не появляется ли там феникс на макушке дуба? Нет, полночь еще не наступила. Меники, Цицино и Меги ожидают мегрельскую ночь. Вато с ними. Меги лежит на диване. Она молчит, ни на кого не глядя: так глубоко погрузилась она в раздумье. Меники и Цицино полулежат на ковре, подложив под себя множество мутак. Вато сидит на треногом стульчике. Цицино и Меники уже знают тайну Меги, хотя они пока ни словом не обмолвились о ней. Обе женщины боятся, что художник узнает правду. Но еще больше они боятся того, что Меги может догадаться об их знании.

Лиственный лес шумит, и множество тысячелетних сказаний роится в нем. Меники рассказывает. На этот раз об амазонках, которые в незапамятные времена жили на этой земле. Они жили сами по себе, — Меники особо подчеркивает это, — и сами выполняли всю работу и в поле, и в саду, смотрели за скотом и лошадьми, к которым были очень привязаны: Самые сильные из них любили охоту и упражнялись в бранном искусстве. У всех амазонок, продолжает Меники, уже в юности выжигалась правая грудь (грудь Меги при этом содрогнулась от боли), чтобы она не мешала им прежде всего при метании дротика. Амазонки были вооружены стрелами, топорами, копьями и легкими щитами. Из звериных шкур они изготавливали себе панцири, шлемы и пояса. При слове «топор» Цицино вздрагивает, и ее профиль при этом напоминает узкий лунный серп изогнутого топора амазонок — такой топор хранится в ее доме. Меники ведет рассказ дальше. На два месяца амазонки прерывали обычный ход своей жизни. Они поднимались на соседнюю гору, куда приходили к этому времени и мужчины, жившие неподалеку отдельно. Свершив жертвоприношения, как и требовали того обычая, мужчины и женщины сочетались браком, чтобы зачать детей. Это происходило в темноте, тайно и не по любви. Рожденных от такого брака сыновей амазонки приносили потом к границе своей страны, и мужчины забирали их. Каждый мужчина выбирал себе мальчика и воспитывал его, как родного, каковым он, возможно, и был. Меники делает паузу. Она любит делать паузы. Она с воодушевлением продолжает: дочерей своих амазонки любили, считая их родственными себе по крови и духу и воспитывали их с материнской любовью. Но они не кормили своих дочерей грудным молоком. Этого они избегали, сохраняя таким образом грудь сильной для предстоящих сражений. К тому же они делали все, чтобы не изнеживать дочерей. Поэтому они вскармливали их кобыльим молоком и росой, оседающей словно мед на речном тростнике. Меники продолжает рассказывать... Кого же она все-таки цитирует? Геродота или Страбона? Ни того, ни другого. Она цитирует самое себя. Эту легенду она когда-то подслушала и слышит до сих пор в шелесте лиственного леса, из которого она когда-то проникла в страну эллинов. В голосе Меники появляется новый, едва уловимый оттенок, когда она в конце своего рассказа сообщает, что среди амазонок были и убийцы мужчин.

Они иногда убивали тех из них, которыми завладевали, и душили сыновей, рожденных от них... При этих словах тело Меги содрогнулось, словно укушенное ядовитой змеей. Но профиль Цицино выражал лишь гнев, будто топор амазонки, занесенный для смертельного удара... Меники гасит появившуюся в ее зеленых глазах искорку, но губы ее презрительно улыбаются. Но это делали лишь некоторые из амазонок... — поясняет она. Лиственный лес шумит и в этом шуме роятся тысячелетние предания. Меники увлеченно прислушивается к этому шуму и начинает новый рассказ, похожий на тот, который дает Филистрат в своем «Герое». «Однажды мореплаватели и корабель, везшие свой товар по Черному морю в Геллеспонт, были выброшены на берег моря, где, по преданию, жили эти воинственные женщины. Амазонки взяли мореплавателей в плен и привязали к яслям конюшен, намереваясь продать их живыми на другом берегу реки скифам-людоедам. Но одна из амазонок прониклась состраданием к одному пленному юноше, и между ними вспыхнуло пламя любви. Эта амазонка попросила свою царицу, приходившуюся ей сестрой, не продавать чужестранцев. Так пленники вновь обрели свободу. Они остались с амазонками и научились говорить на их языке. Однажды, рассказывая амазонкам о шторме на море и о своем приключении, они упомянули и о храме Ахилла, который они видели недавно на острове, и описали его богатства. Тогда амазонки решили воспользоваться тем счастливым случаем, что пришельцы были мореплавателями и кораблями. В их стране росло много деревьев, пригодных для кораблестроения. Они велели мужчинам построить корабли, чтобы переправить на них лошадей по морю и конницей напасть на Ахилла, ибо стоило им спешиться, как они становились такими же слабыми, как и обычные женщины. Для этого они сначала решили научиться гребле. Изучив морское дело, они вышли на пятидесяти кораблях из устья Термодонта¹ и поплыли в сторону храма, до которого было около двух тысяч стадий². Добравшись до острова, амазонки приказали мужчинам срубить деревья, окружавшие со всех сторон храм. Но топоры отскакивали от деревьев, попадая мужчинам то в голову, то в шею. Так погибли все мужчины. Тогда амазонки сами бросились к храму, громко крича и погоняя своих лошадей. Но Ахилл, грозно посмотрев на них, быстро помчался им навстречу и нагнал на коней такой страх (как это случалось и при Скамандре, и при Илионе), что лошади, поднявшись на дыбы, сбросили с себя всадниц, словно ненужный груз, а затем в бешенстве набросились на них, топчя их копытами. Гривы коней развевались, как у бешеных львов, а уши стояли стоймя. Они начали кусать голые руки поверженных воительниц, разрывали их тела на куски, пожирали их внутренности. Насытившись мясом диких амазонок, кони понеслись вскачь по равнине острова. На крутом берегу они внезапно остановились, увидели широкую синюю гладь, которую приняли за поле, и бросились в море...» Меники умолкла.словно совершив священнодействие, она переводила взгляд с одного слушателя на другого. Меги лежала неподвижно, прислушиваясь к тому, что творилось в ее душе. Откуда-то шли к ней незнакомые звуки. Теперь это было похоже на рокот прибоя у коралловых рифов. Она ясно представила себе обезумевших амазонок, скачущих на взбешенных конях. Теперь она отчетливо слышала топот копыт и ржание лошадей. Она увидела грозного Ахилла, вселившего в них ужас. Меги представила себе, как лошади набросились на голые женские тела, кусая их руки и ноги. Девушка вздрогнула. Меники, Цицино и Вато испуганно переглянулись. Никто из них не мог издать ни звука. Напротив Меги, на небольшом стенном ковре, висели различные виды оружия. Был там и странный топор в форме полумесяца. Вато взглянул на Меги. Он увидел ее ноздри, дрожавшие в диком дурмане. Его взгляд скользнул дальше, и вдруг он увидел на противоположной стене этот странный топор.

— Это тот самый топор... — сказал он.

— Топор амазонки... — добавила Меники.

Будто огненная струя, забившая из застывшего камня, бросилась Меги к стене. Она схватила топор и вновь окаменела, погрузившись в мрачное, глубокое раздумье. Из глаз девушки глядели безумие. Меники и Цицино насмерть перепугались. Лишь Вато сохранил самообладание. Он ощутил в себе какую-то неведомую силу, спокой-

¹ Мифическое название реки, впадающей в Черное море. Дается в «Мифе об аргонавтах» (прим. пер.).

² Древнегреческая мера длины, колебавшаяся в зависимости от местности — от 150 до 190 м.

но подошел к девушке и обнял ее за бедра. Горячая волна прошла через ее тело. словно разбуженная сомнамбула, Меги открыла глаза и опустила голову на плечо художника, желая скрыть свое лицо, залившееся краской стыда. Вато поднял девушку и положил ее на кровать. В ее глазах стояли слезы.

«Не сошла ли она с ума?» — вопрошал взгляд Цицино. Меники молча покачала головой.

«Одурманенная душа и горячая, дикая кровь», — подумал художник.

МАТЬ

Прошло несколько дней. Меги молчала, полная ненависти и отчаяния. Тихо, как кошка, прокрался Нау в ее комнату. По-кошачьи неслышно приблизился он к Меги и тронул ее за локоть. Меги вздрогнула от испуга. Но когда она увидела направленный на нее кошачий взгляд Нау, гнев и испуг ее сразу же прошли. Нау передал Меги письмо и тут же удалился. Она начала, читать. Письмо было от Астамура. Абхаз писал пространно и лишь о любви, о любви к ней. Он умолял простить его. Он-де забылся тогда. Какой-то ураган захватил его, некий демон завладел им, ослепил, оглушил...

...Абхаз молил о прощении. Меги еще раз пробежала письмо. В ее глазах появился огонь. Она читала письмо не только глазами. Нет, она вбирала его в себя обостренно, всеми своими чувствами. Она вся превратилась в судорожное биение пульса. Меги прочла письмо до конца. Ее оцепеневшие руки вдруг изорвали письмо в клочья. Она надолго задумалась, нагнулась, дрожащими руками собрала обрывки письма, снова принялась читать. Выражение ее лица немного смягчилось. И тут она, услышала чей-то шепот в смежной комнате. Она скомкала клочки письма и прислушалась. Меги смутно догадывалась, что там говорили о ней.

— Нау, ты не знаешь того абхаза, который подарил Меги сокола? — спросила Цицино.

— Да, я знаю его, — ответил раб, — это Астамур Лакербая.

— Разве он бывает в наших краях?

— Бывает.

— И часто?

— Да.

— Как часто?

— В последнее время почти каждый день.

— В какое время дня?

— Примерно за сто локтей до захода солнца.

— Как ты думаешь, он сегодня придет?

— Да, пожалуй.

Цицино замолчала. Вдруг она приказала:

— Оседлай к этому времени моего коня! Приготовь мою черкеску и меч!

Ты слышишь?

— Да.

Нау удалился. В глубине его души снова зашевелилась ревность.

Меги испугалась, узнав о намерении матери. Она знала, что Цицино в единоборстве была сильнее и смелее кого бы то ни было. Рассказывали, что она когда-то смертельно ранила одного смельчака. Меги помрачнела. Ее руки все еще сжимали клочки бумаги. Наконец она разжала онемевшие пальцы и с грустью посмотрела на обрывки письма. Они вдруг стали ей дороги. Она тщательно разгладила их рукой и спрятала.

Незадолго до захода солнца Нау подвел коня к дому. Цицино вышла в черкеске. Хотя ее бедра слегка и пополнели, но фигура напоминала фигуру юноши, а черкеска очень шла ей. Волосы женщины были собраны в плотный узел, голова обмотана белым шелковым башлыком. Красивое, но слишком зрелое для юноши лицо глядело из белого шелка. Цицино села на свою пегую лошадь и уже хотела было тронуть поводья, как вдруг перед ней оказалась Меги, которая схватила лошадь Цицино под узды. Девушка и сама в эту минуту была похожа на породистую лошадь.

— Не надо... не надо... — умоляла она свою мать.

У девушки и у лошади дрожали колени. Цицино недоумевала. Но, заглянув в умоляющие глаза своей дочери, она вдруг соскочила с лошади и спросила:

— Значит, ты любишь его?

Меги ничего не ответила. Она молча отошла от матери.

Да, она любила его.

ВСТРЕЧА

Астамур был здоровым и сильным мужчиной. Любая рана быстро заживала на нем, стоило лишь покрыть ее закопченной паутиной — так мощно и дико кипела кровь в его жилах. Но рана, которую нанесла ему Меги своим высокомерием, никак не заживала... Он сожалел теперь, что овладел тогда девушкой. Но разве он в тот миг мог сдержать себя? Сегодня уже седьмой день, как он написал ей письмо, а ответа не было! Да это еще куда ни шло. Джвебе рассказал ему, что Меги оторвала голову соколу, которого он подарил ей. А ведь сокол этот был крылатым символом его сердца... День за днем он бродил после захода солнца в этих местах, надеясь встретиться с Меги. Но Меги нигде не показывалась. И сегодня он в который раз выехал туда верхом, унылый, разбитый. Над Рионской низменностью благоухало небо. Ни звука не доносилось из крытых камышом домов, стоявших на склонах, в низине, в лесу и на берегу реки. Это были низкие, маленькие домики, похожие скорее на невзрачные хижинки. Тяжелые буйволы уютно отдыхали в лужах, равнодушно жуя жвачку. Совершенно подавленный, ехал Астамур на своем коне. Он потерял всякую надежду увидеть Меги. Лишь вера в какое-то чудо гнала его каждый раз к этим местам.

На повороте дороги, у могучего дуба вдруг показалась девушка. Может быть, это Меги? Мощная волна радости внезапно обдала Астамура. Конь остановился. И девушка остановилась, низко склонив голову. Словно сорванный плод была она, словно спелое семя, брошенное на произвол всемогущей судьбы. Ее гневно-кроткий взгляд выдавал бурю, разыгравшуюся в ее душе. Жеребец Астамура стоял как вкопанный. В одно мгновение мужчина почувствовал, что настал его звездный час! Но конь его не двигался с места. Может быть, оцепенение передалось ему от всадника.

Пойти ей навстречу? И тут же молнией сверкнула мысль: если конь посмотрит направо, я пойду. Но конь Астамура, повернул голову налево. Глубокое уныние овладело джигитом. Его воля была парализована. Кбнь оставался на месте, беспреестанно фыркая. Астамур украдкой посмотрел в сторону девушки. Но Меги уже не было на прежнем месте. Она ушла. Может быть, поскакать за ней? Попытаться догнать? Но куда делось его мужество, его смелость? И Астамур проклял свою нерешительность, которую, как ему казалось, он никогда до сих пор не испытывал.

ШЕПОТ

Меги пошла к своей подруге Бучу.

Если бы Астамур приблизился к ней, она, возможно, выслушала бы его. Но всадник не двинулся с места, а ей стало нелегко ждать... Меги на ходу сорвала цветок, смяла его в руках и вдохнула дрожащими ноздрями аромат. Она шла к подруге, сама не зная зачем.

Она казалась себе цветком, с корнем вырванным из оберегавшей ее родной земли. Девушка бессознательно делала шаг за шагом. Что ей нужно было у подруги? Рассеяться или поведать Бучу свою тайну? Этого она и сама не знала.

В это время Меники и Уту стояли за сараем, таинственно перешептываясь. Недалеко от них сидел Вато. Он не прислушивался к их разговору, но отдельные слова доходили до его слуха. Вокруг никого не было видно. Они говорили о какой-то восковой фигурке. Уту сказал что-то, из чего Вато разобрал лишь слова «волосы» и «имя». Художник старался не прислушиваться к шепоту волшебницы и исцелителя животных и очень обрадовался, когда увидел идущую к нему Меги.

— Ты здесь, Вато?

— Меники тоже здесь.

Шепот за сараем прекратился. Вато испытующе посмотрел на Меги. Дикое выражение ее лица исчезло, легкая печаль была на ее девичьих устах... Полуоткрытые веки хранили тайну. Художник знал это.

— Ты не знаешь, где Бучу? — спросила Меги.

— Ее кто-то пригласил к себе,— ответил Вато.

Шепот за сараем возобновился. Художник взглянул на ухо девушки. Оно совершенно, как морская раковина,— подумал он. Из-за сарая продолжали доноситься отдельные слова: «Главное — имя, настоящее имя...» и затем: «Да, и не забыть шрам на носу...» Девушка задрожала всем телом. В этой дрожи было что-то от приглушенного крика орла, ужаленного змеей. Вато недоумевал...

Подошла Меники.

— Ах, Меги, и ты здесь? — Голос волшебницы звучал неестественно. Меги ничего не сказала ей в ответ.

СЛОВО, ИМЯ, ОБРАЗ

Брови — грозовые тучи, глаза — молнии,— такой была Меги. Все ее существо дышало волнением. Принуждаемая некоей таинственной силой, она прислушивалась к бушевавшему в ее душе бунту, а к ней самой прислушивался Вато. Он стал о многом догадываться. То, что до этого носилось в воздухе, постепенно сложилось в его представлении в завершённое событие. Умерщвление сокола, подаренного абхазом, безумно раскрытые глаза Меги, ее бешенство и странное смятение, охватившее ее, перешептывание Меники с заклинателем Уту, бессвязные слова: «волосы...», «имя», «восковая фигурка...», испуг Меги, услышавшей слова: «шрам на носу...» — все это сложилось в сознании художника в законченную картину. У абхаза был шрам на носу. Это сказал ему Нау. Итак, эти бессвязные слова относились к Астамуру. Испуг Меги говорил о том, что ее что-то связывало с абхазом. В конце концов это ведь он подарил ей сокола. Но этому соколу она оторвала голову. А это значит, что между Меги и Астамуром произошло что-то непоправимое. Вато попытался дать своим мыслям более определенное направление. Перешептывание Меники и Уту, подумал он, должно, по-видимому, означать приготовление к какому-то колдовскому заговору. Вато взглянул на Меги. Ему хотелось прочесть в ее почти зримо пульсирующих жилах произнесенные слова тайны. Но он ничего не сказал.

Ночью мысли его приняли другое направление. Три слова составляли самое существенное в таинственном диалоге волшебницы и заклинателя: слово, имя, образ. Вато задумался. Смысл слов, произнесенных Уту, никак не раскрывался ему. По звучанию они были похожи на мегрельско-грузинские слова, но смысл их был иной, чем в родном языке Вато. Они происходили скорее всего от какого-то несуществующего языка. Художник воочию убедился, какое действие эти слова оказывали на животных. Может быть, это объяснялось тем, что слова родного языка с течением времени утратили свою первоначальную силу? И вдруг ему пришла в голову мысль о том, какое слово могло быть впервые произнесено людьми. Вот, к примеру, грузинское слово «ситква», имеющее одновременно следующие три значения: «слово», «плен» и «овладение». Можно представить себе тот момент, когда это слово впервые вырвалось из хаоса и присоединилось к бесконечному ряду творческой эволюции. В то доисторическое время это слово, по-видимому, обладало подобной стихийной силой,— подумал художник. В первоначальном слове непременно должна проявляться первозданная сила земли. Более того: оно, вероятно, само по себе есть не что иное, как космический знак запечатленный в ряде звуков. Такое слово обладает материальной силой. На этом языке, наверно, говорил первобытный человек, первенец Земли. Мысли Вато пошли дальше — от первоначального слова до слов заклинаний и чародейства. Этим последним свойственна такая же сила, как и первоначальным словам. Это было известно вавилонским жрецам и халдейским мудрецам. Разве не был Уту, маленький, невзрачный Уту, живым отростком этого доисторического древа?

Художник всю ночь не спал. Он думал о таинственном слове «имя», в котором заключается какой-то свой, особый образ, свой собственный облик. В «имени» слово обретает свою личность, свою оригинальность и неповторимость. Вато снова вспомнил те слова: «Имя, настоящее». Он размышлял: в Мегрелии один и тот же человек может иметь несколько имен. Почему? До сегодняшнего дня он не задумывался над этим. Шепот Уту многое открыл ему: «Имя, настоящее...» Итак, существует и ненастоящее имя? Но для чего оно, если существует настоящее? Долго, долго думал Вато

об этом. Из непроницаемой туманной завесы всплыли обрывки древнеегипетской магии, нашедшие каким-то непостижимым образом путь в страну колхов и осевшие здесь в живом народном предании. Древние египтяне ясно сознавали, что «имя» означает саму личность. «Я» — Гор, воскресивший своего отца Осириса. Я творю сотворившего меня. Я создаю создавшего меня. Я дарую жизнь имени того, кто даровал мне жизнь». Вато не сомневался, что в этом изречении слово «имя» употреблено в значении «личность». О каждом усопшем, вступающем в блаженство воскресения Осириса, в священных текстах говорится: «Да расцветет имя почившего, как расцветает священное древо, как произрастают колосья из тела Осириса». «Даровать жизнь имени» означало оживить личность и, наоборот, уничтожить «имя» означало похоронить личность. Существовал обычай искоренять имена приговоренных к смерти или впавших в немилость. Искоренить имя означало убить душу, поразить таинственного двойника. Древние египтяне верили в это. Вато продолжал размышлять. Теперь только он начал постигать смысл бессвязного бормотания Уту: «Имя, настоящее имя...» Не подлежит сомнению, что в настоящем имени отражена личность человека. Другие же имена, неподлинные, служат лишь прикрытием, ширмой или щитом для личности. Подлинное имя ведомо лишь его обладателю и его близким. Выдать свое имя означало лишить себя твердой опоры...

Все эти мысли с быстротою молнии пронеслись в голове художника... Шепот Уту: «Узнать настоящее имя» — показался ему подозрительным. Не хотел ли он узнать имя абхаза? Но для чего? Может быть, он собирался причинить вред обидчику Меги? Он вспомнил первые главы Книги Бытия, фрагменты вавилонского эпоса, надписи на гробницах египетских фараонов и мидийских царей. Ему пришли на ум некоторые места из «Илиады», а также стихотворение Гете «Горные вершины». Во всех этих и других великих произведениях была магия слова и имени. Но скрытый смысл их художник пока не постигал. После того, как он услышал шепот Меники и Уту о «портрете», его охватил неосознанный страх за судьбу своего собственного произведения искусства: может быть, у него получалось изображение лишь двойника светловолосой девушки? Весь этот день прошел как сон наяву.

На следующий день Вато поехал в Родную Гурию, взяв с собой начатый портрет Меги. Перед художником простирались поля, погруженные в тоскливую дремоту. Земля была вся пропитана росой. В душе Вато горела неутоленная тоска, похожая на застрявшую в ране стрелу. Все навязчивее, все мучительнее становились вопросы, которыми он задавался: «Что есть портрет? Что есть изображение?..» На всем пути к дому он размышлял, и мысли уносили его все дальше и дальше...

ОНА ЛЮБИТ

Меги осталась одна в доме. Цицино поехала к княгине Даддани, чтобы похлопотать за одного юношу, которого дворянин Угая хотел продать туркам. Нау сопровождал ее, радуясь, что хоть в пути будет рядом с возлюбленной «амазонкой». Меники пошла в гости к Одишария. Она, возможно, решила еще раз поговорить с заклинателем зверей. Прислуга находилась в просторной «сахли» — людской. Итак, Меги была одна в доме. Она тихо открыла дверь в комнату Меники и вошла в нее. В углу висела икона скорбящей Божьей Матери, увенчанная ветками вербы. Паук начал плести свою сеть в этих ветках. Богоматерь смотрела печальным, таинственным взглядом на стоявшую перед ней девушку. Меги опустила голову. Вдруг она заметила под иконой что-то странное. Она нагнулась и подняла с пола небольшую восковую фигурку, обвитую терном. Внезапный страх пронизал ее. Она стояла, не шевелясь, с искаженным от испуга лицом. На носу у маленькой восковой фигурки был шрам. В висках у нее бешено застучало, руки задрожали. Выражение ужаса так четко запечатлелось на ее юном лице, что его можно было отлить в металле. Она стала торопливо вытаскивать шипы, вонзившиеся в восковую фигурку, но следы от них, словно раны, остались на ней. Воск был еще мягким, и девушка дрожащими руками разгладила его. Меги, конечно, поняла, что этот безобразный кусок воска изображал Астамура. Что делать? Выбросить его, чтобы отвратить колдовство от живого прообраза? Но если кто-нибудь найдет эту фигурку и по неведению или же случайно причинит вред человеку, которого она изображает?

Измять воск? Но это значило бы убить Астамура. Дрожа всем телом, вышла Меги из комнаты Меники. Восковую фигурку она взяла с собой.

Ночная мгла поглотила фиолетовые тени вечера. Меники вернулась. Войдя в свою комнату, она в тот же миг заметила исчезновение восковой фигурки. Лицо ее омрачилось, но ненадолго, ибо она тут же обо всем догадалась. Она зашла в спальню Цицино. Там в углу стоял сундук Меги, в котором девушка хранила всевозможные обрезки из сукна, парчи и другой материи. Пока Меги говорила с прислугой во дворе, старая волшебница набрела на верный след: открыв сундук, она увидела там восковую фигурку, которая была уже обвита не шипами терновника, а благоухающими цветами. Меники улыбнулась: она все поняла и закрыла ящик.

Приехала и Цицино. Няня и мать Меги были вдвоем.

— Ну, обещала княгиня помочь тебе? — спросила волшебница.

— Да, она обещала мне.

— А какие новости при дворе?

На этот вопрос Цицино ничего не ответила. Она задумалась.

— Ты видела там кого-нибудь? — снова спросила Меники.

Этот вопрос вернул Цицино из забытья. В ответ она протянула:

— Да-а-а...

— Кого?

— Того... Абхаза...

— Того, со шрамом на носу?

— Да.

Меники разглядела на лице Цицино прилив нежной радости. Она прикусила губу, сдерживая улыбку.

— Ну и что?.. Он тебе понравился?

Цицино промолчала. Прилив радости на ее лице превратился в багровый гнев. Няня опустила голову. Наступило гнетущее молчание. Вдруг Меники сказала:

— Мне кажется, Меги любит абхаза.

Цицино насторожилась. Няня встала, подошла к сундуку Меги и, улыбаясь, обратилась к Цицино.

— Взгляни, пожалуйста!..

Цицино подошла к сундуку и увидела лежащую в нем восковую фигурку.

— Ну, что скажешь? — спросила Меники.

— Это, наверно, колдовство? И это сделала ты? — строго спросила Цицино.

— Ну да, я... мне хотелось освободить Меги от него.

Цицино молчала.

— Как видишь, она любит его... — улыбнулась волшебница, указывая морщинистыми пальцами на цветы.

— Это я и так знала, — ответила Цицино.

Няня была немало удивлена.

СМЯТЕНИЕ

Цицино однако знала еще больше. В душе ее что-то начало буйно разрастаться, будто какое-то дикое вьющееся растение пустило там корни. Нау ощущал это еще сильнее, чем она сама. Когда Цицино вышла из замка княгини, он жадными глазами прошупывал ее лицо, похожее на отражение в изумрудной воде. С пронизательностью ясновидца безнадежно влюбленный раб тут же заметил сильное смятение чувств, отразившееся на боготворимом им лице. В замке были гости из Кахети, Картли, Имерети, Сванети, Гурии и Абхазии. Цицино, наверное, увидела там кого-то, кто запал ей в душу, — подумал Нау. Когда он помог ей подняться в седло и его правая рука коснулась ее тела, он уже не сомневался: ее душа была в смятении. Они ехали молча. Цицино не хотела говорить, а Нау не осмеливался нарушить молчание. Как счастлив он был, когда они ехали из дому в замок! Цицино была тогда весела, говорила с ним, шутила и даже бросила ему несколько взглядов, ошачливших его. Теперь же она была холодна и неприступна. Если бы в эту минуту Нау спросил себя, принадлежала ли эта женщина ему хоть когда-то, он не смог бы ответить себе на этот вопрос — такой далекой и странной, такой незнакомой была теперь Цицино. Нау попытался вспомнить всех гостей княгини, которых он видел.



100

Больше всех его волновал абхаз со шрамом на носу. И, как оказалось, — не напрасно. Когда Цицино говорила с княгиней, другие гости отошли в сторону, тихо беседуя. Он сразу узнал абхаза по шраму. Еще больше бросался в глаза хищный взгляд зеленых глаз. Увидев его, Цицино вздрогнула. Каждый раз, когда она испытывала эту дрожь, она знала, что мужчина, стоящий перед ней, подчинится ей в любви. Но на этот раз произошло нечто удивительное: когда она была представлена и он услышал ее имя, лицо хищника мгновенно преобразилось, нежность, подобная мягкому лунному сиянию, вдруг разлилась по нему. Цицино была изумлена: абхаз же недоумевал еще больше, ибо он неожиданно-негаданно увидел перед собой Меги, ставшую зрелой женщиной. Лишь волосы Цицино с темно-фиолетовым отливом отличались от волос дочери. Астамур смотрел на Цицино и видел в ней Меги. Нежное сыновнее чувство пробудилось в нем к этой женщине. Ему хотелось положить голову ей на плечо и поцеловать ее, как целуют красивую мать красивой возлюбленной. Он стоял перед ней смущенный. Что смутило его? Может быть, он вспомнил, что Меги убила его сокола? Мать Меги скорее всего знала об этом, — подумал он. Под строгим взглядом Цицино Астамур побледнел. Они не сказали друг другу ни слова, но нервы их были так напряжены, что они и без слов все чувствовали и понимали. Но чувство женщины было беспорядочное — оно, как лиана, разрослось в ее душе. Молодой абхаз нравился ей. Взять, взять его себе, заставить любить себя! — подумала она. И тут Цицино представила себе дочь, ее глаза, которые она будила поцелуем; и в душе ее зашевелилось сострадание, острая тоска пронзила ее материнское сердце. Но Цицино тут же пришла в себя. Ну и что ж?.. Пусть моя любовь будет мстью за дочь, за поруганную честь моей дочери... А что если Меги любит его? Цицино снова задумалась. Она вспомнила, как Меги удержала ее тогда, когда она по примеру амазонок намеревалась вызвать молодого абхаза на поединок... Может быть, она по-настоящему любит его!.. Сердце Цицино сжалось. Когда няня показала ей восковую фигуру, которую Меги обвила благоухающими полевыми цветами, она уже не сомневалась: Меги любит Астамура. Цицино содрогнулась, впервые, правда, лишь на одно мгновение, увидев в своей дочери соперницу в любви.

СНАДОБЬЕ

Меги сидела под раскидистым ореховым деревом, отдавшись магии полудня. Она глядела на беспредельную ширь, на которой точно мякоть ананаса, разливалось золотом солнце. Вокруг дары плодоносящей земли. Меги сама была одним из этих даров. Ее ноздри раздувались, жадно втягивая терпкий аромат земли. О чем она думала? Она сама, пожалуй, не знала этого. Ее мысли, словно черные тени, скользили по воде. Возможно, в крови ее зарождалась догадка, которую сознание ее еще не было в состоянии осмыслить? Меги встала и пошла в поле. Ее взгляд упал на ярко-красные чашечки цветков. Она вздрогнула всем телом, почувствовав в себе что-то совершенно ей незнакомое. Так, наверно, прорезается первый зуб. Вялой, утомленной возвращалась она домой. Во дворе она встретилась с Меники.

В последнее время Меги с трудом выносила испытующий взгляд волшебницы. Меники как-то по-особому разглядывала девушку, словно хотела найти ключ к какой-то тайне. Она следила за каждым движением Меги. Словно тени, мелькали подозрительные желто-красные пятна на ее лице. Это не могло, конечно, ускользнуть от внимания старой няни. Она заметила еще что-то новое: ее подопечная стала привередливой в еде, даже капризной. Нрав ее стал неровным, нетерпеливым, нелюдимым. Подозрения Меники скоро перешли в уверенность. Теперь же при виде Меги рассеялись ее последние сомнения: все ее тайные догадки окончательно подтвердились.

Вечером няня принесла Меги настой, приготовленный из сока растения карцили. Так же, как и месопотамская финиковая пальма, это растение двуполо. Корень его белый, а из лепестков — красные мужского, а белые женского пола. Меги узнала настой по его цвету и испугалась. Она как-то видела смертельно-бледное лицо крестьянки, выпившей этот ужасный напиток.

— Пей, не бойся! — шепнула ей волшебница.

— Ни за что! — крикнула Меги.

Лицо Меники помрачнело. Не сказав ни слова, она вышла из комнаты.

Меги дрожала от страха. Взглядом, полным гнева, посмотрела она вслед старой волшебнице. Кровь девушки заволновалась, опьяненная неведомой тревогой, в которой шевелилась незнакомая, крохотная, почти ничтожная радость.

ДОГАДКА

Вато своим близким всегда казался странным. После возвращения из Мегрелии эта странность усугубилась. Он отпустил длинные волосы и почти ни с кем не говорил, разве что с самим собой. На все замечания или вопрос отвечал несокрушимым молчанием. Да он, собственно, никого уже не замечал вокруг себя, прислушиваясь лишь к своему внутреннему голосу. С тревогой следил отец за превращением сына. Могучий, строгий старец боялся, что разум сына может помутиться. Разве его рваная одежда и чрезмерное пристрастие к молитве не были первым признаком помешательства? Однако он знал, что на чистом теле сына было свежее белье. Это немного успокаивало его. Князья и дворяне, жившие по соседству, не любили Вато. Его свободный, независимый дух не позволял им сблизиться с ним.

Вато много рисовал, а в свободное от рисования время читал. В эти часы он не оставался дома, а уходил с книгой в поле и устраивался в тени какого-нибудь дерева. То, что его по-настоящему занимало, были фрагменты из греческого, вавилонского, иранского, грузинского и индийского эпосов. Но чаще всего он читал Библию. Он любил также приручать птиц, заставляя их сидеть на шесте, хлопать крыльями, заманивал коршунов и соколов в сети. У него всегда было множество пернатых, и он, казалось, понимал их язык. Из-за этого его пристрастия к нему тянулись дети. У Вато была еще одна, совершенно особая страсть: он любил камни, обожал их, как вавилонянин, и был счастлив, когда ему удавалось найти какой-нибудь камень с древней надписью. Он часто бродил по полям и лесам, уходил в горы. Мысли его текли, как глубокие, подземные течения, унося его с собой. В такие часы он жил лишь грезами и видениями. Дерево для него вдруг могло превратиться в животное, а животное — в камень. Перед его внутренним взором всплывали фантастическое изображения древних египтян и вавилонян, индусов, персов и грузин: крылатые четвероногие животные, птицы с телами зверей, чудища с головами змей.

Вато размышлял об обычаях некоторых диких племен, избравших волка тотемом, прародителем человека. Не объяснялось ли это тем, что для них грань между человеком и волком еще была неопределенной, так как в их представлении одно существо переходило в другое? Ведь иначе это просто невозможно себе представить. При этих мыслях у Вато сильно билось сердце и, он, словно из глубокой шахты, выходил из недр странных ощущений, грозивших поглотить его. После возвращения из Мегрелии Вато все больше предавался этим размышлениям. Он чувствовал, что окружен витающими над ним образами. Среди этих образов была и Меги, которая, как ему казалось, заключала в себе все остальные. Образ Меги, постоянно парящий над ним, стал частью его души. Однажды, когда он вышел в поле, его внимание приковала мощная скала. Совершенно случайно он взглянул на свои руки, вдруг пальцы его показались ему немыми существами, каждое из которых обладало своим собственным взглядом, улыбкой, кивком. Вато содрогнулся. Его взгляд скользнул по скале, и на долю секунды его осенило: этот камень — ты сам. Такие мгновения повторялись все чаще и чаще, и он постепенно стал привыкать к ним. С каждым разом он все внимательнее наблюдал за тем, как растворялось его «я» в вещах, и ему в конце концов открылось то, что до сих пор было тайной: он не вполне растворялся в другом, а от него как бы оставался новый лик, почти телесный но все же неосознаваемый и невесомый. Смутная, неосознанная тревога охватила художника. Он что-то читал об «оболочках» Демокрита и об «эйдолоне» Пиндара. Не было ли то, что оставалось в нем после саморастворения в вещах, той «оболочкой», тем «эйдолоном», наподобие того, как двойник сохраняет телу непреходящее существование? Эта мысль поразила Вато, и он побледнел. И вдруг вспомнил о восковой фигурке. А что, если именно это изображение должно передать «двойника»?

От восковой фигурки мысли его перескочили к портрету. Лишь теперь он начал по-настоящему вникать в тайну искусства Леонардо да Винчи, лик в лике. Может

быть, тот таинственный лик, который просвечивает сквозь картину, и есть «эйдолон» изображаемого? Теперь уже горело не только сердце Вато, в котором жил образ Меги, но горела и его десница в радостном стремлении воплотить этот образ в зримом, осязаемом портрете. Слабое тело Вато теперь наполнилось сверхчеловеческой силой. Его потянуло к материалу. Ему хотелось своим прикосновением оживить его. В каждой вещи, опаленной небесным огнем, он видел камень, в котором, по религиозным представлениям вавилонян, обитает звериный бог. С помощью того же небесного огня, который Вато ощущал теперь в себе, он жаждал вызвать из камня небесное существо. Теперь художник понимал Авраама из Ветхого Завета, поклонявшегося в лице халдейского тура такому камню. Нет ничего более единого на этом свете, чем такое представление. И вот Вато стал камнепоклонником. Ему не терпелось высечь образ Меги из такого камня. Но ведь он был лишь художником, а не скульптором, и ему стало грустно.

Вато раздарил детям всех своих птиц, оседлал коня и поехал в Мегрелию. Обычно тшедушный, он вдруг превратился в настоящего джигита. Вихрем мчался под ним его конь, вихрь был и в горячей голове седока. Сверхчеловеческие, демонические мысли зарождались в его мозгу, рассыпаясь, как искрящийся «звездопад» в день Святого Лаврентия. Конь скакал к реке. Голова Вато пылала. Конь бросился в бурный поток Риони и в считанные секунды пересек реку. На берегу реки он упал с коня. Крестьяне, работавшие в поле, побросали мотыги и поспешили к нему на помощь. Из уголков рта Вато текла отвратительная слюна, а из левого виска сочилась темная кровь.

— Солнечный удар! — сказал один из подбежавших крестьян.

— А, может быть, и падучая, — возразил ему второй. Крестьяне подняли Вато и положили его в тень орехового дерева. Художник скоро пришел в себя, и к нему стали возвращаться обрывки мыслей, как бы прерванные тысячу лет тому назад. Конь Вато закусил удила, то и дело пофыркивая.

ВРЕМЯ СОЗРЕВАНИЯ

Наступили жаркие, напоенные солнцем дни. Созревала пшеница. Дремали животные. Начали набухать зерна кукурузных початков, тяжелел виноград, окрашиваясь в цвет тусклого янтаря. Зрела и Меги, наливаясь, как яблоко крепкой яблони. Зрели ее сильные груди. Как примирение еще недавно противоборствовавших элементов, ее тело осенил мягкий покой. И до этого она была молчаливой, теперь же совсем онемела, погрузившись в темную бездну материнства, принесшего ей и счастье, и тревогу. Это было блаженство плоти. Но во взгляде девушки сквозила печаль. Она прислушивалась к глухим, едва уловимым ритмам. Сознание, которое само еще было в стадии роста, восприняло рост травы. Лишь изредка выходила Меги из состояния растворенности. Это происходило в те редкие мгновения, когда перед ее мечтательным взором проплывал образ абхаза. Тогда ее охватывал гнев. Но уже в следующий миг она успокаивалась. Она уже почти не выезжала верхом, подсознательно избегая резких движений. Как часто раньше, желая показать свою ловкость, она вскакивала на кувшин, наполненный водой, обхватывала его горлышко ступнями, держась в таком положении несколько минут, не проливая ни капли. Теперь ей это и в голову не пришло бы. Ее нрав заметно смягчился.

Проходили дни, насыщенные созревaniem плодов. Меники не переставала наблюдать за Меги. Она и Цицино уже знали тайну Меги. Но няня волновалась больше, чем мать. Она, правда, уже смирилась с мыслью, что Меги придется рожать, но ей нужно было заранее знать, будет ли это мальчик или девочка. Для того, чтобы установить это, она велела одному мальчику и одной девочке сломать куриную косточку. В руке мальчика осталась большая часть кости. Меники изменилась в лице, ибо это указывало на то, что родится мальчик, а ей хотелось девочку. Она злилась весь день, но уже к вечеру успокоилась. Ночью она рассказывала сказки.

Проходили дни, проходили недели, налитые множеством красок. Вато писал портрет Меги. Он уже не размышлял и не анализировал, ибо кисти его теперь было ведомо все. Его сознание возносилось вместе с потоками космоса и было прозрачно, словно он жил за полярным кругом, где все покрыто снегом, отражающим солнце. Вато жил лишь портретом. Он глубоко почувствовал, что в человеке можно увидеть

солнце, и когда он смотрел на Меги, то видел в ней чистоту солнечной крови. Эту солнечную кровь должны были передать его краски, и он подбирал их с особым благоговением. Во всем существе Меги он видел непорочную, готовую к зачатию девственницу. Он рисовал Мадонну, но без младенца. Мадонну, предвкушавшую материнское счастье, в глубине лучезарного взгляда которой уже таилась печаль: взор будущей матери, казалось, уже предугадывал судьбу своего дитяти. На сей раз Меги уже не сопротивлялась взгляду художника. Она сидела под деревом, и ей казалось, что земля ей лишь грезится. Медленно, будто гаснущие искры,плыли ее мысли. Вато тронула скрытая печаль девушки, и ему хотелось охладить ее утомленные веки свежими лепестками цветов. Его взгляд вдруг стал ясновидящим. Глядя на Меги, он почувствовал себя на миг слитым с творческой силой вселенной, и дрожь прошла по его телу. Но этот миг прошел, как удар молнии, и его взгляд вошел почти в физическое соприкосновение с девушкой. Меги тут же ушла в себя, как улитка. Художник прервал работу.

Проходили дни и недели, наполненные исходящими от собак и лошадей испарениями, влажными ветрами безбрежного моря, ароматом сена, запахом парного молока и козьего сыра, сыростью и теплом конюшен.

Абхаз то исчезал из Мегрелии, то снова появлялся. Он пытался через Джебе встретиться с Меги, но это ему никак не удавалось. Прошел слух, что он несколько раз встретился с Цицино, но никто не мог сказать ничего определенного об их отношениях. Когда же они в каком-нибудь обществе молча сидели друг возле друга, то пронзительный взгляд мог заметить, что между ними что-то было: уже лишь тот факт, что они были вместе, говорил о какой-то принадлежности друг к другу.

Нау был рабом Цицино, и он с наслаждением подчинялся ей. Из человека он превратился в зверя, поклонявшегося своей богине в человеческом облике. С обостренным, звериным чутьем искал он на теле Цицино следы от поцелуев. Но он не видел их и стал похож на собаку, потерявшую след. Нау не находил себе покоя. Он наблюдал за Цицино, следил за ней даже по ночам. Он чуял призраков. Однажды ночью ему почудился расплывчатый силуэт абхаза, ожидавшего, как ему показалось, кого-то. Но силуэт скоро исчез. С той ночи несчастный раб совершенно потерял покой.

НОЧЬ

На мегрельскую равнину опускались ночи во всем великолепии южного полнолуния. Они порой были так прозрачны, что невооруженным глазом можно было видеть фазы Венеры.

Нау уже давно не смыкал глаз по ночам. Его терзало смутное предчувствие беды...

Ослепительно белая ночь легла на безграничную тишину. Нау сидел на верхушке могучего дуплистого дуба, скрытый в листве. В случае надобности он мог спрятаться и в дупле. Он, казалось, ждал кого-то. В руках у него было ружье. Уже в течение многих ночей он истощал себя ночным бдением, и каждый восход солнца был для него облегчением. Он сидел, сжавшись в клубок, и тело его, казалось, стало зрячим. Охваченный нечеловеческой страстью, комок плоти обрел дар ясновидения. Его незримые сверхчувствительные щупальца докладывали ему: эта ночь принесет что-то новое. Он посмотрел на заходящую луну, похожую на опаловый пупок Астарты. Послышался шорох. Нау насторожился. Со стороны ущелья приближался всадник. Он подъехал к небольшому холму, остановился, спешился и привязал коня к суку ивы. По тому, как незнакомец слез с коня, Нау узнал в нем абхаза. Нау зашевелился, но тут же собрался и напрягся снова.

Мужчина в выжидательной позе остался стоять возле коня. Он ждал Цицино, назначившую ему свидание. Абхаз был озадачен. Он не понимал, что означал этот вызов. С Цицино он два-три раза встретился у княгини. Кроме того, он виделся с ней несколько раз в семьях, близких ко двору. Во время этих редких, коротких встреч они мало говорили, упоминая между прочим и имя Меги. Астамур с радостью признался бы во всем матери своей возлюбленной: о своей неукротимой страсти, о вине своей перед Меги, о безграничной любви к ней. Но мать Меги, казалось, избегала его покаяния. Когда же ему удалось однажды заговорить с ней об этом, она улыбнулась

непроницаемой улыбкой и шепнула ему, что когда-нибудь ответит ему на его признание. И вот теперь, вот здесь он ждал ее ответа.

Через несколько секунд слева показалась фигура женщины, приближавшейся к мужчине. Нау вздрогнул: это была Цицино. От напряжения он не мог шевельнуться, застыв, как застывает больно прикушенный язык. Увидев оливковое лицо Цицино в лунно-синем свете, абхаз просиял. Он пошел ей навстречу и поцеловал ей руку. Нау вздрогнул опять, и его указательный палец пополз к курку.

Цицино ощущала, как вздымается ее грудь. В этом абхазе было что-то, смущавшее ее свободный дух амазонки. Она вообще смотрела на мужчин сверху вниз, как на отпущенных ею рабов. Но на этот раз все было не так. От абхаза исходила какая-то непостижимая притягательная сила. Встречаясь с ним, она подавляла в себе чувства. Может быть, боялась испытать поражение? Нет. Ее отношение к абхазу было сложнее. Астамур привлекал ее, как, пожалуй, никто другой. Однако Цицино ни на минуту не забывала о своей обесчещенной дочери. Порыв нежности к Астамуру в такие минуты переходил в бешенство, и она думала тогда о мести, о мести амазонки. Отомстить за поруганную честь дочери? Но каким образом? Обхватить своими нежными и в то же время хищными руками его шею, унижить его в любви, обессилить, уничтожить! Но осуществлению этой мести что-то препятствовало. Цицино было известно: Меги любит абхаза. Но не только любовь Меги останавливала ее. Она не была уверена, что месть не перейдет в наслаждение. Никогда еще душа Цицино не была так смятена.

Цицино и Астамур начали перешептываться, но слова обоих не соответствовали их чувствам и мыслям. Нау был весь внимание, хотя он почти ничего не понимал. Однако то, что доходило до его слуха, звучало как бессвязные слова любовного стихотворения, и он держал указательный палец на курке.

— Как ярко светит луна! — сказал Астамур.

— Она почти спит глаза, — ответила, улыбаясь, Цицино.

Молчание было бы невыносимым для мужчины, если бы не чарующая улыбка женщины.

— Как поживает Меги? — спросил наконец абхаз.

— От нее нельзя добиться ни слова, — сказала Цицино и приблизилась к Астамуру. Ее горячее, благоухающее дыхание обдало его, и легкое волнение овладело им.

— Я сгораю от любви... Я люблю... — пробормотал он.

— Правда? — спросила она многозначительно.

Астамур смутился и умолк. Слова были излишни. Живой, трепещущий мост появился между обоими, и слова лишь разрушали его.

— А если я люблю? — спросила вдруг Цицино голосом незнакомой женщины. Астамур побледнел. Нау больно укусил себя в левую руку: последние слова Цицино он расслышал отчетливо.

— Кого? — спросил абхаз после небольшой паузы.

— Вас... тебя... — ответила Цицино.

Эти слова не дошли до слуха Нау, ибо произнесены они были чуть приоткрытыми устами. Лишь теперь Астамур взглянул на эти уста.

— Меня? — спросил он удивленно.

— Да, тебя, — сказала Цицино и снова улыбнулась.

Нау не расслышал и этот шепот. Он еще сильнее укусил себя в руку.

Абхаз взглянул женщине в лицо. Его взгляд скользнул по темной сини ее больших глаз: они горели, как два камня фиалкового цвета. Он ощутил натиск таинственных токов, способных вырвать человека из самого себя. Астамур упал перед Цицино на колени, целуя ее ноги. Она медленно опустила свои пальцы в его волосы. Неистовая страсть охватила абхаза. Он целовал ее колени, бормоча бессвязные слова.

Нау держал указательный палец наготове. Нажать на курок? Но тогда он потеряет ее навсегда. Как часто он сидел здесь, в дупле этого дерева, скорчившись, с ружьем в руках. Как часто он был готов убить любовника, которому отдавалась Цицино. И все же он ни разу не нашел в себе мужества исполнить свое намерение. Каждый раз, на рассвете, он принимал решение в следующий раз непременно убить ее избранника. Но в следующий раз повторялось тоже самое. В своем страдании он поддерживал себя мыслью, что эта женщина хоть в какой-то мере будет принадлежать ему, и к страданию примешивалось предвкушение блаженства. С приглушен-

ной болью всматривался Нау в Цицино. Он так затаил дыхание, что малейший перебой сердцебиения взорвал бы его. Абхаз потерял всякую власть над собой. Совершенно забывшись, он гладил колени и бедра женщины, издавая глухие звуки наслаждения. Цицино уже не улыбалась. Она чувствовала, как в ее теле поднималась горячая, сладостная волна. Еще миг, и она, как и Астамур, оказалась бы во власти безумия. И вдруг ее взор, уже начавший было затуманиваться, воспринял вблизи два горящих угля. Она вздрогнула: не были ли это глаза Меги? Горячая волна отхлынула и женщина пришла в себя. Абхаз еще был в чаду упоения: он ползал в ногах у нее, целовал ее, бормоча что-то, раздувшимися ноздрями втягивал в себя аромат ее колен. Вдруг женщина отступила от мужчины и сказала с презрением:

— Ползай, ползай... Любви моей дочери ты недостойн...

Уже в следующее мгновение Цицино осознала, что слова эти были произнесены слишком громко. Может быть, ей хотелось, чтобы их услышали там, откуда только что сверкнули чьи-то глаза? Но если бы кто-нибудь стал ей это доказывать, она решительно отвергла бы это. Цицино неестественно громко рассмеялась. Как бы протрезвев, абхаз стремительно вскочил на ноги. От выражения нежности и блаженства на лице женщины не осталось и следа. Цицино стояла перед ним, как разъяренная амазонка, желанная и страшная — он вдруг увидел перед собой врага. Ему хотелось всадить кинжал в грудь этой женщины, но обессиленная рука осталась на эфесе. Астамур уже не сомневался, что был околдован чарами мегрелки. Победенный, униженный, раздавленный, он чуть ли не ползком удалялся от нее. Цицино улыбалась. Никакой любовный восторг не доставил бы ей такого наслаждения... Словно вакханка, только что одолевшая свою мужскую жертву, но только еще страшнее и обольстительнее, стояла Цицино перед Астамуром...

Слова, произнесенные Цицино, вывели Нау из оцепенения. Лежавший на курке указательный палец мог наконец расслабиться. Восторженная радость, в которой еще была приглушенная боль, готова была вот-вот разорвать одержимый смертельной страстью комок плоти. Нау еще раз укусил себя в левую руку — теперь уже от бешеного, животного восторга. Он медленно выполз из дупла дерева... Словно тусклый опал, сияла луна. Вдали послышался лай собак. На склонах гор горели костры. В ночной тиши перекликались пастухи, мычали коровы, блеснули овцы... Нау вылез из темной норы на широкий простор. Его душа благословила каждый листочек, каждую травинку. Указательный палец нажал наконец на спусковой крючок, и горячая пуля полетела в голубое небо, как первый поцелуй...

Цицино оглянулась и увидела своего раба. Она заметила его окровавленную руку и все поняла. Она подозвала его. Нау дрожал. «Я все знаю...» — сказала ему госпожа, улыбаясь. Поглощая эту улыбку, как подачку, раб думал с тревогой о том, что она означала. В эту ночь Цицино снова одарила его любовью. Нау принял и эту подачку в экстазе, свойственном богу животных.

ВО ВЛАСТИ ЧАР

В облике Астамура было что-то от мамлюка. Это впечатление еще больше усиливалось, когда он сидел в седле. В его теле была гибкость хищного зверя. Но мегрельская земля высасывала из него силы. Меги стремительно вошла в его сердце, наполнив его до краев. Он любил ее — в этом он не сомневался. Но он не знал, как девушка относилась к его любви. Может быть, она совсем отвернулась от него после того, что произошло между ними? И все же в его душе еще теплилась надежда, подогретая тонкими намеками матери Меги. И вот теперь это приключение с Цицино. Оно совершенно уничтожило его. Цицино взбудоражила его кровь. Это произошло, правда, в минуту слабости, которая быстро прошла, но его чувство к Меги так или иначе было осквернено, да и сам он был навсегда посрамлен. Цицино заклеила его насмешкой амазонки. Как мужчина, он был опозорен, его достоинство поколеблено. Астамур потерял веру в себя, в свои силы.

Конь его первым ощутил это: он заупрямился и перестал подчиняться хозяину. Нервы Астамура начали сдавать. Его мать с трудом узнавала своего сына — так он переменялся в последнее время. Почти всегда он возвращался из Мегрелии усталым и обессиленным.

«Это все колдовские чары самой мегрельской земли», — думала мать и заклинала

сына не ездить туда больше. «Тамошняя земля околдовывает людей», — говорила она ему часто. И в самом деле: он чувствовал себя во власти какого-то волшебства. Но в этом волшебстве было наслаждение и соблазн, и поэтому он, несмотря ни на что, часто приезжал в Мегрелию. И лишь после встречи с Цицино, когда его мужскому достоинству была нанесена смертельная рана, он решил забыть дорогу в Мегрелию. Мать обрадовалась такому решению.

Астамур начал постепенно забывать о своих приключениях в Мегрелии. Превращенная сила и уверенность вернулись к нему. Мамлюк торжествовал; мать же ликовала еще больше. Чары рассеялись. Он снова стал встречаться с друзьями, выезжать верхом, охотиться, пировать. Образ Меги потускнел в его памяти, встреча с Цицино была почти забыта. Будто сновидение, исчезающее от малейшего соприкосновения с действительностью, остались в глубинах его подсознания картины Мегрелии. Однако мгновения эти приносили с собой блаженство, доходившее до боли. В такие минуты на него находила глубокая тоска, особенно, когда он стоял на берегу моря. Это ничем не измеримое, неделимое чудовище стирало все образы с поверхности его сознания, оставляя лишь один-единственный. Астамур боялся моря, его влекло на берег. Однажды один из его друзей подарил ему сокола. Он был точь-в-точь такой же белый, как тот, с которым он в прошлом году поехал в Мегрелию. Астамур осторожно погладил шею гордой птицы — и вдруг его сердце пронзила острая боль. Хотя у сокола и не было полоски в виде полумесяца вокруг шеи, но в остальном он был поразительно похож на того. Мамлюк загрустил. Сокол бросил на него человеческий взгляд, и из бездонной глубины хищных глаз вдруг почти осязаемо сверкнул луч, лишь однажды вспыхивающий в жизни человека сквозь темный шелестящий покров вечности. Астамур вздрогнул: во взгляде сокола на миг мелькнул взор мегрельской девушки. Горячая волна нежности захлестнула его сердце, и он понял: чары не рассеялись, колдовство не исчезло. К большому огорчению матери он на следующее утро в мрачном настроении поспешно оседлал своего коня. Мать, конечно, догадалась, что он собрался в Мегрелию.

Едва перейдя шумную Кодори и достигнув мегрельских полей, он осознал вдруг раз и навсегда, что никакая земная сила не в состоянии избавить его от этого затаенно-блаженного чувства. Сразу же по прибытии в замок княгини он открылся Джвебе, который посоветовал ему встретиться с Меги. Джвебе узнал, что она никуда не выходит, если не считать коротких прогулок недалеко от дома, и никого не принимает. Верховую езду совсем оставила.

С этого дня Джвебе чаще стал бывать у Бучу. Он был уверен, что лишь от нее узнает, как и где можно увидеть Меги. Он старался войти в доверие к Бучу и как бы между прочим иногда спрашивал о Меги. Бучу только улыбалась в ответ. Лишь однажды она с понимающей улыбкой ответила Джвебе вопросом на его очередной вопрос:

— А что, разве абхаз вернулся?

— Возможно... — ответил Джвебе тоже с улыбкой.

И вот наконец Бучу сказала ему, что завтра к вечеру она ждет у себя Меги.

На следующий день, на закате, Астамур стоял под деревом у проселочной дороги и ждал. На этот раз он был без коня. Тянулись тягостные минуты ожидания, полные мрачных мыслей. Ему казалось, что он не выдержит нервного напряжения. Когда наконец показалась девушка, Астамур был совершенно обессилен. Лица Меги абхаз не мог рассмотреть, но он видел лишь ее одну...

Меги шла с опущенной головой. На ней было просторное платье, скрывавшее ее подозрительную полноту, на плечи накинута длинная шелковая шаль желтого цвета, складки которой еще больше скрывали ее фигуру. Голова была повязана белым платком, концы которого вплетены в косы. Она шла медленно, плавно, но не только потому, что несла ребенка, а потому, что ее занимало и смущало что-то другое. Меги не могла забыть ту злополучную ночь, когда она стала невольной свидетельницей свидания матери с абхазом.

Невольной, ибо ей никогда и в голову не пришло бы хоть в чем-то заподозрить боготворимую ею мать. Цицино была для нее олицетворением небесной лазури, красоты, чистоты, непорочности. Меги не замечала и ее эпизодической близости с Нау. Она, правда, иногда перехватывала взгляд Нау, исполненный звериной нежности и скользивший по телу Цицино, но воспринимала это как выражение

преданности слуги, примерно так, как выражает преданность своему хозяину собака или раб. Но в ту ночь мысли в голове у Меги совершенно смешались. Она вышла из дому, чтобы помечтать при свете луны. Темнота не пугала ее. От матери она унаследовала бесстрашие, которое Цицино, в свою очередь, впитала с молоком Меники. Меги часто выходила из дому ночью, давая укутать себя невидимым, мягким покровом, испытывая при этом физическое наслаждение... И вот теперь она вдруг вспомнила бессвязные заверения абхаза в любви. И к кому они были обращены? К ее матери. Эта безумная мысль сковала все ее тело, а сознание было не в состоянии воспринять весь ужас этой встречи. Она стояла тогда как камень. И «камень» этот мгновенно рассыпался бы на куски, если бы она не услышала последние слова матери, обращенные к абхазу: «Ты недостойн любви моей дочери!» Лишь после этих слов к ней вернулось сознание, хотя уже и помутненное. После этого мать остерегалась говорить с Меги о свидании с абхазом. Она ждала, что дочь сама заговорит с ней об этом. Но Меги молчала. Может быть, из страха узнать правду. Цицино же думала: «Или она ничего не слышала тогда, или же те мои слова ее успокоили». Меги молчала. Так прошло несколько месяцев...

Меги шла медленно и вдруг увидела абхаза. Она испугалась, как разбуженная сомнамбула, и остановилась на несколько мгновений. Первым ее желанием было повернуть назад, но она не решилась и пошла вперед, едва заметно ускоряя шаг, краснея, понунив голову. Ее руки непроизвольно гладили складки шали. Тело ее ощущало стыд. Но когда она приблизилась к Астамуру, в ней впервые проснулись материнские чувства: она видела перед собой отца своего ребенка, которого она носила под сердцем, и стыд уступил место радости.

Астамур дрожал. Он сразу же заметил полноту Меги. Цицино ведь намекала ему об этом несколько раз. Он обрадовался ей и закричал:

— Меги!

Девушка подняла голову. В зове абхаза она почувствовала и радость, и отчаяние. Он начал лихорадочно говорить, задыхаясь от возбуждения.

— Ты — мое пламя, ты душишь меня!

Дрожь прошла по телу Меги. Она вскинула голову, взглянула абхазу в глаза. Астамур потупил взор.

— Так же вы клялись моей матерью!

Эти слова, будто молния, сверкнули перед абхазом. Целый рой мыслей зашевелился в его мозгу, и среди них одна, которая, какой бы безрассудной и легкой она ни была, казалась ему спасительной соломинкой.

— Да, я клялся Цицино... — вымолил он наконец. — Но лишь из любви к тебе, ради тебя, Меги.

Лицо Меги просияло. Теперь уже слова Астамура были для нее соломинкой.

Но взор абхаза тускнел. Он ничего не видел перед собой. Он недоумевал. Откуда ей это известно? Неужели она выследила, подслушала? Не может быть. Неужели Цицино сама ей это сказала? Невероятно. И вдруг он со всей остротой почувствовал, что уличен во лжи. Из груди его вместо слов вырвался хрип. Силы покидали его. Его тело разрывало на куски, и каждый был подавленным криком.

Взгляд Меги, уловившей неладное, стал беспокойным. Абхаз пробормотал что-то бессвязное. Он и сам уже не верил своим словам. К своему ужасу он почувствовал, что соломинка переломилась.

Девушка ждала... «Что же дальше?» Убийственный вопрос для влюбленного, силы которого на исходе. Теперь сломалась и соломинка Меги. Она почувствовала неискренность слов Астамура. Она еще стояла в ожидании чего-то... Если бы Астамур, одержимый страстью, бросился к ней и унес ее на руках далеко, как знать, быть может, она против своей воли, как в дурмане, полетела бы с ним хоть на край света. Но теперь.... Девушка заметила его слабость, его смятение и удалилась. Абхаз стоял уничтоженный. Впервые в своей жизни он плакал.

ПОДКИДЫШ

В душе Меги зрела восемнадцатая весна. Она всем телом ощущала, что наливаясь, как плод. Она сама была плодом, погруженным в свой внутренний рост. Она подставляла себя весенним лучам солнца, радуясь ему, как радуется созревающая гроздь винограда. Блаженство разливалось по ее молодому телу. Но временами она

физически ощущала ничем не истребимое пятно позора. Лишь Цицино и Меники были посвящены в ее тайну. Догадался ли Астамур об этом, они не знали. Когда опытный взгляд няни или матери ощупывал ее тело под широкими складками платья, она смущалась и краснела от стыда. Цицино и Меники старались сдерживать любопытство и не смотреть лишний раз на Меги. В доме воцарилось молчание. Мать и няня почти не говорили между собой. От Меги нельзя было добиться ни слова. Она являла собой плод, несущий в себе другой плод.

Последняя встреча с Астамуром вызвала в девушке смятение. В душе образовалась пустота. То, что постоянно, глухо терзало ее — встреча матери с Астамуром, — становилось для нее с каждым днем все таинственнее. Она не решалась спросить мать об этом. Она знала, что своим вопросом убила бы любовь в сердце матери, да, пожалуй, и в себе самой. Меги, как могла, скрывала свое замешательство. Иногда она выдавала себя взглядом, непроизвольно брошенным на мать. Это случалось в те минуты, когда она позировала Вато. От Цицино не ускользал этот взгляд, но она приписывала его беременности дочери и тут же успокаивалась.

Меги привыкла к одиночеству. С подругами она уже не встречалась, совсем перестала выезжать верхом, совершая лишь прогулки, во время которых вдыхала аромат трав и влажной земли. Она часто приходила к источнику и смотрела на его чистую гладь, отражавшую светлую лазурь неба. По поверхности воды скользили тени от листьев. Девушка наслаждалась прозрачностью ничем не замутненного источника, созерцание которого одновременно пробуждало в ней и печаль: ведь сама она была уже не той, что раньше. И она отводила взгляд...

Так было и сегодня. Был март. Так сильно запахло весной, что казалось, будто она вот-вот поглотит или задушит девушку — свой собственный плод. Меги вспомнила прошлогоднюю весну. Тогда все было иначе! А может быть, это не весна, а она сама так изменилась? Ей стало не по себе. Если бы она в эту минуту могла заглянуть в свои собственные глаза, то с ужасом увидела, что они навсегда утратили былую лучезарность. Девушка думала о встреченных ею тогда всадниках, особенно о том, у которого на руке был белый сокол. Как близко и как далеко это было! Как радостно было тогда на душе и как мрачно теперь! Яркие лучи солнца причиняли боль глазам. Она чувствовала себя раненой, и рана эта была открыта. Вдруг Меги вздрогнула и насторожилась. Раздался топот копыт. Она отскочила в сторону и спряталась в кустах. Тогда, купаясь в источнике, она не спряталась при появлении всадников, хотя и испытывала девичий стыд. Может быть, это те же самые всадники? Девушка с трепетом прислушалась. Всадники приблизились, и она не поверила своим глазам: это оказались Джвебе и Астамур! Не привидения ли это? А, может быть, ей это приснилось? Меги замерла в кустах, наблюдая за приближающимися мужчинами. На этот раз ни у одного из них не было сокола. Как и тогда, они подъехали к роднику. Они весело смеялись, шутили. Их кони пили прозрачную воду. Меги слышала каждый звук.

— Ты помнишь? — спросил Джвебе друга.

— Что? — спросил в ответ абхаз.

— Девушку... Меги... Здесь...

— Помню, конечно...

Джвебе лукаво улыбнулся и медленно произнес:

— Ты, наверно, уж думаешь о другой?

— А разве в Абхазии или Мегрелии мало красивых девушек?

— Ах, так...

Меги вся напряглась, превратившись в трепещущий, оголенный нерв.

— А ты что думал?

Астамур дерзко рассмеялся, произнеся эти слова. Ему хотелось похвастаться перед другом. Он, конечно, чувствовал, что лгал, но демон тщеславия сильнее человека, особенно в тех случаях, когда дело касается женщин. Он не знал, что слова воздействуют на атмосферу. А здесь атмосферой была Меги. И как только абхаз произнес последние слова, Меги ощутила себя разорванной на куски. И когда эти куски постепенно снова соединились в единое тело, всадники уже усаkali.

Вечером у Меги начались родовые схватки. Цицино не находила себе места. Меники посчитала месяцы и очень удивилась, что не хватало одного. Она предположила, что роды будут преждевременными, и сделала на всякий случай необ-

ходимые приготовления, ибо была сведущей и в акушерстве. Вато находился в Гурии, и поэтому в доме остались лишь женщины. Нау пока ничего не знал, но слабому полу нужна была его помощь, и Цицино доверила ему тайну дочери, так как была уверена, что может во всем положиться на него. Меги без единого крика терпела боли. Она полностью покорилась судьбе. В полночь роды закончились. К великому разочарованию Меники родился мальчик. Цицино тем временем успела обстоятельно поразмыслить о происшедшем и с помощью Нау беспрепятственно осуществить свой план. За полночь у калитки послышался плач грудного ребенка. Слуги проснулись. Кто-то из них вышел из дому и принес младенца. Все решили, что это подкидыш, и ребенок был отдан жене одного из слуг для кормления. Цицино была рада, что дочь разрешилась от бремени. Меники же не могла смириться с тем, что родился мальчик, а не девочка. Мысли обеих женщин были заняты новорожденным. Только одна Меги не думала о своем дитяте, ибо не питала к нему никаких материнских чувств. Ей казалось, будто что-то инородное и случайное, бог весть каким образом оказавшееся в ее теле, теперь оставило его. Она чувствовала, что не родила, а как бы извергла его. Поэтому бедное дитя и для нее было подкидышем.

ТРИ УДАРА

Меги снова позировала художнику под тем же деревом. Солнце палило уже не так нещадно, и приятное тепло растекалось по телу девушки. Теперь ей не казалось, будто Вато намеревается лишить ее чего-то сокровенного. После родов ее нрав смягчился, она стала радоваться краскам полотна. Весна плыла по лику земли, пьянея от бутонов и почек. Художник глубоко чувствовал дышащее блаженство полей. Он был счастлив, что на его полотне появляется родственное всему тому, что расцветало вокруг. Меги сидела молча, глаза источали тихую грусть. Художник перевел взгляд с девушки на портрет, затем с портрета на девушку. Его кисть на мгновение остановилась. Нет, это еще не все, что нужно. Он ждал последнего мазка.

Неподалеку Нау расправлял ветви дуба. Он пригибал их к земле и привязывал к кольям, вбитым в землю на одинаковом расстоянии. Нау вторгался в естественный рост дуба, желая получить от дерева равномерную тень. Он засучил рукава, обнажив сильные, мускулистые руки. При этом обнаружились вытатуированные на них женские фигуры, обвитые змеями. Нау обычно старался не оголять руки, но на этот раз увлекся работой и забыл об осторожности. Он заметил, что художник удивленно поглядывает на его татуировку, и, пристыженный, работал, как одержимый.

— Что у тебя на руках? — спросил вдруг Вато.

Нау повернул к нему лицо и пробормотал что-то невнятное. Десятилетним мальчиком его продали в Турцию в рабство. Там его звали Османом. Мальчик жил в богатой семье, тосковал по родине, страдал и мечтал о побеге. В пятнадцать лет ему удалось бежать. Он прибыл в Ризе, где какой-то лаз взял его к себе. Осман стал паромщиком. Через три года он приплыл к колхидским берегам. Плавая по морям, он встречался со многими матросами, в подражание им сделал себе на руках татуировку. Вопрос художника пробудил в его душе воспоминания о безрадостном прошлом.

— Мир тебе, Нау! — раздался вдруг резкий старческий голос. Это был Уту, тихо подошедший к нему. Нау прервал работу и повел заклинателя в конюшню.

— Где больная лошадь? — спросил Уту.

— Здесь... Ты что, не видишь? — ответил Нау.

Старик приблизился.

— Надо вывести ее, — сказал он.

Лошадь вывели. То, что от нее осталось, был жалкий, призрачный скелет. Глаза гнома, словно поблекшие осы, стали вдруг пронизательными и жгучими. Сначала Уту открыл пасть лошади. Он увидел желтые, гнилые зубы, оттянул уши животного и для чего-то заглянул в ушные раковины. После этого он тщательно осмотрел копыта. Шкура на бабках пообтерлась, и они были теперь покрыты лишаями. Старик поводит исхудалый скелет туда и сюда.

— Она околеет, — сказал он негромко.

Слово «околеет», будто капля яда, проникло в уши Нау. Он отвернулся и снова принялся за свою работу. Художник тоже услышал это слово и насторожился. Он

знал, что Уту по всей Мегрелии слыл за безбожника, и мерзкое слово «околеет» подтверждало это.

— Почему «околеет»? — возмутился он. — Скажи: она умрет...

Гном обернулся. Взгляд его блеклых глаз стал злым.

— Как будто это не одно и то же, — ответил он. — Околеет или умрет... В этом нет никакой разницы. — И после короткой паузы он со злостью добавил: — Околеет... Все околеют... И ты околеешь, и я, и этот болван Нау, и Цицино...

Старик явно разошелся. Видно, он уже не мог остановиться. Нау изо всех сил потянул за большой сук — ведь он был очень силен — и, сломав его, упал вместе с ним на землю. Будто молния ударила в него, и на миг он, казалось, сам стал молнией. Молния ломала сук, и сам Нау был теперь этим сломанным сукон. Никогда еще он не думал о смерти, как не умел о ней думать зверь. Разве может тигр, совершающий прыжок с высокой скалы, верить в смерть? Но после слов Уту мысль о смерти острой стрелой вонзилась в душу Нау. Если бы гном остановился, упомянув его имя! Хотя бы он не произнес имени боготворимой им Цицино! Тогда молния не ударила бы в Нау. Но Нау уже не был в состоянии думать. Он наконец поднялся, подавленный, уничтоженный. Уту засмеялся, показав желтые, стертые до челюстей зубы. Вато тоже смеялся, и даже улыбка Меги перешла в смехок.

— Ах ты болван... — весело произнес старик. Нау было не до смеха. Мрачный, он снова повернулся лицом к дереву.

— Значит, все околеют в конце концов? — спросил еще раз художник.

— Да, конечно, все околеют, все кончится...

— И ничего не останется?

— Не останется, ничего не останется... — отвечивал Уту. Он говорил о смерти как о чем-то обычном, повседневном. Однако после небольшой паузы задумчиво произнес:

— Впрочем, мир не околеет. Все околеет, но мир останется.

— А почему же мир не околеет?

— А бес его знает... — сказал гном и снова повеселел.

Меги слушала их разговор с напряженным вниманием.

— А все-таки, как ты это объяснишь? — настаивал художник.

Уту задумался и начал говорить. Казалось, что кто-то другой говорил в нем.

— Все отдельное проходит, но целое — мир — будет жить!

Так говорил Уту. Художник с удивлением слушал его бессвязную, путаную речь. Старик продолжал бормотать:

— Лист увядает, а на его месте появляется новый... Я околею, и черви съедят меня. Может быть, я стану червем... И червь будет радоваться солнцу... Так все устроено... так мне кажется.

— Червь будет радоваться солнцу?... Но тебя ведь уже не будет... Ты ведь не увидишь солнца... — настаивал художник.

Старик теперь уже отвечал с возбуждением:

— А разве не все равно, кто будет радоваться солнцу? Буду ли это я или это будет червь... Важно лишь то, что кто-то вообще будет радоваться... А это будет всегда...

— Но вспомнит ли червь о том, что он когда-то был Уту?

— Я вижу, ты настаиваешь на своем, — ответил ему старик, улыбаясь, — ведь это не так уж и важно... А впрочем, почему бы червю и не вспомнить... Ха-ха-ха!.. Мне иногда кажется, что я сам был раньше кем-то другим, например, лохматым псом. Ха-ха-ха!..

Художник задумался. «Может быть, — думал он, — старик говорит правду, может быть, и в самом деле вечно лишь целое — вселенная, — а мы мгновения, отдельные удары ее пульса?..» Его вдруг осенило. Он представил себе «эйдолон». Может быть, «эйдолон» и есть мгновение вечности, всего лишь миг Божественного? Он взглянул на картину и вздрогнул: а что, если эта картина — лик Безымянного, один из его образов, появляющихся и исчезающих в мгновение ока? А самое глубокое стремление художников направлено на то, чтобы воплотить этот образ в своей первозданности? Художник испугался своей мысли. Она показалась ему слишком смелой.

И тут снова раздался смех старика, продолжавшего возиться с больной лошадей.

— А ты, Меги, знаешь, что тот абхаз — как бишь его зовут? Кажется, Астамур,— ухаживает за Хатуной Дидия? Бучу сказала мне об этом.

Это был еще один удар. Меги побледнела и насупила брови. Художнику показалось, будто портрет содрогнулся. Он испугался еще больше.

Старик весело хохотал.

ХАТУНА ДИДИЯ

Рано утром во двор к «амазонкам» вошел нищий. В Мегрелии любой прохожий — желанный гость. Нищий хромал на левую ногу. Голова и лицо его были повязаны рваным платком, из-под которого выглядывал один глаз. Неуверенно, словно остерегаясь чего-то, направился он к домику прислуги. Женщина средних лет отворила дверь, держа на руках трехмесячного ребенка. Завидев нищего, она вернулась в людскую и скоро снова появилась, неся деревянную тарелку с кусками остывшей мамалыги. Она дала нищему тарелку. Он взял ее и, усевшись под деревом, стал есть без видимого аппетита. Ребенок спал.

— Ты откуда родом? — спросила женщина.

— Из Нижней Имерети,— ответил нищий.

У него был хриплый голос, и говорил он с трудом. Незакрытым, правым глазом он внимательно разглядывал младенца.

— Это твой ребенок? — спросил он.

— Нет, это найденыш,— ответила женщина, глядя детскую головку.

— Мальчик?

— Да.

Женщина плюнула три раза в сторону. Она боялась, что не в меру любопытный нищий сглазит ребенка.

Нищий перестал есть. В правой руке он еще держал кусок мамалыги. Зрячим глазом он, казалось, вот-вот поглотит младенца. Тут послышались шаги со стороны балкона. Нищий оглянулся и увидел направлявшуюся к ним празднично одетую Меги. Он прислушался к шагам девушки и, когда она подошла, приветствовал ее глухим голосом. Меги что-то пробормотала ему в ответ и подошла к кормилице.

— Он кашлял сегодня ночью?

— Немного,— ответила кормилица.

Нищий внимательно наблюдал за Меги. Ему показалось, что она справилась о ребенке как бы между прочим, как спрашивают о какой-нибудь собачке.

— Милое дитя,— сказал нищий тихо.

— Собачье отродье! — сорвалось с губ девушки.

— Как ты красива и как сердита!

Меги оглянулась. Что-то в этом хриплом голосе заставило ее насторожиться. Она строго взглянула на нищего. В эту минуту она и в самом деле была и красивой, и сердитой.

Меги пошла к Бучу. Имя Хатуны Дидия не выходило у нее из головы. Кто она? Красива ли? Где и как можно увидеть ее? Эти вопросы терзали Меги. Она знала лишь то, что Хатуна жила в соседней деревне. Сегодня воскресенье, и она, вероятно, будет в церкви,— подумала девушка. Когда Меги вошла в двор Одишария, Бучу поспешила ей навстречу, и подруги приветствовали друг друга.

— Ты для кого так вырядилась? — спросила Бучу.

— Пойдем со мной в соседнюю деревню в церковь.— И Меги назвала деревню.

— А почему не в нашу церковь? — спросила подруга.

— Ах, знаешь,— смутилась Меги,— там, наверное, веселее, чем у нас, здесь ведь все знают друг друга.

Однако по лицу Меги Бучу поняла, что дело здесь было далеко не в веселье. Она вдруг непроизвольно подумала о Хатуне Дидия. Меги захотелось увидеть свою соперницу, которую она надеялась встретить в церкви. Едва заметно улыбнувшись, Бучу взглянула на Меги. Но Меги молчала. «А что, если я сейчас заведу разговор о Хатуне?» — подумала Бучу, но не решилась.

— Ну что ж, пойдем,— сказала она и пошла одеваться.

По дороге в церковь они едва перемолвились словом. Каждой хотелось заговорить о Хатуне, но ни у одной не хватило смелости.



— Наверно, Хатуна Дидия будет там,— сказала неожиданно для себя Бучу. Меги промолчала. Она еще больше побледнела, а Бучу покраснела от стыда.

Подруги молча вошли в церковный двор.

Богослужение уже приближалось к концу, когда в церкви показалась стройная девушка. «Хатуна Дидия»,— прошептал кто-то. Взгляд Меги остановился на вошедшей. Бучу почувствовала этот взгляд и сдержанно улыбнулась. Хатуна посмотрела кругом. У нее был тонкий профиль египетской царицы. В черных глазах влажный отблеск счастья. Косы покрыты платком, волосы — по-видимому, черные — не были видны. Легкий пушок лежал на чуть пухлой верхней губе. Правую щеку украшала ямочка. Всем существом своим она, казалось, отражала стальной блеск морской волны.

Меги вздрогнула. Она сразу почувствовала, что ее соперница необычайно красива. Однако это не была зависть, а лишь готовность бросить вызов, ибо впервые она осознала, что и сама красива. Она ощутила свою красоту как нечто существующее отдельно от нее, как ток некой силы, готовой соперничать с силой другой.

Хатуна начала молиться. Меги украдкой наблюдала за своей соперницей. Бучу перехватила взгляд подруги, остановившийся на Хатуне. Она многое прочла в этом взгляде. Глаза Хатуны вдруг утратили влажный блеск. Ямочка исчезла. Выражение счастья испарилось. Стальной отблеск волны потух. Девушка стояла, не шелохнувшись: так глубоко погрузилась она в молитву. Казалось, она никого не замечала вокруг себя. Египетская царица превратилась в сестру Беатриче. Богослужение кончилось. Прихожане стали выходить из церкви. Меги старалась не упустить из виду соперницу. Но как изменилась эта девушка после молитвы! От благоговейной печали красавицы не осталось и следа: она была весела, как прежде. Улыбка озарила ее лицо, обнажив ряд ровных жемчугов, напоминавших зерна молодой кукурузы. Во всем облике Хатуны была победоносная неотразимость.

Никогда до этого момента Меги еще не доводилось почувствовать жала ревности, и Бучу передалось ее состояние. Вдруг во двор церкви въехали молодые всадники. Среди них были Астамур и Джвебе. Меги хотела было укрыться от их взора, но это ей не удалось. Ее теперь гораздо больше занимала соперница, нежели абхаз. Хатуна плавно выступала, словно летела на крыльях сказочной птицы, готовая броситься навстречу возлюбленному. Однако Астамур опередил ее и сам пошел навстречу. Меги увидела на его лице выражение радости и уверенной мужской силы.

Меги стояла сумрачная, абхаз не замечал ее.

— Как тебе понравилась Хатуна Дидия? — спросила Бучу на обратном пути подругу.

— Она красива,— ответила Меги кратко и сухо.

УБИЙСТВО

Цицино не могла понять отношения Меги к своему ребенку. Ей даже казалось, что дочь ее вообще не питает к нему никакого материнского чувства. Она лишь утешала себя тем, что Меги ведь приходилось быть очень сдержанной, ибо никто не должен знать, что она родила. А что все-таки происходило в душе девушки, когда она оставалась наедине со своим младенцем? Меги сама не могла разобраться в этом. Иногда ее всю пронизывала теплая и нежная волна. Но это были всего лишь краткие мгновения, после которых ею вновь овладевало другое чувство — ядовитое и острое, исполненное ненависти и злости. В эти минуты она ощущала в себе жгучее жало позора, воплощенного в ее собственном ребенке. С выражением ужаса отталкивала она от себя свое дитя. О, если бы она могла лишь ненавидеть, ненавидеть смертельной ненавистью!.. Это было бы легче перенести. Но к ненависти примешана любовь, и это было тяжелее всего.

После посещения церкви в соседней деревне в душе Меги окончательно поселились печаль и растерянность. Цицино узнала через Нау, которому она поручила следить за каждым шагом дочери, все подробности этого посещения. Меги все больше замыкалась в себе. Безумно расширенными, невидящими глазами смотрела она в пустоту. Так было и в тот день, когда она держала ребенка у левой груди, и Цицино наблюдала за ней через щель из соседней комнаты. Увидев плачущий,

безумный взгляд Меги, она побледнела. Она вспомнила встречу абхаза с Хатуной Дидия, о которой сообщил ей Нау, и почувствовала жалость к дочери. Цицино вошла в комнату Меги, но та не шевельнулась. Нелегко было матери начинать разговор, но она преодолела себя. Разговор не получался.

Цицино чувствовала, как теряет самообладание, и вдруг с трудом произнесла слова, показавшиеся ей чужими:

— Ты ведь сама во всем виновата...

Меги обернулась.

— Я? Я виновата? В чем?

— ...Он шел тебе навстречу... Но ты...

— Что я?

— Ты не захотела...

Гнетущее молчание.

— Не захотела после той ночи,— с трудом произнесла наконец дочь.

— После какой ночи?

— После вашей встречи.

Снова гнетущее молчание.

— Ты, значит, следила за мной? — гневно спросила мать.

— Нет, я не следила... гуляла и случайно услышала.

— Что ты услышала? — Цицино дрожала от злости. — Он говорил со мной о тебе... Ты что, не слышала?

— Что? — спросила Меги в страхе.

— Мои последние слова.

— Я слышала их.

— Ну и?..

— Ты могла встречаться с ним и в другое время,— неожиданно для себя самой сказала Меги.

— Ты, видно, думаешь, что это было свидание? Эх ты...

Мать не закончила фразу и в ярости вышла из комнаты. Меги сникла. Она не могла простить себе, что не сдержалась и обидела мать. Узы нежной привязанности, соединявшие мать и дочь, были теперь порваны, и непреодолимая пропасть легла между ними... Меги злилась, терзалась, упрекая себя. Вдруг ребенок задел косу матери, свисавшую над его головой. Меги охватила какая-то первобытная ярость. Правой рукой она схватила свою тяжелую косу и с неожиданной для себя дикой ненавистью прижала ею на секунду головку ребенка к своей груди. Младенец вскрикнул от боли, и мать тут же пришла в себя и передала ребенка няне. Он успокоился.

Однако ночью малыш заболел. Утром Меги, узнав об этом, испугалась. Лишь теперь в ней проснулась материнская тревога. Весь день она не находила себе места. Она молила Невидимого, Всемогущего, чтобы он оградил ее дитя от опасности. О, что только она не отдала бы за это! Но если бы она могла заглянуть в себя, то поняла: она боялась не столько самой смерти сына, сколько того, что причиной ее могла быть боль, которую она, мать, причинила ему вчера. Она старалась отогнать от себя эту мысль. Разве не могло дитя заболеть из-за чего-нибудь другого? Но мысль эта терзала Меги весь день. Наступила ночь, но Меги не могла сомкнуть глаз. Она то и дело бегала в людскую, где лежал ребенок, и напряженно, со страхом прислушивалась к его дыханию. Но слышала лишь стук своего собственного, беспокойного сердца. О, хоть бы дитя умерло не сейчас, позже!.. Это было бы не так страшно — Меги вся превратилась в мольбу к Бесконечному.

Ее сын умер на другой день. В агонии он укусил няню в левую грудь, и, хотя у ребенка еще не было зубов, няне было очень больно.

Меги погрузилась в мрачное безмолвие. Лишь Меники не удивлялась смерти ребенка. «Я знаю, что означают эти прожилки под глазами,— говорила она тоном ясновидящей,— с такими прожилками долго не живут, он не был жильцом на этом свете. К тому же он никогда не кричал, а это уже верный знак. Я уверена в этом».

Меги жадно внимала волшебнице. Но еще с большей жадностью слушала, когда Меники говорила:

— Разве ты не знаешь?.. Это были роды на восьмом месяце, а восьмимесячные не выживают.

КОСЫ МЕДЕИ

Ребенка еще не крестили, и поэтому он не мог быть похоронен на кладбище. Было решено предать его земле в поле, в каком-нибудь уединенном месте. Его завернули в полотенце и передали Нау. Нау взял на руки маленькую, страшную ношу и пошел в поле. Там он услышал шаги за спиной. Оглянувшись, он увидел Меги, в тихой печали следовавшую за ним. Они молча пошли вместе. На небольшой поляне ребяташки играли в мяч. Когда Нау и Меги подошли к детям, те прервали игру, и один из мальчиков как бы между прочим сказал, обращаясь к другому:

— Ты знаешь, что у Дидия со вчерашнего дня пируют?

— А что у них?

— Говорят, Хатуну выдают замуж.

— За кого.

— За какого-то абхаза.

— Стало быть, у них свадьба?

— Нет, помолвка.

Мальчик, сообщивший эту весть, украдкой посмотрел в сторону Меги. Кровь ударила ей в голову, и уже хорошо знакомая волна ярости захлестнула ее. Нау и Меги пошли дальше. Меги нарвала полевых цветов, сломала несколько веток цветущей дикой яблони и, взяв у Нау ребенка, положила на него цветы с ветками и завернула все в шаль.

Нау ничего не понимал.

— Ты знаешь, где живет Хатуна Дидия?

— Да,— ответил озадаченный Нау.

— Отнеси ребенка абхазу. Он пирует у Дидия.

Нау взял мертвого ребенка из рук Меги.

— Передай ему ребенка и скажи, что это подарок от меня.

Лишь теперь Нау взглянул девушке в лицо. Ему показалось, что она сошла с ума, но он ничего не сказал ей.

— Свадебный, мол, подарок... от меня... слышишь?

Нау молчал.

— Скажи ему, что я задушила дитя своими косами.

Нау снова взглянул на Меги. Теперь и его взгляд выражал безумие.

— Но ведь это неправда? — прохрипел он.

— Делай, что тебе говорят!.. Иди!..

Меги пошла в другую сторону. Нау постоял еще немного в нерешительности, потом направился к дому Хатуны.

У Дидия и в самом деле был настоящий пир, но не по случаю помолвки. К брату Хатуны пришли Джвебе, абхаз и еще несколько друзей. Абхаз явно ухаживал за Хатуной — это видели все, кто окружал его. Но он не решался просить руки девушки. Окружающие, однако, всегда быстрее принимают решение относительно того или иного человека, нежели он сам, особенно в вопросах, не имеющих к ним никакого отношения. Поэтому и на сей раз все было решено за абхаза и пущен слух, что он берет в жены Хатуну. Слух этот дошел и до его ушей, и он не стал его опровергать. С того момента, когда Астамур услышал, как Меги с презрением назвала своего ребенка «собачьим отродьем» — ибо это он тогда явился к ней, переодевшись в нищего,— его сердце ожесточилось. Он не мог решиться взять в жены Хатуну, что-то удерживало его от этого шага, но он даже и не пытался пресечь распространение слуха о его женитьбе.

Нау вошел в дом и попросил вызвать абхаза, который был уже навеселе. Нау передал ему сверток.

— Подарок от Меги,— сказал он глухо. Услышав имя Меги, абхаз испугался. Аромат свежих цветов и веток был приятен ему, и опьянение его сразу же улетучилось. Вдруг он увидел головку мертвого ребенка.

— Что это? — закричал он в ужасе.

— Подарок от Меги,— робко повторил Нау слова Меги.

— Молчи, подонок! — прикрикнул абхаз на Нау. Он положил сверток в траву. Крик абхаза пробудил дремавшие силы Нау. Твердо, вызывающим тоном он сказал:

— Меги удушила дитя своими косами.

— Подлая шлюха! — крикнул абхаз, и рука его потянулась к рукоятке кинжала. Ярость Нау стала твердой и беспощадной, как сталь. Он был готов к отпору. Абхаз побледнел. Он вдруг пришел в себя и увидел перед собой страшного человека. Он был уверен в эту минуту, что может смертельно ранить своего противника, но так же ясно он сознавал, что смертельно раненный зверь в последнем прыжке задушит и разорвет его на куски. Астамур еще больше побледнел. Рука отпустила эфес, и он прошипел:

— Уйди!

Нау отступил, с трудом сдерживая ярость.

Астамур упал перед маленьким трупом на колени и разрыдался, как ребенок. Он поднял сверток и незаметно покинул двор. Вдруг, вспомнив что-то, он побежал вдогонку за Нау.

— Нау, Нау!.. Стой!.. — крикнул Астамур вослед Нау, который в изумлении остановился.

— Прости меня, Нау, я сгоряча обидел тебя.

В словах абхаза были печаль и доверительность. Нау ничего ему не ответил. Его поразил вид Астамура.

— Почему, почему она это сделала? — спросил он в отчаянии, глядя в пустоту глазами, полными слез. Нау стало жаль его. — Где теперь Меги? — спросил абхаз кротко.

— Она направилась в эту сторону, когда я пошел к тебе, — сказал Нау уже почти дружелюбно. Привязав сверток к ветвям дуба, Астамур решительно зашагал в сторону, указанную ему Нау. Скоро он заметил на поляне Меги. Увидев его, она остановилась.

— Это правда? — крикнул он в бешенстве, идя ей навстречу.

Плотно сжатые губы Меги не размыкались.

— Что ты наделала, безумная? — крикнул он снова.

В глазах Меги и в самом деле мелькнуло безумие.

— Ты ответишь мне наконец?..

Он стал медленно приближаться к девушке. Рука его потянулась к эфесу кинжала. Меги молчала. И вдруг длинный нож блеснул в ее руке.

— Не подходи! — крикнула она угрожающе.

— Это правда? — повторил он свой вопрос, дрожа от ярости. Словно упавший сверху камень, прозвучал ответ:

— Правда.

Ужас искажил лицо абхаза. Рука, наполовину обнажившая кинжал, снова застыла... Взгляд Меги был еще страшнее. И снова он понял, что может сейчас, вот в этот миг смертельно ранить девушку. Но так же ясно он сознавал, что Меги, словно пантера, в ту же секунду нанесет и ему смертельный удар. Меги и в самом деле была похожа на пантеру. Астамур оцепенел, и опять силы оставили его.

Он стоял, будто околдованный, пожирая девушку изумленными глазами. Одета в желтое платье, с белым платком на голове, она казалась ему привидением. Она была страшной в гневе и в то же время прекрасной. Ее глаза пылали огнем, но она молчала.

— Скажи наконец что-нибудь! — умолял ее абхаз.

— Из-за тебя я это сделала.

— Из-за меня?

— Я любила тебя...

Это неожиданное признание было для Астамура, как удар молнии. Он забыл обо всем, что произошло, и бросился перед Меги на колени, целуя, как одержимый, ее ноги. Меги отскочила в сторону. Он не понимал ничего, он стоял перед ней на коленях.

— Иди к своей Хатуне! — произнесла она с презрением.

Астамур продолжал стоять на коленях, как вкопанный, медленно начиная понимать причину бешенства девушки.

— Это неправда, неправда... — пробормотал он растерянно.

Но Меги уже не слушала его. Она резко отвернулась от Астамура, показавшегося ей таким жалким, и действительно уже не любила его в эту минуту. Она вся дрожала от отвращения к коленопреклоненному. Она пошла прочь, мрачная и неприступная, жестокая и страшная. Абхаз еще долго стоял на коленях. Его подбородок дрожал.

Острая боль, будто стрела, насквозь пронзила юную грудь Меги. Она лишь теперь окончательно осознала, что и вправду убила свое дитя. Дрожь сотрясала ее тело, лицо стало еще мрачнее. Она оглянулась, чтобы позвать на помощь отца мертвого ребенка, но его уже не было на месте.

Безучастная ко всему, шла Меги, ничего не видя перед собой. Ее ноги не ощущали под собой землю. Ей казалось, что это была не она, а какая-то другая, незнакомая ей женщина. Даже имя свое она вспомнила лишь с трудом. Словно медуза, плыва она по неведомым волнам. Ее пустой, погасший взор скользил по залитой солнцем равнине. Блики солнца в кроне деревьев ей уже не напоминали, как прежде, светящиеся пятна леопардовой шкуры, а скорее струпы отвратительной сыпи. Меги казалась себе прокаженной, запятанной. Ей хотелось плакать, но слез у нее не было, ей хотелось кричать, но она задыхалась. И все же крик, сдавленный крик был в ее волосах, в ее светлых косах. Волосы терзали девушку, тяжелые, волнистые косы душили ее. Она достала нож и отрезала их.

Как долго сдерживаемый крик вырывается на свободу, так облегченно вздохнула Меги, освободившись от кос. Но она не могла заставить себя бросить их. Будто ставшие плотью лучи солнца, извивались они вокруг кисти ее руки. Они были прекрасны, но печать преступления лежала на них. Рука Меги задрожала: не были ли эти косы она сама, девушка по имени Меги? И она пошла дальше, понурив голову.

Вдруг Меги увидела то дерево, под ветвями которого она тогда промчалась на своей лошади. Она вспомнила себя, ту девушку Меги. Имя «Меги» прозвучало как-то странно и незнакомо. Она подошла к дереву, взглянув на нижний сук, на котором висела прядь ее волос, застрявшая в тот день. Меги вдруг охватил страх. Широко раскрытыми глазами уставилась она на прядь волос. Как близка была смерть от нее в тот день, и почему она не взяла ее? Но ведь сук на месте. Волосы обвились вокруг него. Они манят, они зовут. В смертельный яд превратились мысли. На суку висели концы срезанной веревки. Здесь, наверно, дети качались на качелях. Мозг девушки вдруг окутал густой туман, тело превратилось в крик, тщетно ищущий выхода на свободу. Как дикая кошка, Меги прыгнула на дерево. Она села на сук, сделала петлю из кос и привязала к ней концы веревки, после чего обеими руками взялась за сук, опустила вниз тело и просунула голову в петлю, страстно желая избавиться от самой себя.

Но было бы это избавлением?

Как в звездный час, ее посетило мгновение, в течение которого проходит тысячелетие. Меги вся была зрение, каждая часть ее тела превратилась во взор, направленный внутрь. Этот всепроникающий взор скользил по неведомым, бесконечным просторам. И вдруг она увидела: когда-то, давным-давно жила на свете девушка, задушившая своими собственными косами родное дитя, или ей лишь показалось, что она задушила его? Эта девушка побежала в поле, отрезала мучившие ее косы, подошла к дереву, привязала отрезанные косы к суку, сплела из них петлю, просунула в нее голову... Меги не могла смотреть дальше. Сквозь хаос узнала она в этой девушке себя самое. Рука конвульсивно схватилась за сук... Еще одно мгновение, не менее страшное. Меги смотрит в будущее, в далекие тысячелетия: та девушка снова подходит к дереву, и, как кошмарный сон, повторяется тоже самое, за исключением последнего движения. В ужасе Меги видит: та девушка оглянулась так же, как и она... Страх охватил ее. Еще немного и она отпустила бы сук. И вдруг что-то светлое, словно быстрый солнечный луч, прошло через ее сознание...

Девушка вытянула голову из петли и спрыгнула. Ее ноги вновь ощутили под собой землю. Ужасное рассеялось. Словно проклюнувшийся из скорлупы птенец, вышла Меги из страшных глубин на волю. Она пошла, все дальше удаляясь от того дерева, боясь оглянуться. Ей казалось, что она окаменеет, как жена Лота, если оглянется. Меги еще была полна печали, но печаль ее посветлела. Глаза видели вновь

солнечные крендельки сквозь листву деревьев и уже не было ощущения гноящейся сыпи. Вечер таял в багрянце. Меги взглянула на свою тень: и она удлинилась. Ее шаги были легки, как в царстве теней. На глаза навернулись слезы. Меги плакала. Она оплакивала себя.

УМИРАЮЩАЯ ЖЕМЧУЖИНА

Меги шла через широкое поле. Перед небольшим холмом она остановилась. Подобно расплавленной руде, разливался закат. Девушка посмотрела вдаль: кроваво-красный диск солнца тускнел. А если он погаснет совсем? — подумала она и вздрогнула. Далеко на горизонте, над горами Аджарии, плыли облака, но они казались неподвижными. Пылающий диск солнца посылал им свои огненные лучи. Взгляд Меги впитывал все цвета и оттенки неба: от темного пурпура граната до светло-оранжевого и далее до бледно-желтого и отливающего опалом перламутра. Эти цвета чередовались, чтобы в конце концов превратиться в спокойный матово-белый цвет. Небо очистилось, посветлело, стало почти осязаемым. Словно белые лебеди, чьи головы терялись в бесконечности, пронеслись по небу облака. Но иногда казалось, что они стоят на одном и том же месте. Беззвучная мелодия пространства. Меги вбирала ее в себя всеми порами своего тела. Предел бесконечности. Во вселенной рушились образы и среди них — образ Меги.

Диск солнца погас. Уныние и мрак разлились по Земле. И Меги была сумрачна. Она напоминала умирающую жемчужину. Где та прекрасная незнакомка, на чьей груди она вновь оживет? Меги вдруг вспомнила о своем портрете и ускорила шаги, чтобы увидеть Вато.

Художник в последние дни стал реже показываться в доме амазонок. С каждым днем он становился все нелюдимее. Он построил себе хижину недалеко от дома Цицино, под склоненными, будто зеленый шатер, ветвями старого дуба. В этой хижине он жил и работал, питаясь медом, хурмой и пшеном. Люди избегали его. Работу над портретом он продолжал и уже не сомневался, что закончит ее. Ему казалось, что он подошел к той грани, когда портрет обладает собственной силой, способной дать художнику все необходимые штрихи и цвета, как бы предначертанные свыше. Но порой какая-то мутная волна накатывала на него. Вато любил свое произведение, но он любил и Меги. Он любил ее, может быть, даже еще больше, чем портрет. Страсть подтачивала его, но в глубине души он знал: если желание будет удовлетворено, то погибнет любовь.

В эту минуту, когда он думал о Меги, она вдруг оказалась перед ним. Это был ее первый визит к нему, Вато, немало удививший его.

— Меги, ты?..

Меги молча с мрачным лицом приближалась к нему. Ее взгляд, выражавший безумие и тоску, испугал Вато.

— Что случилось? — спросил он с тревогой в голосе.

— Я пришла посмотреть на картину.

— Это правда? — спросил обрадованный художник. — Идем, идем...

К стене хижины была прислонена лестница. Меги стала подниматься по ней первой. Вато вдруг увидел ее обнаженное колено, похожее на колено Дианы, приготовившейся к прыжку, и почувствовал, что укрошенное пламя в любое мгновение может вырваться на свободу. С затаенным дыханием он волочил свое возбужденное тело, как улитка раковину.

— Вот она!..

Вато сдернул покрывало с мольберта, и перед Меги предстал вдруг в окружении тонких штрихов, передававших вечерние сумерки, чудесный портрет девушки. Портрет изображал ту самую девушку, которую она оплакивала: она стояла среди высокой кукурузы, доходившей до ее плеч. Зеленые, непроницаемые тона местами сгущались, переходя в цвет ляпис-лазури. То было время перед заходом солнца. Колыхалось кукурузное поле, зеленые волны окружали девушку, тянулись к ней, словно к добыче. Тяжелый лист в виде ящерицы прижался к юной груди, то ли лаская ее, то ли в неистовой страсти. В правой руке у девушки был стебель, извивавшийся как бы от боли. Она стояла с гордо поднятой головой, во весь рост, и волнистые волосы ее горели на фоне необозримого изумрудного поля. Благодаря

редкому искусству, которым владеют лишь иранские мастера, тона здесь были смягчены: мерцающий блеск волос напоминал тот не поддающийся точному определению красный цвет дубового листа, который иногда находишь осенью — единственный среди множества опавших листьев. Полуоткрытые глаза — будто влажные египетские изумруды, но увлажнены они не от счастья. В пещере они засветились бы. Их взор парил над всем, и стоило человеку, смотрящему на эту картину, заглянуть в эти глаза, как перед ним исчезало все прочее. Мысль портрета тут же менялась. Кукуруза уже не тянулась к девушке. Твердость линий исчезала, и покой опускался на картину, как ночь опускается на острова южных морей. Но в этом покое было что-то от печали кочевников. Тишина, нарушенная неожиданно вспорхнувшей птицей, — вот что уловила здесь кисть художника. Волшебство исходило от картины, будто сквозь бездонную тишину сочились слеза.

При виде портрета печаль, наполнявшая Меги, немного посветлела. Может быть, умирающий жемчуг еще можно оживить? Вдруг ей стало холодно и страшно.

— Прикрой ее! — приказала она художнику.

— Она прекрасна, не правда ли? — спросил Вато.

— Да, — равнодушно ответила Меги. Но мысли ее были уже далеко.

— Но ты прекраснее... — робко добавил художник.

Меги увидела огонь в его глазах, который не понравился ей. Она чуть вздрогнула, глядя отсутствующим взглядом во двор. Сумерки сгущались. Вато не отрывал взгляда от Меги, но она, казалось, не замечала его. Он, обычно неразговорчивый, говорил теперь много и лихорадочно. Слова его были бессвязны, мысли рассеянны. Однако спокойный взгляд девушки словно не воспринимал его волнения.

Сгущались тени. Вдруг художник вскочил, охваченный дикой страстью... Бледный, дрожа всем телом, тяжело дыша, подошел он к девушке. Меги сидела неподвижно и казалась спокойной. Рукой, горевшей, как пламя, Вато коснулся косынки Меги. В то же мгновение он отдернул руку от косынки, ибо не нашел кос на прежнем месте. Вато оцепенел. Но прикосновение его руки испугало Меги, как если бы ей нанесли неожиданный удар. Ей казалось, будто огонь коснулся ее волос и голова ее запылала. Словно взбешенная менада, вскочила она со стула и выбежала из хижины.

Художник стоял как громом пораженный, ничего не понимая.

ТРЕВОГА

Уже стемнело, а Меги еще не вернулась. На лице Меники в предчувствии недоброго четко обозначились морщины. Цицино помрачнела. Но больше всех волновался Нау. Он не знал, что и подумать, когда Меги приказала ему передать абхазу мертвое дитя и сказать, что она, дескать, убила его. Его мозг был взбудоражен, и дух подавлен. Он, правда, видел, как Меги встретила с абхазом, но не мог сделать никакого вывода из этого. И наконец попытка девушки покончить с собой окончательно сбила его с толку. Неужели она и в самом деле пыталась повеситься? Его звериный инстинкт был не в состоянии постичь это. Когда Меги побежала к дереву, он наблюдал за каждым ее движением. Он видел, как она отрезала свои косы, сделала из них петлю и накинула ее на шею. Он весь превратился в оголенный нерв, боялся пошевелинуться, как прохожий боится позвать сомнамбулу, стоящую на краю пропасти. Но он был весь готовность и знал, что как только девушка отпустит сук, он бросится к ней и перережет петлю. К счастью, этого не случилось, и Нау облегченно вздохнул, когда Меги была уже далеко. Он еще долго стоял на месте, не смея шелохнуться. Когда Меги скрылась из виду, он подошел к дереву, вскарабкался на него, отвязал косы и соскочил на землю. Косы спрятал на груди, они были еще теплыми... Нау пошел домой. Меги он уже не видел. Что могло с ней случиться? — спрашивал себя Нау и не находил ответа. Наконец женщины осмелились спросить его о Меги. Он рассказал им то, что видел, умолчав лишь о случившемся у дерева. Это был первый случай, когда он скрыл что-то от боготворимой им женщины. Ему всегда казалось, что Цицино читает его мысли, и он бледнел и конфузился перед ней. Срезанные косы Меги огнем обжигали грудь. Ему не хотелось еще больше огорчать Цицино и няню. Едва дыша, он прошептал: «Может быть, Меги у Бучу?» Цицино велела ему немедленно разыскать Меги там, и Нау тотчас пошел. Тем временем в доме Цицино появился и Вато. Он рассказал женщинам, что Меги была у него,

вскочила вдруг ни с того ни с сего и убежала. Вато был взволнован, однако заметил, что женщины были встревожены еще больше. Желая хоть как-нибудь объяснить Цицино и Меники исчезновение Меги, он сообщил им, что она отрезала свои косы. «Отрезала косы?» По лицам женщин пробежала дрожь. Нау вернулся через полчаса, но он не мог сообщить ничего утешительного. Бучу сказала ему, что Меги, зашла к ней на несколько минут, попросила нитку и кусок материи и тут же ушла. «Нитку и кусок материи? Что это значит?» Может быть, она хотела переодеться? — спросила Меники тихим голосом.

— Зачем? — так же тихо ответила ей Цицино.

Молчание. Цицино подозвала Нау и вместе с ним вышла на балкон. Она приказала ему оседлать коня и поспешить к Хатуне Дидия. Не исключено, что Меги пошла туда, чтобы встретиться там с абхазом. Нау поскакал к дому Дидия. Меги не оказалось и там. Не застал он у Хатуны и абхаза. Цицино не могла совладать с собой.

— Немедленно скачи к княгине, найди там Джвебе и узнай у него все, что ему известно о Меги. И чтобы к утру ты был здесь! — крикнула она.

Нау поехал в Зугдиди. Была темная ночь. Но глаза Нау, как и глаза его коня, видели во тьме. Было уже за полночь, когда он въехал в княжеский двор. Ему удалось разбудить нескольких слуг, с которыми он был в приятельских отношениях. Они сообщили Нау, что Джвебе проводил княгиню в Горди, где была ее летняя резиденция.

— А где Астамур? — спросил Нау.

— Астамур, — ответили слуги, — уже несколько дней не показывался здесь.

В эту ночь ни Цицино, ни Меники, ни Вато не спали. Рано утром Нау вернулся усталый и взбудораженный. Весть об отъезде княгини повергла всех в крайнее изумление. Как? Сейчас, осенью, она отправилась в летнюю резиденцию? Ведь уже был октябрь. Цицино всем сердцем, сердцем матери почувствовала что-то неладное. Ведь в это время шла Крымская война, и вся Мегрелия со страхом ждала вторжения турецких войск. Редут-Кале уже пал.

Может быть, абхаз вернулся на свою родину? И Меги уехала с ним? Мозг Цицино лихорадочно работал. Она не могла в такую минуту сидеть сложа руки. Оседлать коней! Помчаться за ними! Лошади скоро были готовы, и Цицино в сопровождении Нау отправилась в путь. Однако, не доезжая Кодори, им пришлось остановиться и повернуть обратно.

ВТОРЖЕНИЕ ТУРОК

Это было 25 октября 1855 года. Омер-паша во главе тридцатитысячного корпуса появился на берегах Ингури, имея целью отвлечь внимание русских от блокады Карса. Мегрельская часть Грузии была в особых отношениях с Россией. В 1803 году был заключен договор, содержащий следующие пункты: жизнь и свобода подданных мегрельского правителя теперь были в распоряжении русского царя; в решении же внутренних вопросов Мегрелия сохраняла автономию. Таким образом, территория, подвластная мегрельскому правителю, находилась с момента подписания договора под покровительством русской армии. Этот договор Омер-паша использовал в качестве повода, чтобы рассматривать Мегрелию как часть Российской империи. Он пересек Кохи и Кахати, разбил русских, выступивших против него, занял Зугдиди и продвинулся до берегов Цхенис-Цкали (Гипос — у древних). Владетельница Мегрелии бежала из летней резиденции, укрывшись со своими детьми в горном, неприступном Лечхуми. Все эти события разыгрались в течение нескольких дней.

В Мегрелии царило волнение, и Цицино в отчаянии следила за ходом событий. За корпусом Омер-паши следовали пестрые, наскоро собранные банды из абхазов, цебельдов, убыхов и других горских народностей, присоединившихся к Турции. Они нагоняли страх на всю округу от Зугдиди до Онтопо. Они мародерствовали и похищали детей. Цицино не находила себе места. Правда, Омер-паша кое-что предпринимал для предотвращения грабежей и насилий. Но он, конечно, не был в состоянии предусмотреть каждый отдельный случай. Даже некоторые мегрельские феодалы следовали примеру мародеров; они вспомнили о своих давным-давно всеми забытых феодальных правах и стали продавать оттоманам мальчиков и девочек.



Цицино носилась от одного места к другому, словно обезумевшая пантера. До нее дошел слух, что сам Омер-паша приобрел таким образом одалиску необычайной красоты. А что если Меги вправду попала к туркам? При этой мысли Цицино охватила ярость, напоминавшая ярость лошади, раненной на полном скаку. Она решила поехать к княгине в Лечхуми, чтобы с ее помощью добиться аудиенции у Омера. Нау она взяла с собой. Княгиня с семьей находилась в Мури в сорока верстах от Горди. Это было почти неприступное место: ущелья и пропасти, по краям которых тянутся головокружительные тропки, а внизу текут бурные реки, образующие во многих местах водоемы и пороги, над ущельями были подвешены мосты из длинных виноградных лоз. Через два часа пути из Горди — резкий, крутой спуск к реке Цхенис-Цкали. Узкая тропка, пробитая в скале, серпантином уходит в глубь ущелья. Но лошади Цицино и Нау привыкли и не к таким тропам. Деревушка Мури расположена в начале тесного ущелья, через которое Цхенис-Цкали проложила себе дорогу из высокогорной Сванети. У подножия горы стоит княжеский дом с широкой террасой. На высокой горе видна старая крепость, а на том берегу реки — Цагерский монастырь. В этом монастыре княгиня укрывала своих детей. Сама же она расположилась в крепости Мури, ибо отсюда можно было поддерживать связь с Имерети.

Княгиня приветливо встретила Цицино. Но обратиться к Омер-паше с личной просьбой она не могла. От имени Цицино княгиня написала прошение на французском языке, с которым Цицино должна была отправиться к Омер-паше. Но она сначала заехала домой, чтобы захватить маленький лезгинский кинжал, который и спрятала на груди. Для чего он понадобился ей? Уж не представила ли она себя на месте мстительной Юдифи перед мрачным, страшным Олоферном?

Омер-паша принял ее в Зугдидском дворце с большими почестями. Османский полководец был пленен красотой мегрельской вдовы. Чувствовала ли это Цицино, было трудно определить по ее непроницаемому лицу. Но от настороженного взгляда Нау не ускользнуло пламя, вспыхнувшее на мгновение в глазах Омер-паши. Нау стоял недалеко от Цицино, мрачный, словно нубиец, готовый по первому знаку своей госпожи броситься на завоевателя. Омер-паша прочел прошение. Он тут же велел вызвать Каки Маргания — абхаза, перешедшего на сторону турок, — и в присутствии Цицино приказал ему принять все меры, чтобы найти Меги. Маргания опустил голову в знак повиновения и удалился. Цицино была счастлива. На прощание Омер-паша подарил прекрасной вдове дорогую шаль цвета шафрана.

Прошли дни и недели. Поиски Меги не увенчались успехом. Тем временем 16 ноября был сдан Карс. 22 ноября весть о сдаче крепости дошла до лагеря Омер-паши. Таким образом турецкий корпус выполнил свою задачу в Мегрелии, и в декабре Омер-паша отвел свои войска из Цхенис-Цкали в Редут-Кале. Меники и Вато в отчаянии продолжали искать пропавшую Меги.

У МЕЛЬНИКА

Куда пойти? Как успокоить затравленное сердце? — лишь об этом могла теперь думать Меги после того, как она покинула хижину Вато. Вернуться домой? Ни за что на свете! Чем-то омерзительным, тошнотворным казалась ей теперь попытка самоубийства. Она была почти уверена, что не смогла бы утаить это дома, тем более, что Нау, по-видимому, все подглядел. Да и как бы она объяснила исчезновение кос? Короткие волосы обжигали ей голову. Ко всему этому прибавилась еще глухая неприязнь к матери. Мысли девушки, словно острые, жгучие иглы, мучили ее. Но ведь мать и няня будут беспокоиться. Ничего, пусть и они немного пострадают. Тем большей будет их радость, когда она, спустя некоторое время, снова вернется к ним. Предвкушение этой радости почти успокоило ее. Она не шла, а бежала.

Бучу забеспокоила, когда увидела запыхавшуюся Меги. Но та не дала ей опомниться и попросила кусок материи и нитку с иголкой. Получив и то, и другое, она так же внезапно исчезла. Она шла, не зная куда, шла без передышки. Была темная, влажная ночь. Деревни спали. Повсюду царил тишина. Лишь изредка из леса доносился крик зверя. Тогда Меги останавливалась, прислушивалась к биению своего сердца. Боялась ли она? Едва ли. Она шла все дальше и дальше. К утру сделала привал у подножия горы. Это было безлюдное место. Меги на скорую руку

сшила себе брюки из своего платья, смастерила башлык из куска ткани, взятого у Бучу, и, переодевшись, пошла дальше. Благодаря стройной фигуре, ее легко можно было принять за юношу. Конечно, одежда не ахти как ладно сидела на ней, но ведь сколько мегрельских пастухов одето в рвань! Башлык она опустила так низко, что ее девичьи черты не бросались в глаза. В конце концов, ей даже нравилась маскировка.

Меги направилась в сторону моря. Быть может, его могучее дыхание манило ее? Кто знает, где бы она остановилась, если бы в Мегрельской долине вдруг не появились турецкие войска. Меги подошла к мельнице, стоявшей уединенно и тихо на берегу речки, надеясь найти здесь пристанище.

Мельник был невзрачный человек, пятидесяти-шестидесяти лет. Голова его постоянно была посыпана мучной пылью, длинные руки доходили до колен, а левая была шестипалой. Она скорее походила на звериную лапу, чем на руку человека. Левым пепельно-серым глазом он смотрел на мир угрюмо и недоверчиво, а правый был изъеден сибирской язвой, и на его месте кровавым пятном зияла пустая глазница. Старик никогда не улыбался и мало говорил. Иногда он вполголоса напевал себе что-то, но нельзя было разобрать ни слов, ни мелодии. И все-таки лицо его выражало нечто, близкое к доброжелательности, но это могло быть и равнодушие. Андри — так звали мельника — приютил «юношу», не обнаружив ни малейшего любопытства по отношению к его персоне.

Меги помогала мельнику в той несложной работе, с которой он справлялся и до ее появления. В это время редко кто заглядывал на полузабытую мельницу. Меги, и без того склонная к мечтательности, здесь, на мельнице, совсем ушла в свои грезы. Шум мельницы уносил ее в далекий мир, в мир мечтаний. Она часами сидела, погруженная в раздумья, и то, что ее окружало, казалось ей призрачным и если и не привлекательным, то вполне безобидным и сносным.

Вдали блесло море, широкая гладь которого то и дело возвращала ее к действительности. Оно манило девушку к себе, но она не решалась подойти к нему ближе. Боялась ли она? Волнение моря нарушало покой, воцарившийся совсем недавно в ее душе. Ей были знакомы и близки все элементы земли, но море было нечто другое, совершенно ни на что не похожее из того, что она хорошо знала. И все-таки в минуты раздумий в недрах ее существа что-то манило ее, и это было так же первобытно, неопределенно и глухо, как море.

Однажды в полуденный час, когда осеннее солнце Колхиды, словно большой желтый плод, повисло над землей, Меги увидела гигантскую тучу, подкравшуюся с правой стороны моря. Она казалась абсолютно неподвижной, но огромная тень ее с непостижимой быстротой покрывала всю обозримую зеркальную гладь моря. Лишь на одной стороне еще было видно солнце. Но скоро оно совершенно исчезло. Наступила тьма, таинственная и жуткая. Словно спящий Левиафан, разбуженный и охваченный вдруг смертельным безумием, вздыбилось море. Подозрительная кромка пены появилась на гребнях взбешенных волн. Лик природы преобразился. Ее стихия, обычно такая близкая и светлая, теперь показалась девушке непостижимой и непроницаемой. Со страхом взирала она на тучу, распростершую свои гигантские, чудовищные крылья. Тяжело, величаво и мрачно плыла она над землей. Вдруг ее тело разверзлось, и она разразилась неистовой бурей. Меги испугалась и укрылась на мельнице. В трепете листьев она узнала свою собственную дрожь. Страшный ливень обрушился на землю. Казалось, все будет затоплено им, и Меги вместе со всеми. И все же в глубине своего существа она ощущала смутное блаженство: нечто первобытное, беспредельное и безымянное овладевало ею. Меги дрожала.

Андри обращал на «юношу» мало внимания. Лишь иногда его походка заставляла мельника задуматься. И голос его звучал по-девичьи. Но мелькнувшее на секунду подозрение тут же исчезло: разве мало таких юношей, которые похожи на девушек, особенно в Мегрелии, да к тому же в переходном возрасте? Но в последнее время мельника стал беспокоить сон его помощника. Во сне он с кем-то боролся, но в его стоне слышался трепет блаженства и счастья. «Чисто женский трепет», — подумал старик. Подобные сны участились после той бури. Но Андри еще сомневался: может быть, ему это показалось? Он потерял покой. Но скоро сомнения его окончательно рассеялись. Однажды, когда Меги ссыпала кукурузу в люк мельницы, он стоял, чем-то занятый, возле нее. Она вдруг споткнулась и он поддержал ее, не дав упасть. Точно спелые плоды, легли ее плотные груди ему на руки. У мельника

закружилась голова, девичьи груди, казалось, обожгли ее. Ее уста источали пьянящий аромат. Медленно, нехотя отпустил «водяной» свою добычу. После этого случая жгучее желание становилось из дня в день все неистовее. Однажды ночью, когда мельнику вновь показалось, что девушка борется с кем-то, он подкрался к ней и обнял ее своими сильными руками. Меги проснулась и громко вскрикнула. Вместо приснившегося ей солдечликого юноши ею овладевал какой-то отвратительный водяной. Она чувствовала на своих губах отталкивающий запах, исходивший из рта пыхтевшего старика. К ее правой груди присосалось пресмыкающееся: шестипалая лапа грязного животного. словно взбешенная волчица, вскочила Меги, бросилась на старика и схватила его за горло. Мельник был не в силах разжать ее пальцы, вцепившиеся в него мертвой хваткой. Через несколько минут послышался его предсмертный хрип. Не был ли в этом хрипе отзвук блаженства? Меги в ужасе отпрянула от старика. Страх и отвращение поползли по ее телу. Мельник был мертв.

ЖЕРТВА

122
 Турки покинули Мегрелию, и жизнь возвращалась в свою привычную колею. Меги нигде не удавалось найти. Цицино решила, что Меги, по-видимому, во время турецкой оккупации бежала с абхазом на его родину. В который раз она велела оседлать коней и поехала в сопровождении Нау в соседнюю Абхазию. Но в доме Лакербая она и на тот раз не узнала ничего утешительного.

Мать Астамура была в отчаянии: ей сообщили, что сын ее присоединился к войску Омер-паши и ушел вместе с турками. Ничего другого об Астамуре никто не знал. Цицино еще цеплялась за надежду, что Меги ушла вместе с Астамуром в Турцию, ведь надежда всегда сама находит себе опору. Когда Цицино вернулась в Мегрелию, она застала в доме Вато и Меники. Оба были необычайно взволнованы. В отсутствие Цицино Вато спал в ее доме, взяв с собой портрет. Но однажды ночью он оставил портрет в своей хижине, будучи уверенным, что его там никто не возьмет. Однако картина исчезла, и ее, по всей вероятности, украли. Художник был в отчаянии: Меги пропала, картину похитили — все пошло прахом. Он похудел, и его странности теперь еще больше бросались в глаза. Дом Цицино стал очагом беды и печали.

Но Меги не бежала в Турцию. Через два дня нашли труп мельника. Его синевато-красное тело уже начали грызть крысы. Но еще что-то другое вызывало ужас: люки мельницы были пусты, и жернова, как два призрака, стучали вхолостую, словно искусственные, мертвые организмы, симулирующие жизнь. Мельника похоронили. Предполагали, что он или убит турками, или умер своей смертью. Следов же насильственной смерти на его горле уже не было видно, так как труп был изъеден крысами.

Меги была уже далеко. Она решила покинуть Мегрелию, ибо ей казалось, что над ее родной страной лежит проклятие. Себя она теперь уже окончательно считала убийцей, но, к своему удивлению, заметила, что мысль о самоубийстве уже не приходит ей в голову. Она огрубела, подобно пораженному молнией суку дерева, который, несмотря ни на что, пускает здоровые ростки. словно клеймо на теле, жгло ее бесчестие. По непонятной ей самой причине она уже не могла ходить в мужской одежде и снова надела платье. От него, правда, остались одни лохмотья, но разве в Мегрелии мало девушек, одетых в лохмотья? Она пошла в сторону Гурии, оборванная, опозоренная, голодная. На одной поляне она увидела свободно пасущуюся лошадь, села на нее, и переправившись через Риони, продолжила путь пешком. Силы покидали ее, но она шла, шла без надежды, без цели. Охотники князя Эристави нашли ее в Гурии, едва живую, лежавшую в открытом поле. Они привезли ее в княжеский замок. Никто ни о чем не стал расспрашивать девушку, ибо в то время в Гурию прибредало много беглецов из Мегрелии. Меги приглянулась молодой княжне Цецилии, второй жене князя, принявшей ее в число своих камеристок. Однако и здесь ее ждало испытание. Бесконечные приставания молодого князя, пасынка Цецилии, не давали ей покоя. Меги открылась молодой княжне, рассказав ей кое-что из того, что с ней произошло. Цецилия взяла Меги под свое покровительство и велела пасынку оставить девушку в покое. Но повеление молодой мачехи не возымело действия, ибо сама она с лицом Мадонны, искушаемая на каждом шагу,

была не вполне безвинной: молодой князь знал, что его мачеха состояла в интимной связи с дворянином, жившем в соседнем поместье. Муж Цецилии был стар и вспыльчив. От него постарались скрыть измену жены. Но у самого князя появилось подозрение, и он установил слежку за женой. Однажды ночью ему послышался подозрительный шорох в покоях жены. Он оказался вдруг в ее спальне, в исподнем, с обнаженным мечом в руке. Любовнику удалось вовремя выпрыгнуть в окно. Темнота спасла его. Но Цецилия долго не могла прийти в себя, и дрожь в голосе чуть не выдала ее. И тут в спальне неожиданно-негаданно появилась Меги. Она была посвящена в тайну своей покровительницы. Меги сказала, что из ее комнаты, примыкавшей к спальне княгини, только что выпрыгнул какой-то мужчина. Цецилия затаила дыхание. Старый князь был озадачен. Он, конечно, чувствовал, что его жена именно теперь обманула его, ибо ревность не слепа, она зряча и даже более того: она порой становится ясновидящей. Старый рогоносец задрожал от бессильной злости. Но вместе с тем ему очень хотелось, чтобы это было неправдой, — лишь в подобном желании ревность слепа. Смущенный и огорченный, а, может быть, и с затаенной радостью опустил он меч и извинился перед супругой, оправдав свою вывадку необходимостью защиты ее же чести. Меги он бросил: «Вон отсюда, девка!» Этого требовала его честь. Меги удалилась, торжествуя, но слова князя обожгли ей спину. Цецилия потребовала от мужа, чтобы тот сохранил в тайне случившееся.

Прошло несколько месяцев. Меги почувствовала себя беременной. Тогда, на мельнице, все-таки случилось непоправимое. Позор облекался в пятно во плоти, обретавшее жизнь. Меги испытывала такое отвращение к своему собственному телу, что ей иногда хотелось выплюнуть себя из самой себя. Она доверилась Цецилии. Княгиня посоветовала ей избавиться от плода, но Меги, предпочитавшая избавиться от самой себя, не согласилась с княгиней. Однако помощь пришла неожиданно скоро. Однажды вечером после того, как Меги подняла тяжелый груз, она выкинула мертвого ребенка. Князь торжествовал: выкидыш был для него неопровержимым доказательством невинности жены. Меги скоро оправилась, но пережитое подтачивало ее сердце. И все-таки, несмотря ни на что, она порой чувствовала себя девушкой, целомудренной, ничем не запятнанной.

О выкидыше скоро узнал весь княжеский дом, и слух о нем дошел до деревни. Меги сгорала от стыда. Молодой князь стал приставать к ней пуще прежнего. И тогда она решила навсегда уйти из Гурии. Цецилии не хотелось отпускать от себя полюбившуюся ей девушку, ставшую ей почти подругой. Но Меги ничто и никто уже не могли удержать. Тайком, доверившись лишь княгине, она покинула дом Эристави.

ПРИЗРАК ЛУНЫ

Меги снова дышала ароматом трав влажной мегрельской земли. Ее тоска по матери была так сильна, что она уже не боялась рассказать ей и о своем позоре, и о пережитых кошмарах. Она начала воспринимать свою судьбу как нечто закономерное и само собой разумеющееся. Она шла медленно, погруженная в свои мысли. Вдали послышались звуки «Челы» мегрельской аробной («Чела» означает по-мегрельски «буйвол»). Сердце ее радостно забилося. Она зашагала быстрее, нагнав скоро пару буйволов, запряженных в арбу. Они шли нехотя, меланхолично, и песня молодого погонщика тоже была грустной. Когда Меги приблизилась к нему, он прервал песню. На арбе сидела женщина с девочкой лет десяти. Девочка спала, положив голову на колени матери. Женщины обменялись приветствиями, и незнакомка предложила Меги место рядом с собой. Разговор не получался. Меги стала приглядываться к ребенку. Он спал, время от времени всхлипывая во сне. Вдруг девочка громко надломленно вскрикнула: казалось, будто зазубренный нож перерезал ее сон. Глаза матери наполнились слезами. И она поделилась с Меги своим горем: у девочки было осложнение после воспаления мозговой оболочки. Предчувствуя приближение приступа, она снакает, умоляя родителей не оставлять ее одну. И жалобно, душераздирающе плачет. Бедное дитя силится подавить слезы, молит о помощи, но помочь не может никто. Кошмар душит ребенка, плачущего почти не переставая в течение всего дня. От постоянной боли девочка не находит себе места,

пока ее, обессиленную, измученную, не коснется своими крылами всемогущий сон и не закроет ей веки.

— Куда ты везешь ее? — спросила Меги.

— В деревню Цкепи, — ответила женщина.

— К банщику?

— Нет, я хочу показать ей там картину... — Может быть, она ей поможет.

— Картину? — Меги подумала, что речь идет о чудотворной иконе.

— Говорят, в Цкепи какая-то девочка страдала такой же болезнью, — продолжала мать, — однажды, когда эта девочка плакала, она вдруг увидела эту картину и сразу же и навсегда исцелилась. Рассказывали потом, что девочка просто-напросто не могла оторвать глаз от картины.

Мать при этом ласково посмотрела на свою дочь. Девочка уставилась на нее отсутствующим взглядом. Ее тельце сотрясало от судорог. На распутье женщины расстались. Меги еще долго думала о больной девочке, но не переставала думать и о своей судьбе. Сколько тяжелых испытаний выпало на ее долю! Казалось, она уже испила чашу горести до дна. И все же, как знать, не страдала ли мать этой больной девочки неизмеримо больше, чем она, Меги? От одной этой мысли на душе у нее сразу посветлело и потеплело. Она шла через родные поля. Смеркалось. Огромная бледно-красная луна появилась на небе. Меги присела на траву, решив еще немного подождать и отдохнуть. Ей хотелось появиться дома, когда луна окутает мегрельские нивы своим спокойным, мягким сиянием. Какая будет радость для всех, какое счастье!

Меги погрузилась в сладостную мечту.

Она видит перед собой маленькую хижину, скромную, уединенную. Вокруг ночь, тишина. Люди сидят у очага. Тихо догорает огонь. Сказка только что кончилась. На лицах слушателей печаль. Все думают о бесследно пропавшем: на охоте, в море или на войне. В эти тихие мгновения все вспоминают о нем без слов, и также без слов обмениваются мыслями. В душе у каждого теплится крошечная надежда: может быть, он еще жив, может быть, не погиб. Каждый из них верит, верит втайне, но твердо, что вдруг откроется дверь и появится он, любимый, желанный. Тихо догорает огонь. На лицах людей печаль и вера в невозможное.

Так или почти так представляла себе Меги свое возвращение. Она встала и решительно зашагала по направлению к родному дому. Мягким, опаловым светом светила луна. Меги слышала учащенное биение собственного сердца. Она шла, как в бреду, но отчетливо воспринимала все, что ее окружало, что попадалось на пути. Наконец показалась ее дом. В неописуемом волнении вошла Меги во двор. Она зашаталась, и ей пришлось прислониться к стволу орехового дерева, чтобы удержаться на ногах. В доме было тихо, темно. Даже собаки дремали. Войти сейчас же в дом, разбудить мать, разбудить Меники, ошеломить их! Меги в порыве радости сделала еще один шаг к дому и тут же остановилась, как вкопанная: на балконе сидела ее мать, и кто-то целовал ее колени. Неужели Нау? Уж не призрак ли это луны? Сердце Меги лихорадочно заколотилось, но она не могла сделать ни шагу. Цицино сидела спиной к Меги, но дочь узнала мать. Ее пальцы играли в волосах раба, точно ласка прирученного зверя. Страдания разожгли страсть Цицино. Нау на миг поднял голову и тоже окаменел: неужели Меги? Он хотел было вскрикнуть от неожиданной радости, но не издал ни звука. Стыд и страх отразились в застывшей судороге. Не привидение ли это?

Он опустил голову, и она, казалось, застыла, колено Цицино сразу же ощутило это.

— Что с тобой? — спросила его госпожа. Нау наконец осмелился поднять голову, но Меги уже исчезла.

— Ты что, онемел? — спросила его еще раз Цицино, уже не скрывая своего раздражения. Нау молчал. Он смог издать лишь какой-то неясный звук, похожий скорее всего на рычание безобидного зверя. Цицино оттолкнула его от себя, как собаку, и встала.

Меги, не оглядываясь, выбежала со двора. Теперь она знала, что для нее все потеряно безвозвратно. Что, собственно, произошло? Как будто ничего особенного: чувственное желание, избравшее для своего удовлетворения раба. Но Меги не могла до конца постичь происшедшее. Она была готова снова один за другим пережить все

ужасы, выпавшие на ее долю, чтобы только не видеть этот, последний. Цицино, боготворимая ею мать... Нет, нет... Теперь она уже не думала о больной девочке. Ей самой приходилось страдать еще больше. Может быть, и ей стоило пойти в Цкепи, чтобы найти утешение в чудодейственной картине?..

ДВОЙНИК

Прекрасен правый берег Техури. Вдоль него тянется гряда холмов, усеянных тихими, уединенными усадьбами. Здесь находится и Накалакеви. Это слово означает буквально: «место, где когда-то был город». Это развалины древнего города Аэя, о котором упоминает еще Геродот и который позднее Страбон назовет «археополисом». Здесь стоит украшенная великолепными фресками церковь эпохи Юстиниана. Ее своды выложены огромными квадратами. Недалеко от церкви расположена цитадель с потайным ходом, ведущим к реке. Немного ниже по течению реки высится старинная усадьба с двухэтажным домом и длинной, широкой террасой, начинающейся у самого берега моря. В середине двора могучие широколистые платаны, дубы и ореховые деревья образовали плотный шатер. За этой усадьбой, у подножья конусообразного холма начинается деревня Цкепи. На вершине холма можно видеть увитые плющом развалины высокой башни, которая была когда-то частью крепости мегрельских князей.

Женщина с больным ребенком въехала во двор азнаура Кордзая. Во дворе уже стояло много повозок с тентами. Здесь царило оживление. Со всех концов Мегрелии, Гурии, Сванети и Имерети сюда съехались больные. Это были одержимые навязчивой идеей, виттовой пляской, эпилептики, заики, страдающие любовной тоской, помешанные, словом, целое сборище душевнобольных. Все они терпеливо ждали исцеления. Их поддерживала вера, вера в чудо: если даже все уже потеряно, все же где-то на земле, возможно, есть еще крошечный луч надежды, сулящий облегчение. За этот созданный мечтой и обретший в возбужденном сознании почти осязаемую плоть лучик надежды цеплялись больные, но еще больше — их близкие. Случаев магического исцеления было немало. Азнаур Кордзая, практичный и ловкий человек, сумел извлечь пользу из того случая с больной девочкой, о котором рассказала Меги женщина на арбе. В сущности, в этом случае не было ничего сверхъестественного. Девочка устала на портрет девушки, красота которой повергла ее в изумление, и успокоилась на короткое время. Родные девочки приписали картине чудодейственную силу, ибо человеческая природа нуждается в том, чтобы счастливый исход болезни или несчастья объяснить чудом — даже в том случае, если оно лишь мнимое. Слух о чудесном исцелении быстро распространился, возбуждив множество людей. Кордзая купил эту картину на ярмарке в Сенаки. Но чтобы еще больше подчеркнуть ее чудодейственность, он рассказывал, что приобрел ее у какого-то итальянца, которому он в городе Потти оказал дружескую услугу. Молодую женщину, изображенную на картине, он называл «Девой Марией», хотя многих настораживал тот факт, что она была без младенца. Однако вера в чудо не нуждается в доказательствах. Портрет стал для Кордзая источником дохода. Ему приносили яйца, сыр, шерсть, привозили овец, кур и голубей. Больные и сопровождавшие их близкие могли видеть картину лишь в час захода солнца. Таково было требование Кордзая, которое никто не мог объяснить. Портрет был выставлен под кроной тысячелетнего дуба. Люди уже собрались и с немым восхищением уставились на картину, когда среди них вдруг появилась девушка. Никто сначала не обратил на нее внимания.

Это была Меги. Отсутствующим взглядом посмотрела она на окружающих людей и вдруг увидела картину. Она вздрогнула, будто глаза ее встретились с пламенем, но не с обжигающим, а с ласкающим. Это был ее портрет. Меги словно окаменела, но мысли не переставали роиться в ее голове. Что это?

Как попал сюда портрет? Волнение Меги мало-помалу улеглось. Душа преисполнилась кротости и тепла: ведь это ее портрет исцеляет и успокаивает других. Следом за этой мыслью, появилась еще одна: хотя изображение и исцеляет других, но ведь это портрет неисцелимой. Тихая печаль поселилась в ее сердце. Может быть, эта картина исцелит и ее, Меги? Но что-то чужое было в образе девушки на портрете. Она вздрогнула и тут увидела юношу, привезенного для исцеления. Она узнала в нем того молодого человека, который в Гурии часто и как-то странно пытался

встретиться с ней взглядом: он страдал любовной тоской. Его мать рассказала, что какая-то незнакомка — по всей вероятности, ведьма — околдовала его. Юноша увидел Меги, и из его горла вырвался дикий крик. Была ли это любовь? А может быть, проклятие? Меги, погруженная в созерцание картины, вздрогнула от неожиданности. Мать больного юноши посмотрела на Меги и вскрикнула, как безумная:

— Вот она стоит, эта шлюха! Это она околдовала моего сына!

— Шлюха? Здесь не место шлюхам! — толпа враждебно смотрела на Меги, готовая вот-вот разорвать ее на куски. Меги стояла не шелохнувшись. Мать юноши не переставала кричать. Спокойствие Меги лишь подзадорило людей. Резким движением, с вызовом она сорвала с головы платок, гордо выпрямилась и, обратив в толпу пылающий взор, гневно бросила:

— Это я — шлюха? Посмотрите на меня!.. Вон та,— Меги показала на портрет,— это ведь я!

Толпа умолкла. Перед ней в живой плоти стояла та, перед кем они только что преклонялись, лишь с той разницей, что у девушки на портрете взгляд был кротким, тогда как глаза живого прообраза источали такое пламя, что оно, казалось, было способно испепелить всю толпу. На лицах людей злость сменилась смущением и страхом, но мать больного тут же пришла в себя.

— Она ведьма, колдунья!.. Она может принять любой образ!

Нетерпеливая толпа поверила и этим словам. Вновь взоры всех обратились к Меги. На мгновение им показалось, что она все же не та девушка, что изображена на картине. Меги и в самом деле была уже не совсем прежней: на ее лице остались следы тех потрясений, которые обрушились на нее. Мать продолжала кричать: «Колдунья, ведьма, шлюха!..» Медленно, еще колеблясь, двинулась толпа в сторону Меги.

Но Меги и след простыл.

ГОЛОВА ЛЕБЕДЯ ПОД КРЫЛОМ

Была тихая ночь: как будто спящий лебедь спрятал голову под крыло... Меги шла медленно, никуда не спеша. Она сама была подобна лебедю, черному лебедю с печально поникшей головой. Она шла, погруженная в грустные мысли. Недавно она потеряла весь мир, а теперь и себя самое: с нее спадала оболочка за оболочкой, словно луковая шелуха, но сердцевины не было. Она потеряла себя, и остался лишь блуждающий, ищущий взгляд, лишь ее расплывчатый образ. Земля качалась под ее ногами, словно рушилась всякая опора. Звезды превратились в глаза, а тела — в какие-то туманные образования. Тихо шла Меги. Ей подумалось, что она сама — взгляд этих тел, внутреннее око этих расплывчатых созданий. Мысль эта тут же погасла. Что делать? Может быть, просто так, без цели бродить по земле? Попадается ведь иногда человек, бездомный и безымянный. Он бредет с места на место, не требуя ничего. Если такому человеку подать хоть что-нибудь, он будет несказанно благодарен. Лишь в исключительных случаях такой человек заговаривает с кем-нибудь. Чаще всего он говорит сам с собой, когда остается в полном одиночестве. Он бредет молча, тихо, никем не замеченный. Когда дети дразнят его, он улыбается. Люди принимают его за умалишенного и говорят это. Он слышит и задумывается: может быть, люди и правы, ибо разум его и в самом деле помутился. Он идет через города и села. Рот его полуоткрыт, глаза — будто выпиты. Он бредет, словно призрак. В его походке печаль. Временами призрак обретает плоть и кровь, и тогда он отходит в сторону, молча, с мрачным лицом, будто судьба. И тут призрак роняет скупые слезы...

Глаза Меги наполнились слезами. Она подошла к ясеню, сорвала два листка и прикрыла ими глаза. На один лист упала капля необыкновенной росы. Вдалеке волк выл на луну...

ЭПИЛОГ

В родной деревне, овеваемой ароматами зрелой осени, я записал рассказ старика. Солнце Грузии светило надо мной так же, как светило оно мне тридцать лет тому назад. И все-таки я был чем-то недоволен: мне не доставало концовки рассказа Гегии,

ибо что-то в нем оставалось незавершенным. Историю возникновения портрета я уже знал. Но оставался вопрос: как попал он в руки старику? Много лет тому назад, когда я на мельнице разглядывал волшебный портрет и слушал под шум воды и стук жерновов рассказ Гегии, я думал лишь о Меги. Да тогда, пожалуй, и нельзя было думать еще о чем-нибудь другом, глядя на ее портрет, ибо он завораживал. Теперь же меня мучил вопрос: не связана ли судьба портрета каким-нибудь образом с тайной самого Гегии? Мысль моя вдруг стала ясновидящим пламенем: я понял, что Гегия был одним из действующих лиц своего рассказа. Но каким? Может быть, это художник Вато? Я задумался: тщедушный Вато едва ли дожил бы до седых волос. Загадку эту я мог, по-видимому, решить лишь с помощью самого рассказчика.

Я решил ускорить отъезд. У мельницы я остановил коня.

— Опять сделаем привал? — спросил мой кузен, улыбаясь.

— Не помешает, — ответил я, немного смутившись. Несколько крестьян сидели возле мельницы, обмениваясь новостями. Гегия стоял в стороне, и я подошел к нему.

— Добрый день, Гегия!..

— Здравствуй! — ответил он. Через несколько секунд он спросил: — Ты уже уезжаешь? Так скоро?

— Меня ждут дела...

— Дела... — улыбнулся он, покосившись в мою сторону, и сказал с хитрой усмешкой: — Ты, наверно, уже записал все, что я тебе рассказал?

— Да.

— Гм-м... И что же, хорошо получилось?

— Надеюсь.

Молчание. Затем я сказал как бы самому себе:

— Лишь одно мне непонятно...

— Что тебе непонятно?

— Как попал к тебе портрет?

Старик взглянул на меня недоверчиво и, тяжело ступая, отошел в сторону.

До отхода поезда у меня еще было четыре часа.

Что-то все же не давало мне покоя: неужели мне не удастся выведать у старика хоть что-нибудь о его последней тайне? Неподалеку рос дуб, под которым лежал длинный камень. Гегия сел на него. Я остановился рядом. Снова молчание. Любое неосторожное слово могло спугнуть молчаливого старца. Я стоял и ждал чего-то. Гегия опять взглянул на меня, но на сей раз чуть теплее. На его губах мелькнула улыбка, теперь уже лукавая.

— Ты хочешь знать... Но ведь это нехорошо, — сказал он наконец.

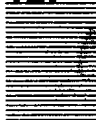
Я молчал. Страх обронить лишнее слово заставил меня ждать, пока Гегия сам заговорит, и я молчал. Но молчание мое, по-видимому, было красноречивее и убедительнее страха.

— Я отобрал портрет у Нау... — Слова Гегии упали тяжело, словно пробужденные от тысячелетней спячки.

— У Нау? — спросил я испуганно.

— Да, у Нау, — ответил он и начал рассказывать. Я слушал, затаив дыхание.

Безумная страсть испепелила несчастного Нау. Цицино все больше становилась для него божеством. Он же оставался рабом для нее. Она часто принимала своих фаворитов. Нау следил за каждым ее шагом. Он неистовствовал, как безумный, свирепел от неисцелимой ревности. Там, в дупле того дерева, он подстерегал ее с ружьем в руках, но каждый раз, как и до этого, его останавливало предчувствие возможной близости с этой женщиной. Лишь однажды дрогнул мускул на его виске, будто глухой крик вырвался из немоты тела. Цицино улыбалась какому-то незнакомому мужчине. Нау не знал его. Незнакомец ласкал Цицино, с радостью и наслаждением принимавшую его ласки... Палец Нау пополз к курку. Была ночь, низко нависли тучи. В свете молнии Нау поймал блаженную улыбку Цицино и мужчины. Нау сам превратился в молнию, в черную как сталь холодную молнию. Он ждал ее очередной вспышки, ждал с животным страхом. Нау вздрогнул. Воспаленными глазами он увидел украденный у него поцелуй: он, будто разрезанный на две половины плод, подкатился к нему и снова соединился. Нау знал, что силы его на



исходе. Палец лежал на курке. В такие минуты Нау страдал невыразимо, молча, как страдают звери, но теперь к его страданию примешалось наслаждение, острое, едкое. Он чувствовал, что приближалась месть, жуткий, сладостный миг. В его воспаленном мозгу вдруг всплыл случай, происшедший в XVII веке в Грузии. В то время страна была раздроблена на несколько постоянно враждовавших царств и княжеств. Этой междоусобицей воспользовались Иран и Высокая Порта. Однажды вдова царя Имерети с помощью своего фаворита, князя Вахтанга, выколола глаза своему пятнадцатилетнему пасынку Баграту. Вахтанг вззошел на престол. Но случилось, что и ему выкололи глаза. Однако судьбе не было угодно остановиться на этом. Ей хотелось чего-то большего, самого жуткого, окончательного: чтобы кровавые глаза Баграта и Вахтанга — четыре кровавых глаза — встретились и чтобы Баграт был мстителем, а Вахтанг — жертвой. Во мраке ночи двое слепых крались друг к другу — страшное, непостижимое зрелище! Баграт наугад нанес своему врагу несколько ударов колющим. Люди добились его. Они вырвали сердце Вахтанга из трепещущего тела и положили его в руки нетерпеливо звавшего их Баграта. Более часа слепой мститель держал в руках сердце своей жертвы, сжимая, разрывая его, будто боясь, что оно еще сможет забиться...

Нау держал указательный палец на курке. Эта старая история, которую он когда-то слышал, почему-то именно теперь припомнилась ему. Звериное заговорило в нем во весь голос, пьяня его, будто это он, Нау, держал в руках кровавое, трепещущее сердце врага. Но кто же этот враг? Оба: мужчина и женщина. Кто из них в большей степени? Наверное, женщина... Нау уже не думал. Он сжал свое обездушенное сердце рукой. Уже лишь волосок отделял его от бесконечности, — и вот палец коснулся курки. Грянул выстрел, и вместе с ним сверкнула молния. Нау казалось, что молния вырвалась из него самого, разорвав его на части. Но он почему-то остался цел и невредим, хотя и чувствовал, что руки и ноги его как бы отделились от тела, будто что-то изнутри взорвало его. Он бросился к тому месту, где еще мгновение назад мужчина держал в своих объятиях женщину. В следующий миг он был уже там. Он упал ниц перед Цицино, увидел распростертое тело мужчины и с отвращением отшвырнул его. Он мог бы растерзать его зубами, но сейчас ему было не до него. Нау мог думать сейчас только о Цицино. Ее тело было еще теплым, и оно, возможно, еще дышало. Нау призвал все волшебные силы, какие только есть на земле и над землей, чтобы вырвать Цицино из когтей смерти. Он обнял и стал целовать ее, словно зверь, обезумевший и ставший на мгновение богом, — но без его всемогущества. Зверь неистовствовал, в отчаянной ярости призывая всех демонов. Нау сам был низвергнутым демоном. Он обнимал Цицино, целовал ее, произносил заклинания, рвал на себе одежду и волосы, предлагал свою душу лежавшей перед ним женщине, был готов, подобно Адаму — первому человеку — обломать крылья всем ветрам, но женщина лежала бездыханно. И Нау почувствовал, что ведь и у него нет теперь крыльев, и рухнул наземь, словно из него вырвалась буря, оставив ему лишь пустую оболочку. Цицино была мертва. Он лежал не шелохнувшись, будто насмерть сраженный зверь. Как в предсмертной агонии, мучил Нау вопрос: его ли пуля сразила Цицино или это была молния? Ночь обезумела, Нау — еще больше. К утру он смог установить, что пуля сразила мужчину, а тело Цицино было сожжено молнией...

Гегия умолк. Я слушал с напряженным вниманием. Впервые его будто из дерева вырезанное лицо изменилось. Словно в пустоту, глядел он в прошедшее, мелькнувшее на мгновение, как рубцы от ран, на его лице. Наконец-то мне удалось нарушить молчание, которое этот человек воздвиг, точно огромный камень между мной и собой.

— Ну а потом?.. — спросил я шепотом.

— Потом? — глухо повторил старик мой вопрос и еще глуше добавил: — Нау не смог забыть Цицино... Зверем он был, зверем и остался... — И снова Гегия погрузился в бездну молчания.

Помолчав немного, он продолжил свой рассказ тихим, печальным голосом. Нау одичал. Он стал мрачным и нелюдимым. Он боялся встречи с Меники и Вато. Разбитый, потерянный, он однажды вспомнил о портрете, который, как он слышал, исцеляет даже одержимых. Он отправился в Цкепи. Но каково было его изумление, когда он увидел перед собой портрет Меги. Дикая радость охватила его, будто

живая Меги оказалась вдруг перед ним. Он и не подумал о том, чтобы во всеуслышание объявить имя автора картины. Он просто-напросто решил похитить ее. Ему удалось осуществить это через несколько дней. Чуть ли не вся Мегрелия узнала об исчезновении картины. Нау боялся остаться один на один с портретом, и он решил отнести его Меники. Но буря в нем не утихала. Он продолжал неистовствовать, как смертельно раненный хищник. Однажды он раскрыл сверток, в котором лежали аккуратно сложенные косы...

— Чьи косы? — перебил я его.

— Косы Меги. Те косы... Помнишь, она хотела повеситься на суку...

Старик продолжал. Нау держал в руках косы гранатового цвета и вдруг его охватила нечеловеческая тоска. Он побежал в скорбящий дом амазонок. В косах Меги, казалось, дремало волшебное пламя жизни. Он вошел в дом. Там сидела Меники, старая, окаменевшая.

После исчезновения Цицино и ее покинуло все живое. Она теперь была похожа на мумию. Няня не удостоила Нау ни единым взглядом. Он пошел в другую комнату. В углу он увидел портрет Меги. Он снял его и долго, зачарованно смотрел на него: перед ним были и мать, и дочь одновременно. По телу прошел огонь. Нау поставил портрет на место и вышел из дома. Он снова затосковал по Цицино, затосковал дикой, звериной тоской. Он вернулся в дом амазонок, подошел к портрету, и тут тоска вдруг прошла. Нау не мог объяснить себе, что с ним происходило. Когда он отходил от картины, его терзала неизъяснимая страсть и тоска по Цицино. Стоило же ему подойти к ней — и душа его почти успокаивалась. Его нутро уже не обжигало то жуткое, темное пламя. Теперь это был другой, не испытанный им доселе очищающий огонь.

Звериный мозг Нау не был в состоянии все это осмыслить. Он чувствовал, что эта картина заключала в себе все, чем он дорожил. Более того: он ощущал в портрете ту таинственность и то высшее счастье, которое смерть не в силах отнять у смертного. Невиданное блаженство наполнило душу человека-зверя. Нау похитил портрет Меги во второй раз. Тут Гегия прервал свой рассказ.

Мне не давало покоя сомнение: может быть, Нау и есть Гегия? Но как приподнять завесу над этой последней тайной? Как заставить старика сказать правду? Я решил не принуждать и не тормозить его лишними расспросами. Я был почти уверен, что Гегия сам откроется мне до конца. Ведь рассказ оставался недосказанным, и я чувствовал, что Гегия хочет закончить его. Вдруг он посмотрел на меня и спросил со смешком:

— Ты, наверно, думаешь, что я — Нау?

Я вздрогнул: в его словах я на миг увидел ужас безумия. Я не смог произнести ни звука в ответ.

— Почему ты молчишь?.. Ведь я угадал, да? Говори! — приказал он уже почти сердито.

— Ты угадал, — сказал я вдруг, испугавшись своих собственных слов.

— Но это неправда, — пробормотал Гегия и продолжал: — Нау был моим двоюродным братом... Он оставил мне портрет... Он уже не мог держать его при себе... Он мучил его... Нау исчез... — так лепетал Гегия, точно говорил сам с собой.

Снова наступило молчание. Рассказ, кажется, подошел к концу. Я крикнул своему кузену, чтобы он седлал лошадей. Старик вздрогнул.

— Я, наверно, скоро умру... Зачем только я рассказал тебе все это?!

— Ты думаешь, Гегия, что раскрыв мне эту тайну, ты лишил себя самого дорогого?

— Возможно... Но теперь дело в другом... Я просто чувствую, что смерть не за горами, и, наверно, потому рассказал тебе эту историю...

— Но, Гегия...

Старик не хотел меня слушать. Он поднялся и неуверенной походкой пошел к мельнице. Мой двоюродный брат подвел лошадей. Гегия скоро вернулся, держа в руке какой-то сверток.

— Это, — сказал он вполголоса, — тебе от меня на память. Когда ты узнаешь, что я умер, тогда раскроешь сверток...

— Ты хочешь умереть, Гегия?!

— Почему ты так решил? — спросил он испуганно.

— Я ведь хорошо знаю тебя... Ты нисколько не изменился с тех пор...

— Ты, значит, думаешь, что я таким и останусь?..

Старик улыбался. Я стоял молча.

— Откуда тебе знать, — нарушил я молчание, — что ты умрешь прежде меня?.. Разве ты не знаешь изречение Руставели: «Тот неправ, кто забывает хоть на миг, что станет прахом».

— Я слышал это... Но я знаю, знаю точно, что скоро умру...

Гегия уже не улыбался. Его взгляд выражал спокойную уверенность в своей смерти. Я испугался. Хорошо еще, что подошли крестьяне. Старик тем временем пришел в себя и снова был таким, как прежде. Он проводил меня и моего родственника до берега.

— Значит, не забудешь? — сказал он глухим голосом.

— Нет, — ответил я смущенно.

Мы простились. Мне казалось, что я прощался с человеком, уже принадлежавшим вечности. В его левом глазу я увидел большую застывшую слезу. Он смотрел на меня не мигая. Если бы его ресницы дрогнули, то слеза, как крошечный камешек, скатилась бы на землю. Но именно эта застывшая слеза придавала его лицу человеческое выражение. Без нее Гегия запечатлелся бы в моей памяти как некое странно-чужое и почти нечеловеческое существо.

Мы расстались. Он еще долго стоял на берегу и смотрел нам вслед. Я поехал в Тифлис. В пути я то и дело ощупывал таинственный сверток. В нем было что-то мягкое, напоминавшее шелк. Уж не хотел ли старик наказать меня, вручая мне этот узелок? А если да, то за какую провинность? Может быть, ему хотелось отомстить мне за то, что я выведал у него эту тайну, тайну девушки, изображенной на портрете? Сверток стал для меня тяжелым бременем. Я мог теперь думать только о нем, я не мог уснуть и собраться с мыслями. От свертка исходило какое-то колдовство. Я решил выбросить его куда-нибудь, чтобы освободиться от него и от колдовства. Может быть, открыть его? Но Гегия внушил мне такой суеверный страх, что я боялся увидеть в свертке что-то страшное. Ведь мне было велено раскрыть его после смерти обладателя. Но кто может сказать, когда он умрет, этот окаменелый человек, давно уже живший вне времени? Чтобы не смотреть на сверток, я спрятал его в чемодан. Но это не помогло. Началась новая, еще более невыносимая попытка: я почуствовал, что желаю Гегии скорой смерти. Я отгонял от себя эту мысль, все во мне противилось ей, но где-то в одном из крошечных уголков сознания я ощущал ее так, как порой дает о себе знать затаенная боль.

Прошло несколько месяцев. Я сидел в приемной зубного врача. Впервые в жизни я был рад зубной боли: если она и не устраняла другую, то хотя бы смягчала и приглушала ее. Я перелистывал старые газеты и журналы, лежавшие на столике для развлечения пациентов. Я не люблю газет: я читаю в них лишь телеграммы. Но почему-то газета восьмидневной давности привлекла мое внимание. Я начал просматривать ее с начала, не пропуская ничего. Вдруг одно сообщение бросилось мне в глаза. Оно касалось моей деревни и давалось под заголовком: «Наводнение». Я сразу же подумал о реке Дзирула, в которой я так часто купался в детстве. Мне снова припомнилось то внезапное наводнение, которое было так непохоже на наводнение других рек. За горой, отделяющей нашу деревню от Окрибы, исчезает река. Нет, она не исчезает, а уходит под гору и течет глубоко под ней. Эта река и есть Дзирула. Она вытекает из большой сталактитовой пещеры. Случается, что на нашей стороне погода совершенно ясная, а по ту сторону горы льет проливной дождь. Тогда Дзирула свирепствует, словно дикий зверь, вырываясь из каменного плена. Вода в других реках прибывает постепенно. Здесь же она набухает внезапно, стремясь накрыть своей желтоватомутной массой другие, более мелкие воды. Будто хищники, они вгрызаются друг в друга и бросаются в неукротимой ярости в русло реки.

Я жадно, быстро прочел заметку о наводнении. И вдруг: «Мельницу унесло паводком...» Какую мельницу? Затаенная мысль хочет, чтобы это была та мельница. И снова я ловлю себя на мысли, что желаю смерти старику... Другой человек, видно, думал сейчас за меня. Не помня себя, я выбежал из приемной врача и поспешил на телеграф. Я послал кузену телеграмму, прося его подробно сообщить мне, что

произошло с мельницей. Я настоятельно просил его сообщить мне о судьбе Гегии и его сумки.

Я возвращался домой. Странно, что зубная боль совершенно прошла. Но другая боль выросла неизмеримо. Я потерял покой, потерял себя самого. Я без конца подходил к ящику стола, где лежал сверток. Мне хотелось открыть его, но руки не повиновались мне. Так прошло два дня без сна и покоя. На третий день я получил письмо. Руки мои так дрожали, что, вскрывая конверт, я оторвал кусочек письма. Я присоединил его к листу и начал читать. Дрожь моя не унималась. Мои глаза искали то место в письме, где сообщалось о смерти Гегии, и они быстро нашли его.

Я был счастлив — в этом я уже не сомневался. Кузен сообщал, что мельницу унесло паводком и вместе с ней старика. Его тело прибило к берегу в пяти милях ниже мельницы. Сумки на месте не оказалось, так писал кузен. В конце письма была приписка, которая, видно, была сделана не без улыбки: «На груди у Гегии вытатуировано имя «Цицино». Я был потрясен. Тайна окончательно проявилась: старик Гегия и был Нау.

На какое-то время я даже забыл о свертке. Я погрузился в размышления, и чувство безграничного покоя наполнило меня. И все же частица ужаса еще оставалась во мне. Итак, Гегия говорил о себе как о чужом человеке! Перед моим взором встал его образ, а образ этот был мне хорошо знаком. Я знал его с детства, он говорил со мной, он рассказал мне всю эту историю, поведал мне о муках Нау, и, оказывается, это был он сам Нау!

Я успокоился, хотя изумление не покидало меня. Я медленно пошел к ящику и открыл его. Мои руки вновь затряслись. Я достал сверток, раскрыл его и вскрикнул от радости и испуга: я видел косы, плотные, длинные косы цвета граната, словно застывшие потоки солнца. Солнце пропитало их своим теплом, когда они росли. Благодать солнца пронизала мое существо: это косы Меги. Гегия навсегда простился с ними, когда подарил их мне, но с портретом Меги он не мог расстаться до последнего дня. Лишь смерть вырвала его из рук старика. Он еще смог поцеловать его остывающими губами.

Я вижу, как река подхватила портрет и понесла его к другой реке — Квириле. Я вижу, как Квирила передала его Риони, Фазису древних. Риони же понес его по долинам и нивам Мегрелии, где выросла девушка, и вынес его к Черному морю, Понту Эвксинскому, необъятные просторы которого были ее родиной. Там родилась девушка, там утонул ее портрет. Теперь в моих руках ее косы, гранатовые косы, пропитанные солнцем. Благодать солнца вошла в меня. Я не ведаю блаженства, равного этому. Я ощущаю во плоти дар солнца, одно лишь прикосновение которого наполняет неземным упоением.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

О косы, гранатовые косы Меги! В вас я вижу солнце моей Родины! От вас исходит аромат моей земли! Вместе с вами росла девушка, дочь моей страны. Ее дыхание осталось в вас. Неутоленная тоска ее зрелой груди передалась вам. Она была страстной и все ж непорочной каждой каплей крови. Ее страсть, ее целомудрие струятся в вас, гранатовые косы. Она вся была ярость, словно топор амазонки, и я порой боюсь тронуть вас, солнечные косы. Вы задушили ее дитя, о страшные косы. Вы были радостью ее девичьих дней, о косы. Вы стали ее петлей, когда она расставалась с жизнью. О вы, косы, вы задержали в себе то мгновение, когда бесконечность соприкоснулась с земным чувством. А когда девушка приняла в себя это мгновение, вы затрепетали, пламенные косы. И в вас, косы, живет миг, освобождающий человека от него самого, не лишая его жизни. Вы ужаснулись, обезумели, как та девушка, будто плоды, будто радость, носившая вас. Я вижу, как вы содрогнулись тогда. Девушка уберегла вас от позора: не допустила, чтобы вы стали петлей самоубийцы. Она нашла другой выход — может быть, нечеловеческий, но благороднее человеческого. В вас воплотилось ее благородство, о косы. Девушка, носившая вас, была рождена дыханием моря. Она вышла из недр мегрельской земли. С тоскою ждала она солнцеликого жениха. Разве вы, косы, не видите, что пламя этой тоски вылилось в вас? И теперь еще я ощущаю в вас эту тоску, о косы. Но солнцеликий жених не явился — его ведь и не было — и девушка загрузила. Ее

тоска перешла к вам: я вижу вашу печаль, о вы, отсеченные косы. Пройдут годы, и вы будете жить. В печальные дни я приду к вам, о косы. Тогда вы избавите меня от губительных мыслей. Я буду ласкать, целовать вас, о косы, и я знаю: девушка, носившая вас, не обидится на меня, ибо лишь телесное прикосновение было ей не по душе. Она страстно желала другого. Если же я недостоин даже думать о ней, то она простит меня: ведь мне хотелось лишь прошептать ее образ, образ смятенной души. Вам, косы, ведомо это. Пройдут годы. Я умру. Кто-то другой будет держать вас в руках, и к нему перейдет от вас благодать земли. Пройдут тысячелетия, но вы будете жить, косы, даже тогда, когда поблекнете, покоробитесь, как волосы мумий. Но вы будете жить, косы, будете жить теми минутами, которые оправдывают жизнь на нашей планете. Вы улыбаетесь, косы: вы страшите меня, вы хотите сказать мне, что со временем не будет и вас, о косы. Знаю, косы, знаю. Но пощадите меня, хоть один-единственный раз пощадите, милые косы!



ВИКТОР СУВОРОВ

Ледокол

Кто начал Вторую мировую войну?

ЕЩЕ О СООБЩЕНИИ ТАСС

...Сталин был не из тех, чьи намерения объявлялись открыто.

Роберт Конквест

13 июня 1941 года московское радио передало не совсем обычное сообщение ТАСС, в котором утверждалось, что «Германия так же неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз... и что «эти слухи (т.е. слухи о готовящемся нападении Германии на СССР. — *Прим. авт.*) являются неуклюже состряпанной пропагандой враждебных СССР и Германии сил, заинтересованных в дальнейшем расширении и развязывании войны...» На следующий день центральные советские газеты опубликовали это сообщение, а еще через неделю Германия совершила нападение на СССР.

Кто был автором сообщения ТАСС, известно всем. Характерный стиль Сталина узнали и генералы в советских штабах, и эки в лагерях, и западные эксперты.

Небезынтересно, что после войны Сталин чистил ТАСС, но никому из руководителей этой организации не было предъявлено обвинений в распространении сообщения, которое можно было счесть «явно вредительским». Вину за передачу сообщения ТАСС Сталин мог бы взвалить на любого члена Политбюро (в удобное для Сталина время). Но он этого тоже не сделал и тем самым принял всю ответственность перед историей на себя лично.

Как в советской, так и в зарубежной печати об этом сообщении ТАСС писали очень много. Сообщение ТАСС иногда рассматривается чуть ли не как проявление близорукости. Однако в сообщении ТАСС от 13 июня 1941 года таинственного и непонятного гораздо больше, чем смешного. Ясным является только один вопрос: об авторе этого сообщения. Все остальное — загадка.

Умение молчать, по меткому выражению Д.Карнеги, встречается среди людей гораздо реже, чем любые другие таланты. С этой точки зрения Сталин был гением — он умел молчать. И это не только сильнейшая черта его характера, но и сверхмощное оружие борьбы. Своим молчанием он усыплял бдительность противников, поэтому удары Сталина всегда были так внезапны и потому неотразимы. Отчего же Сталин заговорил, да так, чтобы слышали все? Где скрытность? Где хитрость? Где действия, опережающие слова?

Публикации в военных газетах (особенно недоступных посторонним), были тоже прямо противоположного содержания сообщению ТАСС.

Сообщение ТАСС никак не вяжется не только с характером Сталина, но и с центральной идеей всей коммунистической мифологии. Любой коммунистический тиран (а Сталин особенно) всю свою жизнь повторяет простую и понятную фразу: враг не дремлет. И вот однажды, только однажды в истории всех коммунистических режимов, глава самого мощного из этих режимов заявил на весь мир, что угроза агрессии не существует.

Давайте же не считать сообщение ТАСС глупым, смешным, наивным. Давайте считать это сообщение странным, непонятным, необъяснимым. Давайте постараемся понять смысл этого сообщения.

13 июня 1941 года — одна из самых важных дат советской истории. По своему значению она, конечно, гораздо важнее, чем 22 июня 1941 года. Советские генералы, адмиралы и маршалы в своих мемуарах описывают этот день гораздо подробнее, чем 22 июня. Вот совершенно стандартное описание того дня.

Генерал-лейтенант Н.И.Бирюков (в то время генерал-майор, командир 186 стрелковой дивизии 62 стрелкового корпуса Уральского военного округа): «13 июня 1941 года мы получили из штаба округа директиву особой важности, согласно которой дивизия должна была выехать в «новый лагерь». Адрес нового расквартирования не был сообщен даже мне, командиру дивизии. И только проездом, в Москве я узнал, что наша дивизия должна сосредоточиться в лесах западнее Идрицы» (Военно-исторический журнал — ВИЖ № 4. 1962, с. 80).

Напомним читателю, что в мирное время дивизия имеет «секретные», а иногда «совершенно секретные» документы. Документ «особой важности» может появиться в дивизии только во время войны и только в исключительном случае, когда речь идет о подготовке операции чрезвычайной важности. Многие советские дивизии за четыре года войны не имели ни одного документа этой высшей степени секретности. Обратим также внимание на кавычки, которые генерал Бирюков использует для «нового лагеря».

186 дивизия была в Уральском округе не единственной, получившей такой приказ. Все дивизии округа получили такой же приказ. Официальная история округа (Краснознаменный Уральский. М. Воениздат. 1983, с. 104) четко фиксирует эту дату: «Первой начала погрузку 112 стрелковая дивизия. Утром 13 июня с маленькой железнодорожной станции отошел эшелон... За ним пошли другие эшелоны. Затем началась отправка частей 98, 153, 186 стрелковых дивизий. К отправке готовились 170 и 174 стрелковые дивизии, артиллерийские, саперные, зенитные и другие части.

Генерал армии С.М.Штеменко: «Перед самым началом войны под строжайшим секретом в пограничные округа стали стягиваться дополнительные силы. Из глубины страны на запад перебрасывались пять армий» (Генеральный штаб в годы войны. М. Воениздат, 1968, с.26).

Генерал армии С.П.Иванов добавляет: «Одновременно с этим к передислокации готовились еще три армии» (Начальный период войны. М. Воениздат. 1974, с.211).

Возникает вопрос: почему все восемь армий не начали движение одновременно? Ответ простой. В марте, апреле, мае была проведена грандиозная тайная переброска советских войск на запад. Весь железнодорожный транспорт страны был вовлечен в эту колоссальную тайную операцию. Она завершилась вовремя, но десятки тысяч вагонов должны были вернуться на тысячи километров назад. Поэтому 13 июня, когда началась новая сверхогромная тайная переброска войск, всем армиям просто не хватило вагонов.

Масштабы предшествующей переброски представить почти невозможно. Точных цифр у нас нет. Но вот некоторые отрывочные свидетельства.

Бывший заместитель народного комиссара государственного контроля И.В.Ковалев: «В мае — начале июня транспортной системе СССР пришлось осуществить перевозки около 800.000 резервистов... Эти перевозки нужно было провести скрытно...» (Транспорт в Великой Отечественной Войне. М. Наука. 1981, с.41).

Такова была обстановка в мае. Именно в такой обстановке 13 июня началась новая небывалая тайная перегруппировка войск, которые должны были образовать Второй стратегический эшелон Красной Армии.

В своих ранних публикациях по данному вопросу я называл численный состав Второго стратегического эшелона — 69 танковых, моторизованных и стрелковых дивизий, не считая десятков отдельных полков и сотен отдельных батальонов. Дальнейшее исследование показало, что я ошибался. В настоящее время я имею

сведения о 77 дивизиях и очень большом числе полков и батальонов, начавших тайное движение на запад под прикрытием сообщения ТАСС.

Теперь мы посмотрим, что происходило в Первом стратегическом эшелоне в момент, когда советское радио передавало такие, казалось бы, наивные заявления.

«14 июня Военный совет Одесского военного округа получил распоряжение о создании армейского управления в Тирасполе» (ВИЖ № 4. 1978, с.86). Речь идет о 9 армии. «14 июня Военный совет Прибалтийского особого военного округа утвердил план передислокации ряда дивизий и отдельных полков в приграничную полосу». (Советская Военная Энциклопедия. М. Том 6, с. 517).

«Одновременно с выдвижением войск из глубины страны началась скрытая перегруппировка соединений внутри пограничных округов. Под видом изменения дислокации летних лагерей соединения подтягивались ближе к границе... Большинство соединений перемещалось в ночное время...» (Генерал армии С.П.Иванов. Начальный период войны. М. Воениздат. 1974, с.211).

Вот несколько совершенно стандартных свидетельств тех дней:

Маршал Советского Союза Г.К.Жуков (в то время генерал армии, Начальник Генерального Штаба): «Нарком обороны С.К.Тимошенко рекомендовал командующим войсками округов проводить тактические учения соединений в сторону государственной границы, с тем, чтобы подтянуть войска ближе к районам развертывания по планам прикрытия. Эта рекомендация наркома обороны проводилась в жизнь округами, однако с одной существенной оговоркой: в движении не принимала участия значительная часть артиллерии». (Воспоминания и размышления. М. АПН. 1969. с.242).

Маршал Советского Союза К.К.Рокоссовский (в то время командир 9 механизированного корпуса) поясняет простую причину, почему войска выходили к государственной границе без артиллерии, — артиллерию было приказано выслать к границам чуть раньше. (Солдатский долг. М. Воениздат. 1968, с.8).

Маршал Советского Союза К.А.Мерецков (в то время генерал армии, заместитель наркома обороны): «По моему указанию было проведено учение механизированного корпуса. Корпус был выведен в порядке тренировки в приграничный район да там и оставлен. Потом я сказал Захарову, что в округе имеется корпус генерал-майора Р.Я.Малиновского, который во время учений тоже надо вывести в приграничный район». (На службе народу. М. ИПЛ. 1968, с.204).

Маршал Советского Союза Р.Я.Малиновский (в то время генерал-майор, командир 48 стрелкового корпуса Одесского военного округа) подтверждает, что этот приказ был выполнен: «Корпус еще 7 июня выступил из района Кировограда в Бельцы и 14 июня был на месте. Это перемещение произошло под видом больших учений» (ВИЖ № 6. 1961, с.6).

Маршал Советского Союза В.М.Захаров (в то время генерал-майор, начальник штаба Одесского военного округа): «15 июня управление 48 стрелкового корпуса, 74 и 30 стрелковые дивизии под видом учений сосредоточились в лесах в нескольких километрах восточнее г. Бельцы». (Вопросы истории № 5. 1970, с.45). Маршал отмечает, что управление корпуса, корпусные части и 74 стрелковая дивизия были подняты по боевой тревоге. Он говорит, что в «учениях» в этот момент принимала участие и 16 танковая дивизия.

Маршал Советского Союза И.Х.Баграмян (в то время полковник, начальник оперативного отдела Киевского особого военного округа): «Нам пришлось готовить всю оперативную документацию, связанную с выдвижением пяти стрелковых и четырех механизированных корпусов из районов постоянной дислокации в приграничную зону» (Так начиналась война. М. Воениздат. 1971, с.64), «15 июня мы получили приказ начать... выдвижение всех пяти стрелковых корпусов к границе... Они забрали с собой все необходимое для боевых действий. В целях скрытности движение осуществлялось только по ночам» (Там же, с.77).

Остальные 114 дивизий Первого стратегического эшелона находились в глубине территории западных пограничных округов и могли быть придвинуты к границе. Нас интересует вопрос: сколько же из этих 114 дивизий начали движение к границам под прикрытием успокаивающего сообщения ТАСС? Ответ: ВСЕ! «12-15 июня западным военным округам был отдан приказ; все дивизии, расположенные в глубине, выдвинуть ближе к государственным границам»

(В.Хвостов, генерал-майор А.Грылев. — «Коммунист». № 12. 1968, с. 68). К этим 114 дивизиям Первого стратегического эшелона мы прибавим 77 дивизий Второго стратегического эшелона которые, как мы уже знаем, тоже начали выдвижение на запад или готовились это сделать.

Итак, 13 июня 1941 года — это начало самого крупного в истории всех цивилизаций перемещения войск. Теперь самое время снова взять в руки сообщение ТАСС от 13 июня и перечитать его внимательно. Сообщение ТАСС говорит не только о намерениях Германии (историки почему-то концентрируют свое внимание на этой вводной части сообщения), но и о действиях Советского Союза (эту часть сообщения историки не считают интересной): «Слухи о том, что СССР готовится к войне с Германией, являются ложными и провокационными... проводимые сейчас летние сборы запасных Красной Армии и предстоящие маневры имеют своей целью не что иное, как обучение запасных и проверку работы железнодорожного аппарата, проводимых, как известно, каждый год, ввиду чего изображать эти мероприятия как враждебные Германии по крайней мере нелепо».

Сравнивая это заявление с тем, что происходило на самом деле, мы обнаружим некоторое несовпадение в словах и делах.

В сообщении ТАСС говорится: «Проверка железнодорожного аппарата». Позволим себе в этом усомниться. Переброска советских войск началась в феврале, в марте усилилась, в апреле-мае достигла грандиозных размеров, а в июне приобрела поистине всеобщий характер; в движении не участвовали только те дивизии, которые уже вплотную были придвинуты к границам, те, которые готовились к вторжению в Иран, и те, которые оставались на Дальнем Востоке. Полное сосредоточение советских войск на германской границе планировалось 10 июля (Генерал армии С.П.Иванов. Начальный период войны. М. Воениздат. 1974, с.211).

Тут читатель может спросить: так, может быть, Сталин почувствовал недоброе и концентрировал войска для обороны?

Но все то, о чем идет речь, — не оборонительные мероприятия. Войска, которые готовятся к обороне, зарываются в землю. Это нерушимое правило, усвоенное каждым унтером со времен русско-японской и всех последующих войн. Войска, которые готовятся к обороне, прежде всего перехватывают самые широкие поля, по которым будет наступать противник, перекрывают дороги, устанавливают провололочные заграждения, роют противотанковые рвы, готовят оборонительные сооружения и укрытия позади водных преград. Но Красная Армия не делала ничего подобного. Советские дивизии, армии и корпуса уничтожали ранее построенные оборонительные сооружения. Ранее установленные провололочные и минные заграждения не устанавливались, а снимались. Войска концентрировались позади водных преград (что удобно для обороны), а впереди них (что удобно для наступления). Советские войска не перехватывали широкие поля, удобные для продвижения противника, а прятались в лесах, точно так же, как и германские войска, которые готовились к наступлению.

Может быть, все эти мероприятия — просто демонстрация мощи? Конечно, нет. Демонстрация должна быть видна противнику. Красная Армия же, наоборот, не демонстрировала, а старалась скрыть свои приготовления. Да и само сообщение ТАСС написано не для того, чтобы противника напугать, а для того, чтобы его успокоить.

Поразительно, что в эти дни германская армия делала то же самое: двигалась к границам, пряталась в лесах, но это движение было очень трудно скрыть. Советские разведывательные самолеты «по ошибке» летали над германской территорией. Их никто не сбивал. Над германской территорией летали не только рядовые летчики, но и командиры гораздо более высокого ранга. Вот командир 43 истребительной авиационной дивизии Западного особого военного округа генерал-майор авиации Г.Н.Захаров смотрит на германские войска сверху: «Создавалось впечатление, что в глубине огромной территории зарождалось движение, которое притормаживалось здесь, у самой границы, упираясь в нее, как в невидимую преграду, и готовое вот-вот переклестнуть через край». (Повесть об истребителях. М. Изд. ДОСААФ. 1977, с.43).

Интересно, что германские летчики тоже летали над советской территорией, и тоже «по ошибке», их тоже никто не сбивал, и они видели точно такую же картину! В старых трофейных архивах я нашел впечатления германского летчика, который описывает советские войска именно этими же словами!

Германские военные историки сделали больше всех для того, чтобы понять смысл происходивших в июне 1941 года событий. Я преднамеренно не цитирую германские документы, чтобы не повторять то, что уже сказано в Германии. Я только подчеркиваю, что слова советских офицеров, генералов и маршалов полностью подтверждаются тем, что говорила германская разведка еще до 22 июня 1941 года: Красная Армия гигантскими потоками устремилась к границам.

Когда мы говорим о причинах поражений Красной Армии в начальном периоде войны, то почему-то забываем главную причину: Красная Армия находилась в вагонах. Любой исследователь может найти тысячи сообщений подобных этим.

«В момент начала войны половина эшелонов 64 стрелковой дивизии находилась в пути» (ВИЖ № 9. 1960, с. 56).

«Война застала большую часть соединений 21 армии в эшелонах, растянувшихся по железным дорогам на огромном пространстве от Волги до Днепра» (По приказу Родины: боевой путь 6-й гвардейской армии в ВОВ. М. Воениздат. 1971, с. 5).

«Война застала 63 стрелковый корпус в пути. Только первые эшелоны успели прибыть 21 июня на станции Добруш и Ново-Белица к месту разгрузки. Последующие подходили чрезвычайно разрозненно до первых чисел июля на разные станции вблизи Гомеля. А ряд частей корпуса, например, все полки 53 стрелковой дивизии, кроме 110 стрелкового и 36 артиллерийского, еще не доезжая Гомеля, были повернуты на север» (ВИЖ № 6. 1966, с. 17).

«Вражеская авиация систематически наносила удары по железнодорожным станциям и путям. Графики движения нарушились. Выгрузка нередко осуществлялась не на станциях назначения, а в других пунктах. Были случаи, когда подразделения попадали в соседние армии и там вводились в бой» (В.А.Анфилов. Провал «Блицкрига». М. Наука. 1974, с. 463).

Чтобы представить себе трагичность ситуации, стоит снова вспомнить хотя бы генерала М.Лукина. Он, как командующий армией, уже воевал под Шепетовкой, а штаб его армии еще находился в Забайкалье. Эшелоны его армии растянулись на тысячи километров. Потом прибыл штаб, но батальон связи все еще находился в пути. Такие ситуации возникали повсеместно: на одних станциях выгружались штабы, которые не имели войск, в других местах — войска без штабов. Хуже было, когда эшелон останавливался не на станции, а в поле. Танковый батальон — огромная сила. Но в эшелоне он беззащитен. Если война застала эшелон с тяжелой техникой там, где нет мест для разгрузки, то приходилось или уничтожить эшелон, или бросать его.

Но и те дивизии, которые находились в Первом стратегическом эшелоне и выдвигались к границе своим ходом, оказались не в лучшем положении. Дивизия в колоннах на марше — это отличная цель для авиации. Вся Красная Армия представляла собою одну отличную цель.

13 июня Молотов вызвал к себе германского посла и передал ему текст сообщения ТАСС. В сообщении говорится, что Германия не хочет напасть на СССР, СССР не хочет напасть на Германию, но «враждебные СССР и Германии силы, заинтересованные в развязывании и расширении войны» пытаются их поссорить, распространяя провокационные слухи о близости войны. В сообщении эти «враждебные силы» названы по именам: «Британский посол в Москве. Криппс», «Лондон», «английская пресса».

Наше исследование будет неполным, если 13 июня 1941 года мы не побываем в Лондоне.

Резонно предположить, что 13 июня состоялась встреча в Лондоне между советским послом И.Майским и министром иностранных дел Великобритании А.Иденом. На встрече Майский бросает на стол Сообщение ТАСС, стучит кулаком по столу, топает ногами и требует убрать посла Криппса из Москвы, не

сеять рознь между хорошими друзьями Сталиным и Гитлером, прекратить провокационные слухи о войне между СССР и Германией. Вы так представляете эту встречу? Вы ошибаетесь. Дело обстояло совсем по-другому.

13 июня 1941 года действительно состоялась встреча между Майским и Иденом. Майский сообщение ТАСС британскому правительству не передал, ногами не топал и кулаком не стучал. Встреча прошла в дружественной обстановке. Обсуждался серьезный вопрос: меры, которые предпримет Великобритания для помощи Красной Армии, «если в ближайшем будущем начнется война между СССР и Германией». Среди конкретных мер: прямые боевые действия британской авиации в интересах Красной Армии, военные поставки, координация действий военного командования двух стран (История второй мировой войны. Том 3, с. 352).

13 июня сталинская дипломатия закладывает фундамент того, что вскоре будет названо термином «Антигитлеровская коалиция». Со стороны Великобритании ничего плохого в этом нет: Великобритания ведет войну против Гитлера. Но Сталин ведет грязную игру. С Германией заключен пакт о ненападении и немедленно после этого — договор о дружбе. Если советское правительство считает, что эти документы больше не отвечают реально сложившейся ситуации, их надо аннулировать. Но Сталин этого не делает, он уверяет Гитлера в пылкой дружбе и разоблачает в сообщении ТАСС тех, «кто хочет расширения войны» — британских политиков. В это же время в Лондоне ведутся переговоры о военном союзе с противником Германии о конкретных военных мерах против Германии. Удивительно: еще до нападения Гитлера на СССР!

За нейтральностью дипломатического тона скрываются вполне серьезные вещи. Совсем недавно советская дипломатия вела с Германией переговоры о Польше: «...если на территории польского государства произойдут изменения...» Теперь настало время, когда советские дипломаты заговорили о Германии за ее спиной подобным тоном. Удивительно, что на переговорах в Лондоне обе стороны употребляют термин «если начнется война», вместо «если Германия нападет». Другими словами, собеседники совсем не исключают того, что война может начаться не путем германской агрессии, а каким-то другим образом.

Чтобы окончательно составить себе представление о товарище Майском и советской дипломатии вообще, нужно добавить, что вернувшись в Москву после 11 лет работы, он сопровождал Сталина на встречах с Черчиллем и Рузвельтом, требуя усиления помощи. А потом написал книгу: «Кто помогал Гитлеру» (Москва. ИМЛ. 1962). Из этой книги мы узнаем, что Вторую мировую войну Гитлер сам начать не смог бы, Великобритания и Франция ему помогли. Далее советский посол перекладывает вину за «бесчисленные жертвы и страдания» на плечи страны, которая предлагала военную и экономическую помощь Сталину еще 13 июня 1941 года.

Сообщение ТАСС имеет целью прекратить слухи о неизбежной войне между СССР и Германией. Сталин решительно боролся с этими слухами. 13-14 июня — это внезапная вспышка террора в Москве. Полетели головы, в том числе и очень знаменитые.

Перед Гитлером стояла та же самая проблема. Приготовления к войне скрыть трудно. Люди их видят, высказывая всякие предположения. 24 апреля германский военно-морской атташе направил тревожное сообщение в Берлин о том, что он борется с «явно нелепыми слухами о предстоящей германо-советской войне». 2 мая посол Шуленбург докладывает о том, что он борется со слухами, но все германские сотрудники, приезжающие из Германии, привозят «не только слухи, но и подтверждающие их факты». 24 мая глава департамента иностранной прессы Министерства пропаганды Германии Карл Бёмер в пьяном виде что-то говорил лишнее об отношениях с Советским Союзом. Он был немедленно арестован. Гитлер лично занимался этим делом и, по словам Геббельса, придал этому событию «слишком серьезное значение». 13 июня 1941 года, в день, когда передавалось сообщение ТАСС о том, что войны не будет, Карл Бёмер предстал перед Народным судом (потрясающе: народный суд, точно как в Советском Союзе) и объявил свои речи пьяным бредом: конечно, никакой войны между Германией и Советским Союзом не будет! Это не спасло беднягу

Бёмера от жестокого наказания, которое послужило хорошим уроком всей Германии: войны не будет! войны не будет! войны не будет! А чтобы ни у кого не было сомнений и за рубежом, Риббентроп разослал 15 июня совершенно секретные телеграммы своим послам: намечаются крупнейшие переговоры с Москвой. Послы должны под величайшим секретом это сообщить кое-кому. Например, советник германского посольства в Будапеште как особую тайну обязан был сообщить эту новость президенту Венгрии.

Принципы дезинформации для всех одинаковы: если не хочешь, чтобы секрет узнал враг, скрывай его и от друзей! И вот, на следующий день после сообщения ТАСС, Германия предпринимает преднамеренную дезинформацию своей дипломатии и своих военных союзников. Мы знаем, что советское высшее командование делало то же самое в отношении советских войск.

Вглядываясь во мрак истории социализма германского и социализма советского, мы находим потрясающие сходства не только в лозунгах, песнях, идеологии, но и в исторических событиях. В истории национал-социализма есть событие очень похожее на сообщение ТАСС. 8 мая 1940 года германское радио объявило о том, что Великобритания намечает вторжение в Нидерланды. Далее следовало самое интересное: сведения о том, что две германские армии перебрасываются к границам Голландии, это «нелепые слухи», пущенные в ход «британскими поджигателями войны». Что случилось после этого — хорошо известно. Это сообщение германского радио и сообщение советского радио повторяют друг друга почти слово в слово. Главная мысль: мы не перебрасываем войска, это придумали «британские поджигатели войны». Я знаю, что сравнение — это не доказательство, но в данном случае два сообщения не только похожи, это почти копии.

139

Советские историки после моих первых публикаций закричали: да, выдвижение советских войск происходило, но советские источники давно дали удовлетворительное (оборонительное) объяснение этой акции, поэтому не надо искать никакого другого объяснения, все и так понятно.

Нет, братцы! Не все понятно. И никто в Советском Союзе никогда не дал удовлетворительного объяснения. Именно отсутствие объяснения этих действий привлекло мое внимание. У советских генералов и маршалов не только нет объяснения, но ни один из них ни разу не назвал точное количество дивизий, принимавших участие в этом титаническом движении: 191! Ни один из них никогда не назвал и приблизительную цифру. Можем ли мы ожидать от генерала удовлетворительного объяснения, если он или не знает или сознательно скрывает истинный размах происходящих событий.

Для того, чтобы дать объяснение явлению, нужно сначала точно определить его размер.

Любой исследователь, который пытается объяснить выдвижение советских войск и сообщение ТАСС, прикрывающее это движение, не может приниматься нами всерьез до тех пор, пока он не попытается хотя бы приблизительно суммировать все, что об этом движении известно и открыто опубликовано.

О сообщении ТАСС и событиях, которые случились в тот день, говорят мною. Но говорят только те, кто к тайне Второго стратегического эшелона допущен не был. А кто знал назначение перебрасываемых войск, те молчат или ссылаются на свидетельства непосвященных.

Им есть о чем молчать.

ЗАЧЕМ БЫЛ СОЗДАН ВТОРОЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЭШЕЛОН?

Мобилизация есть война.

И много понимания ее мы не мыслим.

Маршал Советского Союза

Б.М.Шапошников

Коммунисты объясняли создание и выдвижение Второго стратегического эшелона Красной Армии в западные районы страны тем, что вот-де Черчилль предупредил, Зорге предупредил, еще кто-то предупредил — одним словом, выдвижение второго стратегического эшелона — это реакция Сталина на действия Гитлера.

Но это объяснение не выдерживает критики.

Генерал армии И.В.Тюленев в самый первый момент вторжения германских войск в Кремле разговаривает с Жуковым. Вот слова Жукова: «Доложили Сталину, но он по-прежнему не верит, считает это провокацией немецких генералов» (Через три войны. М. Воениздат. 1960, с.141). Таких свидетельств я могу привести тысячу, но и до меня много раз доказано, что Сталин в возможность германского нападения не верил до самого последнего момента, даже после вторжения и то не верил.

У коммунистических историков получается нестыковка: Сталин проводит самую мощную перегруппировку войск в истории человечества для того, чтобы предотвратить германскую агрессию, в возможность которой он не верит!

Выдвижение Второго стратегического эшелона — это не реакция на действия Гитлера. Создание Второго стратегического эшелона началось до знаменитого «предупреждения» Черчилля, до «важных» сообщений Зорге, до начала массовых перебросок германских войск на советские границы.

Переброска войск Второго стратегического эшелона — это железнодорожная операция, которая требовала длительной подготовки, точного предварительного планирования. Маршал Советского Союза С.К.Куркоткин сообщает, что Генеральный штаб передал все необходимые документы по перевозкам войск в Наркомат путей сообщения 21 февраля 1941 года (Тыл СВС в ВОВ. М. Воениздат. 1977, с.33). Но и Генеральному штабу требовалось время на то, чтобы эти документы тщательно подготовить, нужно было точно указать железнодорожникам, когда, куда, какой транспорт подавать, как маскировать погрузку и переброску, какие маршруты использовать, где готовить места массовой разгрузки войск. Но чтобы подготовить все это, Генеральный штаб должен был точно определить, где и какие войска в какое время должны появиться. Значит, решение о создании Второго стратегического эшелона и начало планирования его переброски и боевого использования мы должны искать где-то раньше. И мы находим...

В принципе, создание войск во внутренних округах и переброска их в западные приграничные — это процесс, начатый 19 августа 1939 года. Начатый решением Политбюро, он никогда не прекращался, постепенно набирая силу. Вот только один военный округ для примера — Уральский. В сентябре 1939 года в нем формируются две новых дивизии — 85 и 159. 85 мы находим 21 июня 1941 года у самых германских границ в районе Августова на участке, где НКВД режет колючую проволоку. 159-ю мы тоже находим на самой границе в Рава-Русской, в составе 6 (сверхударной) армии. В конце 1939 года в том же Уральском военном округе создаются 110, 125, 128 стрелковые дивизии, и каждую из них мы потом находим на германских границах. Причем 125-ю по советским источникам — «непосредственно на границе» Восточной Пруссии. Уральский округ формировал еще много полков и дивизий, и все они тихо и без шума перебирались поближе к границам.

Пока Второй стратегический эшелон официально не существует, пока его армии находятся на положении призраков, высшее советское военное руководство отбатывает способы взаимодействия войск Первого и Второго стратегических эшелонов. Вот, во второй половине 1940 года, генерал армии Д.Г.Павлов проводит совещание с командующими армиями и начальниками штабов Западного особого военного округа.

В Западном особом военном округе готовятся командно-штабные учения. Отбатываются способы действий командиров, штабов, систем связи в начальный период войны. Советским штабам в ходе учений предстоит перемещаться на запад точно так, как они это готовятся делать в начале войны. Начальник штаба 4 армии Л.М.Сандалов задает недоуменный вопрос: «А те штабы, которые находятся у самой границы? Куда им двигаться?» (Генерал-полковник Л.М.Сандалов. Пережитое. М. Воениздат. 1966, с.65). Нужно отметить, что при подготовке оборонительной войны никто не держит штабов «у самой границы», а советские штабы были выдвинуты сюда и тут находились постоянно с момента установления общих границ с Германией. Интересна так же реакция начальника штаба приграничной армии: у него приказ «передвигаться» ассоциируется только

с понятиями «передвигаться на запад», «передвигаться через границу». Он даже представить себе не может, что в войне штаб можно перемещать куда-то еще.

На совещании вблизи границ, кроме командиров Первого стратегического эшелона, присутствуют высокие гости из Второго стратегического эшелона во главе с командующим Московским военным округом генералом армии И.В.Тюленевым. Пользуясь присутствием Тюленева, генерал армии Д.Г.Павлов объясняет командующему 4 армии генерал-лейтенанту В.И.Чуйкову (будущему Маршалу Советского Союза) назначение Второго стратегического эшелона:

«— ... Когда из тыла подойдут войска внутренних округов, — Павлов посмотрел на Тюленева, — когда в полосе вашей армии будет достигнута плотность — семь с половиной километров на дивизию, тогда можно будет двигаться вперед и не сомневаться в успехе».

Присутствие командующего Московским Военным округом генерала армии И.В.Тюленева на совещании в приграничном военном округе очень знаменательно. Уже в 1940 году он знал свою роль в начальном периоде войны: со своим штабом появиться в приграничном округе, когда Первый стратегический эшелон перейдет государственную границу. К слову сказать, в феврале 1941 года под напором Жукова, принявшего Генеральный штаб, советский план был изменен и генерал армии Тюленев со своим штабом должен был тайно перебрасываться не на германскую, а на румынскую границу, ибо основные усилия Красной Армии были сконцентрированы именно там.

Плотность войск «семь с половиной километров на дивизию», которую используют советские генералы — это стандарт для наступления. В то время для оборонительных действий дивизии давалась полоса местности в три-четыре раза большая. Тут же на совещании отрабатывается и еще один важный вопрос о том, как маскировать выдвижение советских войск к границам: «выдвижение... новых дивизий можно провести под видом учебных сборов».

13 июня 1941 года — это момент, когда 77 советских дивизий внутренних военных округов «под видом учебных сборов» устремились к западным границам. В этой ситуации Адольф Гитлер не стал дожидаться, когда советские генералы создадут «уставную плотность семь с половиной километров на дивизию», и нанес удар первым.

После того как Германия начала превентивную войну, Второй стратегический эшелон (как и Первый) использовался для обороны. Но это совсем не означает, что он для этого создавался. Генерал армии М.И.Казаков говорит о Втором эшелоне: «После начала войны в планы его использования пришлось внести кардинальные изменения» (ВИЖ № 12. 1972, с.46).

Генерал-майор В.Земсков выражается более точно: «Эти резервы мы вынуждены были использовать не для наступления в соответствии с планом, а для обороны» (ВИЖ № 10. 1971. с.13).

Генерал армии С.П.Иванов: «В случае если бы войскам Первого стратегического эшелона удалось... перенести боевые действия на территорию противника еще до развертывания главных сил, Второй стратегический эшелон должен был нарастить усилия Первого эшелона и развивать ответный удар в соответствии с общим стратегическим замыслом». (Начальный период войны. М. Воениздат. 1974, с. 206). В этой фразе читателя не должен смущать термин «ответный удар». Значение этого термина можно понять оглянувшись на Зимнюю войну. Даже сорок лет спустя советская версия гласит, что Финляндия напала, а Красная Армия только нанесла «ответный удар».

О настроениях во Втором стратегическом эшелоне рассказывает генерал-лейтенант С.А.Калинин. Перед началом тайного выдвижения на запад он готовит войска Сибирского военного округа (превращенные затем в 24 армию) к боевым действиям. В ходе учений генерал заслушивает мнение младшего офицера: «Да и укрепления-то, наверное, не потребуются. Ведь мы готовимся не к обороне, а к наступлению, будем бить врага на его же территории» (Размышления о минувшем. М. Воениздат. 1963, с.124). Генерал Калинин передает слова молодого офицера с некоторой иронией: вот какой наивный. Но он не говорит,

откуда у молодого офицера такие настроения. Если офицер не прав, генерал Калинин должен был бы его поправить, а кроме того, указать всем командирам от батальона до корпуса, что младшие офицеры чего-то не понимают, что направленность боевой подготовки односторонняя. Но генерал Калинин этого не делает, и его войска продолжают готовиться «воевать на территории противника».

Интересно заявление того же генерала в той же книге (с.182-183). Сдав 24 армию генералу К.Ракутину, Калинин вернулся в Сибирь и тут «в барачных городках для лесорубов» готовит десять новых дивизий. Слово Калинин: «С чего же начинать? На чем сосредоточить при обучении войск главное внимание — на обороне или наступлении? Положение на фронтах оставалось напряженным. Войска Красной армии продолжали вести тяжелые оборонительные бои.

Опыт боев показал, что мы далеко не всегда умело строили оборону. Оборонительные позиции зачастую плохо оборудовались в инженерном отношении. Подчас даже на первой позиции не имелось системы траншей. Боевой порядок оборонявшихся чаще всего состоял из одного эшелона и небольшого резерва, что снижало стойкость войск. Во многих случаях люди были плохо подготовлены к противотанковой обороне, существовала известная танкобоязнь...

Вместе с тем думалось: «Не всегда же мы будем обороняться. Отступление — дело вынужденное...

К тому же оборона никогда не считалась и не считается главным видом боевых действий... Значит, нужно готовить войска к наступательным боям...» Поделился я с командирами. Пришли к единому мнению: «главные усилия при обучении направлять на тщательную отработку вопросов тактики наступательных действий».

Если даже после германского вторжения генерал Калинин продолжает учить войска только наступлению, к чему же он их готовил до вторжения?

Второй стратегический эшелон в результате германской превентивной акции пришлось использовать не по прямому назначению, а для обороны. Но у нас достаточно документов для того, чтобы установить первоначальное предназначение Второго стратегического эшелона, и роль, которая отводилась ему в советских планах войны. Тут, как и в первом эшелоне, каждая армия имела свою неповторимую индивидуальность, свое лицо, свой характер. Большинство армий выдвигались налегке, представляя собой как бы мощный каркас, который после прибытия и тайного развертывания в лесах в западных районах страны, предстояло дополнить, достроить. Стандартный состав армий Второго стратегического эшелона: два стрелковых корпуса по три стрелковых дивизии в каждом. Это не ударная, а обычная армия сокращенного состава.

По прибытию в западные районы каждая армия немедленно приступала к отмотилизованию и дополнению своих дивизий и корпусов. Отсутствие механизированных корпусов с огромным количеством танков в составе большинства армий Второго стратегического эшелона вполне логично. Во-первых, такие корпуса создавались в основном в западных районах страны. В случае необходимости их не надо перебрасывать на запад из далеких уральских и сибирских провинций: проще прибывающие оттуда облегченные армии дополнить такими корпусами уже в западных районах страны. Еще лучший вариант: использовать подавляющее большинство механизированных корпусов в первом внезапном ударе, чтобы он получился необычайно мощным, после этого ввести в бой Второй стратегический эшелон и передать его облегченным армиям все танки, которые уцелеют после первых операций.

Но среди армий Второго стратегического эшелона были и исключения. 16 армия была явно ударной. В ее составе был полностью укомплектованный механизированный корпус, который имел более 1000 танков, кроме того, вместе с этой армией на запад выдвигалась отдельная 57 танковая дивизия (полковник В.А.Мишулин), которая находилась в оперативном подчинении командующего 16 армией. Всего с учетом этой дивизии в 16 армии было более 1200 танков, а при полном укомплектовании эта цифра должна была превзойти 1340. Еще более

мощной была 19 армия, тайно перебрасываемая с Северного Кавказа. В ее составе было четыре корпуса, включая один механизированный (26). Есть достаточно сведений о том, что 25 механизированный корпус (генерал-майор С.М.Кривошеин) тоже предназначался 19 армии. Это была явно сверхударная армия. Даже ее стрелковые корпуса имели необычную организацию и возглавлялись командирами очень высокого ранга. Например, 34 стрелковый корпус (генерал-лейтенант Р.П.Хмельницкий) имел в своем составе четыре стрелковых и одну горнострелковую дивизии и несколько тяжелых артиллерийских полков. Присутствие горнострелковых дивизий в армии не случайно. 19 армия, самая мощная армия Второго стратегического эшелона, тайно разворачивалась НЕ ПРОТИВ ГЕРМАНИИ.

В этом проявляется весь советский замысел: самая мощная армия Первого стратегического эшелона — против Румынии, самая мощная армия Второго стратегического эшелона — прямо за ее спиной, тоже против Румынии.

Платные друзья Советского Союза пустили в ход легенду о том, что Второй стратегический эшелон предназначался для «контрударов». Если так, то самый мощный «контрудар» готовился по румынским нефтяным полям.

Вторая по мощи во Втором стратегическом эшелоне 16 армия разворачивалась рядом. Она могла тоже использоваться против Румынии, но более вероятно — против Венгрии на стыке 26 (ударной) и 12 (горной ударной) армий, отрезая источники нефти от потребителя.

Но Гитлер своим вторжением все это разворачивание нарушил, и 16 и 19 армиям срочно пришлось перебрасываться под Смоленск, отсрочив на несколько лет «освобождение» Румынии и Венгрии.

Командующий 16 армии генерал-лейтенант М.Ф.Лукин не говорит, на каких территориях планировалось ее использовать. Но в любом случае это не советские территории: «Мы собирались воевать на территории противника» (ВИЖ № 7. 1979, с.43). На той же странице Маршал Советского Союза А.М.Василевский подчеркивает, что Лукину надо верить: «в его словах много суровой правды». Василевский сам выдающийся мастер воевать на «территориях противника». Это он в 1945 году нанес внезапный удар по японским войскам в Манчжурии, продемонстрировав высший класс того, как надо наносить внезапный удар противнику, занятому войной на других фронтах.

Сразу после раздела Польши осенью 1939 года огромное количество советских войск из мест постоянной дислокации были перебросены на новые границы. Но новые территории не были приспособлены для дислокации большого количества войск, особенно современных, с большим количеством боевой техники.

Официальная История Второй Мировой войны (Том 4, с.27): «Войска западных приграничных округов испытывали большие трудности. Все приходилось строить и оборудовать заново: ...базы и пункты снабжения, аэродромы, дорожную сеть, узлы и линии связи...»

Официальная История Белорусского военного округа (КБВО. М. Воениздат. 1983, с.84): «Перемещение соединений и частей округа в западные области Белоруссии вызывало немалые трудности... Личный состав 3,10, 4 армий... занимался ремонтом и строительством казарм, складов, лагерей, оборудованием полигонов, стрельбищ, танкодромов. Войска испытывали огромное напряжение». Генерал-полковник Л.М.Сандалов: «Перемещение сюда войск округа связано с огромными трудностями. Казарменный фонд был ничтожно мал... Для войск, не обеспеченных казарменными помещениями, строились землянки» (На Московском направлении. М. Наука. 1970, с. 41). Но войска все прибывали. Генерал Сандалов говорит, что для размещения войск в 1939-40 годах использовались склады, бараки, любые помещения, «В Бресте скопилось огромное количество войск... В нижних этажах казарм устраивались четырехъярусные нары».

Начальник Управления боевой подготовки Красной Армии генерал-лейтенант В.Н.Курдюмов на совещании командного состава в декабре 1940 года говорил, что войска в новых районах часто вместо боевой подготовки вынуждены заниматься хозяйственными работами.

На том же совещании Начальник Автобронетанкового управления генерал-лейтенант танковых войск Я.Н.Федоренко говорил, что почти все танковые соединения за 1939-40 год сменили свою дислокацию, иногда по три-четыре раза. В результате — «больше половины частей, перешедших на новые места, не имели полигонов».

Ценой огромных усилий в 1939 и 1940 годах войска Первого стратегического эшелона были устроены и расквартированы. Но вот с февраля 1941 года сначала медленно, а потом все быстрее начинается переброска в те же районы войск Второго стратегического эшелона.

И в этот момент произошло изменение, историками не замеченное: советские войска перестали заботиться о том, как они проведут следующую зиму. Войска Первого стратегического эшелона, бросив все свои землянки и недостроенные казармы, пошли в приграничную полосу. Речь идет о всех войсках и непосредственно о границе (Маршал Советского Союза И.Х.Баграмян (ВИЖ № 1. 1976, с.62). Войска Второго стратегического эшелона, выдвигаемые из глубины страны, не использовали недостроенные казармы и военные городки, брошенные Первым стратегическим эшелоном. Прибывающие войска не собирались зимовать в этих местах и никак не готовились к зиме. Они больше не строили землянок, они не строили полигонов и стрельбищ, они даже не рыли окопов. Имеется множество официальных документов и мемуаров советских генералов и маршалов, о том, что теперь войска располагались только в палатках. Примеры. Ранней весной 1941 года формируется в Прибалтике 188 стрелковая дивизия 16 стрелкового корпуса 11 армии. В мае она получает резервистов. Дивизия создает временный летний палаточный городок в районе Козлово Руда (45-50 км от государственной границы). Под прикрытием Сообщения ТАСС, дивизия бросает этот городок и идет к границе. Любые попытки найти хоть намек на подготовку к зиме обречены на провал — дивизия не готовилась тут зимовать. Рядом идет развертывание 28 танковой дивизии — та же картина. Во всех танковых, во всех вновь формируемых стрелковых дивизиях отношение к зиме изменилось — больше никого зима не пугает.

Маршал Советского Союза К.С.Москаленко (в то время генерал-майор, командир бригады) получает задачу от командующего 5 армией генерал-майора М.И.Потапова: «Здесь начала формироваться твоя бригада, займешь вот тут участок леса, построишь лагерь...» Мощная, полностью укомплектованная бригада в составе более 6000 человек с более чем сотней тяжелых орудий калибром до 85 мм оборудует лагерь за три дня. После этого начинается напряженная боевая подготовка по 8-10 часов в день, не считая ночных занятий, самоподготовки, обслуживания вооружения, тренировок при оружии. (На Юго-западном направлении. М. Наука. 1969, с.18).

Если советские войска готовятся к обороне — то надо зарываться в землю, создавая непрерывную линию траншей от Ледовитого океана до устья Дуная. Но они этого не делают. Если они намерены мирно провести еще одну зиму, то начиная с апреля-мая надо строить, строить и строить. Но и это не делается. Некоторые дивизии имеют где-то позади недостроенные казармы. Но многие дивизии создаются весной 1941 года и нигде ничего не имеют: ни казарм, ни барачков, но и не строят землянок. Где они собирались проводить зиму?

Генерал-майор А.Запороженко дает такое описание: «Завершающим этапом стратегического развертывания явилось скрытое выдвижение ударных группировок в исходные районы для наступления, которое осуществлялось в течение нескольких ночей перед нападением. Прикрытие выдвижения было организовано силами заранее выдвинутых к границе усиленных батальонов, которые до подхода главных сил контролировали назначенные дивизиям участки фронта.

Перевозка авиации началась в последних числах мая и закончилась к 18 июня. При этом истребительная и войсковая авиация сосредоточивалась на аэродромах, удаленных от границы до 40 км, а бомбардировочная — не далее 180 км». (ВИЖ № 4. 1984, с.42).

В этом описании нас может удивить только дата 18 июня. Советская авиация не завершила перебазирование, а только начала его 13 июня под прикрытием

Сообщения ТАСС. Отчего же генерал говорит про 18 июня? Дело в том, что он говорит не о Красной Армии, а о германском Вермахте. Там происходило то же самое: войска шли к границам ночами. Вперед были высланы усиленные батальоны. Прибывающие дивизии занимали исходные районы для наступления, проще говоря, прятались в лесах. В действиях двух армий — зеркальное изображение. Несовпадение — только во времени. Вначале советские войска действовали с опережением, теперь на две недели опережает Гитлер: у него меньше войск и перебрасывать их приходится на очень небольшое расстояние. Интересно, что в начале июня германская армия была в очень невыгодном положении: множество войск в эшелонах. Пушки в одном эшелоне, снаряды — в другом. Боевые батальоны разгружаются там, где нет штабов, а штабы там, где нет войск. Связи нет, т.к. по соображениям безопасности работа многих радиостанций до начала боевых действий запрещена. Германские войска тоже не рыли землянок и не строили полигонов. Но главное сходство — огромное количество запасов, войск, авиации, госпиталей, штабов, аэродромов — у самых советских границ, и мало кто знает план дальнейших действий — это строжайший секрет высшего командования.

Все то, что мы видим в Красной Армии и расцениваем как глупость, две недели назад делалось в германском Вермахте. Это не глупость, а подготовка к наступлению.

145

Что должно было случиться после полного сосредоточения Второго стратегического эшелона советских войск в западных районах страны? Ответ на этот вопрос был дан задолго до начала Второй мировой войны.

Генерал В.Сикорский: «Стратегическое выжидание не может продолжаться после того, как все силы будут мобилизованы и их сосредоточение закончено» (Будущая война. М. Воениздат. 1936, с. 240). Это говорит начальник Генерального штаба польской армий. Однако книга опубликована в Москве по решению советского Генерального штаба для советских командиров. Книга опубликована потому, что советская военная наука еще раньше пришла к твердому убеждению: «Самое худшее в современных условиях — это стремление в начальный период войны придерживаться тактики выжидания» (Война и революция. 1931. Книга 8, с.11).

Начальник советского Генерального штаба Маршал Советского Союза Б.М.Шапошников в этом вопросе имел твердое мнение:

«Длительное пребывание призванных резервистов под знаменами без перспектив войны может сказаться отрицательно на их моральном состоянии, вместо повышения боевой готовности последует ее понижение... Одним словом, как бы ни хотело командование, а тем более дипломатия, но с объявлением мобилизации по чисто военным причинам пушки могут начать стрелять сами.

Таким образом, нужно считать сомнительным предположение о возможности в современных условиях войны длительного пребывания мобилизованных армий в состоянии военного покоя без перехода к активным действиям» (Мозг армии. Том 3. ГИЗ. 1929)

Советская военная наука считает, что «мобилизация, сосредоточение, оперативное развертывание и ведение первых операций составляет единый неразрывный процесс» (ВИЖ № 1. 1986. с.15). Начав мобилизацию, а тем более сосредоточение и оперативное развертывание войск, советское командование уже не могло остановить или даже затормозить этот процесс. Это примерно то же самое, как бросить руку резко вниз, расстегнуть кобуру, выхватить револьвер, навести его на противника, одновременно взводя курок. После этого, нравится вам или нет, но выстрел неизбежен — ибо как только ваша рука стремительно устремилась вниз, противник с такой же скоростью (а то и быстрее) делает то же самое.

Историки до сих пор не ответили нам на вопрос: кто же начал советско-германскую войну 1941 года? При решении этой проблемы историки-коммунисты предлагают критерий: кто первым выстрелил, тот и виновник. А почему бы нам не использовать другой критерий? Почему бы нам не обратить внимание на то, кто первым начал мобилизацию, сосредоточение и оперативное развертывание, т.е. кто ПЕРВЫМ ПОТЯНУЛСЯ К ПИСТОЛЕТУ?

Шапошников понимал, что выдвижение войск — это война. Современные советские стратеги понимают это. Но в 1941 году начальником Генерального штаба был уже не Шапошников, а Жуков. Может быть, он выдвигал войска, не понимая, что это за война?

Нет, Жуков понимал все — и лучше нас.

Чтобы уяснить решительность действий советского высшего командования, мы должны вернуться в 1932 год в 4 кавалерийскую дивизию, лучшую не только во всей красной кавалерии, но и во всей Красной Армии вообще. До 1931 года дивизия находилась в Ленинградском военном округе и располагалась в местах, где раньше стояла императорская конная гвардия. Каждый может сам себе представить условия, в которых жила и готовилась к боям эта дивизия. Меньше чем великолепными условия ее расквартирования назвать нельзя. Но вот в 1932 году дивизию по чрезвычайным оперативным соображениям перебросили на неподготовленную базу. Маршал Советского Союза Г.К.Жуков: «В течение полутора лет дивизия была вынуждена сама строить казармы, конюшни, штабы, жилые дома, склады и всю учебную базу. В результате блестяще подготовленная дивизия превратилась в плохую рабочую воинскую часть. Недостаток строительных материалов, дождливая погода и другие неблагоприятные условия не позволили вовремя подготовиться к зиме, что крайне тяжело отразилось на общем состоянии дивизии и ее боевой готовности. Упала дисциплина...» (Воспоминания и размышления. М. АПН. 1969, с. 118).

Весной лучшая дивизия Красной Армии находилась «в состоянии крайнего упадка» и «являлась небоеспособной». Командира дивизии определили в качестве главного виновника со всеми вытекающими для него последствиями, а для дивизии «подыскивали нового командира». Вот этим-то командиром и стал Г.К.Жуков. Именно отсюда началось его восхождение. За работой Жукова следил не только командир корпуса С.К.Тимошенко, но и сам нарком обороны К.Е.Ворошилов — дивизия носила его имя и считалась лучшей. Ворошилов ждал от Жукова, что тот восстановит былую славу 4 кавалерийской дивизии, и Жуков драконовскими мерами эту славу восстановил, доказав, что ему можно ставить любую, даже теоретически невыполнимую задачу.

В 1941 году все участники этой истории поднялись выше уровня, на котором были в 1933 году. Гораздо выше. К.Е.Ворошилов — член Политбюро, Маршал Советского Союза, Председатель Комитета обороны; С.К.Тимошенко — Маршал Советского Союза, нарком обороны; Жуков — генерал армии, заместитель наркома обороны, начальник Генерального штаба. Это они втроем руководят тайным движением советских войск к германским границам.

Они знают лучше нас, и не из теоретических расчетов, что даже одну дивизию нельзя оставить на зиму в неподготовленном лесу. Солдат может перезимовать в любых условиях. Не в этом проблема. Проблема в том, что у западных границ нет стрельбищ, полигонов, танкодромов, нет учебных центров, нет условий для боевой подготовки. Войска или немедленно надо вводить в бой, или последует неизбежная деградация уровня боевой подготовки. Они знают, что оставлять на зиму нельзя ни одной дивизии в неподготовленном месте. Они знают, что виновных найдут, и знают, что с виновными случится. Но они выводят в места, где нет условий для боевой подготовки, практически ВСЮ КРАСНУЮ АРМИЮ!

Война началась не так, как хотел Сталин, и поэтому кончилась не так: Сталину досталось только пол-Европы. Но чтобы понять и до конца оценить Сталина, давайте на мгновение представим себе ситуацию: Гитлер не напал на Сталина 22 июня 1941 года. Гитлер, к примеру, решил осуществить захват Гибралтара, а операцию «Барбаросса» отложил на два месяца,

Что в этом случае будет делать Сталин?

Выбора у Сталина уже не было.

Во-первых. Он не мог вернуть свои армии назад. Многим армиям и корпусам, созданным в первой половине 1941 года, вообще некуда было возвращаться, кроме «барачных городков для лесорубов». Переброска войск назад потребовала бы снова много месяцев, парализовала весь железнодо-

рожный транспорт и означала экономическую катастрофу. Да и какой смысл, сначала полгода войска тайно сосредотачивать, а потом их полгода рассредотачивать? Но даже если бы после полного сосредоточения началось немедленно рассредоточение, то и тогда до зимы этот процесс завершить было невозможно.

Во-вторых. Сталин не мог оставить свои армии зимовать в приграничных лесах. Без напряженной боевой подготовки армии быстро теряют способность воевать. Кроме того, по какой-то причине Сталин сохранял в строжайшей тайне процесс создания и переброски на запад армий Второго стратегического эшелона. Мог ли он рассчитывать на сохранение тайны, если бы оставил на несколько недель эти несметные армии в приграничных лесах?

Центральный вопрос моей книги: ЕСЛИ КРАСНАЯ АРМИЯ НЕ МОГЛА ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД, НО И НЕ МОГЛА ДОЛГО ОСТАВАТЬСЯ В ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНАХ, ТО ЧТО ЖЕ ЕЙ ОСТАВАЛОСЬ ДЕЛАТЬ?

Коммунистические историки готовы обсуждать любые детали и выискивать любые ошибки. Но давайте отвлечемся от второстепенных деталей и дадим ответ на главный вопрос.

Все коммунистические историки боятся давать ответ на этот вопрос. Вот почему я привожу мнение генерала, который «с мая 1940 года — заместитель начальника Оперативного управления Генштаба; работал над оперативной частью плана стратегического развертывания Советских Вооруженных Сил на северном, северо-западном и западном направлениях». (Советская Военная Энциклопедия. Том 2, с. 27). В его планировании все было правильно, вот почему, начав войну генерал-майором, он через полтора года стал Маршалом Советского Союза. Это он, а не Жуков, правит Красной Армией в последние годы жизни Сталина и сходит с высоких постов вместе со смертью Сталина.

Маршал Советского Союза А.М.Василевский: «Опасения, что на Западе поднимется шум по поводу якобы агрессивных устремлений СССР, надо было отбросить. Мы подошли... к рубикону войны и нужно было сделать твердо шаг вперед» (ВИЖ № 2. 1978, с.68).

В каждом грандиозном процессе есть критический момент, после которого события принимают необратимый характер. Для Советского Союза этим моментом была дата 13 июня 1941 года. После этого дня война для Советского Союза стала совершенно неизбежной и именно летом 1941 года, вне зависимости от того, как бы поступил Гитлер.

НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА

*В условиях, когда мы
окружены врагами,
внезапный удар с нашей
стороны, неожиданный маневр,
быстрота, решают все.*

Сталин

На западных границах Советский Союз имел пять военных округов, в которые тайно, но интенсивно стягивались войска. Все восемь внутренних военных округов были брошены советским командованием. Из внутренних военных округов к западным границам тайно ушли все армии, корпуса, дивизии и почти все генералы и штабы.

Помимо пяти западных приграничных и восьми внутренних округов, существовал Дальневосточный фронт и три восточных приграничных военных округа: Закавказский, Среднеазиатский, Забайкальский. Интересно глянуть и на них.

В мае 1941 года в Среднеазиатском и Закавказском военных округах вопреки Опровержению ТАСС от 9 мая 1941 года шла интенсивная подготовка к «освобождению» Ирана. Среднеазиатскому округу отводилась главная роль, Закавказскому — вспомогательная. Как принято, последний аккорд подготовки — грандиозные учения в присутствии высшего командного состава Красной Армии. В мае на эти учения должен был выехать Начальник Генерального Штаба генерал армии Г.К.Жуков и его заместитель генерал-лейтенант Н.Ф.Ватутин.

Генерал армии С.М.Штеменко (в то время полковник в Главном оперативном управлении Генерального штаба): «В конце мая основной состав нашего отдела отправился в Тбилиси. Нас усилили за счет других отделов... Перед самым отъездом выяснилось, что ни начальник Генштаба, ни его заместитель

выехать не могут и учениями будут руководить командующие войсками: в Закавказье — Д.Т.Козлов, в САВО — С.Г.Трофименко. Однако уже на другой день после нашего приезда в Тбилиси генерал-лейтенанта Козлова срочно вызвали в Москву. Чувствовалось, что в Москве происходит нечто не совсем обычное». (Генеральный штаб в годы войны. С. 20).

Так приграничный Закавказский военный округ прямо накануне «освобождения» Ирана остался без командующего. Мне возразят, что у генерала Козлова есть заместитель — генерал-лейтенант П.И.Батов. Пусть он и командует округом. Нет, Батов занят. Батов сформировал из самых лучших войск Закавказского военного округа 9 особый стрелковый корпус, перебросил его в Крым, и тут корпус во взаимодействии с Черноморским флотом ведет интенсивную подготовку к проведению морской десантной операции. Дивизия из состава именно этого корпуса тренируется высадке с боевых кораблей.

Закавказский военный округ оставался без командующего и без его заместителя до августа 1941 года, когда сюда вернулся генерал Д.Т.Козлов и провел «освобождение» Ирана. Гитлер спутал карты Сталину и тут. Из-за непредвиденных действий Гитлера «освобождение» Ирана пришлось проводить не только с опозданием на несколько месяцев, но и ограниченными силами, поэтому пришлось обойтись без «коренных социально-политических преобразований».

Я еще не выяснил, вызвал ли Сталин в начале июня 1941 года в Москву командующего Среднеазиатским военным округом генерала С.Г.Трофименко, но штаб округа был сильно ослаблен и «раскулачен». Еще в марте 1941 года из штаба САВО был вызван в Москву полковник Н.М.Хлебников и назначен начальником артиллерии 27 армии в Прибалтике. Впоследствии Хлебников — генерал-полковник артиллерии. Кстати, официально 27 армия появилась в западных районах страны в мае 1941 года, но кадры для нее собирали по дальним границам гораздо раньше. Вслед за Хлебниковым и многими другими полковниками и генералами в Москву вызвали начальника штаба округа генерал-майора (впоследствии генерал армии) М.И.Казакова. Генерал Казаков в своей книге «Над картой былых сражений» (М. Воениздат. 1971) говорит, что видел с самолета потрясающее количество железнодорожных эшелонов с войсками и боевой техникой, которые перебрасывались из Средней Азии.

Генерал армии А.А.Лучинский (в то время полковник, командир 83 горнострелковой дивизии) был среди тех, кого везли в воинских эшелонах из Средней Азии. Лучинский едет в одном купе с генерал-майором И.Е.Петровым (впоследствии генерал армии). Воспоминания Лучинского о Петрове поистине бесценны: «Мы ехали в одном купе по вызову в Наркомат обороны, когда по радио прозвучало сообщение о нападении на нашу страну фашистской Германии». Лучинский не говорит зачем его вызвали в НКО, но говорит про своего друга генерала Петрова: «Незадолго до войны он был назначен командиром 192 стрелковой дивизии (Петров превратил дивизию в горнострелковую и тайно отправил на румынскую границу — В.С.), а затем 27 механизированного корпуса, во главе которого и отправился на фронт» (ВИЖ № 9. 1976, с.121-122).

27 механизированный корпус тайно из Средней Азии перебрасывается к румынской границе, а командир корпуса в это время едет в Москву для получения боевой задачи. Мы уже не раз в этой книге встречали такую процедуру: например, 16 армия тайно перебрасывается к румынским границам, а ее командующий генерал-лейтенант М.Лукин в Москве получает боевую задачу.

В короткой статье Лучинского о генерале Петрове все кажется привычным и будничным. Но давайте обратим внимание на порядок, в котором развиваются события. Сначала генерал-майор И.Е.Петров формирует 27 механизированный корпус, грузит его в эшелоны и отправляет на фронт, а после этого, уже в поезде он слышит сообщение, что Германия начала войну.

Но самое интересное произошло через несколько дней: 27 механизированный корпус был расформирован в пути. В оборонительной войне такие чисто наступательные формирования просто не нужны. В июле 1941 года вслед за 27 механизированным корпусом расформировали и все остальные. Всего их было двадцать девять.

Ситуация кажется абсурдной: 27 механизированный корпус ДО нападения

Гитлера едет на войну, но как только Гитлер начал войну, 27 корпус расформировали еще до встречи с противником. Но это не абсурд. 27 механизированный корпус из Средней Азии действительно перебрасывался на румынскую границу для того чтобы воевать, но предназначался он воевать не для войны, которую начал Гитлер, а для той, которая должна была начаться каким-то иным способом.

Среди всех внутренних и восточных приграничных округов Забайкальский был единственным, имевшим в своем составе армии. Их было две: 16 и 17. 17 армия оставалась в Монголии, но ее уже в 1940 году «облегчили» до такой степени, что из-за нехватки генералов должность заместителя командующего армией занимал полковник П.П.Полубояров. Но и его вызвали сначала в Москву, а затем отправили на Северо-Западный фронт.

Другая армия Забайкальского военного округа — 16, тайно ушла на запад. И хотя среди оставшихся жен распускали слухи об иранской границе, командиры 16 армии знали, что едут воевать, и знали против кого.

Штаб Забайкальского военного округа при уходе 16 армии тоже «облегчили», перебросив многих офицеров и генералов в дивизии и корпуса 16 армии. Не только полковников и генералов средней руки загребали из Забайкалья. Отсюда забирали и действительно больших командиров — командующих округами. Но разве в округе не один командующий, а несколько? Вот именно, несколько. Правда, они не все разом командовали. По очереди. Но очередь не задерживалась. В 1940 году Забайкальским округом командует генерал-лейтенант Ф.Н.Ремезов. Его отправили командовать Орловским военным округом. Там он тайно сформировал 20 армию и под прикрытием сообщения ТАСС повел ее к германской границе. После Ремезова Забайкальским округом мимолетно покомандовал генерал-лейтенант И.С.Конев. Отсюда его перебросили на Северо-Кавказский военный округ, где он тайно сформировал 19 армию и под прикрытием того же сообщения ТАСС повел ее к румынским границам. А Забайкальский округ тут же принял генерал-лейтенант (впоследствии генерал армии) П.А.Курочкин. До сообщения ТАСС Курочкин отгрузил 16 армию, пожелал командирам и бойцам успешно выполнить «любой приказ Родины». У 16 армии самая длинная дорога. Оттого она вышла раньше, чтобы появиться у западных границ одновременно со всеми остальными армиями Второго стратегического эшелона.

А что же генерал-лейтенант П.А.Курочкин? 13 июня в момент передачи Сообщения ТАСС Курочкин получил приказ бросить Забайкальский округ и немедленно выехать в Москву за новым назначением. «Красная звезда» (26 мая 1984 года) свидетельствует, что 22 июня 1941 года генерал-лейтенант Курочкин находился в вагоне скорого поезда, подходившего к Иркутску... А Забайкальский военный округ остался без командира. Советская военная Энциклопедия (Том 3, с. 357) сообщает, что новый командир в Забайкалье появился только в сентябре 1941 года.

Но не только из внутренних и полуфронтовых округов, но и с настоящего фронта перебрасывали генералов и офицеров на германские и румынские границы. На Дальнем Востоке существовал постоянный очаг войны, вооруженные стычки неоднократно перерастали в конфликты с участием сотен танков и самолетов с обеих сторон. В то время война между Японией и Советским Союзом казалась вполне возможной, а некоторым иностранным наблюдателям — даже неизбежной. Поэтому на Дальнем Востоке существовал не военный округ, а фронт в составе трех армий.

С конца 1940 года генералов (а также войска целыми дивизиями и корпусами) тайно в возрастающем темпе перебрасывают на запад. Переброски не ограничивались генералами средней руки: многие высшие командиры уезжали с Дальневосточного фронта без достойной замены или без замены вообще. Так без замены на запад убыл начальник оперативного управления штаба фронта генерал-майор Т.П.Котов.

Генерал-майор П.Г.Григоренко (в то время подполковник в штабе Дальневосточного фронта) вспоминает: «Отозвали на Запад Ивана Степановича Конева,

Маркиана Михайловича Попова, Василия Ивановича Чуйкова, и еще многих из числа высших военачальников».

Чтобы оценить даже этот очень короткий список, напомним, что генерал-лейтенант М.М.Попов (в последующем генерал армии) командовал на Дальнем Востоке 1 армией, а генерал-лейтенант И.С.Конев (впоследствии Маршал Советского Союза) — 2 армией. Всякие выдумки о том, что перемещения генералов производились в предвидении германского вторжения, я отмечаю начисто. Попов встретит войну в должности командующего Северным фронтом на финской границе, а Конев выдвигал свою ударную армию к румынским границам.

Интересен путь генерала Конева с должности командующий 2 армией — на Дальнем Востоке на должность командующего 19 армией на румынской границе. Сдав 2 армию на Дальнем Востоке в апреле 1941 года (Советская Военная Энциклопедия. Том 2, с.409), Конев принимает Забайкальский военный округ. Отметившись в Забайкалье, он без всякой рекламы тихо появляется в Ростове и принимает Северо-Кавказский военный округ. Тут Конев завершает формирование 19 армии, становится ее командующим и «в обстановке стражайшей секретности» (выражение генерала армии С.М.Штеменко для данного случая) в конце мая 1941 года начинает переброску дивизий и корпусов своей армии к румынским границам. За короткий срок — четыре должности, с самых восточных границ — на самые западные. Перед всеми наступательными (но не перед оборонительными) операциями Сталин прятал своих лучших генералов и маршалов.

Это прежде всего относилось к Жукову, Василевскому, Коневу, Рокоссовскому, Мерецкову. Вот и весной 1941 года, как перед всеми величайшими наступательными операциями, Конев путает след так, чтобы даже его ближайшие друзья не знали, куда он пропал.

После таинственного исчезновения генерала Конева с Дальнего Востока оставленная им 2 армия не получила достойной замены. Генерала М.Ф.Терехина заменой Коневу, конечно, считать нельзя.

А в 1 армии Дальневосточного фронта ситуация была даже интереснее. После отъезда генерала М.М.Попова на Северный фронт, ему была назначена достойная замена — генерал-лейтенант А.И.Еременко (впоследствии Маршал Советского Союза). Но долго Еременко не командовал. 19 июня 1941 года он получил приказ сдать 1 армию и срочно прибыть в Москву за новым назначением.

После начала германского вторжения Еременко становится командующим Западным фронтом вместо отстраненного генерала Д.Г.Павлова. Однако 19 июня такой оборот, конечно, не предвиделся. Павлов крепко сидел на должности командующего Западным фронтом. Еременко Сталин вызвал для выполнения какой-то другой миссии, которая так и осталась неизвестной. Мне лично посчастливилось встречать Маршала Советского Союза Еременко и говорить с ним. Очень осторожно, чтобы не вызвать подозрений, я пытался этот вопрос прощупать. Мое впечатление, что Еременко не хитрит, а действительно не знает, зачем он понадобился Сталину 19 июня 1941 года. Я обратил внимание маршала на то, что он был совсем не один. Вот, говорю, и Курочкин в поезде ехал, и Сивков, и Курдюмов, и Жадов, и Петров, и Лучинский. Маршала это очень заинтересовало. Очень сожалею, что далеко заводить беседу с маршалом я просто не мог.

Заинтересованный Еременко мне подсказал еще пару генералов, которых забрали с Дальнего Востока, оголив почти начисто советскую оборону: генерал-майор Н.Э.Берзарин был заместителем командующего 1 армией. Еременко сказал мне то, чего в мемуарах не пишет: уезжая с Дальнего Востока, он должен был сдать армию своему заместителю Берзарину. На то заместитель и придуман! Но Берзарина еще в конце мая Сталин вызвал в Москву и тайно назначил командовать 27 армией в Прибалтике недалеко от германских границ.

Могут и тут возражать, что Сталин вызвал Еременко, Берзарина и других генералов с Дальневосточного фронта для укрепления обороны. Чтобы окончательно отвести сомнения, назову еще одного генерала, которого мне тоже подсказал Еременко: генерал-майор В.А.Глазунов (впоследствии генерал-лейтенант, командующий воздушно-десантными войсками Красной Армии) в начале

1941 года командовал 59 стрелковой дивизией в 1 армии Дальневосточного фронта. Еременко очень любил 1 армию и не хотел ее бросать без командира на произвол «штабной крысы» Шелахова. Но заместителя Еременко Сталин уже забрал, командиров корпусов — тоже, опытных командиров дивизий давно на запад перебросили. Вот только на 59 дивизии находился опытный, боевой перспективный генерал Глазунов. Еременко сказал, что немедленно отправил шифровку в Генеральный штаб с предложением поставить на 1 армию генерала Глазунова. С дивизии прямо на армию — это большой скачок, но что же делать, если других боевых командиров на Дальнем Востоке не остается?

Москва согласилась, что Глазунов действительно достойный командир, и ответной шифровкой приказала Глазунову дивизию сдать, срочно прибыть на румынскую границу и получить под командование 3 воздушно-десантный корпус. А 1 армия Дальневосточного фронта так и осталась без боевого командира.

По приказу Сталина в начале июня 1941 года на западных границах были сосредоточены не только ВСЕ советские воздушно-десантные войска, включая и недавно переброшенные с Дальнего Востока, но в самый последний момент Сталин пехотных и кавалерийских генералов собирает с дальних границ и срочно переделывает их в командиров воздушно-десантных корпусов. Это относится не только к генералам Глазунову и Жадову, но и к генералам М.А.Усенко, Ф.М.Харитонову, И.С.Безуглому.

Срочная перешивка генералов из пехотных в кавалерийские и десантные, это не подготовка к обороне и даже не подготовка к контрнаступлению. Это признаки готовящейся агрессии: неизбежной, скорой, сокрушительной.

151

ЗАЧЕМ СТАЛИН РАЗВЕРНУЛ ФРОНТЫ

*Война бедных против богатых
будет самой кровавой из всех
войн, которые когда-либо велись
между людьми.*

Ф.Энгельс

Термин «фронт» на советском военном языке означает прежде всего войсковое формирование численностью от нескольких сот тысяч до миллиона и более солдат, фронт включает в свой состав управление и штаб, несколько армий, соединения авиации, силы ПВО, части и соединения усиления, фронтовые тылы. Только в составе тыловых частей и учреждений непосредственно подчиненных управлению каждого фронта по довоенным взглядам предполагалось иметь до 200.000 солдат. В мирное время фронты не существуют. Вместо них существуют военные округа, фронты создаются в начале войны (СВЭ. Том 9, с. 332).

В 1938 году отношения с Японией обострились до такой степени, что в составе РККА был развернут Дальневосточный фронт. В состав фронта первоначально вошли две армии, затем два года спустя — еще одна. 19 апреля 1941 года с Японией был подписан договор о нейтралитете, но Дальневосточный фронт не был расформирован.

На советских западных границах в 1939 и 1940 годах кратковременно создавались фронты для «освободительных походов» в Польшу, Румынию, Финляндию. Но по завершении походов, фронты немедленно расформировались и вместо них вновь создавались военные округа. Историки упрекают Сталина: с Германией пакт, и с Японией — пакт, но против Японии развернут фронт, а против Германии — нет.

На первый взгляд нелогично. Но глянем на Гитлера. Гитлер проявляет хитрость. В первой половине 1941 года фюрер против Великобритании развернул штабы с громкими названиями, но без войск, а против Советского Союза развернул почти все свои войска, но без громкозвучных штабов. С первого взгляда — против Великобритании мощные силы, но если присмотреться, то обнаруживается, что Гитлер отборные войска и лучших генералов тайно стягивает к границам Советского Союза. Так готовится внезапный удар. Но и Сталин поступает так же: на Дальнем Востоке создан фронт, но войска и генералы тайно его покидают. На западных границах продолжают официально существовать военные округа, но тут идет концентрация войск. Сравнение мощи Дальневосточного фронта и любого западного округа совсем не в пользу фронта. Пример.

В Дальневосточном фронте — три армии, все обычные; а в Западном особом военном округе — четыре армии, в том числе три ударных и одна сверхударная. Кроме того, на территорию Западного особого военного округа прибывают еще три армии Второго стратегического эшелона. На Дальневосточный фронт никто не прибывает, наоборот, отсюда уводят корпуса и дивизии. В Дальневосточном фронте один механизированный корпус, в Западном округе их шесть. В Дальневосточном фронте нет воздушно-десантных войск, в Западном округе — целый корпус. Сравнение можно продолжать и дальше. Но надо помнить, что Западный особый военный округ не самый мощный, Киевский гораздо мощнее. Если его сравнить с Дальневосточным фронтом, то мы совсем разочаруемся во фронте, фронт на Дальнем Востоке — это только ширма, чтобы продемонстрировать всему свету: тут возможна война. Но и пять западных военных округов — тоже ширма — продемонстрировать: тут никакой войны не предвидится. А на самом деле пять западных приграничных округов давно уже превратились в нечто необычное. Обычными они были до 1939 года. А после подписания пакта в них сосредоточена такая ударная мощь, какую редко какой советский фронт имел в ходе самых ожесточенных сражений войны.

На Дальнем Востоке создан фронт так, чтобы все об этом знали. А вот на западе созданы не один, а ПЯТЬ фронтов, но так, чтобы об этом никто не знал. В предыдущих главах я упоминал Северный, Северо-Западный, Западный, Юго-Западный и Южный фронты, и это не ошибка. Официально они созданы после германского вторжения, как реакция на это вторжение. Но глянем в архивы, и будем поражены: начиная с февраля 1941 года эти названия уже фигурируют в документах, которые были в то время совершенно секретными. Часть документов рассекречена и пущена в научный оборот. Цитирую: «В феврале 1941 года военным советам приграничных округов были направлены... указания о немедленном оборудовании фронтовых командных пунктов» (ВИЖ № 4.1978, с.86).

Официально на западных границах — пять военных округов. Неофициально — каждый военный округ уже готовит фронтовой командный пункт, т.е. создает не военно-территориальную структуру, а чисто военную, которая возникает только во время войны и только для руководства войсками во время войны.

Коммунистические историки уверяют нас, что до 22 июня 1941 года между СССР и Германией существовал мир, который якобы 22 июня был нарушен Германией. Эта смелая гипотеза фактами не подтверждена, факты говорят об обратном. Развернув в феврале 1941 года командные пункты фронтов, Советский Союз фактически вступил в войну против Германии, хотя об этом и не заявил официально.

Командующий военным округом в мирное время имеет две основных функции и роль его двойственна. С одной стороны, он чисто военный командир, в подчинении которого находятся несколько дивизий, иногда — несколько корпусов или даже — несколько армий. С другой стороны, в мирное время командующий округом контролирует строго определенную территорию, выполняя роль наместника или военного губернатора.

В случае войны приграничный военный округ превращается во фронт. При этом могут возникнуть три ситуации.

Первая: фронт воюет на тех же территориях, где до войны находился военный округ. В этом случае командующий фронтом продолжает оставаться чисто военным командиром и, кроме того, продолжает контролировать вверенные ему территории, выполняя в тыловых районах роль военного губернатора.

Вторая ситуация: под давлением противника фронт отходит назад. В этом случае командующий фронтом остается боевым командиром и во время отхода забирает с собой органы территориального руководства.

Третья ситуация: с началом войны фронт уходит вперед на территорию противника. Только в предвидении этой ситуации проводится разделение функций командующего. Он становится чисто военным командиром и ведет свои войска вперед, а на территориях округа должен остаться кто-то поменьше рангом для того, чтобы выполнять функции военного губернатора.

В феврале 1941 года произошло событие, которое осталось не замеченным современными историками. В Западном особом военном округе была введена должность еще одного заместителя командующего округом. Какое это имеет значение? У генерала армии Д.Г.Павлова и без того есть несколько заместителей! Несколько месяцев дополнительная должность заместителя оставалась вакантной. Затем на эту должность прибыл генерал-лейтенант В.Н.Курдюмов.

Значение этого события огромно.

В мирное время в Минске находится командующий генерал армии Д.Г.Павлов, его заместитель генерал-лейтенант И.В.Болдин, начальник штаба генерал-майор В.Е.Климовских. Мобилизационное предназначение Павлова — командующий Западным фронтом, Климовских — начальник штаба Западного фронта, а Болдин по плану должен стать командующим подвижной группой Западного фронта.

Я вот к чему веду речь: если бы Западному фронту предстояло воевать там, где он находится перед войной, т.е. в Белоруссии, то никаких структурных изменений вводить не надо. Но Западный фронт готовится уйти на территорию противника. Его поведут генералы Павлов, Болдин, Климовских. Если они уйдут и уведут с собой все армии, корпус, дивизии, бригады, кто же останется в Минске? Вот на этот-то случай и введен дополнительный заместитель генерал-лейтенант Курдюмов. В мирное время уже произошло разделение структур. Генерал армии Павлов сосредоточил свое внимание на чисто военных проблемах, а его новый заместитель — на чисто территориальных. Когда Западный фронт во главе с Павловым уйдет на территорию противника, генерал Курдюмов останется в Минске, выполняя роль чисто территориального военного губернатора, охраняя местные власти, линии коммуникаций, контролируя промышленность и транспорт, проводя дополнительные мобилизации и готовя резервы для фронта, который ушел далеко вперед.

Генерал Курдюмов командовал управлением боевой подготовки РККА. Теперь он назначен в Минск. С точки зрения «освободительной» войны — это великолепное решение: генерал с таким опытом сидит на путях, по которым пойдут все новые и новые резервы на Запад. Он лучше всех сможет дать проходящим войскам последние указания перед вступлением в бой.

Четыре армии, десять отдельных корпусов и десять авиационных дивизий, расположенных на территории Киевского особого военного округа, тоже готовятся уйти на территорию противника. Их поведет командующий Юго-Западным фронтом генерал-полковник М.П.Кирпонос. В предвидении этого необходимо срочно разделить две функции командующего: оставить ему только чисто военные, передав чисто территориальные кому-то другому. Вот для этого и тут вводится дополнительная должность заместителя, на которую назначается генерал-лейтенант В.Ф.Яковлев. Кирпонос с войсками уйдет вперед, Яковлев — останется в Киеве. С начала февраля мы все более ясно видим разделение двух структур. В Тернополе создается тайный командный пункт — это центр военной структуры, в Киеве сохраняется штаб — это центр территориальной структуры. В Броварах, в районе Киева, создан сверхмощный подземный командный пункт для территориальной системы управления. В Тернополе создается командный пункт очень легкого типа: землянки в один накат. Вполне логично: военная структура не предназначена долго оставаться на Украине, зачем же воздвигать мощные бетонные казематы?

В Прибалтийском особом военном округе тоже произошло разделение структур. Высший командный состав убыл в Паневежис, который отныне является секретным центром чисто военной структуры Северо-Западного фронта; а в Риге оставлен и второстепенный генерал Е.П.Сафонов, который будет осуществлять военно-территориальный контроль после ухода основной массы советских войск на Запад.

В Одесском военном округе небольшой нюанс. Тут тоже произошло разделение структур. Но из штаба округа выделился не штаб целого фронта, а штаб самой мощной из всех советских армий — 9. Подавляющая часть офицеров штаба Одесского военного округа, во главе с начальником штаба генерал-майором М.В.Захаровым тайно переведены в штаб 9 армии. Маршал Советского

Союза И.С.Конев свидетельствует, что 20 июня штаб 9 армии был поднят по боевой тревоге и тайно выведен из Одессы на полевой КП (ВИЖ № 7. 1968, с.42). Командующий Одесским военным округом генерал-полковник Я.Т.Черевиченко уже давно не в Одессе. Он тайно побывал в Крыму, где принимал прибывший с Кавказа 9 особый стрелковый корпус и мимо Одессы в поезде едет на секретный командный пункт 9 армии, которым ему поручено командовать. Маршал Советского Союза М.В.Захаров сообщает, что во время германского вторжения Черевиченко был в поезде (Вопросы истории. № 5.1970, с.46). 9 армия должна была покинуть пределы советской территории, вот почему в Одессе ДО германского вторжения появился дополнительный генерал — Н.Е.Чибисов. После ухода военной структуры 9 армии он должен был оставаться на полупустых, с военной точки зрения, территориях и осуществлять военно-территориальный контроль.

А Ленинградский военный округ — исключение. Тут тоже тайно создается Северный фронт, но разделение структур не происходит. Очень логично: Северный фронт пока не готовится уходить далеко вперед от территорий Карелии, поэтому нет нужды делить командиров на тех, кто пойдет далеко вперед, и тех, кто остается. Северный фронт будет действовать примерно на тех же территориях, где раньше располагался военный округ, поэтому двух разных структур тут создавать не надо. Две структуры нужны только там, где одни командиры и войска должны уйти вперед, а другие должны остаться. Вот поэтому в Ленинградском военном округе и не введена дополнительная должность заместителя. И боевые действия и контроль территории тут будут осуществляться из единого центра — из штаба Северного фронта. Он никуда не уйдет, поэтому для него не предусматривается никакая заменяющая его структура управления.

13 июня 1941 года в день передачи по радио сообщения ТАСС произошло окончательное и полное разделение структур управления в западных приграничных военных округах, кроме Ленинградского. В тот день нарком обороны отдал приказ вывести фронтовые управления на полевые командные пункты.

С этого момента в Белоруссии существуют две независимых военных системы управления: тайно созданный Западный фронт (командующий фронтом генерал армии Д.Г.Павлов, командный пункт в лесу в районе станция Лесна) и Западный особый военный округ (командующий генерал-лейтенант В.Н.Курдюмов, штаб в Минске). Павлов продолжает играть роль командующего округом, но он уже официально — командующий фронтом и его штаб уже выдвигается на тайный командный пункт, чтобы существовать независимо от Западного особого военного округа.

Двойное военное руководство на одной территории существовать не может и создано только потому, что Западный фронт в ближайшее время должен эти территории покинуть.

Генерал-лейтенант войск связи П.М.Курочкин (в то время генерал-майор, начальник связи Северо-Западного фронта сообщает про Прибалтику: «В район Паневежиса стали прибывать управление и отделы штаба. Окружное командование превратилось фактически во фронтовое, хотя формально до начала войны именовалось окружным. В Риге была оставлена группа генералов и офицеров, на которых возлагались функции руководства округом» (На Северо-Западном фронте. М. 1969. с 1965).

Создание двух независимых систем управления неизбежно вызывает создание двух независимых систем связи. В Прибалтике фронтовую связь возглавил лично генерал-майор П.М.Курочкин, а его бывший заместитель полковник Н.П.Акимов руководит независимой системой связи военного округа.

Генерал Курочкин энергично создает систему связи для тайно существующего СЗФ. Это происходит «как бы с целью проверки». А чтобы не насторожить противника внезапной вспышкой переговоров по новым военным каналам связи, используются гражданские линии связи. Впрочем слово «гражданские» надо взять в кавычки. Таких в Советском Союзе не было. В 1939 году государственная система связи была полностью военизирована и поставлена на службу армии. Наркомат связи был прямо подчинен наркомату обороны. Во всех нормальных странах система военной связи является составной частью общегосударственной

системы связи, а в Советском Союзе — наоборот: общегосударственная связь — составная часть военной связи, а нарком связи СССР Пересыпкин официально является заместителем начальника связи Красной Армии.

Управление Северо-Западного фронта вышло на полевой командный пункт не на учения, а на войну: «Создавалась высшая оперативная организация для управления боевыми действиями» (Генерал-лейтенант П.М.Курочкин. Позывные фронта. М. Воениздат. 1969. с. 117). Фронтальная система связи для военного времени была заранее хорошо подготовлена и отлажена. «Все документы плана, частоты, позывные, пароли хранились в штабе округа и в случае войны их нужно было рассылать в войска. Радиостанций же в округе насчитывалось несколько тысяч, следовательно, чтобы перестроить работу на военный лад требовалась минимум неделя. Проводить эти мероприятия заблаговременно не разрешалось» (Там же, с. 115). Отметим для себя, что вся система перестройки связи с мирного на военный режим в РККА была построена не на предположении, что противник может напасть и поэтому придется проводить перестройку практически мгновенно, а на предположении, что предварительный сигнал поступит из Москвы в определенное Московское время. Другими словами, план перестройки связи был создан не для условий оборонительной войны, а для условий войны наступательной, агрессивной, с периодом тайной подготовки к ней. И этот тайный период последних приготовлений Красной Армии к вторжению настал. 19 июня начальник штаба Северо-Западного фронта генерал-лейтенант П.С.Кленов отдает приказ генерал-майору войск связи Курочкину:

« — Действовать по большому плану. Вам понятно о чем идет речь?

— Да мне все понятно, — доложил я» (Курочкин. На СЗФ, с.195).

Жаль, что нам не все понятно про «большой план», и никто из советских генералов не объясняет, что такое «большой план». Но нам ясно, что планы у советских генералов были и их уже ввели в действие. Через несколько дней должно было что-то случиться в соответствии с «большим планом», но Гитлер заставил советских командиров действовать не по намеченным планам, а импровизировать.

Вот как генерал Курочкин обеспечивает выполнение «большого плана»: «Отдел связи округа выслал документы, относящиеся к организации радиосвязи... в штабы армий и соединения окружного подчинения. Все эти документы, соответствующим образом переработанные, должны были пройти через корпусные, дивизионные, полковые, батальонные командные инстанции и дойти до экипажа каждой радиостанции. На это уйдет, как я уже говорил, не меньше недели» (Там же, с. 118).

Итак, совершенно секретные сведения, которые можно доводить до исполнителей только в случае войны, начиная с 19 июня доводились до тысяч исполнителей. Это необратимый процесс. Вернуть секреты и спрятать в сейфах больше нельзя, как только материалы вышли из сейфов, война стала полностью неизбежна. Подготовка наступательной войны чем-то похожа на подготовку государственного переворота: план готовит очень небольшая группа людей, не доверяя тысячам будущих участников ни крупницы информации. Как только руководители заговора довели до тысяч исполнителей частицы своего плана, выступление становится совершенно неизбежным. В противном случае, заговорщики теряют внезапность, которая является их главным козырем, и заставляют противника принимать экстренные ответные меры.

Но, может быть, генерал-лейтенант Кленов отдал приказ довести до тысяч исполнителей элементы «большого плана» в предвидении германской агрессии? Никак нет. Генерал Кленов категорически не верит в возможность германского вторжения. Даже после того как оно началось, Кленов отказывается верить и не предпринимает никаких мер для отражения агрессии. К генералу Кленову и его агрессивным предложениям на декабрьском (1940 года) совещании высшего командного состава мы еще вернемся во втором томе этой книги. Кленов предлагал вести только агрессивные войны, которые начинаются внезапным ударом Красной Армии. По агрессивности он превосходил даже самого Жукова и имел храбрость спорить с Жуковым в присутствии Сталина о том, как надо наносить внезапный удар. А в возможность германского вторжения он не верил,

как, впрочем, и многие другие советские военные и политические лидеры, включая самого Сталина.

13 июня 1941 года и в несколько последующих дней в Советском Союзе были введены в действие все механизмы войны. Процесс развертывания советских фронтов зашел так далеко, что тысячи исполнителей уже были посвящены в секреты экстраординарной важности. В середине июня 1941 года Советский Союз уже проскочил критический рубеж, после которого война становится неизбежной.

Если бы Гитлер решил проводить «Барбароссу» на несколько недель позже, то Красная Армия пришла бы в Берлин не в 1945 году, а раньше.

Перед тем, как сделать шаг вперед, командир осматривает лежащую перед ним местность. Конечно, разведка уже многое узнала и многое доложила, конечно, командир верит своей разведке, но все же перед тем, как сделать шаг вперед, он всю местность еще осматривает своим командирским оком. Если предстоит вперед идти батальону, то местность долго и внимательно в бинокль осматривает лично командир батальона. А если вперед идти корпусу, что ж — местность осматривает лично командир корпуса. Это не традиция и не пустой ритуал. Перед тем как двинуть войска вперед, командир обязан лично увидеть и прочувствовать лежащее перед ним пространство: вон там лощинка — не увязли бы танки в грязи, вон там мостик — ах, не подпилены ли сваи, а вон из того лесочка жди контратаки.

Если командир лично не прочувствует лежащее перед ним пространство, если его воображение не сможет пройти все пространство впереди солдата пехоты, и если командир не сможет перед боем мысленно оценить все трудности, которые выпадут на долю его солдат, то расплатой будет поражение. Вот почему каждый командир, независимо от ранга, перед наступательным сражением одевается в солдатскую форму и на животе ползает по грязи рядом с государственной границей или с передним краем, долгими часами осматривая пространство лежащее впереди и пытаясь до боя вообразить и предусмотреть все трудности, которые ждут завтра.

Визуальное изучение противника и местности называется рекогносцировкой. Появление рекогносцировочных групп на границе — это не самый приятный сюрприз. Тревожно, если на вас из-за границы в бинокль долгими часами смотрит командир советской танковой дивизии. Но представьте себе, что в районе ваших границ появился командующий советским военным округом, да не один, а в сопровождении члена Политбюро и не часами, а неделями обретаются они на пограничных заставах. Что вы тогда подумаете?

Так было перед каждым «освобождением». Вот например, еще в январе 1939 года командующий Ленинградским военным округом К.А.Мерецков и А.А.Жданов в одной машине объездили всю финскую границу. Их поездки продолжают весной, летом, осенью. В самом конце осени они завершили свою работу, вернулись в Ленинград и вот тут-то «финская военщина спровоцировала войну».

С начала 1941 года германские офицеры и генералы начинают понемногу, а затем все интенсивнее, делать на германо-советской границе то, что совсем недавно Мерецков и Жданов делали на советско-финской границе. Над моим столом — знаменитая фотография: генерал Г.Гудериан с офицерами своего штаба проводит последнюю рекогносцировку под Брестом в ночь на 22 июня 1941 года. Не только Гудериан, но все германские генералы смотрели в бинокли на советскую территорию. Чем ближе становилась дата начала «Барбароссы», тем более важные германские генералы появлялись на советских границах. Советские генералы и маршалы отмечают все больше и больше германских рекогносцировочных групп на границах. Появление рекогносцировочных групп по ту сторону еще не означает начало войны, но определенно означает конец мира.

Что же делают советские командиры? Почему они не принимают срочных мер оборонительного характера для отражения агрессии, неизбежность которой подтверждается интенсивной работой рекогносцировочных групп противника? Советские генералы не реагируют на рекогносцировочные работы противника по простой причине. Советские генералы очень заняты — они сами проводят рекогносцировку.

Полковник Д.И.Кочетков вспоминает, что командир советской танковой дивизии в Бресте (генерал-майор танковых войск В.П.Пуганов, командир 22 танковой дивизии, 14 механизированного корпуса, 4 армии Западного фронта — В.С.) выбрал такое место для штаба дивизии и такой кабинет в этом штабе, что «мы сидели с полковым комиссаром А.А.Илларионовым в кабинете комдива и из окна смотрели в бинокль на немецких солдат на противоположном берегу Западного Буга» (С закрытыми люками. М. Воениздат. 1962. с.8).

Идиотство! Начнись война, в окно командира танковой дивизии можно просто из автомата стрелять с другого берега, или лучше того — из пушки шарахнуть. По штабу дивизии можно стрелять из чего угодно: из пулеметов, из минометов, можно держать штаб под снайперским огнем, а из пушек по нему можно стрелять прямой наводкой даже без пристрелки — не промахнешься.

Не будем возмущаться. С оборонительной точки зрения, такое расположение штаба танковой дивизии действительно, мягко говоря, не очень удачно. Но ведь танковая дивизия в Бресте «в непосредственной близости от границы» (Советские танковые войска. М. Воениздат. 1973. с. 27) не для обороны же находится! А если смотреть на ситуацию с наступательной точки зрения, то все правильно. Германская танковая группа Гудериана на той стороне тоже прямо к берегу придвинута. И сам Гудериан на противоположном берегу делает то же самое: из окошка в бинокль рассматривает советский берег. Иногда Гудериан, маскируясь, появляется с биноклем у самой воды. А перед началом «Барбароссы» уже и маскироваться перестал: стоит в генеральской форме со своими офицерами и смотрит в бинокль, точно как его советские противники. Не будем называть советских генералов идиотами. Мы же не усматриваем ничего идиотского в действиях германских генералов. Это просто обычная подготовка к наступлению. Так делается всегда и во всех армиях.

Рекогносцировку с советской стороны поводят командиры всех рангов. Начальник инженерных войск Юго-Западного фронта генерал-майор А.Ф.Ильин-Миткевич в момент начала войны оказался на самой границе в Рава-Русской (Полковник Р.Г.Уманский. На боевых рубежах. М. Воениздат. 1960, с.39). По приказу генерала армии К.А.Мерецкова в июле 1940 года была проведена рекогносцировка на всей западной границе. В ней приняли участие тысячи советских командиров всех рангов, включая генералов и маршалов, занимавших высочайшие посты, а Мерецков, который совсем недавно рассматривал финскую границу, делает тоже самое теперь на румынской и германской границах! «Я лично провел длительное наблюдение с передовых пограничных постов» (На службе народу. с. 202). «Затем я объехал пограничные части» (Там же, с. 203). Мерецков вместе с командующим Юго-Западным фронтом генерал-полковником М.П.Кирпоносом повторяют рекогносцировку на всем участке Киевского особого военного округа. «Из Киева я отправился в Одессу, где встретился с начальником штаба округа генерал-майором М.В.Захаровым... я вместе с ним поехал к румынскому кордону. Смотрим на ту сторону, а оттуда на нас смотрит группа военных». Из Одесского военного округа он спешит в Белоруссию, где с генералом армии Д.Г.Павловым тщательно рекогносцирует советско-германскую границу и германскую территорию. Короткий визит в Москву, и Мерецков уже на Северном фронте. Попутно он сообщает, что командующего Северо-Западным фронтом он в штабе не застал, тот проводит много времени на границе. Командующего Северным фронтом генерал-лейтенанта М.М.Попова тоже нет в штабе — он на границе.

Ко всему этому добавим, что в 1945 году Сталин и его генералы тщательно подготовили и блистательно провели внезапный удар по японским войскам и захватили Маньчжурию, Северную Корею и некоторые провинции Китая. Подготовка к нанесению внезапного удара осуществлялась точно так же, как и подготовка удара по Германии летом 1941 года. На границе появился все тот же Мерецков. Он уже Маршал Советского Союза. Он появляется на маньчжурской границе тайно, под псевдонимом «генерал-полковник Максимов». Один из главных элементов подготовки — рекогносцировка. «Сам объездил на вездеходе, а где и верхом на лошади все участки» («Красная звезда» от 7 июня 1987).

Командиры советских дивизий и корпусов, расположенных в глубине

советской территории, тоже посещали границу и весьма интенсивно. Маршал Советского Союза К.К.Рокоссовский (в то время он был генерал-майором и командовал механизированным корпусом, но не у самых границ) вспоминает, что часто навещал И.И.Федюнинского, корпус которого был прямо на границе. Генерал армии И.И.Федюнинский в своих мемуарах вспоминает, что действительно коллеги навещали, вот к примеру, Рокоссовский. Таких моментов в мемуарах советских маршалов и генералов мы найдем сотни и тысячи.

Если советские рекогносцировки проводились с оборонительными целями, то их надо было проводить не на границе: километрах в ста от границ в глубине своей территории выбрать удобные для обороны рубежи и провести на них рекогносцировки, а потом начать интенсивную подготовку этих рубежей к оборонительным сражениям. После этого всему высшему командному составу следовало отойти на линию старой границы и вновь провести рекогносцировки на этих старых заброшенных рубежах, а затем отойти на линию Днепра и т.д.

А рекогносцировка с пограничных застав — это рекогносцировка для агрессии.

158

21 июня 1941 года состоялось таинственное заседание Политбюро. Советский историк В.Анфилов сообщает: «Руководители коммунистической партии и члены Советского правительства в течение дня 21 июня находились в Кремле и решали важнейшие государственные и военные вопросы» (Бессмертный подвиг. М. Наука. 1971. с.185).

Известны только решения по четырем обсуждаемым вопросам, но не известно сколько всего вопросов обсуждалось в тот день и каковы были другие решения.

Вот то, что известно.

21 июня 1941 года решено принять на вооружение Красной Армии подвижную установку залпового огня БМ-13, развернуть серийное производство установок БМ-13 и реактивных снарядов М-13, а также начать формирование частей реактивной артиллерии. В ближайшие недели БМ-13 получит свое неофициальное имя «Катюша».

«21 июня Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о создании на базе западных приграничных военных округов фронтовых объединений» (Генерал-лейтенант П.А.Жилин, Член-корреспондент Академии Наук СССР. Великая Отечественная война. М. ИПЛ. 1973. с. 64). Это решение в тысячу раз важнее первого. Конечно, фронты существовали и до этого, Политбюро просто задним числом оформляет уже принятые решения, и тем не менее это архивно: пять фронтов созданы и юридически тайно оформлены не после германского вторжения, а до него.

Важность заключается вот в чем. Заседание Политбюро продолжалось весь день и завершилось глубокой ночью. Через несколько часов Жуков звонит Сталину и пытается убедить в том, что на границах происходит что-то необычное. Этот момент описан многими очевидцами и историками. Нет сомнения, что не только Сталин, но и Молотов, и Жданов, и Берия в возможность германского вторжения отказываются верить. Нежелание верить в германскую агрессию подтверждено всеми действиями Красной Армии: зенитки не стреляют по германским самолетам, советским истребителям запрещено сбивать германские самолеты, у войск Первого эшелона отобраны патроны, а из Генерального штаба сыплются драконовские приказы на провокации не поддаваться (Жуков и Тимошенко тоже в германскую агрессию не очень верили).

Вопрос: если высшие советские политические и военные руководители не верят в возможность германского вторжения, зачем же они только что создали фронты?

Ответ: ФРОНТЫ БЫЛИ СОЗДАНЫ НЕ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ ГЕРМАНСКОГО ВТОРЖЕНИЯ, а для другой цели.

Вот еще решение, принятое в Политбюро 21 июня 1941 года: создана Группа армий Резерва Главного Командования. Командующим Группой назначен Первый заместитель Наркома обороны Маршал Советского Союза С.М.Буденный,

начальником штаба Группы — генерал-майор А.П.Покровский (впоследствии генерал-полковник). В состав группы армий вошли семь армий Второго стратегического эшелона, которые, как мы знаем, тайно выдвигались в западные районы страны. Генерал-полковник А.П.Покровский в своих воспоминаниях называет новое объединение несколько по другому: «Группа войск Резерва Ставки» (ВИЖ № 4. 1978, с. 64), такое название указывает на то, что 21 июня была создана и Ставка Главного командования — высший орган управления Вооруженными силами в ходе войны. По крайней мере, ее создание 21 июня уже было предпринято.

Вполне возможно, что решение о создании Группы войск Резерва Ставки было принято раньше, а 21 июня на Политбюро решение только утверждается. Доказательством тому служат неоднократные указания, что германское вторжение застало генерал-майора А.П.Покровского уже на боевом посту в западных районах страны. (См., например: ВИЖ № 11, 1978. с. 126).

В любом случае, ДО германского вторжения Второй стратегический эшелон представлял собой не семь различных армий, а боевой механизм с единым руководством. Для чего это сделано? Для обороны? Нет. В оборонительной войне единое руководство армиями Второго стратегического эшелона было совершенно не нужно и было расформировано еще до того, как Второй стратегический эшелон встретился с противником. В мирное время Второй стратегический эшелон вообще не нужен в европейской части страны его негде размещать и негде тренировать.

Если Группа армий Резерва Ставки создавалась не для мирного времени и не для оборонительной войны, то тогда для чего?

21 июня Политбюро ЦК ВКП(б) возложило на Начальника Генерального штаба генерала армии Г.К.Жукова общее руководство Юго-Западным и Южным фронтами, а на заместителя наркома обороны генерала армии К.А.Мерецкова — Северным (Генерал армии С.П.Иванов и генерал-майор Н.Шеховцев. ВИЖ № 9, 1981. с.11). Совсем недавно К.А.Мерецков командовал армией в ходе «освобождения» Финляндии. Теперь его туда же посылают представителем Ставки. Совсем недавно Г.К.Жуков командовал Южным фронтом в ходе «освобождения» восточных областей Румынии, теперь его посылают туда же представителем Ставки координировать действия двух фронтов.

Нас уверяют, что Сталин послал Жукова на румынскую границу, а Мерецкова — на финскую чтобы готовить отражение германской агрессии. Пусть так. Странно другое: Сталин посылает Жукова и Мерецкова предотвращать события, в возможность которых сам он не верит.

Мерецков выехал немедленно. Жуков задержался на несколько часов в Москве, и «Барбаросса» застала его в Генеральном штабе. Но это случайность. Если бы «Барбаросса» началась на несколько часов позже, то и сам Жуков стал бы частью могучего ураганного потока, уносившего к западным границам генералов из Генштаба и комбригов из ГУЛАГа, эков и их конвоиров, командиров из запаса и с дальних границ, слушателей академий и их преподавателей.

Советские историки говорят о германских командирах: «В июне, вплоть до вторжения в СССР Браухич и Гальдер совершали в войска одну поездку за другой» (Анфилов. Бессмертный подвиг, с.65). А Жуков с Мерецковым себя вели как-то по другому?

Действия двух армий просто похожи друг на друга. Не зная о действиях противника, Вермахт и Красная Армия копируют друг друга даже в мельчайших деталях. Да, советские командиры приближали командные пункты к границам, как их германские коллеги, и даже ближе. Да, Красная Армия концентрирует две сверхмощных группировки на флангах в выступах границ точно, как германская армия. Да, советские самолеты сосредоточены у самых границ, как германские. Да, советским летчикам запрещено сбивать германские самолеты до определенного момента, точно как германским летчикам запрещено сбивать советские самолеты, чтобы не вызвать конфликт раньше времени, чтобы удар был совершенно внезапным. Да, командный пункт Гитлера находится в Восточной Пруссии в районе Растенбурга, а советский Главный Передовой Командный Пункт (ГПКП) находится в районе Вильнюса, точно на таком же расстоянии от

германской границы, как и германский — от советской. Если советский и германский главные командные пункты нанести на карту, а карту сложить по государственной границе, то командные пункты наложатся один на другой.

Но! Гитлер уже выехал на свой тайный командный пункт... а Сталин?

21 июня, после заседания Политбюро, многие его члены срочно разъезжаются на свои боевые посты. Жданов, который по линии Политбюро контролировал «освобождение» Финляндии, готовится 23 июня появиться в Ленинграде. Хрущев, который контролировал «освобождение» восточных областей Польши и Румынии, срочно несется в Киев (и, возможно, в Тирасполь). Андреев, который в Политбюро отвечает за воинские перевозки (Генерал армии А.А.Епишев. Партия и Армия. М. ИПЛ. 1980, с. 176) спешит на Транссибирскую магистраль, чтобы ускорить выдвижение армий Второго стратегического эшелона, и уже на следующий день его появление будет отмечено в Новосибирске (Генерал-лейтенант С.А.Калинин. Размышления о минувшем. М. Воениздат. 1963, с. 131).

А как же Сталин? Неужели и он, как Гитлер, готовится отправиться на тайный командный пункт?

160

Решение Политбюро о тайном развертывании пяти фронтов на западных границах означало, что Советский Союз в 1941 году неизбежно должен был начать активные действия на Западе. Причина чрезвычайно серьезная: каждый из советских фронтов, помимо прочего, в месяц съедал до 60.000 голов крупного рогатого скота (Маршал Советского Союза С.К.Куркоткин. Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной Войне. М. Воениздат. 1977, с. 375). Если ждать до следующего года то пяти фронтам придется скормить более 3.000.000 голов крупного рогатого скота. А кроме пяти фронтов, надо кормить семь армий Второго стратегического эшелона и три армии НКВД, развернутые позади. Нужно кормить четыре флота, советские войска, которые готовятся «освободить» Иран, авиацию, войска ПВО, но самое главное — военную промышленность, где едоков еще больше.

Ничего, скажут мне, опираясь на социалистическое сельское хозяйство, на наши колхозы... Не буду спорить. Вот сведения из советского Генерального штаба: «Несмотря на крупные успехи в области развития сельского хозяйства накануне войны, зерновая проблема в силу ряда причин не была решена. Государственные заготовки и закупки зерна не покрывали всех потребностей страны в хлебе» (ВИЖ № 7. 1961, с. 102). Словом, успехи большие, но хлеба нет. А вот мнение сталинского наркома финансов, члена ЦК. А.Г.Зверева: «К началу 1941 года поголовье крупного рогатого скота у нас еще не достигло уровня 1916 года» (Записки министра. М. ИПЛ. 1973, с. 188). Уровень 1916 года — это не стандартный уровень России, а уровень, на который сельское хозяйство страны опустилось после двух лет опустошительной, разорительной войны. В «мирное время» поголовье скота в Советском Союзе было ниже, чем в России в разгар мировой войны! Уровень 1916 года — это, по стандартам предыдущих десятилетий, крайне низкий и почти катастрофический уровень, на котором возможны беспорядки, на котором ломается привычный уклад жизни и толпы народа могут высыпать на улицы.

Взлетев вверх на мутной волне беспорядков и захватив власть, коммунисты не улучшили продовольственного положения страны, но ухудшили его настолько, что страна и через четверть века все еще пыталась подняться до очень низкого уровня, на который хозяйство страны упало в результате мировой войны. Сталин создал колоссальную армию и военную промышленность, но за это пожертвовал достоянием нации, которое накапливалось веками, и жизненным уровнем народа, опустив его ниже уровня, на котором живут люди во время мировой войны.

С начала 1939 года Сталин начал интенсивную перекачку ресурсов из и так катастрофически ослабленного сельского хозяйства в армию и в военную промышленность. Помните 1320 железнодорожных эшелонов груженых автомобилями у советских западных границ. Откуда они? Да из колхозов мобилизовали, не из военной же промышленности! Или вот в мае 1941 года в Красную Армию тайно мобилизовано 800.000 резервистов. За месяц количество едоков в армии увеличи-

лось почти на миллион. А за счет кого армия растет? Мы уже знаем что за счет эзков. Ну и, конечно, за счет мужиков. На военном заводе — бронь. А в колхозе?

Так вот, пять прожорливых фронтов, созданных ДО германского вторжения, и тайная мобилизация мужиков и техники в эти фронты ДО уборки урожая означали неизбежный голод в 1942 году даже без германского вмешательства. Голод 1942 года был предreshен на заседании Политбюро 21 июня 1941 года. Развернув прожорливые фронты, надо было неизбежно в том же году вводить их в дело. В противном случае в следующем 1942 году врагами Сталина будет не только Гитлер, но и миллионы голодных вооруженных мужиков в сталинской собственной армии. А внезапный удар Красной Армии в 1941 году сулил захват новых богатых территорий и резервов продовольствия (например, в Румынии). Если этих запасов не хватит — не беда: голод, возникший в ходе войны, объясним и понятен.

Мы уже знаем, что армии Второго стратегического эшелона Сталин должен был неизбежно вводить в бой в 1941 году независимо от действий Гитлера просто потому, что в западных районах страны эти армии негде было размещать на зиму и зимой негде тренировать. Вот и еще одна причина, которая делала для Сталина войну неизбежной в 1941 году: если бы он не ввел в бой пять фронтов, семь армий Второго стратегического эшелона и три армии НКВД, то к весне 1942 года создалась бы ситуация, в которой всю эту массу войск было бы просто нечем кормить.

Единственный советский маршал, которому Сталин полностью верил, Б.М.Шапошников, еще в 1929 году высказал категорическое мнение о том, что мобилизовать сотни тысяч и миллионы людей и держать их в районе границ в бездействии длительное время невозможно (Мозг Армии. ГИЗ. Том 3, 1929). Армию гораздо легче контролировать в ходе войны, чем контролировать миллионы мобилизованных вооруженных людей, которые изнывают от ожидания и безделья. Попробуйте эту массу вооруженных людей еще и не кормить. Что у вас получится. Создав фронты, Сталин нарушил и без того неустойчивый баланс между гигантской армией и истощенным, разоренным сельским хозяйством. После этого создалась ситуация: все или ничего. Ждать до 1942 года Сталин уже не мог.

ОТЧЕГО СТАЛИН НЕ ВЕРИЛ ЧЕРЧИЛЛЮ

А почему Сталин должен верить Черчиллю?

Кто такой — Черчилль? Коммунист? Большой друг Советского Союза? Ярый сторонник мировой коммунистической революции?

Получив письмо, содержащее не очень обычную информацию, мы с вами начинаем с вопроса о том, насколько серьезен источник информации. Думаю, Сталин тоже задал такой вопрос. Кто же такой Черчилль с точки зрения советских коммунистов? Черчилль — это самый первый политический лидер мира, который еще в 1918 году понял величайшую опасность коммунизма и сделал немало, чтобы помочь русскому народу избавиться от страшной заразы коммунизма. Этих усилий было недостаточно, но все же Черчилль сделал больше, чем все другие мировые лидеры вместе взятые. Черчилль — враг коммунистов и никогда этого не скрывал. Черчилль в 1918 году выступил с идеей сотрудничать с Германией в борьбе против советской коммунистической диктатуры. Черчилль активно и настойчиво боролся против советских коммунистов во времена, когда Гитлера вообще не было, а был только ефрейтор Адольф Шикльгруббер.

Ленин определил Черчилля — «величайший ненавистник Советской России» (ПСС. Том 41, с.350).

Если ваш величайший враг и ненавистник присылает вам письмо с предупреждениями об опасностях, сильно ли вы ему верите?

Для того, чтобы понять отношение Сталина к письмам Черчилля, надо вспомнить политическую обстановку в Европе.

В дипломатической войне 30-х годов положение Германии было самым

невыгодным. Находясь в центре Европы, она стояла и в центре всех конфликтов. Какая бы война ни началась в Европе, Германия почти неизбежно должна была стать ее участницей. Поэтому дипломатическая стратегия многих стран в 30-х годах сводилась к позиции: вы войдете с Германией, а я постараюсь остаться в стороне. Мюнхен-38 — это яркий образец такой философии.

Дипломатическую войну 30-х годов выиграли Сталин и Молотов. Пактом Молотов-Риббентроп Сталин дал зеленый свет Второй мировой войне, оставшись «нейтральным» наблюдателем и готовя один миллион парашютистов на случай «всяких неожиданностей».

Великобритания и Франция дипломатическую войну проиграли и теперь вынуждены вести настоящую войну. Франция быстро выходит из войны. В чем же политический интерес Британии? Если смотреть на ситуацию из Кремля, то можно представить только одно политическое стремление Черчилля: найти громоотвод для германского блицкрига и отвести германский удар от Британии в любую другую сторону. Во второй половине 1940 года таким громоотводом мог быть только Советский Союз.

Проще выражаясь, Британии (по мнению Сталина, которое он открыто выразил 10 марта 1939 года) хочется столкнуть Советский Союз с Германией, а самой отойти в сторону от этой драки. Не знаю, в этом ли было намерение Черчилля, но именно в этом плане Сталин воспринимал любое действие британского правительства и дипломатии.

Адмирал флота Советского Союза Н.К.Кузнецов: «У Сталина, конечно, было вполне достаточно оснований считать, что Англия и Америка стремятся столкнуть нас с Германией лбами» (Накануне. М. Воениздат. 1966, с. 321). Получив любое письмо Черчилля, Сталин, не читая его, мог догадаться о содержании. Что нужно Черчиллю? Что его беспокоит? Безопасность коммунистического режима в Советском Союзе, или у Черчилля есть более важные проблемы? О чем может мечтать Черчилль в плане политическом? Только о том, как бы поменяться со Сталиным ролями, чтобы Сталин воевал с Гитлером, а Черчилль наблюдал драку со стороны.

В данной ситуации Черчилль — слишком заинтересованное лицо, чтобы Сталин мог верить его словам.

Чтобы понять отношение Сталина к письмам Черчилля, нужно вспомнить и стратегическую ситуацию в Европе. Главный принцип стратегии — концентрация. Концентрация мощи против слабости. В Первой мировой войне Германия не могла применить главный принцип стратегии, оттого что воевала на два фронта. Стремление быть сильным одновременно на двух фронтах вело к общей слабости, но попытки сконцентрировать усилия на одном фронте означали автоматическое ослабление другого фронта, что противник немедленно использовал. Из-за наличия двух фронтов Германия была вынуждена отказаться от использования принципа концентрации усилий и, следовательно, от стратегии сокрушения, заменив ее единственной альтернативой — стратегией истощения. Но ресурсы Германии ограничены, а ресурсы ее противников — не ограничены. Поэтому война на истощение для Германии могла иметь только катастрофический конец.

Германский Генеральный штаб и сам Гитлер во Второй мировой войне отлично понимали, что война на два фронта — катастрофа. В 1939-40 годах Германия фактически имела постоянно не более одного фронта. Поэтому германский Генеральный штаб имел возможность применить принцип концентрации и блистательно его применял, концентрируя германскую военную мощь последовательно против одного, затем другого противника.

В чем главная задача германской стратегии? Не допустить войны на два фронта. Два фронта — это отказ от главного принципа стратегии, это переход от стратегии сокрушения к стратегии истощения, это провал блицкрига, это конец и катастрофа.

О чем может мечтать Черчилль в 1940 году в плане стратегическом? Только о том, чтобы война для Германии превратилась из войны на один фронт в войну на два фронта.

Сам Гитлер считал, что воевать на два фронта невозможно. На совещании высшего командного состава Германских вооруженных сил 23 ноября 1939 года Гитлер говорил о том, что против Советского Союза можно начать войну только после того, как будет завершена война на Западе.

А теперь представьте, что это вам в 1940 году кто-то сообщает, что Гитлер намерен отказаться от использования великого принципа стратегии и вместо концентрации готовит распыление сил. Кто-то вам настойчиво в ухо шепчет, что Гитлер преднамеренно хочет повторить ошибку Германии в Первой мировой войне. Каждый школьник знает, что два фронта для Германии — самоубийство. Вторая мировая война потом подтвердит это правило еще раз, причем для Гитлера лично война на два фронта будет означать самоубийство в самом прямом смысле.

Если бы вам в 1940 году, после падения Франции, кто-то сказал, что Гитлер готовится к самоубийственной войне на два фронта, вы бы поверили? Я бы — нет.

Если бы такое сообщила советская военная разведка, то я бы посоветовал начальнику ГРУ генералу Голикову оставить свой пост, вернуться в академию и изучить еще раз причины поражения Германии в Первой мировой войне. Если бы новость о самоубийственной войне мне сообщил некий нейтральный человек со стороны, я бы ему ответил, что Гитлер — не идиот, это ты, дорогой друг, наверное, идиот, если считаешь, что Гитлер добровольно начнет войну на два фронта.

Черчилль — самый заинтересованный в мире человек в том, чтобы Гитлер имел не один, а два фронта. Если Черчилль вам скажет секретно, что Гитлер готовится к войне на два фронта, как вы отнесетесь к его сообщению?

Кроме чисто стратегической и политической обстановки, надо принимать во внимание и атмосферу, в которой Черчилль писал свои послания, а Сталин их читал.

21 июня 1940 года пала Франция. Разбой германских подводных лодок на морских коммуникациях резко усиливается. Над островным государством Великобритании, связанным со всем миром теснейшими торговыми связями, нависла угроза морской блокады, острейшего торгового, индустриального, финансового кризисов. Хуже того, германская военная машина, которая в тот момент многим кажется непобедимой, уже интенсивно готовится к высадке на Британских островах.

В этой обстановке 25 июня Черчилль пишет письмо Сталину. 30 июня германскими вооруженными силами захвачен британский остров Гернси. В тысячулетней истории Британии совсем не много случаев, когда противник высаживается на Британских островах. Что последует за этим? Высадка в самой Англии? Гернси захвачен без сопротивления. Как долго будет сопротивляться Британия?

Именно на следующий день после захвата Германией Гернси Сталин получает послание Черчилля.

Давайте спросим себя: в чем интерес Черчилля? Ему хочется спасти коммунистическую диктатуру в Советском Союзе или Британскую империю? Я думаю, что именно британские интересы заставляют Черчилля писать письмо. Если мы с вами это понимаем, неужели Сталин этого не понимал? Черчилль для Сталина — это не нейтральный наблюдатель, который из дружественных чувств указывает на опасность, а попавший в тяжелое положение человек, которому нужна помощь, нужны союзники в борьбе против страшного врага. Поэтому Сталин очень осторожно относится к письмам Черчилля.

Черчилль писал несколько писем Сталину. Но, по несчастью, все они приходили к Сталину именно в моменты, когда Черчилль сам находился в очень тяжелом положении. Вот самое известное письмо Черчилля из этой серии, полученное Сталиным 19 апреля 1941 года. Все советские и другие историки сходятся на мысли, что именно это письмо является главным предупреждением Сталину. Письмо обильно цитируется многими историками. Но давайте вначале обратим внимание не на текст письма, а на положение Черчилля. 12 апреля германская армия захватила Белград. 13 апреля Роммель подошел к границам

Египта. 14 апреля Югославия сдается Германии. 16 апреля во время бомбардировки Лондона поврежден храм святого Павла. В апреле Греция — накануне сдачи, и британские войска в Греции находятся в катастрофическом положении. Вопрос в том, удастся их эвакуировать или нет. В этой обстановке Сталин получает самое важное письмо Черчилля.

У Сталина могли существовать подозрения не только относительно мотивов Черчилля, но и относительно источников информации. Черчилль написал Сталину письмо в июне 1940 года. Но почему же тот же Черчилль не написал подобных писем правительству Франции и своим собственным войскам на континенте в мае того же года?

Черчилль пишет письмо Сталину в апреле 1941 года, а через месяц германские вооруженные силы проводят блистательную операцию по захвату Крита. Отчего британская разведка, — мог подумать Сталин, — так хорошо работает в интересах Советского Союза, но ничего не делает в интересах Великобритании?

Наконец, существует более серьезная причина почему Сталин не верил «предупреждениям» Черчилля: Черчилль Сталина о германском вторжении не предупреждал.

Коммунистическая пропаганда сделала очень много для того, чтобы укрепить миф о «предупреждениях» Черчилля. С этой целью Хрущев цитировал послание Черчилля Сталину от 18 апреля 1941 года. Советский военный историк В.Анфилов цитирует это послание Черчилля во всех своих книгах. Маршал Советского Союза Г.К.Жуков это послание приводит полностью. Генерал армии С.П.Иванов делает то же самое. Официальная «История Великой Отечественной войны» настойчиво вбивает нам в голову мысль о предупреждениях Черчилля и полностью цитирует его послание от 18 апреля. А кроме этого, послание Черчилля мы найдем в десятках и сотнях советских книг и статей.

Вот сообщение Черчилля:

«Я получил от заслуживающего доверия агента достоверную информацию о том, что немцы, после того как они решили, что Югославия находится в их сетях, то есть 20 марта, начали переброску в южную часть Польши трех бронетанковых дивизий из пяти находившихся в Румынии. В тот момент, когда они узнали о сербской революции, это передвижение было отменено. Ваше превосходительство легко оценит значение этих фактов».

В таком виде послание Черчилля публикуют все советские источники, настаивая и уверяя, что это и есть «предупреждение». Лично я никакого предупреждения не вижу.

Черчилль говорит про три танковых дивизии. По стандартам Черчилля — это очень много. По стандартам Сталина — не очень. Сам Сталин в это время тайно создает 63 танковых дивизии, каждая из которых по количеству и качеству танков сильнее германской дивизии. Получив сообщение про три германских дивизии, Сталин должен был догадаться про вторжение?

Если сообщение о трех танковых дивизиях мы считаем достаточным «предупреждением» о подготовке агрессии, в этом случае не надо обвинять Гитлера в агрессивности, германская разведка передала Гитлеру сведения о десятках советских танковых дивизий, которые группировались у границ Германии и Румынии.

Черчилль предлагает Сталину самому «оценить значение этих фактов». Как же их можно оценить? Польша — это исторические ворота для всех агрессоров, идущих из Европы на Россию. Германские танковые дивизии Гитлер хотел перебросить в Польшу, но передумал.

Румыния в сравнении с Польшей — очень плохой плацдарм для агрессии: германские войска в Румынии тяжелее снабжать, чем в Польше; при агрессии из Румынии путь к жизненным центрам России для агрессора гораздо длиннее и тяжелее, агрессору придется преодолеть множество преград, включая Днепр в его нижнем течении.

Если бы Сталин готовился к обороне и если бы он поверил «предупреждению» Черчилля, то он должен был вздохнуть с облегчением и ослабить свои

военные приготовления. Вдобавок Черчилль сообщает причину, почему германские войска не перебрасываются в Польшу, а остаются в Румынии, у немцев проблемы в Югославии вообще и в Сербии в частности. Другими словами, Черчилль говорит, что германские танковые дивизии оставлены в Румынии совсем не для агрессии на восток против Советского Союза, а наоборот, из Румынии они направлены на юго-запад, т.е. повернуты к Сталину спиной.

В это время Британия вела исключительно интенсивную дипломатическую и военную борьбу во всем бассейне Средиземного моря, особенно в Греции и Югославии. Телеграмма Черчилля имеет исключительную важность, но ее никак нельзя рассматривать как предупреждение. В гораздо большей степени это приглашение Сталину, немцы хотели перебрасывать дивизии в Польшу, но передумали — тебе нечего бояться, тем более, что их дивизии в Румынии повернуты к тебе задом! Оцени эти факты и действуй!

В ходе войны Сталин, попав в критическую обстановку, сам посылал подобные послания Черчиллю и Рузвельту: Германия сосредоточила основные усилия против меня, повернувшись к вам спиной, самый для вас удобный момент! Ну, скорее же открывайте второй фронт! А потом настала вновь очередь западных союзников: открыв второй фронт и попав в тяжелое положение, западные лидеры в январе 1945 года обращались к Сталину с тем же посланием, не мог бы ты, Сталин, стукнуть посильнее!

Письма Черчилля мы не имеем права рассматривать как предупреждения: Черчилль написал свое первое большое письмо Сталину 25 июня 1940 года, когда плана «Барбаросса» еще не было! Письма Черчилля основаны не на знании германских планов, а на трезвом расчете. Черчилль просто обращает внимание Сталина на европейскую ситуацию: сегодня у Британии проблемы с Гитлером, а завтра они неизбежно будут и у Советского Союза. Черчилль призывает Сталина к объединению против Гитлера, т.е. к вступлению Советского Союза в войну на стороне Великобритании и всей покоренной Европы.

Выдающийся британский военный историк Б.Х.Лидл-Харт провел блистательный анализ стратегической обстановки того момента с точки зрения Гитлера. По свидетельству генерала Йодля, на которое ссылается Лидл-Харт, Гитлер неоднократно говорил своим генералам, что у Британии есть единственная надежда: советское вторжение в Европу (W.N.Liddell Hart. History of the Second World War. London. PAN, 1978, p. 151). Сам Черчилль 22 апреля 1941 года записал: «Советское правительство прекрасно знает... о том, что мы нуждаемся в его помощи» (L.Woodward. British Foreign Policy in the Second World War, p. 611). Какую же помощь ожидает Черчилль от Сталина? И как Сталин может ее оказать, кроме удара по Германии?

У Сталина достаточно оснований не верить Черчиллю. Но сам-то Сталин должен понимать, что после падения Великобритании он останется один на один с Германией. Понимает ли Сталин это? Конечно. И говорит об этом Черчиллю в ответе на послание от 25 июня 1940 года: «...политика Советского Союза — избежать войны с Германией, но Германия может напасть на Советский Союз весной 1941 года, в случае, если к этому времени Британия проиграет войну» (Цитирую по книге: R.Goralski. World War II Almanac: 1931—1945. London, Hamish Hamilton, p.124).

По сталинскому ответу выходит, что Сталин намерен жить в мире, терпеливо дожидаться падения Великобритании и, оставшись один на один с Гитлером, дожидаться германского вторжения.

Ах, какой глупый Сталин, возмущаются некоторые историки. А мы не будем возмущаться: это послание адресовано не Черчиллю, а Гитлеру! 13 июля 1940 года Молотов по приказу Сталина передает запись беседы Сталина с британским послом Криппсом в руки германского посла графа фон Шуленбурга. Не правда ли, странный шаг: вести переговоры с Черчиллем (через посла Криппса) и тайно передавать секретные протоколы переговоров в руки Гитлера (через посла фон Шуленбурга)?

Кстати сказать, и тут Сталин лукавит. Гитлеру Сталин передает не оригинал меморандума, а тщательно отредактированную копию, которая

сохраняет множество ненужных деталей в точности, но ключевые фразы полностью изменены. Я думаю, что в данном случае нужно говорить не о двух копиях одного меморандума, а о двух разных документах, в которых различия больше, чем сходства.

Если очистить сталинскую «копию» от дипломатической шелухи и посмотреть на меморандум в чистом виде, то этот документ говорит Гитлеру:

1. Адольф, войой и не бойся за свой тыл, иди вперед и не оглядывайся назад, позади у тебя хороший друг Иосиф Сталин, который хочет только мира и ни при каких условиях на тебя не нападет.

2. Гут в Москве были переговоры с британским послом, не бойся, это переговоры не против тебя. Видишь, я тебе даже секретные протоколы беседы с Криппсом отправляю. А Черчилля я к чертовой матери отослал! (На самом деле, не отослал.)

Можно ли верить сладким песням кремлевской сирены? Многие историки верят. А вот Гитлер не поверил и, подумав крепко над «копией» записи беседы Сталина и Криппса, 21 июля 1940 года отдает приказ начать разработку плана «Барбаросса». Другими словами, Гитлер решает воевать на два фронта. Это решение очень многим кажется непонятным и необъяснимым. Многие германские генералы и фельдмаршалы не поняли и не одобрили этого поистине самоубийственного решения. Но у Гитлера выбора уже не было. Он шел все дальше и дальше на запад, на север, на юг, а Сталин с топором стоял позади и пел сладкие песни о мире.

У Гитлера была непоправимая ошибка, но допустил он ее не 21 июля 1940 года, а 19 августа 1939 года. Дав согласие на подписание пакта Молотов-Риббентроп, Гитлер встал перед неизбежной войной против Запада: имея позади себя «нейтрального» Сталина. Именно с этого момента Гитлер имел два фронта. Решение начать «Барбароссу» на Востоке, не дожидаясь победы на Западе, — это не роковая ошибка, а только попытка Гитлера исправить ранее допущенную роковую ошибку. Но было уже слишком поздно. Война уже имела два фронта, и выиграть ее уже было невозможно. Даже захват Москвы не решал проблемы: позади Москвы лежало еще 10.000 километров бескрайней территории, гигантские индустриальные мощности, неисчерпаемые природные и огромные людские ресурсы. Начинать войну с Россией всегда легко, заканчивать — не очень. Воевать в Европейской части СССР Гитлеру, конечно, было легко: ограниченная территория, множество дорог высокого качества, а зима мягкая. Был ли готов Гитлер воевать в Сибири, на неограниченных бескрайних просторах, где действительно нет дорог, где действительно бывает грязь, где жестокость мороза близка к жестокости сталинского режима?

Сталин знал, что для Гитлера война на два фронта — самоубийство. Сталин считал, что Гитлер на самоубийство не пойдет и не начнет войну на Востоке, не завершив ее на Западе. Сталин терпеливо ждал последнего аккорда германо-британской войны: высадки германских танковых корпусов на Британских островах. Блестящую десантную операцию на Крите Сталин, да и не только он, расценивал как генеральную репетицию для высадки в Англии. Одновременно Сталин предпринимал все меры к тому, чтобы убедить Гитлера в своем миролюбии. Оттого советские зенитки не стреляли по германским самолетам, а советские газеты и ТАСС трубили о том, что войны между СССР и Германией не будет.

Если бы Сталину удалось убедить Гитлера в том, что СССР — нейтральная страна, то германские танковые корпуса были бы, несомненно, высажены на Британские острова. И тогда... И тогда сложилась бы поистине небывалая ситуация. Польша, Чехословакия, Дания, Норвегия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Югославия, Франция, Греция, Албания больше не имеют ни армий, ни правительств, ни парламентов, ни политических партий. Миллионы людей загнаны в нацистские концлагеря, и вся Европа ждет освобождения. А на европейском континенте только всего и осталось, что полк личной охраны Гитлера, охрана нацистских концлагерей, германские тыловые части, военные училища и... пять советских воздушно-десантных корпусов, десятки тысяч быстроходных танков, созданных специально для действий на автострадах (кстати, автострад на советс-

кой территории нет), десятки тысяч самолетов, пилоты которых не обучены ведению воздушных боев, но обучены нанесению ударов по наземным целям; дивизии и целые армии НКВД; армии, укомплектованные советскими эками; сверхмощные формирования планерной авиации для быстрой высадки на территории противника; горные дивизии, обученные стремительным броскам к перевалам, через которые идет нефть — кровь войны.

Имел ли кто-нибудь в истории столь благоприятную ситуацию для «освобождения» Европы? А ведь эта ситуация не сложилась сама. Ее долго, упорно и настойчиво из маленьких кусочков, как тончайшую мозаику, складывал Сталин. Это Сталин помогал привести Гитлера к власти и сделать из Гитлера настоящий Ледокол Революции. Это Сталин толкал Ледокол Революции на Европу. Это Сталин требовал от французских и других коммунистов не мешать Ледоколу ломать Европу. Это Сталин снабжал Ледокол всем необходимым для победоносного движения вперед. Это Сталин закрывал глаза на все преступления нацистов и радовался (см. газету «Правда»), «когда мир сотрясся в своих основах, когда гибли могущества и падали величия».

Но Гитлер разгадал замысел Сталина, вот почему во Второй мировой войне Сталину досталось только пол-Европы и кое-что в Азии.

И последний вопрос. Если Черчилль не предупреждал Сталина о подготовке к вторжению, зачем же коммунисты так цепко держатся за эту легенду. Чтобы показать советскому народу, что Черчилль был хорошим человеком? Или чтобы доказать, что лидерам Запада надо верить? Конечно, не для этого.

Легенда о «предупреждениях» Черчилля нужна коммунистам для того, чтобы оправдать свои агрессивные приготовления: да, признают они, внезапный удар готовили. Но это не наш собственный замысел, это нас Черчилль предупредил.

ПОЧЕМУ СТАЛИН НЕ ВЕРИЛ РИХАРДУ ЗОРГЕ

Сталин очень серьезно готовился к войне. Особую заботу Сталин проявлял о советской военной разведке, которая в настоящее время известна под именем ГРУ. Достаточно прочитать список всех начальников ГРУ с момента создания этой организации до 1940 года, чтобы оценить всю глубину трогательной заботы Сталина о своих доблестных разведчиках. Вот этот список:

Аралов — арестован, провел несколько лет под следствием с применением «мер физического воздействия»

Стигга — ликвидирован

Никонов — ликвидирован

Берзин — ликвидирован

Уншлихт — ликвидирован

Урицкий — ликвидирован

Ежов — ликвидирован

Проскуров — ликвидирован

Разумеется, что при ликвидации лидера военной разведки ликвидации подлежали и его первые заместители, заместители, советники, начальники управлений и отделов. А при ликвидации начальников отделов тень неизменно ложилась на оперативных офицеров и на агентуру, которой они руководили. Поэтому уничтожение главы военной разведки минимум дважды означало и уничтожение всей военной разведки.

Говорят, что такая забота Сталина о своих военных разведчиках имела катастрофические последствия. Не верьте слухам. ГРУ перед Второй мировой войной, в ходе нее и после было и остается самой мощной, самой эффективной разведывательной организацией мира. ГРУ уступает по количеству, но резко превосходит по качеству добываемой секретной информации своего главного противника и соперника — советскую тайную полицию ЧК — КГБ. Постоянная, волна за волной, кровавая чистка советской военной разведки ни в коей мере не ослабляла ее мощи. Наоборот, на смену одному поколению приходило новое, более агрессивное. Смена поколений — вроде как смена зубов у акулы. Новые зубы появляются целыми рядами, вытесняя предшествующий ряд, а за ним виднеются уже новые и новые ряды.

В быстрой смене поколений разведчиков часто (очень часто) погибали и невинные (по коммунистическим стандартам) разведчики, но, как ни странно, советская акула от этого не становилась беззубой. Помните, как Гитлер истребил немало ярых фашистов в одной из самых массовых фашистских организаций — СА? Разве от этого режим Гитлера стал слабее?

Разница между Гитлером и Сталиным заключалась в том, что Сталин к войне готовился очень серьезно. Сталин устраивал ночи длинных ножей не только против своих коммунистических штурмовиков, но и против генералов, маршалов, конструкторов, разведчиков. Сталин считал, что получать от своей разведки портфели, набитые секретами, — очень важно, но еще важнее — не получить от своей разведки портфеля с бомбой. Он исходил не только из своего личного интереса, но и из государственного тоже. Устойчивость высшего государственного, политического и военного руководства в критических и сверхкритических ситуациях — это один из важнейших элементов готовности государства к войне.

Сталину никто в критической ситуации под стол не сунул бомбу, и это не случайность. Постоянным, целенаправленным террором против ГРУ Сталин не только добился очень высокого качества добываемой секретной информации, но и гарантировал высшее руководство страны от «всяких неожиданностей» в моменты кризисов.

Рихард Зорге — это шпион из того ряда зубов, которые Сталин профилактики ради повелел вырвать 29 июля 1938 г.

Советская военная разведка не столь глупа, чтобы публиковать самые интересные сообщения Зорге. Но даже анализ относительно небольшого количества опубликованных сообщений Зорге ставит нас в тупик. Не перечисляя много посланий (они очень похожи друг на друга) — вот только три весьма характерных.

Я н в а р ь 1940: «С благодарностью принимаю ваши приветы и пожелания в отношении отдыха. Однако если я поеду в отпуск, это сразу сократит информацию».

М а й 1940: «Само собой разумеется, что в связи с современным военным положением мы отодвигаем свои сроки возвращения домой. Еще раз заверяем вас, что сейчас не время ставить вопрос об этом».

О к т я б р ь 1940: «Могу ли я рассчитывать вернуться домой после окончания войны?»

Не правда ли, странно: разведчик спрашивает в начале войны, позволят ли ему вернуться домой после нее! Кстати, после этого вопроса Зорге перечисляет свои многочисленные заслуги перед советской властью. Что за странная телеграмма? Каждый разведчик знает, что после войны ему разрешат вернуться домой. Зачем же лишний раз с таким вопросом выходить в эфир? Каждый выход совершенно секретной радиостанции с непонятным кодом в открытый эфир — это огромный риск для всей шпионской организации Зорге. Неужели агентурная радиостанция и высшей степени секретности коды созданы для того, чтобы Зорге задавал такие вопросы?

Еще более странной третья телеграмма звучит в сравнении с двумя первыми (повторяю, что таких телеграмм не две, а больше). ГРУ говорит Рихарду Зорге: приезжай в отпуск в любое время, забудь ты эту войну и кати сюда, отдохнешь! Зачем же спрашивать разрешения вернуться после войны, если ему настоятельно предлагают вернуться прямо сейчас, прямо во время войны?!

О Зорге в Советском Союзе написано множество книг и статей. И вот в некоторых звучит странная ему похвала: он был таким великим разведчиком, таким верным коммунистом, что даже свои личные деньги, добываемые нелегким трудом журналиста, тратил на свою нелегальную работу. Что за чепуха! Да неужели на Колыме эски больше золото не роют? Да неужели ГРУ настолько обиднело, чтобы так унижить своего нелегального резидента!

И уж совсем интересное сообщение сделал «Огонек» (№ 17, 1965) о том, что у Зорге были очень важные документы в руках, но передать их в Центр он не мог: Центр не присылал курьера. «Огонек» не говорит, почему же Центр не присылал курьера. И нас этот вопрос тоже озадачил.

А ларчик просто открывался.

В момент этих событий человек, завербовавший Рихарда Зорге, Ян Берзин, блистательный шеф советской военной разведки, после жесточайших пыток ликвидирован. Соломон Урицкий, другой шеф ГРУ, дававший лично указания Зорге, — ликвидирован. Советский нелегальный резидент Я. Горев, обеспечивший транзит Зорге из Германии, — сидит («Комсомольская правда» от 8 окт. 1964). Тайная сотрудница Рихарда Зорге Айна Куусинен, жена заместителя начальника ГРУ, «Президента» «Финляндской Демократической Республики», будущего члена Политбюро ЦК КПСС, — сидит. Жена Рихарда Зорге Екатерина Максимова — арестована, призналась в связях с врагами, ликвидирована. Нелегальный резидент ГРУ в Шанхае, бывший заместитель Зорге Карл Рамм — вызван в «отпуск» в Москву, ликвидирован. Теперь Зорге получил приказ — прибыть в отпуск. Знает ли он настоящую причину вызова?! Знает. И советские коммунистические источники не скрывают: «Зорге отказался ехать в СССР», «Несомненно, Зорге догадывался, что его ждет в Москве». Публикаций на эту тему во времена «оттепели» было немало.

Итак, в Москве считают Рамзая врагом и вызывают на расстрел. Зорге на упорные вызовы отвечает: на расстрел не приеду, не хочу прерывать интересную работу.

А теперь вдумаясь в слова советского историка-коммуниста: «Отказался вернуться в СССР». Как называется на коммунистическом жаргоне этакий фрукт? Правильно: невозвращенец. В те времена был придуман даже более точный термин — злостный невозвращенец. Вот поэтому он и платит агентам из своего кармана: Центр прекратил его финансировать. Вот потому и курьеры к нему не спешат. Не посылать же нелегального курьера к злостному невозвращенцу!

Не желая возвращаться на скорый суд и лихую расправу, Зорге продолжает работать на коммунистов, но теперь уже не в роли секретного сотрудника (сокращенно — сексот), а скорее в роли энтузиаста-доносчика, который скрипит пером не денег ради, а удовольствия для. Расчет Рамзая точен: сейчас не поеду, а после войны разберутся, что я говорил только правду, простят и оценят. Центр тоже с ним до конца связи не теряет: принимает его телеграммы, но только, видимо, для того, чтобы в ответ сказать: вернись домой, вернись домой, вернись домой. На что Рамзай отвечает: очень занят, очень занят, очень занят...

Первый ответ на поставленный вопрос: Сталин не верил Рихарду Зорге потому, что Зорге — невозвращенец, минимум с парой высших приговоров. Один ему явно врубили в 38-м, по общему списку, со товарищи. А уж потом еще и за злостное невозвращенчество добавили. Сам товарищ Зорге не очень верит товарищу Сталину, оттого не возвращается. Как же товарищ Сталин может верить тому, кто Сталину не верит?

Кто-то сочинил легенду о том, что Рихард Зорге якобы сообщал в ГРУ какие-то важные сведения о германском вторжении, а ему не поверили.

Зорге — великий разведчик, но по поводу германского вторжения он ничего важного не сообщал в Москву. Более того, Зорге стал жертвой дезинформации и питал ГРУ ложными сведениями.

Вот его телеграмма от 11 апреля 1941 года: «Представитель (германского — В.С.) Генерального штаба в Токио заявил, что сразу после окончания войны в Европе начнется война против Советского Союза».

Гитлер — тоже коварный мужик. Он готовит вторжение, распространяя ложь, очень похожую на правду. Гитлер знает, что подготовку к вторжению в Советский Союз уже скрыть невозможно. Поэтому Гитлер говорит секретно (так, чтобы все слышали): да, я хочу напасть на Сталина... после того как завершу войну на Западе.

Если верить телеграмме Зорге от 11 апреля (и другим подобным телеграммам), то волноваться не надо. Война на Западе продолжается, то затухая, то разгораясь с новой силой, а конец той войне не просматривается. Вот когда война на западе завершится, то тогда возможен перенос усилий германской военной машины на Восток. Другими словами, Зорге говорит, что Гитлер намерен воевать только на одном фронте.

В ГРУ это понимают без Зорге. На основе глубокого изучения всех экономических, политических и военных аспектов сложившейся ситуации ГРУ сделало два вывода:

1. Германия не может выиграть войну на два фронта.
2. Поэтому Гитлер не начнет войну на Востоке, не завершив ее на Западе.

Первый вывод правильный. Второй — нет: иногда начинают войну без перспективы ее выиграть.

Еще до «предупреждений» Зорге новый начальник ГРУ генерал-лейтенант Ф.И.Голиков представил 20 марта 1941 года Сталину подробный доклад, который завершался выводом: «наиболее возможным сроком начала действий против СССР является момент после победы над Англией или после заключения с ней почетного для Германии мира».

А Сталин простую истину о том, что Гитлер не начнет войну на два фронта, знает без Голикова и без его доклада. Вот почему Сталин в ответ на письмо Черчилля от 25 июня 1940 года говорит, что Гитлер может начать войну против СССР в 1941 году, *при условии*, что к этому моменту Британия прекратит сопротивление.

Но Гитлер, которого Сталин пактом Молотов-Риббентроп загнал в стратегический тупик, вдруг понял, что терять ему нечего, все равно у Германии не один фронт, а два, и начал воевать на двух фронтах. Этого не ожидал ни Голиков, ни Сталин. Это самоубийственное решение, но другого у Гитлера уже не было. Сталин просто не мог себе представить, что, попав в стратегический тупик, Гитлер пойдет на самоубийственный шаг. Начальник ГРУ генерал Голиков этого тоже не предполагал. А Зорге (и некоторые другие) своими ложными телеграммами их только утверждали в этом мнении.

Мне возразят, что потом 15 июня Зорге правильно назовет дату германского вторжения — 22 июня. Очень хорошо. Но позволите, какому же Рихарду Зорге верить — тому, который говорит, что Гитлер на два фронта воевать не будет, или тому, который говорит про 22 июня, т.е. что Гитлер на два фронта воевать будет. Сообщения Зорге взаимно исключают друг друга. Кроме того, сообщения Зорге так и остаются сообщениями. ГРУ не верит НИКАКИМ сообщениям и правильно делает. Нужны *сообщения с доказательствами*.

Зорге — великий разведчик XX века. И высшую степень отличия — звание Героя Советского Союза — ему посмертно присвоили не зря. Но величие Зорге лежит совсем в другой плоскости.

Главным объектом работы Зорге в Японии была не Германия, а Япония. Начальник ГРУ С.Урицкий лично ставит Р.Зорге задачу: «Смысл вашей работы в Токио — отвести возможность войны между Японией и СССР. Главный объект — германское посольство» («Огонек» № 14. 1965, с. 23). Германское посольство — это только прикрытие, используя которое Зорге выполняет свою главную задачу. Обратим внимание на деталь: не предупредить о подготовке к вторжению, а отвести это вторжение, т.е. направить японскую агрессию в другое русло.

Хорошо известно, что осенью 1941 года Зорге сообщил Сталину о том, что Япония не вступит в войну против Советского Союза. Используя эту чрезвычайно важную информацию, Сталин снял с дальневосточных границ десятки советских дивизий, бросил их под Москву и тем изменил стратегическую ситуацию в свою пользу.

Менее известна причина, почему на этот раз Сталин поверил. А поверил он только потому, что Зорге представил не только сообщение, но и доказательства. Про доказательства советские историки предпочитают молчать, и это понятно: если Зорге говорит, что Япония не пойдет против Советского Союза, то доказать это можно, только указав на другого противника, против которого Япония готовит внезапный удар. Зорге указал точно, *на кого* Япония собирается нападать, и представил неопровержимые факты.

Коммунистическая пропаганда совершенно преднамеренно раздувает миф о «предупреждениях» Зорге перед германской агрессией. Делается это для того, чтобы отвлечь внимание от поистине потрясающих успехов Зорге в проникнове-

нии в высшие военно-политические сферы Японии. Деятельность Зорге никак не ограничивается тем, что он предупредил Сталина о том, что Япония не нападет на Советский Союз, и даже тем, что Зорге указал с доказательствами направление устремлений японского милитаризма. Его достижения в этой области гораздо выше. В соответствии с заданием ГРУ, Зорге не только предсказывал события, но в ряде случаев их направлял. В августе 1951 года делом Зорге занимался Конгресс США. В ходе слушания было неопровержимо доказано, что советская военная разведка в лице нелегальной резидентуры «Рамзай» сделала очень много для того, чтобы Япония начала агрессивную войну в Тихом океане, и для того, чтобы эту агрессию направить против Соединенных Штатов Америки (См.: *Hearings on American Aspects of the Richard Sorge Spy Case. House of Representatives Eighty Second Congress. First Session. August 9, 22 and 23. Washington, 1951*).

Не Зорге создал «японский ледокол», но Зорге сделал многое для того, чтобы повернуть его в нужное Сталину направление. Когда у Зорге появились доказательства его сообщений, Сталин им вполне верил.

Разведка — самая неблагодарная в мире работа. Тот, кто ошибался, кто провалился, кого повесили, — тот знаменит. Как Зорге, например.

Но у Сталина, кроме неудачников, были военные разведчики поистине выдающиеся, которым светила удача, которые добились потрясающих результатов и при этом не стали знаменитыми, т.е. повешенными. Кто-то из советских разведчиков имел выход к настоящим секретам Гитлера. Маршал Советского Союза А.А.Гречко свидетельствует: «Через 11 дней после принятия Гитлером окончательного плана войны против Советского Союза (18 декабря 1940 года) этот факт и основные данные решения германского командования стали известны нашим разведывательным органам» (ВИЖ № 6, 1966. с. 8).

Видимо, мы никоим образом не узнаем имя великого разведчика, совершившего этот подвиг. Не исключено, что это тот же резидент ГРУ, который в 1943 году добыл план операции «Цитадель». Но это только мое предположение: у Сталина, повторяю, военная разведка стояла на очень высоком уровне, и это мог сделать и кто-то другой.

В декабре 1940 года начальник ГРУ генерал-лейтенант Ф.И.Голиков доложил Сталину о том, что, *по подтвержденным сведениям*, Гитлер принял решение воевать на два фронта, т.е. напасть на Советский Союз, не дожидаясь завершения войны на Западе.

Этот документ чрезвычайной важности был обсужден в начале января в очень тесном кругу высшего советского командования в присутствии Сталина. Сталин не поверил документу и заявил, что любой документ можно подделать. Сталин потребовал от Голикова так построить работу советской военной разведки, чтобы в любой момент знать, действительно ли Гитлер готовится к войне или просто блефует. Голиков доложил, что такие меры он принял. ГРУ внимательно следит за целым рядом аспектов военных приготовлений Германии, по которым ГРУ точно определит момент, когда приготовления к вторжению начнутся. Пока никаких приготовлений нет. Сталин потребовал объяснить, как Голиков может это знать. На это Голиков ответил, что может это сообщить только одному Сталину лично и никому больше.

Впоследствии Голиков регулярно докладывал Сталину лично, сообщая каждый раз о том, что подготовка к вторжению пока не началась.

21 июня 1941 года состоялось заседание Политбюро. Голиков доложил о грандиозной концентрации германских войск на советских границах, об огромных запасах боеприпасов, о перегруппировке германской авиации, о германских перебежчиках и о многом-многом другом. Голикову были известны номера почти всех германских дивизий, имена их командиров, места их расположения. Было известно очень многое, включая название операции «Барбаросса», время ее начала и многие важнейшие секреты. После этого Голиков доложил, что подготовка к вторжению пока не начиналась, а без подготовки начинать войну невозможно. На заседании Политбюро Голикову был задан вопрос, ручается ли он за свои слова. Голиков ответил, что отвечает головой за свою информацию

и если он ошибся, то Политбюро вправе сделать с ним именно то, что было сделано со всеми его предшественниками.

Через 10-12 часов после этого началась операция «Барбаросса». Что же сделал Сталин с Голиковым? Ничего плохого. Уже 8 июля Сталин доверяет Голикову поездку в Великобританию и США и лично его инструктирует. После успешного визита Голиков командует армиями и фронтами, а в 1943 году Сталин назначает Голикова на важнейший пост заместителя наркома обороны (т.е. заместителя Сталина) по кадрам. К деликатному вопросу подбора и расстановки кадров Сталин допускал только самых проверенных людей. Берию, к примеру, не допускал.

Далее Голиков уже после смерти Сталина поднимается еще выше и становится Маршалом Советского Союза.

Понятно, что в своих мемуарах он ни словом не говорит о том, как он контролировал приготовления Германии к войне, как остался жив: почему после «Барбароссы» так стремительно пошел вверх.

Если вспомнить судьбу всех его предшественников, при которых не случилось ничего подобного германскому вторжению, и сравнить эти судьбы с судьбой Голикова, то недоумению не хватит границ.

Лично меня загадка Голикова мучала давно, и в Академии ГРУ я нашел для себя ответ. Затем, работая в центральном аппарате ГРУ, я нашел подтверждения найденному мною ответу.

Голиков докладывал Сталину, что Гитлер не готовится к войне против Советского Союза. Оказывается, Голиков докладывал Сталину правду. Гитлер действительно к войне против Советского Союза не готовился.

Голиков знал, что Сталин документам не верит (Голиков тоже не верил), поэтому, считал Голиков, надо найти какие-то ключевые индикаторы, которые безошибочно покажут момент начала приготовлений Гитлера к войне против Советского Союза. Голиков такие индикаторы нашел. Всем резидентам ГРУ в Европе было приказано следить за баранами, внедрить свою агентуру во все ключевые организации, прямо или косвенно связанные с «бараньей проблемой». В течение нескольких месяцев были собраны и тщательно обработаны сведения о количестве баранов в Европе, об основных центрах их выращивания, о скотоводческих центрах. Голиков дважды в день получал сведения о ценах на баранье мясо в Европе.

Кроме того, советская разведка начала настоящую охоту за грязными тряпками и промасленной бумагой, которую солдаты оставляют в местах чистки оружия. В Европе германских войск было много. Войска располагались в полевых условиях. Каждый солдат минимум раз в день чистит свое оружие. Тряпки и бумагу, которая используется при чистке оружия, обычно сжигают или закапывают в землю. Но, конечно, это правило не везде полностью соблюдалось, поэтому ГРУ имело достаточно возможностей получить огромное количество грязных тряпок.

Грязные тряпки в довольно больших количествах переправлялись через границу. Чтобы не вызывать подозрений, какую-то железяку заворачивали в тряпку и разными путями переправляли в СССР. В случае любых осложнений полиция обращает внимание на металлическую деталь (обычно это была совершенно безобидная железяка), но не на грязную тряпку, в которую она была завернута.

Кроме того, через границу легально и нелегально в гораздо больших количествах, чем обычно, переправлялись керосиновые лампы, керогазы, примусы, разного рода примитивные фонари и зажигалки.

Все это анализировалось сотнями советских экспертов и немедленно докладывалось Голикову, а Голиков информировал Сталина, что Гитлер подготовку к вторжению в СССР еще не начинал, а на всякие концентрации войск и на документы германского Генерального штаба внимания обращать не следует.

Голиков считал (совершенно обоснованно), что для войны против Советского Союза нужна очень серьезная подготовка. Важнейшим элементом готовности Германии к войне против Советского Союза являются бараньи тулупы. Их требуется огромное количество — не менее 6.000.000. Голиков знал, что в Германии нет ни одной дивизии, готовой воевать в СССР. Он тщательно следил за европейскими баранами. Он знал совершенно точно, что как только Гитлер

действительно решит напасть на СССР, то он должен дать приказ на подготовку операции. Немедленно Генеральный штаб даст приказ промышленности начать производство миллионов тулупов. Этот момент неизбежно отразится на европейском рынке. Несмотря на войну, цены на баранину должны дрогнуть и пойти вниз из-за одновременного уничтожения миллионов животных. В тот же момент цены на бараньи шкуры должны были резко пойти вверх.

Голиков считал, что для войны в СССР германская армия должна использовать новый сорт смазочного масла для своего оружия. Обычное германское ружейное масло застывало на морозе, части смерзались, и оружие не действовало. Голиков ждал, когда в германской армии будет сменен сорт масла для чистки оружия. Советская экспертиза грязных тряпок показывала, что вермахт пользуется своим обычным маслом и нет никаких указаний на переход на новое масло. Советские эксперты следили и за германским моторным топливом. Обычное германское топливо на морозе разлагалось на несгораемые фракции. Голиков знал, что если Гитлер решится, несмотря ни на что, на самоубийственный шаг воевать на два фронта, то он (или его Генеральный штаб) должен отдать приказ сменить марку производимого жидкого топлива и начать массовое производство топлива, которое не разлагается на морозе. Именно образцы германского жидкого топлива советская разведка переправляла через границу в зажигалках, фонарях и других подобных предметах. Было еще множество аспектов, которые находились под тщательным контролем ГРУ и должны были стать предупреждающим сигналом.

Но Гитлер начал операцию «Барбаросса» без всякой подготовки!

Почему Гитлер так поступил, наверное, навсегда останется загадкой. Германская армия была создана для войны в Западной Европе, но Гитлер ничего не сделал для подготовки своей армии к войне в России.

Сталину не за что было наказывать Голикова. Голиков сделал все, что было в человеческих силах, и даже больше, чтобы вскрыть подготовку к вторжению, но такой подготовки не было. Была только концентрация огромного количества германских войск. Голиков же приказал принимать во внимание не все германские дивизии, а только те, которые готовы к вторжению, т.е. такие дивизии, каждая из которых на своих складах имеет по 15.000 бараньих тулупов. Таких готовых к войне дивизий во всем вермахте просто не было.

Не вина Голикова в том, что он не увидел приготовлений к вторжению. Серьезных приготовлений не было, поэтому он их и не увидел.

КАК ГИТЛЕР СОРВАЛ ВОЙНУ

Нас вполне подготовили к агрессивной войне. И тут уж не наша вина, что агрессию совершили не мы.

Генерал-майор П. Григоренко.

ронительных приготовлений на случай возможного нападения Красной Армии. Таким образом, всю войну на Востоке в известной мере можно назвать превентивной... Мы решили... предупредить нападение Советской России и неожиданным ударом разгромить ее вооруженные силы. К весне 1941 года у меня сложилось определенное мнение, что сильное сосредоточение русских войск и их последующее нападение на Германию может поставить нас в стратегическом и экономическом отношениях в исключительно критическое положение... В первые же недели нападение со стороны России поставило бы Германию в крайне невыгодные условия. Наше нападение явилось непосредственным следствием этой угрозы...»

Генерал-полковник А. Йодль — главный конструктор германских военных планов стоял на том же. Советские следователи активно пытались сбить Кейтеля и Йодля с этой позиции. Не вышло, Кейтель и Йодль свою позицию не изменили и по приговору так называемого «международного трибунала» в Нюрнберге

были повешены в числе «главных виновников войны». Одно из основных обвинений против них — «развязывание неспровоцированной агрессивной войны» против Советского Союза.

Прошло 20 лет и появились новые свидетельства. Мой свидетель адмирал Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецов (в 1941 году — адмирал, нарком ВМФ СССР, член ЦК, член Ставки Главного командования с момента ее создания). Вот его показания: «Для меня бесспорно одно: И.В.Сталин не только не исключал возможность войны с гитлеровской Германией, напротив, он такую войну считал... неизбежной... И.В.Сталин вел под отовку к войне — подготовку широкую и разностороннюю, — исходя из намеченных им самим... сроков. Гитлер нарушил его расчеты» (Накануне. М. Воениздат. 1966, с. 321).

Адмирал совершенно открыто и ясно говорит нам, что Сталин считал войну неизбежной и серьезно к ней готовился. Но вступить в войну Сталин намеревался не в ответ на германскую агрессию, а в момент, который сам выбрал. Другими словами, Сталин готовился ударить первым, т.е. совершить агрессию против Германии, но Гитлер нанес упреждающий удар и все планы Сталина нарушил.

Адмирал Кузнецов — это свидетель самого высокого ранга. В 1941 году он занимал положение в советской военно-политической иерархии даже более высокое, чем Жуков. Кузнецов — нарком, Жуков — заместитель наркома; Кузнецов — член ЦК, Жуков — кандидат.

Никто из писавших мемуары не занимал в 1941 году столь высокого положения как Кузнецов, и никто не был так близок к Сталину, как он. Поэтому Кузнецова я считаю самым важным своим свидетелем, после Сталина, конечно. Кстати, то, что говорит Кузнецов после войны, полностью совпадает с тем, что он говорил до войны, например, в 1939 году на XVIII съезде партии. Это был съезд, который наметил новый путь: сократить террор внутри страны и перенести его на соседние страны: «То что создано в СССР, может быть создано и в других странах!» На этом съезде «победителей», которые решили стать «освободителями», речь Кузнецова едва ли не самая агрессивная. Именно за эту речь Кузнецов в конце съезда становится членом ЦК, минуя уровень кандидата, и получает пост наркома.

Все, что говорит Кузнецов открыто, за много лет до него Сталин говорил в своих секретных речах. Все, что говорит Кузнецов, подтверждается действиями Красной Армии и флота. Наконец, адмиралу Кузнецову в данном случае надо верить и потому, что книгу его читали все друзья и враги, читали политические и военные лидеры Советского Союза, читали маршалы, дипломаты, историки, генералы и адмиралы, читали платные друзья СССР за рубежом и НИКТО никогда не пытался отрицать слов Кузнецова!

Сравним слова Кейтеля и Кузнецова.

Генерал-фельдмаршал В.Кейтель говорит: Германия не готовила агрессию против Советского Союза, агрессию готовил Советский Союз. Германия просто защищалась от неизбежной агрессии, применив упреждающий удар.

Адмирал флота Советского Союза Н.Г.Кузнецов говорит тоже самое: да, Советский Союз готовился к войне и неизбежно в нее вступил бы, но Гитлер своим ударом эти планы сорвал.

Мне понятно, что в Нюрнберге судьям из «международного трибунала» не хватило желания (и профессиональной честности) найти настоящих виновников войны. Но мне непонятно, почему те же «судьи» после признаний адмирала Кузнецова не собрались срочно в Нюрнберге и не сняли часть обвинений против Кейтеля, Йодля, германского Вермахта и вообще всей Германии?

Советские маршалы и генералы не скрывают своих намерений. Начальник Академии Генерального штаба Вооруженных Сил СССР генерал армии С.П.Иванов с группой ведущих советских историков написали научное исследование «Начальный период войны» (М. Воениздат, 1974). В этой книге генерал армии Иванов не только признает, что Гитлер нанес упреждающий удар, но и называет срок: «Немецко-фашистскому командованию буквально в последние две недели перед войной удалось предупредить наши войска» (Там же, 212). Если Советский Союз готовился к обороне или даже к контрнаступлению, то предупредить его нельзя.

Если Советский Союз готовил удар, то этот удар можно упредить ударом, который наносится другой стороной чуть раньше. В 1941 году, как говорит Иванов, германский удар был нанесен с упреждением в две недели.

А теперь вернемся в июнь 1941 года.

6 июня 1941 года германская разведка получила сведения о том, что советское правительство намерено перебраться в Свердловск.

В Германии об этом узнают только Гитлер и самые приближенные ему люди. Доктор Геббельс в своем дневнике делает пометку, что такое сообщение получил. Геббельс очень неслестно отзывается о советском руководстве и его намерении сбежать подальше на восток.

И только спустя много десятилетий мы по достоинству можем оценить сообщение о переезде советского правительства. Сейчас-то мы знаем, что в Свердловске был создан ложный командный пункт. Только в ходе войны выяснилось, что в качестве запасной столицы был подготовлен не Свердловск, а Куйбышев, куда в критической обстановке перебрались многие правительственные учреждения Советского Союза и иностранные посольства. Но и Куйбышев это не вся правда, а только полуправда. В Куйбышеве были сосредоточены те учреждения, потеря которых не оказывала влияния на устойчивость высшего военно-политического руководства страной: Верховный Совет с «президентом» Калининым, второстепенные наркоматы, посольства. Все важные учреждения находились рядом, но не в Куйбышеве, а в гигантских подземных тоннелях вырубленных в скалах Жигулей. Перед войной строительство этого гиганта было замаскировано строительством другого гиганта — Куйбышевской ГЭС. Сюда гнали тысячи эзков, тысячи тонн строительных материалов и строительную технику, и всем ясно зачем — для строительства ГЭС. После войны всю гигантскую стройку передвинули вверх по течению Волги и возвели ГЭС на новом месте. Первое место строительства было выбрано там, где ГЭС построить нельзя, но где можно построить великолепный подземный, точнее — подскальный, КП.

В германских предвоенных архивах я не нашел никаких упоминаний о Куйбышеве, как запасной столице, тем более, — ничего о подземном командном пункте в Жигулях. Германская разведка имела только сведения о переезде советского правительства на командный пункт в Свердловске. Но правительство не может переезжать на командный пункт, который не существует. Кто же распространяет сведения о переезде на ложный командный пункт? Это делать может только тот, кто этот ложный командный пункт выдумал, т.е. советское правительство, точнее — глава этого правительства И.В.Сталин. Ложный командный пункт для того и создается, чтобы однажды противник о нем узнал. Этот момент настал и германская разведка получила «секрет», который сфабрикован специально для нее.

Сообщение германской разведки о намерении советского правительства переехать в Свердловск это «секрет» из той же серии, что и речь Сталина, болтовня советских послов и сообщение ТАСС.

Если германская разведка получила ложное сообщение о намерениях советского руководства, значит советское руководство именно в данный момент старается что-то скрыть.

Хитрость заключалась в том, что помимо мощного командного пункта в Жигулях, расположение которого хотя и трудно, но возможно было определить, существовал еще один правительственный командный пункт. Он представлял собой железнодорожный состав. В случае войны этот КП под прикрытием нескольких бронепоездов НКВД, в сопровождении трех поездов наркомата связи — мог в любой момент появиться в районе боевых действий. Эта способность быть рядом с районом главных событий войны отражалась в названии поезда — ПГКП — Передовой Главный Командный Пункт. Для этого КП было создано несколько тщательно укрытых и замаскированных стоянок, к которым еще в мирное время подведены линии правительственной связи.

Не надо объяснять, что подвижный КП предназначался для наступательной войны, для ситуации, когда войска стремительно уходят вперед, а командование со своими громоздкими средствами управления и связи должно поспевать за

наступающими фронтами и армиями. В оборонительной войне проще, надежнее, безопаснее управлять из кремлевского кабинета, с подземной станции московского метро, а то и из жигулевских тоннелей.

Если собрать малые кусочки информации и объединить их вместе, то мы с определенной долей уверенности сможем утверждать, что на железнодорожной магистрали Минск-Вильнюс (ближе к Вильнюсу) располагался или должен был располагаться командный пункт очень крупного калибра.

Через несколько дней после того, как германские руководители получили «секретное» сообщение о переезде советского правительства на восток, начался секретный переезд советского правительства к советским западным границам в районы Минска и Вильнюса.

Каждый военный человек знает, как перемещается крупный штаб на учениях или в боевой обстановке. Оперативный отдел выбирает место будущего штаба, вышестоящий командир это место утверждает и дает разрешение на перемещение. Лес, в котором будет располагаться штаб, оцепляют, не пропуская посторонних, затем тут появляются саперы и связисты, которые готовят укрытия и систему связи, затем появляется начальник связи данного формирования (дивизии, корпуса, армии, фронта), лично проверяет, что с данного места связь надежно работает со всеми важными абонентами и после этого, наконец, появляется сам штаб, офицерам которого остается только подключить свои телефоны и шифровальные машины к отлаженной и заранее проверенной системе связи.

Красная Армия в 1941 году работала, как единый отлаженный механизм: в приграничных лесах появляются десятки начальников связи стрелковых и механизированных корпусов, вслед за ними начинается тайное развертывание командных пунктов этих корпусов. Немедленно вслед за этим в других лесах появляются начальники связи армий, их появление — признак, что скоро тут появятся штабы армий. Признак верный, и штабы действительно появляются. Вот прямо в день опубликования сообщения ТАСС в укромных уголках заповедных хорошо охраняемых лесов появились начальники связи фронтов. Связь проверена и штабы фронтов тайно вытягивают свои колонны на перемещение.

А вот настал момент и более крупному начальнику связи появиться в 150 километрах от границ Восточной Пруссии. Сюда, в Вильнюс, тайно едет народный комиссар связи И.Т.Пересыпкин. Можем ли мы догадаться, для кого Пересыпкин едет проверять связь? У наркома Пересыпкина только один прямой начальник — Председатель Совнаркома товарищ И.В.Сталин.

Нарком связи едет к границам Восточной Пруссии так, чтобы никто не мог знать об этом. Нарком едет обычным поездом, который идет по обычному расписанию, но к поезду сзади прицеплен дополнительный особый вагон, в котором и находится сам Пересыпкин и его заместители. Переезд наркома связи — абсолютная тайна. Даже шифровки, которые Пересыпкин получает из Москвы подписаны его же именем: «Пересыпкин», чтобы шифровальщики правительственной связи знали, что Пересыпкин все еще находится в Москве и никуда не уезжал.

Но лучше послушать самого И.Т.Пересыпкина.

«Буквально в самый канун войны И.В.Сталин поручил мне выехать в Прибалтийские республики. Это ответственное задание я почему-то связывал с надвигающимися военными событиями. Вечером 21 июня 1941 г., вместе с группой ответственных работников наркомата связи, я выехал в Вильнюс. Мы находились в пути, когда началась война...» (Связисты в годы Великой Отечественной. М. Связь. 1972, с. 17). Утром 22 июня на станции Орша Пересыпкин получает из Москвы телеграмму: «СВЯЗИ ИЗМЕНЕНИЕМ ОБСТАНОВКИ НЕ СОЧТЕТЕ ЛИ ВЫ НУЖНЫМ ВЕРНУТЬСЯ В МОСКВУ. ПЕРЕСЫПКИН». (Там же, с. 32-33).

Пересыпкин едет по железным дорогам, которые не только полностью военизированны, но и несколько дней назад получили приказ перейти на режим военного времени и быть в готовности работать в боевой обстановке. (В.Анфилов. Бессмертный подвиг, с. 184) Пересыпкин едет в районы, где войска

гигантскими массами тайно сосредотачиваются к границам, имея приказ взять с собой «только необходимое для жизни и боя» (Там же). Пересыпкин едет на территорию военного округа, где уже существует фронт, где штаб уже разослал совершенно секретные данные тысячам исполнителей, данные, которые до начала войны рассылать запрещено. Пересыпкин едет в район, где тайно создается правительственный командный пункт. Пересыпкин едет по личному приказу Сталина и знает, что эта «поездка связана с надвигающимися военными событиями».

Сталин посылает Пересыпкина на войну, но нападение Гитлера это полная неожиданность и для Сталина и для Пересыпкина. Нападение Гитлера — это «изменение ситуации» настолько серьезное, что заставляет отменить многие важнейшие мероприятия советского правительства и заставляет импровизировать, вплоть до возвращения наркома в Москву на первой попавшейся грузовой машине.

ЧЛЕНЫ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА УЖЕ ВЫЕХАЛИ НА ВОЙНУ ПРОТИВ ГЕРМАНИИ, НА ВОЙНУ, В КОТОРОЙ ГЕРМАНСКОЕ ВТОРЖЕНИЕ НЕ ПРЕДВИДЕЛОСЬ.

В ту же ночь по той же железной дороге Москва-Минск намечалось перемещение в западные районы страны руководящих лидеров народного комиссариата обороны, НКВД, наркомата государственного контроля и других важнейших правительственных учреждений Советского Союза. Цель поездки — война. К тайной поездке к западным границам готовились народный комиссар внутренних дел, кандидат в члены Политбюро, генеральный комиссар государственной безопасности Л.П.Берия; член ЦК, нарком государственного контроля, армейский комиссар 1 ранга Л.З.Мехлис; кандидат в члены ЦК, нарком обороны Маршал Советского Союза С.К.Тимошенко и другие лидеры сталинской империи. Не исключено, что к тайной поездке на запад готовился и Сталин.

Для каждого лидера была создана смешанная группа из высших представителей руководства наиболее важных в войне наркоматов. Утром 21 июня 1941 года создание оперативных групп было завершено. Каждая группа только ждала своего лидера, который находился в Кремле на последнем заседании Политбюро, чтобы тайно сопровождать его на войну. Все члены оперативных групп утром 21 июня знают, что они едут на войну. Правда, они знают местом назначения Минск (что тоже правильно), но не Вильнюс, до которого от Минска рукой подать.

Все члены групп знают, что Советский Союз уже вступил в войну против Германии, хотя об этом еще официально не объявлено и хотя боевые действия еще не начались. Для того группы и направляются тайно на запад, чтобы эти действия начать!

Но удивительная вещь: никто, включая и лидеров групп, которые заседают в Кремле, не подозревает о готовящемся германском вторжении. Более того, когда такие сведения вечером начинают поступать каскадом, высшие советские руководители отказываются в них верить. Из Кремля, из Наркомата обороны, из Генерального штаба сыплются на границу директивы и грозные телефонные окрики: на провокации не поддаваться!

Вот тут возникает вопрос: если советские руководители не верят в возможность германского вторжения, на какую же войну они собрались? Ответ один: на войну, которая должна начаться БЕЗ ГЕРМАНСКОГО ВТОРЖЕНИЯ.

Вот стандартное свидетельство.

Я его выбрал из других только оттого, что оно самое свежее. Свидетель Д.Ортенберг на 21 июня 1941 года занимал пост заведующего организационно-инструкторским отделом Народного комиссариата государственного контроля. Он сам описывает свою должность: «По военным понятиям — вроде начальника штаба».

Генерал-майор Д.Ортенберг, вам слово:

«Иногда меня спрашивают:

— Ты когда на войну ушел?



— Двадцать первого июня.

— ?!

Да это было так...

...Утром меня вызывали в Наркомат Оборонны и сказали, что группа работников наркомата во главе с маршалом С.К.Тимошенко выезжает в Минск. Предупредили, что я поеду с ней. Предложили отправиться домой, переодеться в военную форму и явиться в наркомат. ...В приемной наркома обороны полным-полно военного народа. С папками, с картами, заметно возбужденные. Говорят шепотом. Тимошенко уехал в Кремль... 22 июня около пяти часов утра нарком вернулся из Кремля. Позвал меня:

— Немцы начали войну. Наша поездка в Минск отменяется». (Д.Ортенберг. Июнь-декабрь сорок первого. Советский писатель. 1984, с.5-6).

Легенда о том, что 22 июня 1941 года Гитлер начал войну на востоке, чуть ли не насильно втянув Советский Союз в войну, если мы послушаем тех, кто находился действительно рядом с самыми главными советскими лидерами в те дни, часы и минуты, выглядит совсем по-другому: 22 июня 1941 года Гитлер сорвал войну, Гитлер перенес войну на территорию, где она родилась 19 августа 1939 года. Гитлер не позволил советским лидерам вести войну так, как они намечали, заставив их импровизировать и делать то, к чему они не готовились: защищать свою собственную территорию.

Все это не я придумал.

Так говорят сами советские генералы.

БЫЛ ЛИ У СТАЛИНА ПЛАН ВОЙНЫ?

Поскольку Сталин не разъяснял и не излагал своих точек зрения и планов, многие думали, что он их вообще не имел — типичная ошибка болтливых интеллигентов.

Роберт Конквест

«Стратегическая оборона являлась вынужденным видом боевых действий, она заранее не планировалась», — так говорят советские военные учебники (В.А.Панфилов. Бесмертный подвиг, с. 517). Но и без учебников мы знаем, что оборонительные действия Красной Армии летом 1941 года были чистой импровизацией. Красная Армия перед войной к обороне не готовилась, учений на

оборонительные темы не проводила. В советских уставах об обороне в стратегическом масштабе нет ни слова. Красная Армия не только не имела оборонительных планов, но даже чисто в теоретическом плане проблемы ведения оборонительных операций не разрабатывались. Более того, к обороне советский народ и его армия были не готовы даже морально. Народ и армия готовились к выполнению оборонительных задач наступательными методами: «Именно интересы обороны потребуют от СССР вести широкие наступательные операции на территории врагов, и это ни в коей мере не противоречит характеру оборонительной войны» («Правда» от 19 августа 1939 г.).

С первых часов германского вторжения Красная Армия пыталась переходить в наступление. В современных учебниках эти действия называются контрударами и контрнаступлениями. Но и это импровизация. Ни на одних предвоенных учениях проблема контрудара не отрабатывалась, более того, она не рассматривалась даже теоретически: «Вопрос о контрнаступлении... перед Великой Отечественной войной не ставился» (История Великой Отечественной войны. Том 1, с.441).

Итак, перед войной советские штабы не разрабатывали планов обороны и не разрабатывали планов контрнаступлений. Может быть, они вообще ничего не делали? Нет, они усиленно работали. Они разрабатывали планы войны. Маршал Советского Союза А.М.Василевский свидетельствует, что в последний год перед войной офицеры и генералы Генерального штаба, штабов военных округов и флотов работали по 15-17 часов в сутки, без выходных дней и отпусков. Об этом же говорят маршалы Баграмян, Соколовский, генералы армии Штеменко, Курасов, Маландин и многие другие. Есть сообщения, что генерал Анисов работал по 20 часов в сутки, то же самое говорят и о генерале Смородинове.

В феврале 1941 года начальником Генерального штаба стал генерал армии Г.К.Жуков. С этого момента Генштаб по существу перешел на режим военного времени. Жуков сам работал напряженно и никому не позволял расслабляться. Ранее, летом 1939 года Жуков, тогда еще в ранге комкора, появился на Халхин-Голе. Он лично ознакомился с обстановкой, быстро составил планы и начал интенсивно их осуществлять. Малейшее небрежение в работе для любого подчиненного означало немедленную смерть. За несколько дней Жуков отправил под трибунал семнадцать офицеров с требованием смертной казни. Трибунал во всех случаях такие приговоры выносил. Из семнадцати получивших высшие приговоры, один был спасен вмешательством вышестоящего командования, остальные расстреляны. В феврале 1941 года Жуков поднялся на огромную высоту, его власть увеличилась во много раз и уже не было никого, кто мог бы спасти несчастного от его гнева. Ветераны Генерального штаба вспоминают правление Жукова, как самый страшный период в истории, страшнее, чем Великая чистка. В то время Генеральный штаб и все остальные штабы работали с нечеловеческим напряжением.

Как же могло случиться, что Красная Армия вступила в войну без планов? Непонятно и другое. Если Красная Армия вступила в войну без планов, то Сталин, узнав об этом, должен был расстрелять Жукова и всех, кто принимал участие в разработке планов. Этого не случилось. Наоборот, участники разработки советских планов: Василевский, Соколовский, Ватутин, Маландин, Баграмян, Штеменко, Курасов, начав войну в званиях генерал-майор или даже полковник, завершили ее в маршальских званиях или минимум с четырьмя генеральскими звездами. Все они проявили себя в войне поистине блистательными стратегами. Все они добросовестные и даже педантичные штабисты, которые не мыслят жизни без плана. Как же получилось, что Красная Армия в первые месяцы войны была вынуждена импровизировать? И почему Сталин не только не расстрелял Жукова и его планировщиков, но ни разу и не упрекнул их?

На прямой вопрос, были ли планы войны у советского командования, Жуков отвечает категорически, да, были. Тогда возникает вопрос: если планы были, почему Красная Армия действовала стихийной массой без всяких планов? На этот вопрос Жуков ответа не дал. А ответ тут сам собой напрашивается. Если советские штабы работали очень интенсивно, разрабатывая планы войны, но это были не оборонительные и не контрнаступательные планы, то какие тогда? Ответ: чисто наступательные.

Шила в мешке не утаишь.

Советское командование предприняло меры, чтобы уничтожить все, что относилось к советским довоенным планам войны. Но планы имели все фронты, флоты, десятки армий, более сотни корпусов, все боевые корабли, сотни дивизий, тысячи полков и батальонов. Кое-что да осталось.

Исследования Академии Наук СССР показали, что советский Черноморский флот перед войной имел боевую задачу «на активные боевые действия против вражеских кораблей и транспортов у Босфора и на подходах к базам противника, а так же содействие сухопутным войскам при их движении вдоль побережья Черного моря» (Флот в ВОВ. М. Наука. 1990, с. 117).

Адмирал флота Советского Союза С.Горшков сообщает, что не только Черноморский, но и Балтийский и Северный флоты имели чисто оборонительные задачи, но их выполнение планировалось чисто наступательными методами. Адмирал Горшков ничего не придумал. Так считалось и до войны. Так говорилось и на секретных совещаниях советского командования и открыто в газете «Правда»: «вести оборонительную войну — это отнюдь не значит стоять на рубежах своей страны. Лучший вид обороны — стремительное наступление до полного уничтожения противника на его территории» (14 августа 1939).

Действия советских флотов в первые минуты, часы и дни войны достаточно ясно показывают, что они имели планы, но это были не оборонительные планы. 22 июня 1941 года советские подводные лодки Черноморского флота немедленно вышли в море к берегам Румынии, Болгарии и Турции. В тот же день подводные лодки Балтийского флота вышли к берегам Германии, имея задачу «топить все корабли и суда противника по праву неограниченной подводной войны» (См.:

Приказ командующего Балтийским флотом от 22.6.1941). Приказ не делал исключения даже для госпитальных судов под флагом Красного креста.

Начиная с 22 июня авиация Черноморского флота вела активные боевые действия в интересах Дунайской военной флотилии с целью открыть ей путь вверх по течению реки. 25-26 июня надводные боевые корабли Черноморского флота появились в районе румынского порта Констанца и провели интенсивный артиллерийский обстрел с явным намерением высадки морского десанта. В то же время Дунайская военная флотилия начала десантные операции в дельте Дуная.

22 июня гарнизон советской военно-морской базы Ханко, расположенной на финской территории, не перешел к глухой обороне, но начал интенсивные десантные операции, захватив за несколько дней 19 финских островов. 25 июня, несмотря на огромные потери советской авиации в первые минуты и часы войны, 487 самолетов Балтийского и Северного флотов нанесли внезапный удар по аэродромам Финляндии. Несмотря на огромные потери, советская авиация вела себя дерзко и агрессивно. 22 июня 1 авиационный корпус нанес массированный удар по военным объектам Кенигсберга. Это не импровизация. Утром 22 июня в 6.44 советская авиация получила приказ действовать по планам. Несколько дней она пыталась это делать. 25 июня 1941 года 4 авиационный корпус начал бомбардировки нефтяных полей Плоешти в Румынии. За несколько дней бомбардировок добыча нефти в Румынии упала почти в два раза. Даже в условиях, когда практически вся советская авиация была подавлена на своих аэродромах, у нее нашлось достаточно сил нанести огромный ущерб нефтяным промыслам Румынии. В любой другой ситуации советская авиация была еще более опасна и могла своими действиями по нефтяным районам полностью парализовать всю германскую военную, промышленную и транспортную мощь. Гитлер слишком хорошо понимал угрозу и считал вторжение в СССР единственной для себя защитой. Правда, и это его не спасло.

22 июня 1941 года 41 стрелковая дивизия 6 стрелкового корпуса 6 армии, не дожидаясь приказов сверху, действуя по предвоенным планам, перешла государственную границу в районе Рава-Русская. Утром 22 июня 1941 года командующий Северо-Западным фронтом генерал-полковник Ф.И.Кузнецов, не дожидаясь приказа Москвы, отдает приказ своим войскам нанести удар в направлении Тильзит в Восточной Пруссии. Для штаба Северо-Западного фронта, для командующих армиями и их штабов такое решение — не сюрприз: вариант удара на Тильзит за несколько дней до этого разыгрывался на штабных учениях «и был хорошо знаком командирам соединений и их штабам» (Борьба за советскую Прибалтику. Ээсти Раамат. Таллин. 1980. Том 1, с. 67).

Действия командующего Северо-Западным фронтом — это не импровизация. Просто генерал-полковник Кузнецов ввел в действие предвоенный план. Вечером того же дня высшее советское командование, еще не зная о действиях генерала Кузнецова, приказывает ему делать именно то, что он уже делает: нанести удар на Тильзит в Восточной Пруссии. Соседнему Западному фронту высшее командование ставит задачу нанести сверхмощный удар в направлении польского города Суwalkи. А для командующего Западным фронтом генерала армии Д.Г.Павлова это не сюрприз. Он и сам знает задачу своего фронта и задолго до московской директивы уже отдал приказ наступать на Суwalkи. Правда, в условиях когда германская авиация не подавлена внезапным ударом, наоборот, когда советский Западный фронт в первые часы войны потерял 738 самолетов, — наступать это совсем не лучший вариант.

Западный фронт, его командующий и штаб, командующие армиями и их начальники штабов задолго до войны знали, что их ближайшая задача — окружение германской группировки в районе польского города Суwalkи. Советский удар в направлении Суwalkи готовился задолго до войны. Боевая задача была определена всем советским командирам. Конечно, командиры тактического уровня своих задач знать не имели права, но эти задачи в вышестоящих штабах были четко определены и сформулированы, опечатаны в секретные пакеты и хранились в сейфах каждого штаба, до батальона включительно. Пример: разведывательный батальон 27 стрелковой дивизии, сосредоточенной у границы в районе города Августов, готовился к ведению боевой разведки в направлении

польского города Сувалки (Архив МО СССР, фонд 181, опись 1631, дело 1, лист 128). Задача разведывательного батальона — обеспечить стремительное наступление всей 27 дивизии из района Августова на Сувалки. Из открытых источников мы знаем даже больше, чем из архивов. До войны в районе Августов были сосредоточены огромные советские силы. Это именно то место, где советские пограничники режут колючую проволоку на своих границах. Это именно то место, где командующий 3 армии генерал-лейтенант В.И.Кузнецов и представитель Главного командования генерал-лейтенант инженерных войск Д.Карбышев долгими часами с пограничных застав просматривают германскую территорию. Это то самое место, где генерал Карбышев готовит штурмовые группы для блокировки и нейтрализации железобетонных оборонительных сооружений противника. Но на советской территории нет и быть не может железобетонных оборонительных сооружений противника!

Задолго до войны в районе Августова были собраны чудовищные массы советских войск. Тут, на советской территории, у самой границы и параллельно ей проходит Августовский канал. Если бы готовилась оборона, то войска следовало расположить позади канала, используя его в качестве непроходимого противотанкового рва. Но советские войска переправились через канал на его западный берег и расположились на узкой полоске местности между границей, на которой уже снята колючая проволока, и каналом. На рассвете 22 июня тысячи советских солдат были тут истреблены внезапным губительным огнем. Войскам некуда было отходить: позади канал.

Может быть, это обычная глупость? Нет. Германские войска на той стороне границы тоже были собраны огромной массой у самой границы и тоже сняли свою проволоку. Если бы Красная Армия ударила на день раньше, то потери на той стороне были бы не меньшими. Расположение войск у самой границы исключительно опасно в случае, если противник нанесет внезапный удар, но такое расположение исключительно удобно для нанесения внезапного удара. Обе армии делали то же самое.

Советские генералы никогда не скрывали того, что перед ними ставились сугубо наступательные задачи. Генерал армии К.Галицкий, говоря о концентрации советских войск в районе Августова, подчеркивает, что советское командование в возможность германского наступления не верило, а советские войска готовились к проведению наступательной операции.

Если советские фронты, направленные против Восточной Пруссии и Польши, готовились к наступлению, то фронты, сосредоточенные против Румынии, Болгарии, Венгрии и Чехословакии, и подавно должны были готовиться только к наступлению. Это не мое предположение. Советские генералы говорят тоже самое.

Мы можем верить или не верить советским публикациям, но действия Красной Армии в первые дни войны лучше всего говорят о советских намерениях. Жуков координировал действия Южного и Юго-Западного фронтов, нацеленных на Румынию, Болгарию, Венгрию, Чехословакию. До 30 июня 1941 года Жуков настаивал на наступлении и требовал от командующих фронтами только наступления. И только в июле он и его коллеги пришли к выводу, что наступать не очень удобно.

ВОЙНА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО

Русское главное командование знает свое дело лучше, чем главное командование любой другой армии.

Генерал В.Ф. фон Меллентин

Гитлер считал советское вторжение неизбежным, но не ожидал его в ближайшие недели. Германские войска отвлекались на проведение второстепенных операций, а начало «Барбароссы» откладывалось. 22 июня 1941 года операция наконец началась. Сам Гитлер явно не осознал, как крупно ему повезло.

Если бы «Барбароссу» перенесли еще раз, например с 22 июня на 22 июля, то Гитлеру пришлось бы кончать с собой не в 1945 году, а раньше.

Существует немало указаний на то, что срок начала советской операции

«Гроза» был назначен на 6 июля 1941 года. Мемуары советских маршалов, генералов и адмиралов, архивные документы, математический анализ сведений о движении тысяч советских железнодорожных эшелонов — все это указывает на 10 июля, как дату полного сосредоточения Второго стратегического эшелона Красной Армии вблизи западных границ. Но советская военная теория предусматривала переход в решительное наступление не после полного сосредоточения войск, а ДО него. В этом случае часть войск Второго стратегического эшелона можно было бы сгружать уже на территории противника и после этого вводить в бой.

Жуков (как и Сталин) любил наносить свои внезапные удары воскресным утром. 6 июля 1941 года — это последнее воскресенье перед полным сосредоточением советских войск.

Генерал армии С.П.Иванов прямо указывает на эту дату: «Германским войскам удалось нас упредить буквально на две недели» *

Давайте представим себе, что Гитлер еще раз перенес срок начала «Барбароссы» на 3-4 недели... Давайте попытаемся представить себе, что произошло бы в этом случае. Нам не надо напрягать воображение — достаточно посмотреть на группировку советских войск, на неслыханную концентрацию войск, на аэродромы у самой границы, на десантные корпуса и автострадные танки, на скопления подводных лодок в приграничных портах и десантных планеров на передовых аэродромах. Нам достаточно открыть предвоенные советские уставы, учебники советских военных академий и военных училищ, газеты «Красная звезда» и «Правда».

Итак, германские войска ведут интенсивную подготовку к вторжению, которое назначено на... 22 июля 1941 года. Идет сосредоточение войск, на станциях и полустаках разгружаются эшелоны, приграничные леса забиты войсками, ночами группы самолетов с дальних аэродромов перелетают на полевые аэродромы у самых границ, идет интенсивное строительство новых дорог и мостов. Одним словом, все как в Красной Армии... Красная Армия на той стороне, кажется, никак не реагирует на германские приготовления.

6 июля 1941 года в 3 часа 30 минут по московскому времени десятки тысяч советских орудий разорвали в клочья тишину, возвестив миру о начале великого освободительного похода Красной Армии. Артиллерия Красной Армии по количеству и качеству превосходила артиллерию всего остального мира. У советских границ были сосредоточены титанические резервы боеприпасов. Темп стрельбы советской артиллерии стремительно нарастает, превращаясь в адский грохот на тысячекилометровом фронте от Черного моря до Балтики. Первый артиллерийский залп минута в минуту совпал с моментом, когда тысячи советских самолетов пересекли государственную границу. Германские аэродромы расположены крайне неудачно — у самой границы, у германских летчиков нет времени поднять свои самолеты в воздух. На германских аэродромах собрано огромное количество самолетов. Они стоят крылом к крылу, и пожар на одном распространяется на соседние, как огонь в спичечной коробке.

Над аэродромами черными столбами дым. Эти черные столбы — ориентиры для советских самолетов, которые идут волна за волной. С германских аэродромов успело подняться в воздух совсем немного самолетов. Германским летчикам категорически запрещалось открывать огонь по советским самолетам, но некоторые летчики, вопреки запрету командования, вступают в бой, уничтожают советские самолеты, а расстреляв все патроны, идут в последнюю самоубийственную атаку лобовым тараном. Потери советских самолетов огромны, но внезапность остается внезапностью. Любая армия, включая советскую, германскую, японскую, под внезапным ударом чувствует себя не лучшим образом.

Артиллерийская подготовка набирает мощь. У самой границы поднятые по тревоге советские батальоны и полки получают водку. В приграничных лесах гремит громовое «Ура», войскам читают боевой приказ Верховного главного командующего товарища Сталина: «Час расплаты наступил! Советская разведка вскрыла коварство Гитлера и время с ним рассчитаться за все злодеяния и преступления! Чудо-богатыри, мир смотрит на вас и ждет освобождения!» В нарушение

ние всех установленных норм и запретов солдатам объявляют количество советских войск, танков, артиллерии, самолетов, подводных лодок, которые примут участие в освободительном походе. Над лесными полянами и просеками вновь гремит раскатистое «Ура!». По лесным и полевым дорогам бесконечные танковые колонны, затмевая горизонт облаками пыли, выдвигаются к границам. «Не жалей огоньку, глухари!» — скалят зубы чумазные танкисты оглохшим артиллеристам. Грохот артиллерийской стрельбы нарастает и, достигнув критического уровня, вдруг обрывается. Звонящая тишина давит уши, и тут же поля заполняют массы танков и пехоты. Лязг брони и яростный хриплый рев советской пехоты. Пороховой дым и ядовитый дым танковых дизелей смешан с тонким ароматом полевых цветов. А над головой волна за волной идут на Запад сотни и тысячи советских самолетов. Артиллерия, замолкнув на минуту, снова как бы неохотно начинает свой могучий разговор. Артиллерия переходит от артиллерийской подготовки к артиллерийскому сопровождению. Заговорили батареи, сосредотачивая огонь на дальних целях. Медленно, но неумолимо темп стрельбы снова нарастает. В бой вступают все новые и новые артиллерийские полки, включаясь в многоголосый хор.

Советские войска, не ввязываясь в затяжные бои с разрозненными группами противника, устремляются вперед. Пограничные мосты в Бресте захвачены диверсантами полковника Старикова. Советские диверсанты удивлены: германские мосты были даже не заминированы. Чем объяснить такую вопиющую степень неготовности к войне?

Внезапность нападения действует ошеломляюще. Внезапность всегда ведет за собой целую цепь катастроф, каждая из которых тянет за собой другие: уничтожение авиации на аэродромах делает войска уязвимыми с воздуха, и они (не имея траншей и окопов в приграничных районах) вынуждены отходить. Отход означает, что у границ брошены тысячи тонн боеприпасов и топлива, отход означает, что брошены аэродромы, на которых противник немедленно уничтожает оставшиеся самолеты. Отход без боеприпасов и топлива означает неминуемую гибель. Отход означает потерю контроля со стороны командования. Командование не знает, что происходит в войсках, и потому не может принять целесообразных решений, а войска не получают приказов вообще или получают приказы, которые никак не соответствуют сложившейся обстановке. Повсеместно на линиях связи орудуют советские диверсанты, которые перешли границу заблаговременно. Они либо режут линии связи, либо подключаются к ним, передавая ложные сигналы и приказы войскам противника. Действия противника превращаются в отдельные разрозненные бои. Германские командиры запрашивают Берлин: «Что делать?» Вопрос серьезный. К обороне вермахт не готовился. К ведению обороны войска подготовлены значительно хуже, чем к ведению наступления. Оборона на учениях не отрабатывалась, планов оборонительной войны нет. Что же делать? Наступать? Действовать по предвоенному плану «Барбаросса»? Без авиации? Без господства в воздухе?

А советская армия наносит внезапный удар на Сувалки. Ей навстречу идет 8 армия из Прибалтики. С первых минут тут развернулись кровопролитные сражения с огромными потерями советских войск. Но у них преимущество: советские войска имеют новейший танк «КВ», броню которого не пробивают германские противотанковые пушки. В воздухе свирепствует советская авиация. Позади германской группировки высажен 5 воздушно-десантный корпус. 8, 11 и 3 советские армии увязли в затяжных кровопролитных боях со сверхмощной германской группировкой в Восточной Пруссии, но позади этого гигантского сражения — советская 10 армия, прорвав почти несуществующую оборону, устремилась к Балтийскому морю, отрезая три германских армии, две танковых группы и командный пункт Гитлера от остальных германских войск.

Из района Львова самый мощный советский фронт наносит удар на Краков и вспомогательный — на Люблин. Правый фланг советской группировки прикрыт горами. На левом фланге разгорается грандиозное сражение, в котором Красная Армия теряет тысячи танков, самолетов и пушек, сотни тысяч солдат. Под прикрытием этого сражения две советских горных армии 12 и 18 наносят удары вдоль горных хребтов, отрезая Германию от источников нефти. В горах высажены советские десантные корпуса, которые, захватив перевалы, удерживают их, не позволяя перебрасывать резервы в Румынию.

Главные события войны происходят не в Польше и не в Германии. В первый час войны 4 советский авиационный корпус во взаимодействии с авиацией 9 армии и Черноморского флота нанес удар по нефтяным промыслам Плоешти, превратив их в море огня. Бомбовые удары по Плоешти продолжаются каждый день и каждую ночь. Зарево нефтяных пожаров ночью видно на десятки километров, а днем столбы черного дыма застилают горизонт. В горах севернее Плоешти высажен 3 воздушно-десантный корпус, который, действуя небольшими неуловимыми группами, уничтожает все, что связано с добычей, транспортировкой и переброской нефти. В порту Констанца и южнее высажен 9 особый стрелковый корпус генерал-лейтенанта Батова. Его цель — та же: нефтепроводы, нефтехранилища, очистительные заводы. На просторы Румынии ворвалась самая мощная из советских армий — 9.

10 советская армия не сумела выйти к Балтийскому морю. Она понесла чудовищные потери. 3 и 8 советские армии полностью уничтожены, а их тяжелые танки «КВ» истреблены германскими зенитными пушками. 5, 6 и 26 советские армии потеряли сотни тысяч солдат и остановлены на подступах к Кракову и Люблину. В этот момент советское командование вводит в сражение Второй стратегический эшелон. Разница заключалась в том, что германская армия имела только один эшелон и незначительный резерв, Красная Армия имела два стратегических эшелона и три армии НКВД позади них. Кроме того, в момент начала войны в Советском Союзе объявлена мобилизация, которая дает советскому командованию пять миллионов резервистов в первую неделю войны на восполнение потерь; и более трехсот новых дивизий в течение ближайших месяцев для продолжения войны.

Пять советских воздушно-десантных корпусов полностью истреблены, но на советской территории остались их штабы и тыловые подразделения, они принимают десятки тысяч резервистов для восполнения потерь, кроме того, завершается формирование пяти новых воздушно-десантных корпусов. Советские танковые войска и авиация в первых сражениях понесли потери, но советская военная промышленность не разрушена авиацией противника и не захвачена им. Крупнейшие в мире танковые заводы в Харькове, Сталинграде, Ленинграде не прекратили производства танков, а резко его усилили. Но даже не это главное.

В германской армии еще есть танки, но нет топлива для них. Еще остались бронетранспортеры в пехоте и тягачи в артиллерии, но нет топлива для них. Еще остались самолеты, но нет топлива для них. У Германии мощный флот, но он не в Балтийском море. Если он тут и появится, то не будет топлива для активных операций. В германской армии тысячи раненых и их надо вывозить в тыл. Есть санитарные машины, но нет топлива для них. Германская армия имеет огромное количество автомобилей и мотоциклов для маневра войск, для их снабжения, для разведки, но нет топлива для автомобилей и мотоциклов...

Топливо было в Румынии, которую защитить обычной обороной было невозможно. Это понимал Сталин. Это понимал Жуков.

Гитлер, правда, это тоже понимал слишком хорошо.

В августе 1941 года Второй стратегический эшелон завершил Висла-Одерскую операцию, захватив мосты и плацдармы на Одере. Оттуда начата новая операция на огромную глубину. Войска идут за Одер непрерывным потоком: артиллерия, танки, пехота. На обочинах дорог груды гусеничных лент, уже покрытых легким налетом ржавчины: целые дивизии и корпуса, вооруженные быстроходными танками, вступая на германские дороги, сбросили гусеницы перед стремительным рывком вперед.

Навстречу войскам бесконечные колонны пленных. Пыль за горизонт. Вот они, угнетатели народа: лавочники, буржуазные врачи и буржуазные архитекторы, фермеры, служащие банков. Тяжела работа чекистов. На каждом привале — беглый опрос пленных. Потом НКВД разберется с каждым подробно и определит меру вины перед трудовым народом, но уже сейчас среди миллионов пленных надо выявить особо опасных: бывших социал-демократов, пацифистов, социалистов и национал-социалистов, бывших офицеров, полицейских, служителей религиозных культов.

Миллионы пленных нужно отправить далеко на восток и север, предоставив им возможность честным трудом искупить вину перед народом. Но железные дороги не принимают пленных. Железные дороги работают на победу. По

железным дорогам гонят тысячи эшелонов с боеприпасами, топливом, подкреплениями.

Где пленников располагать? Вот в районе Освенцима 4 механизированный корпус захватил концлагерь. Доложили наверх. Ждали разрешения использовать по прямому назначению. Нельзя. Приказали в Освенциме музей оборудовать. Приходится рядом новые концлагеря строить.

А на Запад идут и идут колонны войск. От проходящих колонн комиссары берут по несколько человек, везут в Освенцим, показывают: сами смотрите, да товарищам расскажите!

На машинах политотдела догоняют солдаты свои батальоны, рассказывают.

— Ну, как там, браток, в Освенциме?

— Да ничего интересного, — жмет плечами бывалый солдат в черном бушлате. — Все как у нас. Только климат у них получше.

Пьет батальон горькую водку перед вступлением в бой. Хорошие новости: разрешили брать трофеи, грабить разрешили. Кричит комиссар. Охрип. Илью Эренбурга цитирует: сломим гордость надменного германского народа!

Смеются черные бушлаты: это каким же образом гордость ломать будем?

Всего этого не было?

Нет, это было! Правда, не в сорок первом году — в сорок пятом. Разрешили тогда советскому солдату грабить, назвав это термином «брать трофеи». И «гордость немецкую ломать» приказали. И миллионы людей попали в лапы советской тайной полиции. И гнали их бесконечными колоннами туда, откуда не все вернулись.

И мало кто помнит, что лозунг освободить Европу и весь мир прозвучал впервые совсем не в 1945 году, а в конце 1938 года. Завершая Великую чистку в Советском Союзе, Сталин переписал всю историю коммунизма и поставил новые цели. Это было сделано в книге «История ВКП(б). Краткий курс». Книга стала главной книгой всех советских коммунистов и всех коммунистов мира. Завершалась эта книга главой о том, что Советский Союз находится в капиталистическом окружении. Сталин ставит великую цель: заменить капиталистическое окружение социалистическим окружением. Борьба с капиталистическим окружением должна была продолжаться до тех пор, пока последняя страна мира не станет «республикой» в составе СССР.

Главной темой политических занятий Красной Армии стала: «СССР в капиталистическом окружении». Пропагандисты, комиссары, политработники и командиры подводили каждого бойца Красной Армии к простому и логичному сталинскому решению проблемы. И над железными батальонами Красной Армии гремела песня об освободительной войне, о войне, которая начинается сталинским приказом:

*Разя огнем, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин
И первый маршал в бой нас поведет.*

Советские коммунисты открыто провозгласили свою цель: освободить весь мир, а Европу — в первую очередь. Эти планы активно осуществлялись. Пока Германия воевала на Западе, к Советскому Союзу были присоединены пять новых «республик» и после этого ожидалось новое резкое увеличение числа «республик» в составе СССР и это были не пустые слова. Гигантские силы были сконцентрированы для нанесения внезапного удара по Германии и Румынии. Но даже один удар в Румынию был бы для Германии смертельным...

Конец первой книги.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

Полный текст романа Виктора Суворова «Ледокол» будет выпущен в свет Издательским домом «Новое время» в начале 1993 года.

АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ,
ЖОРЖ НИВА,
СИМОН МАРКИШ

УРБИ ЭТ ГОРБИ

Русская литература после перестройки:
анализ с попыткой прогноза

186

Король умер — тем хуже для короля. Вот формула массовидного отношения к периоду гласности, де-факто завершённому летом 1989 («Архипелаг...»), де-юре — зимой 1990 (Закон о печати), и отдалённому от нас благой пропастью (контр?) революции Августа 1991. Все пишут теперь со снисходительной иронией о перестроечном горении литературы, чреватом сгоранием; о пафосе, граничившем с ходульностью; о детски восторженном отношении к переменам — весьма компромиссным и двусмысленным. И по вечной российской привычке нынешние — преходящие! — последствия этого сгорания, пафоса и восторженности проецируют на всю историю нашей словесности, давешней и грядущей. Причем самые активные участники процесса исключения не составляют.

Первым глумливо ухмыльнулся Вик. Ерофеев — шуму вокруг его «Поминок по советской литературе» («ЛГ» от 4.7.1990) было много. Затем торжественно-серьезный Александр Агеев предъявил счет русской классике в целом (исключая Чехова, младосимволистов и футуристов) за духовное порабощение нации, за смешение возвышенно-художественного со служебно-воспитательным и объяснил кризисное самоощущение сегодняшней культуры истощенностью ее многовекового пути, ведшего к Храму, а не к Парламенту («ЛО» № 3. 1991, статья «Конспект о кризисе»). По прошествии некоторого времени с Агеевым аукнулась Наталья Иванова. Без всякого злорадства или торжества, но и без какой-либо грусти, как то и принято в «Независимой газете», она констатировала: «Кончается журнальный период нашей словесности. Но, может быть, уходит и нечто боль-

шее?.. Поминки впору устраивать по литературе, которая была «нашим всем»: и политической трибуной, и философией, и социологией, и учительской кафедрой, и университетом...» Не успела статья Ивановой, названная — «Гибель богов», выйти в «Независимой газете» (10.9.1991), в немецком журнале «Остеуропа» (№ 9. 1991) появился обзор Кристины Энгель «Прощание с одним мифом», толкующий о тех же проблемах — и в том же ключе... В январе 1992 «Независимая газета» попросила критиков разных поколений кратко высказаться об итогах литературного года: что восхитило, что разозлило, чего ждать от складывающейся ситуации и от русской литературы в целом. (Что было, что будет, чем сердце успокоить.) Подавляющее — в прямом смысле подавляющее! — большинство участников в один голос заявили, что ничего хуже солженицынского «Красного Колеса» они не читали; что им вообще мало что из прочитанного понравилось; а чего они ждут? — ждут конца русской литературы. Все свои «проповеднические», социальные роли, какие были у нее в условиях безгласия, она исчерпала, а новые — чисто эстетические — отвергает с порога...

...Я вовсе не хочу сказать, что в приведенных цитатах нет правды или что мы сейчас не присутствуем «при важнейшем историческом моменте — сломе литературной эпохи» (Н.Иванова). Есть и присутствуем. Я просто хочу защитить Н.Иванову от нее самой. Потому что если все обстоит безоговорочно так, как пишет она, то безвозвратно уходит и ее время, когда голос критика мог — и должен был — «звучать как колокол на башне вечевой». Когда критик вел

своих читателей на бой «святой и правый» (левый) с секретарской литературой, с Каремом Рашем, с химерами соцреализма. То есть, когда он был чем-то большим, нежели просто «эксперт при тексте», разбирающий удаchi или неудачи конкретного произведения. Эта судьба — не для Н.Ивановой, не для ее темперамента. (Вот и в «дружбинской» статье «Светлый чердак для подвальной литературы» (№ 3. 1992) она отстаивает права «чердачной словесности» перед лицом шестидесятилетнего истэблишмента с тою же страстью, с какой вчера отстаивала «рукописи из стола»; при этом пафос для нее по-прежнему важнее анализа — и вот в один ряд попадают внутренне несовместимые Марина Палей и Александр Терехов, такие разные в своей похожести Тимур Кибиров и Д.А.Пригов; так «эстетизм» не проповедуют, тем более, что его вообще нельзя проповедовать по определению; так зачитывают список включенных в боевую бригаду и ведут их за собою на литературные баррикады — пусть враг дрожит!)

Хуже того — если итог трех «гласных» лет (1987-1989) и двухлетья «свободы слова» (1990-1991) действительно таков: литература сведена к чисто эстетической функции, «широкий» читатель безвозвратно утерян, а писатель освобожден от своей «священной» роли и становится профессиональным производителем текстов — «всего лишь писателем», — если, повторяю, итог действительно таков, то он прямо противоположен цели, которую ставили перед собою «перестроечные» литераторы.

Разве для того они забрасывали вражеские амбразуры пламенеющими инвективами? Шаг за шагом, идя на мучительные тактические компромиссы, отвоевывали духовную территорию у коммунистической идеологии, «пробивая» в печать полусоветского Стивена Козна, чтобы затем напечатать и Ричарда Пайпса? Устами М.Ульянова отказывая Ю.Любимову в праве вернуться на родину после подписания «письма десяти», чтобы теми же устами на XIX партконференции

вступить за демократическую прессу, а затем покуситься и на саму КПСС? Выставляя Бухарина героем без страха и упрека, чтобы в конце концов и Ленина похоронить по-человечески?

И пусть никто, ни здесь, ни там, не думает, будто такие компромиссы — совершаемые из самых благородных побуждений! — не коречат душу и не затемняют дух; никому из нас, пусть добровольных, пусть жертвенных, но полуобманчиков, это даром не прошло. Ни Анатолию Бочарову, считавшему своим долгом декларировать сущностное единство русской литературы XX века в «материковом» и «островном» ее проявлении; декларировать, а не доказывать — только потому, что Вадим Баранов утверждал обратное¹. Ни Льву Аннинскому, построившему все «полочные» ленты в один, устремленный к сияющим высотам, ряд — не заботясь о том, уютно ли чувствовало себя снятое кровью сердца «Покаяние» по соседству с панфиловской «Темой», лишь на миллиметр нарушившей допустимый в начале 80-х предел остроты². Ни участникам первых «советско-эмигрантских» совместных литературных посиделок, соглашавшимся на отведенную им в горбачевской идеологической игре роль. Ни... — но список можно продолжать долго, и я сам в конце концов в него уложу.

Те же, кто был на ключевых ролях в сознательном «заговоре лжи» периода гласности, вообще опустошенными сходят с колеи именно сейчас, когда победа, казалось бы, достигнута: Коротич, Приставкин, Рыбаков... У каждого из них своя драма, своя боль, своя судьба, своя вина. Но я уверен: предупреди их кто о подобном результате перестроечных усилий, ни один из них не пошел бы на жертву качеством. Коротич был начальником и без демократии. Рыбаков и Приставкин и в условиях цензуры понемногу писали в стол, обильно печатая другие свои сочинения.

Да что Коротич! что Рыбаков! — вся литература в целом должна чувствовать себя обманутой, если она, бывшая нашим всем, внезапно разрешилась

¹ Помните? — Вадим Баранов. Уроки истории, которые полезно вспомнить. Еще раз о судьбах литературной эмиграции. «ЛГ» от 25.3.1987. И. Анатолий Бочаров. Покушение на миражи «Вопросы литературы» № 1. 1988.

² Лев Аннинский. В ком дело? Заметки не о кино. «Знамя» № 6. 1987.

в ничто. И в какой срок! — в пять лет. И благодаря кому! «...Вот на Сталина войною Вознесенский налетел!»

И вслед за кем! «Вслед за партией родною, вслед за партией родной!» (Тимур Кибиров). Что же, спрашивается, это за литература, если какая-то двусмысленная перестройка способна полностью «перекодировать» ее, превратить из общего дела — в частное, из трибуны — в рулетку, из Служения — в игру?

Самое время начать противоречить себе.

Потому что постперестроечное общество и впрямь предложит поэту быть только поэтом. Жизнь возвращается в Церковь, богословская мысль оживает — и зачем теперь «Плаха»? Худо-бедно (скорее худо, чем бедно), но парламент начинает профессионализироваться, и при чем тут ораторская эмфаза Евтушенко? Демократические и тоталитарные режимы на территории бывшего СССР равно обретают выраженные национальные черты — кто же станет обращать внимание на «Ловлю пискарей в Грузии»? «То спор славян между собою...»

Все так. Но вопрос в ином. Не в ситуации как таковой, но реакции на нее! Как — и кем! — будет себя чувствовать современный российский писатель в принципиально новом для себя качестве — не духовного лидера, а участника скромного действа? Будет ли ему уютно в плюралистическом обществе рыночного благоденствия, которое хоть и не изгоняет творца за пределы «идеального государства», но отводит каждому сверчку свой шесток, чтобы знал, помнил и черту не переходил? Смирится ли он с ролью «сверчка»? Он, с первой же прочитанной по-русски книжкой, усвоивший мотив «самооправдания» русской классики, кожей ощутивший опасность двойного соблазна — практической приложимости искусства («тебе бы пользы все...») и его эстетической самодостаточности («для звуков сладких и молитв...»). Каково ему будет теперь? Сергей Чупринин (с м.: «Знамя» № 10. 1991) считает, что — неплохо будет; что литература перешла на «нормальный ход»; что за неимением единого культурного про-

странства писатели разбредутся по социальным уголкам, каждому достанется его читатель и все будут жить долго, счастливо, чтобы умереть в один день.

Меня почти все устраивает в статье С.Чупринина — как в статье политической, регламентирующей новые литературные отношения, определяющей оптимальную расстановку сил и тактику нормального литературного поведения; мне вообще приятно вслушиваться в его размеренно-раздумчивый, «самовитый», полный уважения к себе и собеседнику, голос. Но себя склонить к такому же дистанцированному спокойствию не могу, ибо пытаюсь смотреть на ту же проблему не извне, как «политик», а изнутри, как практик, как своего рода колесико и винтик литературного механизма. Не станет легче нашей словесности от того, что мы признаем исчерпанность ее прежних заместительных функций, крушение «трех мифов» о ней, децентрализацию некогда единого пространства и рассредоточение полновесного потока на множество мелких ручейков, чье течение будет определяться не Божией («...и Бога глас во мне воззвал...») волей, а интересами замкнутых читательских групп («...но токмо волею пославшей мя жены...»). Русская литература, лишившись внелитературных обязанностей, будет чувствовать себя так же, как Россия, оставшись без Крыма и Балтики. Возможно, утрата «окна в Европу» закономерна и заслуженна; не подлежит сомнению, что ради мира и будущего стоит пожертвовать Крымом. Но русское национальное пространство образовано именно морскими границами: «Меж пяти морей российских...»; и буде число этих морей сократится, человек, сформированный русской культурой, не сможет смотреть на них иначе, нежели армянин смотрит на Арарат — с тоской, памятью и несбыточной надеждой... а вдруг... когда-нибудь... И литература, навсегда связавшая пространственную «морскую мифологию» с хронологическим самоощущением своих героев («...времен Очакова и покоренья Крыма» — попробуйте забыть это!) точно так же будет обречена долгим, трагическим «армянским» взором оглядываться на свою недавнюю

историю, постепенно превращающуюся в предысторию.

Хорошо то или плохо, но отечественная словесность вплоть до одного из главных пакостников петровской эпохи Феофана Прокоповича даже в теории не знала понятия художественного вымысла, «возвышающего обмана». И твердая вера в то, что все сотворенное ею есть сплошная правда, горькое свидетельство о человеке перед Богом (сладостное — о Боге перед человеком) жива до сих пор. Даже Афанасий Фет, олицетворяющий для нас идею чистого искусства на русской почве, жизнь убил на то, чтобы стать помещиком, и кончил тем, что издал мемуары, выдающие в нем не столько утонченного лирика, сколько жмота, сухаря и чинушу. Разрыв между небесным и земным, слишком небесным и слишком земным понятен: чем настойчивее Фет преодолевал в своей гениальной поэзии «комплексы» русской литературной традиции, тем явственнее проступали эти комплексы в его жизни. «Практическая энергия» русского слова, лишенная доступа в творчество, вытеснялась в обыденную биографию поэта. Другим вариантом допустимого литературного поведения создателя «самоценного» искусства стала на сломе веков «неотмирность», граничащая с полубезумием: Велимир Хлебников показательный пример. В любом ином случае уклониться от проблемы нелитературной ответственности литературного произведения было невозможно, и каждый значительный русский писатель вынужден был проблему эту решать. Примитивно, как Чернышевский, низводя роль искусства до «служанки революции»; наивно, как Некрасов, вгоняя свои тексты в прокрустово ложе «гражданственных» тем; величественно и игриво одновременно, подобно Льву Толстому с его «пахать подано»...

Скажите что угодно по поводу этого «религиозного атавизма» русской словесности (совершенно не зависящего от личных воззрений ее создателей!); укажите на идиотические примеры последовательного «преодоления» эстетической замкнутости, приводящие к самоуничтожению даже очень талантливых писателей; припомните «Все впереди» В.Белова, эту скучноватую пародию на «Что делать?», не отрицайте лишь одного: было что пародировать.

Безболезненно встроиться в сложившуюся ситуацию не удастся: этот хомут не по нашей шее. Не удастся и сохранить все как было. Но какое-то подобие интеллектуального выхода есть: применить не лица к положению, а положение — к лицам. Попытаться как бы «просчитать» «валентности» новосоздаемого мироустройства и пределы их сочетаемости с «атомарным весом» традиционной русской культуры. Без этого — неизбежно разрушение структуры ее нематериального вещества. Литературная реальность может воспользоваться результатами «расчетов», а может и отвергнуть их, — это уже не наше дело. Поскольку же, во-первых, никто не гарантирован от пристрастий и две головы (три тем более) лучше, чем одна; во-вторых, мы не одиноки в этом прекраснейшем из миров, и, помимо нашего частного опыта, существуют еще общеевропейский и эмигрантский контекст, я пригласил к «соучастию в анализе» переводчика, «античника», историка русско-еврейской литературы Симона МАРКИША, живущего на Западе с 1970 года, и французского слависта и переводчика, автора книги «Солженицын», печатавшейся в «ДН» (№№ 4-5. 1990), Жоржа НИВА.

АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ

189

— Вам, Жорж, и вам, Симон, тоже кажется, что русской словесности, какой была она последние три века, пришел конец и «Красное Колесо» (Солженицын вообще) есть символ этого конца? Что вы читаете? Или, может быть, и впрямь уже читать нечего?

Симон МАРКИШ. Я меньше всего хочу, чтобы мои слова воспринимались как «голос русскоязычной эмиграции»; я буду говорить только о себе и от себя. Я стараюсь следить за нашими... в смысле за вашими... журналами, альманахами; хотя читаю, конечно, далеко не все, а книжки — только те, что сами

«идут в руки». (При этом я считаю — и давно — что нет двух русских литератур, за границей и в России, в «метрополии»; потому следует говорить о том, что происходит с русской литературой по обе стороны границы.) Оповещать мир о ее кончине сейчас так же нелепо, как и в 1925 году, когда Марк Львович Слоним (похороненный недалеко отсюда) напечатал в «Воле России» свою знаменитую статью «Живая литература и мертвые критики», лейтмотив которой — русская словесность будет существовать до тех пор, пока останутся русский язык и русский народ; слава богу, они живы. Вещи, которые читаешь в журналах, не просто радуют, они иной раз умиляют. Я не согласен с Андреем Немзером, сказавшим в прошлогоднем обзоре «Нового мира» («НГ»,) о повести Сергея Каледина «Поп и работник», что вещь хорошая, остается ее только написать. После всего, что было в «Смирненном кладбище» и в «Стройбате», не очень-то меня поразившем, Каледин открыл в себе новые стилевые возможности... Далее, в двух альманахах, «Апреле» (3 выпуск за 1990 год) и «Камере хранения» (СПб. 1991) я прочел рассказы А.Эппеля, которого много-много лет знаю как переводчика — их письмо, их смысловое наполнение, их эмоциональный фон потрясают. Эппель берет такой слой действительности (преображая его во вторую реальность, литературную), которого никто никогда не касался. Это еврейство, лишенное корней, лишенное национального самосознания, лишенное всего, кроме еды, питья и одежды (этого у них, пожалуй, даже больше, чем у русских, их окружающих). Вы помните, у Бабеля есть неоконченная повесть, фрагмент которой печатался в 30-е годы и назывался «Еврейка»; Бабель пытался написать о евреях, покинувших свои местечки и переселившихся в Москву — у него ничего не вышло. Что понятно: он не имел с этим еврейством ничего общего, это во-первых; оно только начинало формироваться тогда, это во-вторых. Но вот оно, несчастное, сформировалось, и Эппель смог о нем рассказать. И все это совершается внутри русской литературы, которая — придется использовать ужасное слово — по большому счету русскоязычна, обымает собою разные пласты, разные уровни, рядопологая... я не знаю... всех, и Фазиля Искандера с Андреем Битовым, и Василия Белова с Тимуром Пулатовым.

Жорж НИВА. Все некрологические разговоры о конце русской литературы...это временное затмение. Во-первых, времена деспотизма располагают к занятиям словесностью, писатель живет стремлением обогнуть, обойти препятствие несвободы, достигает в этом искусстве высот необычайных; а сейчас что огибать? Во-вторых, я помню, как лет двадцать назад о смерти литературы на Западе объявлял мой друг Доминик Де Ру: старинный способ выражения чувств в гармонии некоего словесного целого уже никому не нужен; настало время документального отрывка, литературного аналога телевизионного «калейдоскопа»; катарсис, которого ждала Европа от литературы в XIX веке, уже не действует... Это не убеждало меня тогда, не убеждает и теперь. Поэтому открытие Марка Харитонова, которого вы издали в «Дружбе народов» (№№ 1-2. 1992) было для меня большой радостью. Конечно, написан роман «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича» не сейчас — ну и что?! Это прекрасный голос, гармоничный; голос человека, который видит всюду следы тирании, следы деспотизма, расколотую реальность, и в то же самое время склеивает ее куски цементирующим смыслом, как герой «Линий судьбы...», пытается свести воедино разрозненные высказывания провинциального русского философа 20-х годов, сохранившиеся на конфетных обертках. Перед нами чрезвычайно удачная попытка — абсолютно европейская по замыслу и уровню — заново построить утраченный смысл. Я отдаю себе отчет в том, что некоторые — особенно левые деконструктивисты — могут если и не издеваться над такой литературой, то во всяком случае наклеивать на нее ярлык пассаизма. Но это не пассаизм; это вновь и вновь повторяющаяся попытка культуры самосохраниться; тон Харитонова абсолютно незабываем. Приятно делать такие открытия в год «конца русской литературы».

В прошлом году во Франции вышла книга известной французской писательницы Даниэль Соленав; книга, посвященная роли чтения сегодня. Это монолог раскаявшегося литературного левака, который понял, что без конца повто-

ряемыми словами о смерти литературы мы действительно можем ее убить. Ибо наши желания слишком часто исполняются. Мы, пишет Соленав, провозглашали гибель словесности, а сами продолжали читать Стендаля. Я, мой круг, мои друзья: мы жили этим чтением. А что делает житель предместий, который и впрямь не читает, но глотает телевизионную продукцию, все эти телеигры (теперь один к одному перекочевавшие на российское телевидение; экран вообще стал одинаков, и пока ты не включил звук, не понять, это ТФА или Останкино...)? Нетерпимо положение, когда и глашатаи смерти литературы продолжают питаться плодами ее жизни, а люди, для коих она действительно умерла, вместе с нею утрачивают и смысл жизни, ею во многом поддерживаемый! И тут Соленав встречает на своем пути Платонова, «Чевенгур», и вдруг понимает, что по такой книге можно заново восстановить смысл бытия, и, следовательно, с ее помощью мыслимо начать воскрешение литературы. Хотя, наверное, сам Платонов совсем не для того писал «Чевенгур»; он говорил о другой смерти, о другой гибели...

А.А. ...И о другом бытии, которое вообще не подлежит осмыслению, ибо завершенно любому смыслу и требует лишь принятия своей страшной полноты... Но я о другом. Вы, Жорж, назвали Харитонов; я согласен с Вами; но Харитонов яркое исключение, для него «эстетика» значит больше, чем для многих и многих современных русских «письменников». Он умеет не только *отыскивать* смысл, но и *разыгрывать* его поиски. И посмотрите, как складывалась судьба Харитонова: после дебюта в начале 70-х он практически исчез из литературы и вновь появился в ней только в 1988, когда была издана его первая (!) книга «День в феврале» (и прошла совершенно незамеченной). Говорят, в редакции одного сверхлиберального журнала на заре перестройки заведующий отделом прозы возвращал авторам рукописи, приговаривая: «Не могу напечатать вас, голубчик, не соответствуете духу времени; вот у меня лежит совершенно изумительный роман из эпохи Ивана Грозного, я и его не могу опубликовать: все хотят читать о Ленине и Сталине, а тут — давняя история, ни к тому, ни к другому отношения не имеющая». Любый читатель М.Харитонова догадается, что речь о его повести «Два Ивана» (кстати говоря, вполне «опозиционной», ходившей в самиздате, но не прямолинейной, игровой, а потому внеположной перестроечной ситуации). И все эти громокипящие годы проза Харитонова оставалась в густой тени — не по цензурным, но по общекультурным причинам. Сейчас же, когда литературные борцы со сталинско-ленинской тиранией пребывают как бы в ступоре (что не их вина, а их беда), М.Харитонов оказался на коне. Не он подстраивался под ситуацию, а ситуация созрела для него. На его примере мы видим, что возможно личным усилием преодолеть состояние культурного кризиса; однако возможность эта всецело зависит от индивидуального художественного мышления, от годами вырабатывавшейся поэтики. Что же делать тем, у кого голова устроена по-другому и кто привык ставить перед собою иные творческие задачи?!

С.М. По-моему, вопрос — по крайней мере, по отношению ко мне — поставлен не вполне корректно. Я считаю, что человек, двадцать два года назад уехавший из России, даже если он до отъезда в каком-то скромном углу принимал участие в литературном процессе, не имеет права давать советы. Почти четверть века я «иностранец» — как я могу судить, какие у вас шансы ожить и воскреснуть? Единственное я знаю точно — что русская культура и русский народ настолько мощны сами по себе, что и в дурном сне не привидится, будто все кончено и останется один журнализм.

Впрочем, давайте обратимся не к высоколобым суждениям структуралистов, а к формуле самого «обычного» прозаика, писавшего для «нормальных» людей, Сомерсета Моэма. Кажется, в книге «Подводя итоги», вышедшей 40 или 50 лет назад, Моэм определил литературу как *рассказ* о жизни, необходимый человеку не меньше пищи. От обязанности *рассказывать* литературу никто не освободит; эта ее роль никак не зависит от того, действует ли парламент и заняла ли Церковь свое место в обществе. Может быть, будущее в России принадлежит не «эстетизирующей», но именно рассказывающей литературе?..

Ж.Н. Что касается до назначения литературы быть рассказом... это, конеч-

но, лишь начальная задача. Отказавшись выполнять ее, словесность потеряет аудиторию, — но то суверенное право словесности, между прочим. Тут, например, живет французский писатель Мишель Бютор (его ранние вещи в духе «нового романа», совсем непохожие на то, что он сейчас делает, переводились на русский). Он пишет чрезвычайно игриво, перебирая словесные конструкции, сочиняя вариации на музыкальные или живописные темы; он как будто пляшет перед Искусством. Но... у него нет широкого читателя. Мы беседовали о том, и Мишель спокойно отвечает: нет, и не нужно, я пляшу перед вечностью. И вполне, кстати, вероятно, через одно-два-три десятилетия будут прочитаны его книги — о Японии, или о Соединенных Штатах; чрезвычайно субтильные сочинения, передающие некую суть этих цивилизаций, но отнюдь не на старинный манер... тем более не на манер советских писателей, которые по командировке ездили в Соединенные Штаты в 30-е годы и писали о своих поездках.

Ж.Н. Или в 70-е. Как это называлось? «Уроки ненависти», кажется? Хорошая была книга, документальная, всем доступная... Но тем не менее задача *рассказать*, она остается, где-то в подоплеке современной литературы, и должна вернуться. И уже возвращается — через боковую дверь. Самое популярное чтение в сегодняшней Франции — рассказ об Истории. Эта волна началась с так называемой школы журнала «Анналы» и за нею пошли десятки книг, что понятно. Раз нам не дают литературу художественную, мы читаем рассказы историков; а те, в свою очередь, берут на себя бремя литературного письма. Происходит смещение, сдвиг. Вполне возможно, что в России произойдет нечто подобное — и я уже вижу первые тому подтверждения; тем более, что имеется большой голод на рассказ о русской истории.

А.А. Да, в 70-е годы продолжала выходить «горьковская» серия «Жизнь Замечательных Людей», само название которой исключало возможность *нормального* рассказа об истории. Концепция серии предполагала, что есть *замечательные* люди, а есть *незамечательные*; первые достойны жизнеописания, вторые — забвения. На самом же деле история состоит из *славных* людей и *бесславных* людей; славные люди, обаятельные люди прошедших эпох очень часто *проигрывали* свою жизнь. Однако их обаяние сохраняется, и оно для нас важнее иных «исторических побед», ибо делает историю живой, притягательной; но много ли у нас имеется таких книг? Можно пересчитать по пальцам: «Большой Жанно» и «Лунин» Н.Я.Эйдельмана, «Глухая пора листопада» Юрия В. Давыдова... все? Между тем, литература в России слишком долго подменяла собою философию и историю; почему бы историкам и философам не взять на себя роль писателей, пока те не одолеют творческую растерянность?

Ж.Н. Этот путь намечается: надеюсь, когда-нибудь все-таки выйдет книга Петра Алешковского о Василии Тредьяковском; часть ее была напечатана «Волгой» года два назад. Вообще нет сомнений, что в ближайшие годы можно ждать появления потрясающих сочинений этого несобственно-литературного ряда. Не только о XX веке; о XIX тоже.

А.А. Между прочим, некие жанровые основания уже нащупывались авторами серии «Писатели о писателях», выходившей в «Книге» на протяжении 80-х годов (теперь издательство, очевидно, затевает серию «Поккупатели о бизнесменах»); вопреки названию, книги для нее писали как правило не писатели: Ю.М.Лотман, М.О.Чудакова, Вл.И.Новиков (совместно с В.А.Кавериним), С.Б.Рассадин... С «литературной» точки зрения (не знаю, как с собственно исторической) вершиной серии стала «истинная повесть» филолога из поколения тридцатилетних Алексея Пескова «Боратынский.» (1990). Обстоятельства его жизни, с документальной точностью прослеженные, как гипс облепляют «бесплотного» героя, и, когда вы в конце концов снимаете форму, остается рельефная маска.

Ж.Н. Да, Вы прекрасно описали эту книгу, которая мне также очень понравилась. Легко, далее, представить себе сочинения, где будет использован нагой, необработанный документ. Например, о Мейерхольде — начав с последнего письма, когда он в тюрьме ждет смерти и обращается к своему палачу (Молотову, кажется) — и далее ретроспективно погружаясь в пространство его судьбы...

С.М. Но, Жорж, вы невольно льете воду на мельницу тех, кто отрицает будущее за русской литературой.

А.А. И слово в слово повторяете оспоренный вами пассаж Доминика Де Ру.

С.М. Если словесность в России сведется исключительно к бель леттр, к публикации и выстраиванию документа в определенный ряд, то, значит, ей и впрямь приходит конец.

Ж.Н. Не думаю. Де Ру говорил о финале. Я говорю о паузе, которую необходимо заполнить.

А.А. В таком случае я бы назвал это отпуском по ранению; наша словесность имеет на него право, как и любая другая. А что касается до «конструкционных» поисков тех же историков и филологов, то ведь они способны отработать некие сюжетные и тематические «ходы», с которыми литература сможет затем работать как с чем-то готовым, разрушая, перекодируя, переосмысляя, — как она это любила делать в XIX веке. Мог бы Пушкин написать «Повести Белкина», не существуй массовая литературная традиция с ее «ходячими» («ходульными»!) сюжетами? Поэтому... но прежде чем перейти к «позтому», я хочу переформулировать не устроивший вас, Симон, вопрос. Только одна оговорка: я не согласен с вами, когда вы «сливаете» эмигрантскую и материковую русскую словесность в единый поток.

Ситуация, в которой очутились сегодня — бывшие советские, ныне русские — писатели, была на протяжении 70-х годов как бы предварительно «проиграна» третьей волной эмиграции. Уезжая, писатели оказывались в непривычной и неприемлемой для них роли Чацкого на балу: он произносит пламенную речь о смысле жизни, а вокруг него все кружатся в вальсе с необычайным усердием. Они-то привыкли к отклику, хотя бы раздражительному, и вот слова приходится ронять в воздух, в вату, в вакуум, и существовать в западной системе отношений между обществом и писателем, когда он — пользуясь незабываемым ленинским выражением — «пописывает», а оно «почитывает». Что с ними происходило? Ведь часто это был трагический опыт. Можно ли как-то учесть его? Продумать с пользой для себя?

С.М. Во-первых, вы знаете, нужно различать поколения второй и третьей волны. Между Буниным и Лимоновым нет ничего общего не только потому, что Бунин гений, а Лимонов нуль: в их *ситуациях* нет ничего общего. Во-вторых, вы говорите, что современный русский писатель находится в том же положении, что и литературный эмигрант 70-х. Это неверно. Сегодняшний читатель в России не реагирует на «своего» писателя. А как он раньше реагировал? И каким образом регистрировалась эта реакция? С помощью опросов? Согласно статистике, сколько книг продано? Или по результатам голосования: вы за кого, Петра Проскурина или Евгения Попова? На самом деле реакция, конечно, существует; но она разлита в воздухе; вы выходите из вашего дома и кожей ощущаете то же время и пространство, что и ваш читатель. А какой-нибудь Юз Алешковский, служа дворником в американском колледже...

А.А. А разве он служит дворником?

С.М. Допустим, что служит. И, входя с метлой в университетский дворик, что он может ощутить? Он может только еще раз выматериться, что он и делает. Так что здесь разница безусловная. Но дело-то не в ней! Дело в том, что мне и об эмиграции судить сложно, я плохо ее знаю, слежу за ней как бы со стороны. Кого я хорошо знаю, например, в Америке? Одного Иосифа Бродского. Что же до творчества такого известного эмигрантского писателя, как Абрам Терц (Андрей Синявский), то, по совести, никакой разницы между тем, что он писал у себя в коммунальной квартире в Москве и пишет теперь в своем парижском доме, не вижу.

Ж.Н. Тем более, что его вилла благодаря гостеприимству Марии Васильевны Розановой тоже стала коммунальной.

С.М. И нет никакого опыта, который можно было бы извлечь. Возьмем Аксенова. Это человек, в высшей степени приспособляемый к окружающей среде. Я прекрасно помню, как он впервые напечатался в «Юности», будучи еще врачом; он с необычайной легкостью вошел в роль литературного мэтра, будто родился с пером в руке. И в Америке он чрезвычайно быстро нашел

свою — как у вас любят теперь говорить — «экологическую нишу». Он преподает в университете. завидует, что Бродскому, а не ему дали Нобелевскую премию, пишет без конца и края, возвращается в Россию... — что для него изменилось? Стало легче жить? Но это не творческий критерий. Легче ли ему стало писать? Не уверен; боюсь, что пик Аксенова прошел в середине 70-х годов; по мне, Аксенов — модернист несравненно слабее Аксенова — автора рассказа «На полпути к Луне». Я думаю, что именно этот Аксенов, «старый», та «часть» его, которая закваской входит в «Остров Крым» и даже «Ожог» (колымские эпизоды), интересен читателю... Вы знаете, что Овидий сказал: «убегая за море, мы меняем небеса, а не душу». Иное дело писатели, которые для того и уехали, чтобы реализоваться; которые родились как литераторы именно на Западе — Фридрих Горенштейн, например. Однако и здесь все непросто. Горенштейн обрел известность, а сколько — кто справедливо, а кто и нет? — канули в Лету.

А.А. Как раз тут и скрыто противоречие — в примерах, что вы приводите. Вы называете Синявского и Горенштейна с одной стороны и Аксенова с другой. Синявский и в Москве, сидя за столом в коммунальной квартире, разыгрывал не просто подпольную ситуацию, не просто ситуацию существования в игровом пространстве; он *моделировал* в России «западную» ситуацию, не споря с режимом, не дразня его, не сопротивляясь, а играя. Естественно, ему легко было продолжить ту же игру в коммунальном особняке под Парижем. Горенштейн... Но Горенштейн — это писатель, который *нуждается* в вакууме, в тишине рабочего кабинета и ни в чем (боюсь — ни в ком!) более.

С.М. Да он в России написал больше половины, если не две трети своих сочинений; при чем тут эмиграция?

А.А. При том, что он и в России жил — как в эмиграции; недаром самая его неудачная, самая надуманная (при том, что ложным высокоумием подпорчены почти все его, изумительные по пластике, вещи) повесть «Путешествие летом по Волге» («Знамя» № 1. 1991): здесь Горенштейну по сюжету пришлось изображать чувствования завтрашнего эмигранта, его «упреждающую ностальгию», а внутреннего опыта ностальгии он сам не имеет! Что же до Аксенова, тут все гораздо более характерно. То, что он пишет на Западе — исключая «Остров Крым» — на мой вкус, несопоставимо с «домашними заготовками» доэмигрантского периода — неважно, реалистическими или модернистскими (к последним, Симон, вы отчасти несправедливы по общей нелюбви к вычурности и стилизации)...

Ж.Н. Я тут хочу включиться. Аксенов публикуется по-английски, и большинство его книг выходит по-французски. Так что он, может, и не пользуется массовым успехом, но издается весьма хорошими тиражами. И живет нормальной жизнью нормального западного писателя, обеспечивая себя не гонорарами, а зарплатой университетского профессора. Ненормально другое. Для него (при всем том, что он полностью адаптировался к западным условиям) и для многих и многих в «третьей» волне эмиграция действительно стала трагическим испытанием. По приезду эти люди очень часто встречались как герои; на них — куда там президенту Рейгану или Маргарет Тэтчер! — набрасывалось телевидение, и в течение, скажем, года их имена не сходили со страниц газет. Они могли вообразить — и воображают — что покорили Запад; что Запад готов прислушиваться к их голосам, как прислушивались к ним в Отечестве; но Запад покоряться не любит. Почтение к некоторым сохраняется: к Буковскому, к Синявскому (чтобы назвать очень разных людей). И тем не менее лихорадка вокруг них утихает: литературная жизнь организована здесь вокруг *события*.

А.А. Между тем, как в России она традиционно организовывалась вокруг *авторитета*.

Ж.Н. Некоторые наши *авторитеты* игнорируют закон *события*. (Жюльен Грак, например. Этот — на мой вкус, лучший из ныне живущих французских писателей — прозаик никогда не показывается на телеэкране). Тем самым они заведомо отсекают широкого читателя от своих книг, и не ощущают вакуум как трагедию. У эмигрантов все иначе. Рано или поздно они оказываются в некой изоляции и совершенно теряют реальные ориентиры. Главной выразительницей

французского общественного мнения становится для них «Русская мысль» — ибо это единственная из газет, продолжающая интересоваться ими «до конца». Синявский до сих пор болезненно реагирует на каждый выпад «Русской мысли»: я ему говорил: хорошо, аудитория «Русской мысли» — это горсть эмиграции и несколько читателей в России; реальностью же является реакция французской публики (а она на книги Синявского была; могу судить о том как переводчик его «В тени Гоголя»). Однако что такое для Синявского французская публика? Пустое место, ибо он сам существует в коконе русского языка и своей сквозной — русской — темы. Между тем, некоторые писатели «первой волны» обратили в конце концов внимание на Запад: парижская жизнь стала предметом творчества Бунина, Тэффи; итальянская — Зайцева. А в «третьей волне» кого мы можем назвать? Едва ли не единственный человек (Симон и я прекрасно знали его), Виктор Платонович Некрасов, интересовался окружающим его Западом. И писал очаровательные акварельные миниатюры, взгляд и нечто; однако этого было мало, чтобы привлечь ответное внимание Запада, — и совершалась на наших глазах трагедия двойной невстречи. Западник Виктор Некрасов имел меньший отклик, чем почвенник (по «ролевой позиции» и по письму — не по взглядам!) Абрам Терц. Это парадокс, но вся эмиграция жила парадоксами. Грустными парадоксами — перечитайте последнюю вещь Некрасова «Маленькая печальная повесть», вслушайтесь в ее интонацию... Конечно, есть единственное в своем роде исключение — Бродский, который решил завоевать американский истеблишмент и завоевал его.

С.М. То, что вы сказали о Некрасове, навело меня на важную, как кажется, мысль. Обобщения всегда очень опасны; огромную роль играет индивидуальный склад, личная воля, судьба. Он на Западе — тем более. И опыт у вас будет свой. Свой — у каждого в отдельности, а не у литературы в целом.

А.А. Я ведь говорил о другом. Можно ли — не использовать, но учесть опыт (всегда индивидуальный, а как же еще?!) писателей русской эмиграции, оказывавшихся в роли, противоположной той, к которой привыкли в России. Роль не пророка, а участника более скромного действия? Можно ли, проанализировав их судьбы, психологически облегчить наше вхождение в холодные воды демократического мироустройства?

Главная причина творческого кризиса, настигавшего большинство литературных эмигрантов после пересечения границы свободного общества (свободного от всего — в том числе и от отношения к дарованию как к поручению, которое должно исполнить), невостребованность в условиях демократической цивилизации «волевых качеств», ставших главной чертой русского идеологии.

Кто же не справляется с шоком?

Тот, кто пытается усидеть между двумя стульями, угодить и нашим и вашим. Тот, кто ломает себя и свой дар ради сомнительных перспектив «сожительства» с литературными канонами современного Запада. Назову хотя бы Сергея Юрьенена с его обезболенной и обезжиренной повестью под названием «Сделай мне больно».

Кто выходит из тупика?

Прежде всего тот, кто принимает предлагаемые «правила игры» («На правилах покоится игра» — Г.Гессе) не из конъюнктурных соображений, но потому, что внутренне уже был готов к приятию этих правил. Самый яркий пример — эссеист Михаил Эпштейн, сначала, в России построивший собственный эстетический мир, где главным принципом была необязательность и взаимозаменяемость «эссеизируемых» идей (то есть — принцип калейдоскопа), и лишь затем «физически» переместившийся в калейдоскопическую Америку. Крутится калейдоскоп, тихо щелкают цветные стеклышки, мелькают красивые образы, и число возможных вариаций бесконечно...

Во-вторых, кто меняет один вакуум на другой. Вакуум эстетической безучастности на вакуум социальной самоизоляции. Кто помещает себя в консервную банку и замыкается от внешнего мира в несмолкаемом диалоге с родной «ангажированной» культурой. Это и Солженицын, обустроивший свое вермонтское пространство по образцу капитана Немо в «80 тысячах лье под водой». И нелюбимый вам, Симон, Юз Алешковский (кажется, и английский язык не

выучивший не только из лени, но из инстинкта творческого самосохранения, чтобы поддержать иллюзию полной автономности от американского культурного бытия). И тот же Фридрих Горенштейн, поселившийся не в литературно обжитом Париже, не в радиофицированном Мюнхене, а на окраине Западного Берлина и погрузившийся в бесконечную тяжбу с Достоевским. Тяжбу, которая, на мой взгляд, уплощает и опошляет горенштейновскую философию, но дарует иллюзию постоянного со-участия русской культуре поверх литературных барьеров Европы. Хотя бы через занудливое отрицание этой самой классики...

И — третий путь¹. Вообще не искать никакого пути. Принять свое двусмысленное положение как данность, свое место — как бедственное, свою социальную невостребованность и роль гостя на жизненном пиру — как неизбежность. То есть раз навсегда признать, что «искусство называлось трагедией. Так и следует ему называться» (Пастернак). И что этой трагедии не отменят ни повсеместное признание, ни Нобелевская премия, ни возможность перейти от «соло на «Ундервуде» к «соло на «IBM». Если я назову только два имени — Сергей Довлатов и Иосиф Бродский, то сделаю это по двум причинам. Во-первых, слишком разны векторы их дарований, а мироощущение трагического стоицизма (прикрытое легким юмором у Довлатова, суггестивностью и иронией у Бродского) — близкое. Во-вторых, один из них мне как читателю до чрезвычайности далек, другой до чрезвычайности близок, и я могу гарантировать себе и читателю, что веду речь о литературных реалиях, а не о своих предпочтениях...

Естественно, на «материковой» почве все будет обстоять несколько иначе, нежели на «островной», но вряд ли поведенческие модели здешних серьезных русских писателей в условиях достаточно полной свободы и неотторжимой от нее «ненужности» прежней роли русского писателя, сущностью будут отличаться от поведенческих моделей серьезных русских литераторов — «тамошних». И вряд ли жизнь их будет слаще, а самоощущение — «нормальнее». Но если они не станут подстраиваться под скоромимоходящие социальные условия, а предпочтут жертвенный дискомфорт внутреннего конфликта с обществом комфорту внешнего компромисса с ним, — то все-таки исполнят свое дарование как поручение.

Ж.Н. Я не стал бы столь категорично утверждать, что миссия пророка исчерпана для русского писателя. Во-первых, это самоощущение так внедрено, что в одночасье с ним не расстанешься...

А.А. Спроса нет; спрос рождает предложение.

Ж.Н. Ага! не знаю, не знаю. При нынешнем вакууме, в этой растерянности — я убежден — литература другими путями, не прямо, продолжит духовную традицию. Писатель может дать смысл, соединив им мозаику современной жизни, включающей все — от крушения империи до размножения бирж и расцвета мафии. И сейчас больше, чем когда-либо в России, есть спрос на это, потому что... не хлебом единым.

А.А. Спрос — чей? Читателей или критиков? Вот важный вопрос. Бог с ним, с «Красным Колесом»: как писатель, Солженицын обрел уже статус «нормального классика», отделенного от быстротекущей жизни некой непреодолимой чертой; Солженицын — религиозный и политический публицист — дело иное. Однако и здесь критики наши сделали все, чтобы выставить его перед публикой в превратном свете — именно потому, что он решается инкарнировать современному бытию смысл, а этого не прощают. Встретят его в России, вопреки Войновичу, скорее улюлюканием, чем рукоплесканиями; он услышит «смех толпы холодный» и, боюсь, величие его предстоящего возвращения будет скорее трагическим. Но и *любой* другой писатель, который рискнет «вызвать огонь на себя», придав слову своему некие сверх-эстетические, нравственно-ответственные обертоны, будет встречен в штыки. Не читателями — критикой. Потому что если кто и переживает сейчас период «стагнации и застоя», «пустозвонства и чванства», так это мой любимый жанр, литературная критика.

¹ Естественно, имеется и «вариант Синявского» — чисто игровое творчество, литературный фейерверк, существующий на фоне и в контексте (чтобы не сказать — в вышедшей из повиновения тени!) «морализаторской» традиции, в постоянном равновесии диалоге с нею. Так что парадигма Синявский/Солженицын не столь проста, как кажется.

Ж.Н. Потрясающий для западного человека факт — гипертрофия критики в панораме русской беллетристики. Она заняла во время перестройки действительно нужное место, но из лягушки сделала слона... или из мухи?

А.А. Чисто французская оговорка: лягушки вам ближе.

Ж.Н. И теперь она рассуждает обо всем подряд. Вы говорите, литература освобождена от «суррогатных функций». А критика? Разве она не подменяет у вас политологию, социологию и проч.? Это конечно, временно, это пройдет, — понадобятся более серьезные специалисты, в роли которых пытаются ныне выступать критики.

А.А. И вообще гуманитарии. Даже такой известный (и прекрасный!) историк итальянского гуманизма, как Леонид Михайлович Баткин, берется писать о чем угодно (хоть о Сергее Станкевиче — предмет, казалось бы, совсем неаппетитный!), давать какие угодно советы правительству, парламенту и рабочему движению. Когда он только-только начинал писать свои — неизменно яркие! — публицистические статьи («Иного не дано», «Московские новости»...) все было замечательно и вызывало живейший отклик. Сейчас у меня его бесконечные наставительные выступления (характерна неудержимая склонность к морализаторству именно у тех, кто обвиняет Солженицына в нравоучительности!) вызывает живейшее раздражение. Но самое печальное, что разговорчивый публицист Л.М.Баткин наложил обет молчания на Л.М.Баткина — непревзойденного специалиста по возрожденческой Италии.

Да и кто из критиков все эти годы писал о *литературе*? Мы отвыкли делать то, на что поставлены: читать и обсуждать прочитанное. За последнее время вышло несколько высококлассных сочинений. О последней повести Каледина могут быть разные суждения (мне она кажется несовершенной), но это литературное событие. Кто о нем написал? Кто проанализировал этот *текст*? Кто помог писателю разобраться в самом себе, а читателю разобраться в поэтике повести? Кто всерьез, кроме вездесущего и работающего на выдохе (как бы не сорваться!), А.Немзера, подробно сказал о мощном дебюте М.Палей? Три повестями на протяжении двух лет «выстрелил» никому дотопе не известный Илья Митрофанов — в «Знамени» (№ 1, 1991. №№ 3,4, 1992.) и «Октябре» (№ 3, 1992).

С.М. «Бондарь Грек»? Любопытнейшая вещь; само направление мне не по душе; но повесть крайне интересная.

А.А. Ряд коротких повестей напечатал в «Дружбе народов» Андрей Дмитриев (№№ 1 и 12; 1991. № 7, 1992) — удивительно просто и тонко написано, такой нежной вязью с трагической интонацией; за «рядовыми» судьбами угадываются глобальные катаклизмы — ни слова о нем, молчание! Печатает свои блестящие стихи Тимур Кибиров. Печатает и печатает — где разборы?!

Зато критика активно включается в рекламную деятельность. Все, что модно, подлежит отклику — независимо от того, близко ли это критику по взглядам, по вкусам, позиции (вообще «настоящим критиком» считается сейчас тот, у кого нет своей эстетической позиции — разве что политическая, — но есть чутье). И возникает некий существенный парадокс: в нынешней российской ситуации эстетство с его насквозь рекламным имиджем оказывается явлением массовой культуры. И напротив, участие в жанрах массовой культуры (в том числе журналистике, что бы о ней ни говорил С.Чупринин) дает возможность непосредственного контакта с сотнями и тысячами людей. Ту возможность, которой русская словесность всегда дорожила и от которой грех ей отказываться. Критика же, не желающая разбираться в культурной *реальности*, но развращенная правом безответственно рассуждать обо всем и ни о чем, действительно близка сейчас к гибели.

Ж.Н. При этом она очень любит потолковать о «гибели богов».

А.А. Но кто «богов» сделал «богами»? Не мы ли? И не пытаемся ли теперь отвести внимание публики от факта своей «клинической смерти», указывая на чужую, несуществующую: на смерть литературы?

М. КУРАЕВ

КТО ВОЙДЕТ В ДОМ ЧЕХОВА?

198

Зачем писать о Чехове, и уж тем более читать, в то время, когда ювелирная фирма «Жемчуга России» готовит ордена, украшенные драгоценными и полудрагоценными камнями — бриллиантами, сапфирами, рубинами? Восьмиконечная лучистая звезда с двуглавым византийским орлом и жезлом героя древнеримской мифологии Меркурия украсит грудь российского победителя конкурса предпринимателей. К радости соотечественников газеты сообщают о приобретении Оргкомитетом двух килограммов золота для изготовления орденов.

В срочном порядке чеканят медали с «равносторонним крестом святого Георгия» для награждения защитников «Свободной России». Почему символом православной веры собираются награждать лиц иных вероисповеданий, коим вера запрещает носить «крест», а также убежденных атеистов, доблестно защищавших «Свободную Россию», не было нужды подумывать, а может быть, как всегда, не хватило времени.

Впрочем, уже сейчас у «святого Георгия» появился сильный соперник, готовый, надо думать, поделить сферы влияния: одному — власть и покровительство небесное, мифологическое, другому — земное, материальное. Газета циклопическими буквами печатает «Указ» о том, что «система Алисы» учреждает новую (кто слышал о старых, отзовитесь!) награду — «Крест Георгиевского» трех степеней.

Чтобы не было путаницы со старинными «георгиевскими» наградами, разъясняется, что «крест назван в честь Николая Георгиевского», человека почитаемого в независимой «системе Алиса». В описании «высокой награды» (до сих пор ни одна награда сама себя не аттестовала из уважения к прочим наградам) сказано, что «Крест Георгиевского представляет из себя крест (!) с изображением солнца посередине — символа власти». Разъяснение

существенное, потому что многие соотечественники могут увидеть в солнце тот же знак, что и на «рисунке мальчишки». А для таких людей, как Василий Андреевич Жуковский, солнцем был Пушкин. Для такого нашего земляка, как Александр Александрович Блок, солнцем был Лев Толстой.

Власть учредителей новой награды внушительна: Кавалеры Крестов Георгиевского получают пожизненное материальное обеспечение вместе с семьями (до какого колена, из «Указа» не видно), им гарантируется «системой» охрана личной жизни и «защита их чести, прав и достоинства любыми необходимыми средствами». Кавалер может пожелать и тогда — «в момент присвоения награды» (так в «Указе» и записано), «в столице государства, где он проживает, производится артиллерийский салют и праздничный фейерверк». Раньше такое можно было встретить только в студенческих капустниках и в домашних заготовках остряков из КВН, а нынче — погляди в окно, то бишь в газету... «Указ» если принят к исполнению в столицах всех государств мира, это может служить феерическим подтверждением марковского тезиса об интернациональной власти капитала.

В орденой символике дело выглядит примерно так: «солнце» — власть, дарующая жизнь, «лев» — власть, жизнь у недостойных отнимающая. Недаром «зверь» — знак Антихриста. Мы понимаем, что «система», тяготеющая к высокой символике, не зря выбрала своей эмблемой кавказскую овчарку, славящуюся добродушным видом и звериным нравом, недаром псу дано и лукавое имя «Алиса».

В коротеньком «Указе», напечатанном аршинными буквами, трижды упомянуто слово «честь», очень жаль, что это фундаментальное в человеческом общении понятие никак не прокомментировано. Я, например, знаю несколько человек, кото-

рые делание денег «из воздуха», тайную перепродажу несуществующего товара, ножку, подставленную конкуренту, игру на дефиците, голоде, незнании своих прав и неумении их защитить, умении обойти закон и еще множество верных приемов, служащих процветанию частного бизнеса, считают бесчестными. Я боюсь за их судьбу, ведь стоит теперь об этом заикнуться и они тут же попадут под «Указ» независимой (от кого — тоже узнаем) системы, под статью о защите чести «любими необходимыми средствами».

И что это за неизбывная, по крови передающаяся любовь к чудодейственным «любимым средствам»!, верой и правдой служившим защитой чести партии, вождей и всеми уважаемых ответственных и заслуженных товарищей.

Что же нового в учрежденной высокой награде?

Да пожалуй, только вот это, про «столицы государств» да суровое обещание «любых средств» для внушения уважения и почтения к Кавалерам. Чтобы у скептически настроенных граждан не было надежды спрятаться за какие-то свои представления о чести, кодексы, Конституции, руководитель системы «Алиса» объявил на пресс-конференции о своем полном суверенитете от нынешней власти, объявил себя государством с названием, заимствованным у собаки хозяина фирмы (с м. «Литературную газету» от 6 мая 1992, № 19).

Только не думайте, что это всего лишь эксцентрическая эскапада в экстерриториальном раю частного капитала.

Отсутствие реальной власти, предписывающей и ограждающей моральные принципы гражданского жизнеустройства, открывают широчайшее поле для подобного рода творчества.

Еще не успев накормить нищающий на глазах народ, не одев, не согрев, не только не остановив, но и ускорив сползание огромного числа граждан в нищету, за черту бедности, они уже думают, как о неотложном, о бриллиантовых знаках отличий, о крестах, «целиком изготовленных из тяжелого золота», о титулах, салятах и всяческой феодально-аристократическо-партийной всячине. Будто и не смеялись только что над наградоманией склеротического вождя.

Но здесь речь не о старческом мажораме, а о принципах утверждения новой власти, в сущности-то, не очень новой, власти денег.

Значит, снова подозрительным и не

«нашим» окажется Герцен, утверждавший, что «мещанство — окончательная форма западной цивилизации». Снова будет изгнан из обращения Д.С.Мережковский с его оскорбительным для чести предпринимчивых людей утверждением: «Прежде бывали в истории изверги, Тамерланы, Атиллы, Борджиа. Теперь уже не изверги, а люди как люди. Вместо скипетра — аршин, вместо Библии — счетная книга, вместо алтаря — прилавок. Какая самодовольная пошлость и плоскость в выражении лиц! Смотришь и «дивисься удивлением великим», как сказано в Апокалипсисе: откуда взялись эти коронованные лакеи Смердяковы, эти торжествующие Хамы?»

Достанется и Достоевскому Федору Михайловичу, имевшему неосторожность утверждать, что деньги обладают способностью выводить «на первое место даже ничтожество», моральное, в первую очередь, ничтожество, «бесталанное и срединное», с улыбкой поглядывающее на Галилеев, Коперников, Пушкиных и Шекспиров.

Идеологи новой власти, власти денег, шьют новое платье своим королям.

Нам описывают аршинников и протобестий, убежденных в том, что «торговать по-божески» просто невозможно и потому, торгуя «не по-божески» (стало быть, безбожно!), они потом, для поддержания мировой гармонии, ставят пудовые свечи и заказывают молебствия, естественно, если с божьей помощью оказываются в барыше. Думаете, про свечи, морально уравнивающие безбожную деятельность, это насмешка? натяжка? — ничего подобного! Цитирую «Литературную газету», статью: «Почему Лопухин купил вишневый сад?»: «Едва ли здесь лицемерие, скорее — ощущение, что есть две разные правды — «правда земли» и «правда неба» и что никак невозможно их свести».

Какое простодушное и знаменательное признание!

Спасибо Лопухину, Чехову Антону Павловичу отдельное спасибо, за то, что процитировали это признание.

Наша система рухнула на наших глазах только потому, что не удалось две правды, «правду партийную» и «правду человеческую», «правду классовую» и «правду внеклассовую» свести вместе. Изворачивались, извертели, исподличались, в крови искупались, и все не в прок.

Снова проповедь и утверждение двойной морали. Мораль для лабаза, кооператива,

лавочки, СП или МП, и вторая мораль — праздничная, со свечками в храме, с раздачей милостыни неимущим и незащищенным слоям (!) населения, презентации, аккредитации, коронации.

Для убедительности перед нашими разбитыми в кровь этой жизнью ногами размахивают кадилом. Цитирую все ту же статью, зачем-то пытающуюся жиденькой кооперативной моралью оправдать (!) Лопехина: «Только религия может сегодня выпрямить коллективную душу, в продолжение многих десятилетий пригнутую к вопросам производства-потребления. Только живое предчувствие Истины и Справедливости, ожидающих нас в ином мире (Мерси! Большое русское спасибо! — М.К.), сделает «хозяйственный плен» осмысленным не только с точки зрения потребностей желудка».

Ну, а для тех, кто хочет Истины и Справедливости не в ином мире, а в «хозяйственном», есть, как нам прямо было обещано, «любые необходимые средства». Трудно было предположить, что Чехов, Антон Павлович (1860 года рождения, место рождения Таганрог, вероисповедание православное) попадет под мобилизацию авторитетов, призванных оправдать и объяснить возможность мирного сосуществования двойной морали. Я убежден в том, что ряды защитников двойной морали должны быть прочными, монолитными, надежными, и потому вынужден свидетельствовать, что при многих положительных и привлекающих, на первый взгляд, качествах — русский, беспартийный, под судом и следствием не состоял, от дворянского звания деликатно отказался — Чехов, Антон Павлович, позволил себе поступки и высказывания, несовместимые со званием защитника двойной морали. Кроме известных заявлений о готовности противостоять лжи и насилию, в какой бы форме они ни выступали, А.П.Чехов замечен в неодобрительных высказываниях в адрес передовой буржуазной морали. Там в частности, в шестом томе Полного собрания, на странице пятьдесят четвертой им допущено следующее заявление: «Буржуазия очень любит так называемые «положительные» типы и романы с благополучными концами (Истина и Справедливость на том свете это и есть благополучный всеобщий конец.— М.К.), так как они успокаивают ее на мысли, что можно и капитал наживать и невинность соблюдать, быть зверем и в то же время счастливым...»

Подобные высказывания, а также последовательное утверждение единой, так

называемой человеческой морали, единой и для генералов, и для купцов, мужиков, помещиков, извозчиков, чиновников, архиереев, ученых, студентов, судей, подсудимых и прочей публики, не заметить при мобилизации Чехова А.П. в ряды защитников двойной морали просто невозможно.

В связи с повышенным интересом в последнее время к одной из «самых загадочных» пьес А.П.Чехова «Вишневый сад», в связи с повышенным интересом к предпринимательскому сословию, нарождающемуся и возрождающемуся в нашей стране, в связи с возможностью общаться с классиками отечественной литературы, с духовными вождями нации без посредников, позволю себе поделиться некоторыми наблюдениями за судьбой и «загадочной пьесы», и ее главного героя.

Актуальность наблюдений гарантируется.

Сегодня, в условиях идеологического вакуума, идеологического безвременья, в действительности ежедневно и еженощно продолжается никогда не прекращающийся процесс самопознания нации. И в спорах о Пушкине, в спорах о Чехове, Достоевском, как всегда, больше забот о жизнеустройстве, сообразно своему идеалу, нежели сугубо литературной полемики.

В условиях нашего экономического и политического банкротства неразменным капиталом, и это, прямо скажем, общее место, остаются духовные богатства нации. Станут ли эти богатства нашим активом, войдут ли в нашу кровь или останутся памятниками былого величия, как тени Софокла и Еврипида на развалинах Акрополя, зависит от нас с вами, от понимания того, чем мы обладаем, от ответственности перед этим капиталом.

Именно это чувство ответственности заставляет не спеша и по возможности внимательно перечитывать пьесу «Вишневый сад» и возвращаться на «Белую дачу», или, как нынче бы сказали, в «Белый дом» Антона Павловича Чехова в городе Ялте на улице Кирова.

Ялтинский дом Чехова имеет семь входных дверей.

В доме, как и предполагалось, жил и хозяин, и родня, и гости; благодаря обилию входов и выходов можно было не обременять друг друга своим присутствием, ходить каждому своей дорогой и общаться по желанию, а не по коммунальной необходимости.

И в сочинения Чехова ведет чаще всего не один вход. В «Вишневый сад», например, есть вход из «Пьесы без названия», из «Лешего», из «Дяди Вани», из рассказов «У знакомых», «Новая дача»...

В доме Чехова много дверей, можно прямо с улицы войти на второй этаж, можно начать и с первого. В дом можно войти, а можно и проникнуть.

В художественный мир Чехова принято проникать, ну, а проникать лучше всего с отмычкой, во все двери с одним ключом, через «подтекст», например.

Или вот, сказано в «Дуэли» и даже повторено четыре раза: «Никто не знает настоящей правды», — вот тебе и отмычка. Можно еще пару реплик из финала «Огней» для прочности подвязать, и пусть автор предъявит все сорок томов писем и сочинений для доказательства плодотворности поиска настоящей правды, правды о человеке, достойном жизни вне лжи и насилия, все равно не убудет желающих повторять: «Никто не знает настоящей правды». А.П.Чехов».

Даже реплика Хрущева в «Лешем», повторенная Астровым в «Дяде Ване», о том, что «в человеке должно быть все прекрасно», в качестве волшебной отмычки применяется для проникновения в смысл рваных башмаков на ногах отправившегося на рыбалку Тригорина. «Нина Заречная не заметила или не придавала значения внешнему виду писателя и заплатила страданиями и разочарованиями за свою ошибку». И не имеет никакого значения, что сама-то Н.Заречная не хочет признать свои чувства ошибочными, говорит в последнем акте Треплеву о том, что любит Тригорина еще больше, чем прежде. А вот мы, впитав в себя чеховский завет о единстве лица, души, мыслей, одежды и обуви, никогда бы не соблазнились человеком в вульгарных клетчатых брюках и рваных башмаках, с головой выдающих его далеко не прекрасную душу.

Вот он — загадочный Чехов!

Шесть лет ищет К.С.Станиславский разгадку чеховской «шарады»: почему Астров свистит в сцене отъезда милой его сердцу Елены Андреевны, и через шесть лет, по собственному признанию, находит: «Он мужественно переносит жизнь!» А в течение всего этого срока на репетициях и спектаклях артист несчетное количество раз повторял от имени Астрова: «И все вы, братцы, представляетесь мне такими букашками... микробами...» «Я для себя уже ничего не жду, не люблю людей...

Давно уже никого не люблю». «Я никого не люблю и... уже не полюблю. Что меня еще захватывает, так это красота. Неравнодушен я к ней. Мне кажется, что если бы вот Елена Андреевна захотела, то могла бы вскружить мне голову в один день... Но ведь это не любовь, не привязанность...» Какая уж тут шарада. Это насвистывание в присутствии других всегда выглядит знаком необщения, отдельности, даже с оттенком пренебрежения, неуважения. Раз свистит — стало быть, не уважает, не любит. Навряд ли Ольга Леонардовна Книппер, исполнительница роли Елены Андреевны и будущая жена автора пьесы, утаила от исполнителя роли Астрова разъяснение, полученное в письме от Чехова: «...и говорит с ней в этой сцене таким же тоном, как о жаре в Африке, и целует ее просто так, от нечего делать...»

Константин Сергеевич Станиславский вспоминал позднее, что никогда не чувствовал себя с Чеховым свободно и всегда старался казаться умней самого себя.

Чехова читают. В дом Чехова идут. Проникают.

Дом не рассчитан был на досужее многолюдство, да и конструктивное решение молодого архитектора, еще не ставшего знаменитым, Шаповалова оказалось не очень удачным. Даже после глубокой реставрации, проводившейся сравнительно недавно и с учетом, разумеется, экскурсионного потока, дом все-таки оседает. Все с большим трудом открываются окна, с трудом открываются двери.

Толпа давит.

Редкая группа посетителей не включает одного-двух гениев, откровенно тут же признающихся, что в таком доме, да еще в таком кабинете, да еще в Ялте, да летом и они могли бы написать кой-чего хорошего.

Первым коллективом, испытывавшим дом Чехова на прочность, надо признать МХТ. Кстати, если говорить о коллективном проникновении в мир Чехова, то здесь тоже приоритет будет принадлежать безусловно МХТ.

Почему-то вспомнилась реплика Чехова об актерах МХТ, адресованная Суворину в письме 1902 года: «Талантами не блещут, но старательные».

Старательные актеры скорее всего даже не догадывались, как сдержанно их оценивает обожаемый автор, и чувствовали себя, как дома, на его ялтинской даче. И не только на даче.

На следующий день после премьеры



«Вишневого сада» в Москве критик Ашкенази в газете «Новости дня» написал провидческие слова: «У «Вишневого сада» два автора: Чехов и Художественный театр. Сотрудники на равных правах. Раневскую создал Чехов и Книппер. Гаева больше Станиславский, чем Чехов. Епиходова — Москвин, по намекам Чехова».

А вот свидетельство и самих соавторов. Станиславский признавался в том, что, приступая к постановке «Чайки», еще не понимал пьесы и только в процессе работы «вжился и бессознательно полюбил ее». «Таково свойство чеховских пьес,— убежденно сообщает Константин Сергеевич.— Поддавшись обаянию, хочется вдыхать их аромат». Владимир Иванович Немирович-Данченко тоже признавался в том, что пребывал в пору работы над чеховскими пьесами в плену «искусства Малого театра» и не мог оценить ни героев, ни архитекторники, предложенных автором. И только много лет спустя им будет осмыслено вдохновенное соединение «простой, живой, будничной правды с глубоким лиризмом». Замечания и советы, которых так жадно ждали артисты по ходу работы, «никогда не понимались сразу» (К.С.Станиславский).

Следует ли в этом случае удивляться, что в перечне существенных достижений соавторства, перечисленных в рецензии на премьеру, отсутствует Лопахин, центральная, если верить автору, роль в пьесе, главное действующее лицо.

Не везет Лопахину: то его забыли взять на вокзал, хотя он собирался встретить дорогую Любовь Андреевну, то его не слушают, когда он говорит о переполняющей его любви и благодарности, то ему не верят, когда он предлагает серьезно взглянуть на реальные жизненные обстоятельства, то подозревают и даже бьют палкой. Не верят и автору, не верят, что Лопахин — роль центральная, не верят, что написана она для Константина Сергеевича Станиславского.

Смею высказать убеждение в том, что в случае выполнения настоящего авторского желания, в случае, если бы роль Лопахина была сыграна Станиславским, мы бы имели другую пьесу «Вишневый сад» и «Вишневый сад» имел бы иную сценическую судьбу.

Традиция трепетной глухоты в отношении с Чеховым, влюбленного непонимания, укоренилась и жива по сей день. «Во втором акте кладбища нет»,— уверяет Чехов, но, по-своему трактуя аромат, излучаемый пьесой, зрителю недавно преподнесли спе-

такль, разыгранный прямо-таки на кладбище.

Среди множества парадоксов любви давно замечено, что восторг и обожание могут не только возвышать, но и понять объект любви.

Сам же К.С.Станиславский рассказывал о том, как на него в Севастополе набросились восхищенные его игрой гимназисты и попытались пронести до гостиницы на руках. Поднять Константина Сергеевича у них не достало сил и ловкости, но задрали одну ногу и повлекли вперед. Лил дождь, зонтик был тут же потерян. Рядом металась, не зная, как помочь мужу и ожидая худшего, актриса Лилина.

«К счастью, они скоро обессилели и выпустили меня, так что до подъезда гостиницы я дошел уже на обеих ногах».

У входа в гостиницу энтузиазм вспыхнул с новой силой, в результате чего кумир оказался уложенным на грязные ступени.

«Вышел швейцар, стал меня обтирать, а запыхавшиеся гимназисты долго еще горячились и обсуждали, почему так случилось».

Чехову тоже довелось «прыгать на одной ноге» в пору постановки «Чайки» в МХТ. Его протест против исполнения роли Заречной актрисой Роксановой удивляет своей твердостью и беспрецедентной непреклонностью. «Не принимал никаких извинений и грозил запретить дальнейшую постановку пьесы» (К.С.Станиславский).

Почему же, решительно не соглашаясь с прочтением, вернее, неп прочтением «Вишневого сада» в МХТе, Чехов не был категоричен, не протестовал, хотя и не скрывал своих огорчений, увидев на сцене совсем не то, что он писал?

«Прочтя пьесу,— вспоминал Константин Сергеевич,— я сразу все понял и написал свои восторги Чехову».

«Со Станиславским,— жаловался Чехов художнику Коровину,— разговаривать трудно, ибо он если вобьет себе в голову, его трудно убедить в другом».

Станиславский был искренне убежден в том, что Чехов в «Вишневом саду» старается «обласкать прежнюю красивую, но теперь ненужную жизнь, которую со слезами разрушал в своей пьесе».

Не авторитету ли МХТа мы обязаны тем, что, прощаясь с Чеховым в 1904 году, по всей России на разные голоса повторялось одно и то же: «...но его уже не будет, и некому будет так жалеть нас и нашу серую жизнь и некому будет так грустить над нами тихой жалобной грустью...» («До-

нская жизнь», Новочеркасск). А может быть, МХТ просто выразил обиходное мнение?

В любом случае надо признать справедливость указания на соавторство Художественного театра в создании «Вишневого сада» и еще в большей степени в создании определенного канона в прочтении этой пьесы.

Именно традиция постановки «Вишневого сада», канон МХТ выводит Лопахина на периферию спектакля. Сочувствие к Лопахину, если оно и возникает, вызванное талантливыми, яркими актерами, бравши-мися за эту, как принято считать, неблагодарную роль, то это сочувствие ситуационное, минутное. И почему это, кстати говоря, вообще надо сочувствовать купчине, размахивающему руками, уничтожающему сад, «прекраснее которого нет на свете»?

Ответ на этот вопрос, быть может, даст возможность увидеть содержание пьесы с большей полнотой.

Комедийная коллизия для лиц, втянутых в нее, субъективно может представляться вполне драматической. Сочувственное отношение к драматизму положения вполне комедийных фигур, Гаева и Раневской, и лежит в основе мхатовского прочтения «Вишневого сада». Но почему же тогда Лопахину отказано в понимании драматизма его положения, без чего невозможно проникнуться доверием и сочувствием к герою?

Драматизм положения Лопахина заключается в том, что прежняя, прожитая жизнь, та самая, уходящая, — породила Лопахина, но не признала его своим, не захотела, не смогла. Вот где оказалась порванной «связь времен».

Жизнь людского, человеческого сообщества, непрерывность человеческого существования, незыблемые законы морали, способность к сочувствию как основа человеческого единства — именно здесь лежит «общая идея», пронизывающая творчество Чехова.

Раневская, никто другой, духовная мать Лопахина, ее светом, ее теплом возвращена нежная душа мужичка, он сам возвращен этим домом, этим садом, этими людьми: сын полудикого деревенского лавочника становится джентльменом в самом прямом, изначальном, этимологическом понимании этого звания — мягкий человек. Да, он джентльмен, то есть человек, которому не приходится прибегать к грубости, насилию, произволу для достижения своих целей. А у Лопахина и цель-то была

как бы «не своя» — помочь Раневской сохранить усадьбу и сад. Когда же разнообразно и многократно Лопахину было указано на его место, когда его благородство и бескорыстие были попросту не замечены, когда возвращенное в этом доме чувство собственного достоинства было в этом же доме, как бы походя, унижено, когда ему напомнили не прямо, но вполне определенно, чей он сын, чей внук и где его место, в нем вспыхнул мстительный огонь, вспыхнул всего лишь на какое-то мгновение и тут же был погашен слезами мягкого человека, способного чувствовать чужую боль так же, как свою.

Как пронзительно звучат слова Чехова, уставшего призывать Станиславского сыграть главную роль в пьесе, исчерпавшего все аргументы и вынужденного пойти на компромисс: «Если возьмете Гаева, то Лопахина отдайте Вишневному. Это будет не художественный Лопахин, но зато не мелкий».

Лопахин — личность, личность с развитым самосознанием, и Чехов готов поступиться художественностью для утверждения масштаба этой личности.

Задачу художника Чехов видел в том, чтобы помочь нам, читателям, разглядеть в жизни то, чего раньше не замечали: ее отклонение от нормы, ее противоречие, и в этом отличие писателя от учителя, проповедника и пропагандиста.

Лопахин и есть живое противоречие жизни, отклонение от нормы, открытие художника, новое в жизни, то, чего раньше не видели, а если и видели, то не понимали.

Легко представить, что в случае исполнения роли Лопахина К.С. Станиславским эмоциональный и смысловой центр пьесы «Вишневый сад» естественно оказался бы именно там, где ему надлежало быть по авторскому замыслу.

Не нужно обладать безудержной фантазией, чтобы представить себе вместе с автором, как Станиславский, артист огромного таланта, необыкновенного обаяния, великолепной мужской стати, да еще в белом жилете, станет говорить о себе: «Со свинным рылом в калашный ряд...» — и не услышит возражения. А как неожиданно и произвольно могли прозвучать именно в устах Станиславского вот эти слова Лопахина, обращенные к Любове Андреевне: «Ваш брат, вот, Леонид Андреевич, говорит про меня, что я хам, я кулак, но это мне решительно все равно. Пускай говорит. Хотелось бы только, чтобы вы мне



верили по-прежнему, чтобы ваши удивительные, трогательные глаза глядели на меня, как прежде».

«Да куда ж она смотрит, Любовь-то Андреевна! — воскликнул бы про себя зритель на премьере. — Да слепая она, что ли? Какая Варя? Какой там еще «мучитель!..»

И «мучитель» был бы смешон, и сватовство Вари тем более.

Невозможно отказать себе в удовольствии представить, как замечательный, великолепный, роскошный артист мог бы произнести написанные для его роста, голоса и обаяния слова: «Эй, музыканты, играйте, я желаю вас слушать! Приходите все смотреть, как Ермолай Лопахин хватит топором по вишневому саду, как упадут на землю деревья!..» Тогда понятно будет, откуда же через мгновение чуть не слезы и укор: «Отчего же, отчего вы меня не послушали? Бедная моя, хорошая, не вернешь теперь». И скажет слова, которые едва ли не каждый из нас произносит сегодня вслух или про себя: «О, скорее бы все это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь».

И это в минуту торжества, триумфа!

Не только белая жилетка, интеллигентная речь, тонкая душа, но даже размахивание руками — всем он обязан этому дому, этому саду, более чем родной Любви Андреевне. Помните ее восторг в связи с возвращением в родной дом: «Неужели это я сижу? (Смеется.) Мне хочется прыгать, размахивать руками».

Да, Лопахин порождение всей прежней жизни, для него, во всяком случае, несладкой, и вот, вступая на новое поприще, становясь «новым помещиком», неся в себе эту новую жизнь, он уже сознает и чувствует ее нескладность и несчастливость.

Если бы на пороге новых исторических затей водители человечества были в состоянии предусмотреть, предвидеть возможную нескладность и несчастливость, вытекающую из их ослепляющих замыслов, — это одно уже было бы неоценимым шагом вперед в нравственном развитии человечества.

Проповедники и проводники «светлого будущего» на этом свете и «царствия небесного» на том, к сожалению, требуют во имя этой благодати от современников главным образом неисчислимых жертв. И то, что Лопахина, проводника, носителя, устроителя «новой жизни» никак нельзя отнести к «счастливому зверью», застав-

ляет быть особенно внимательным к этому герою.

Лопахин не сочинен, не выдуман, не сконструирован, он и увиден в жизни, и во многом угадан и чрезвычайно глубоко осмыслен.

А.П.Чехов писал своей будущей жене о том, что видит в Станиславском больше «молодого богатого купца», которому захотелось побаловаться искусством, нежели художника. Не будем забывать, что Чехов был свидетелем зарождения, первых шагов Художественного театра. Думаю, что купец Алексеев, молодой и богатый, с тонкими пальцами и нежной душой непременно состоит в родстве с тем Лопахиным, каким его представлял себе Чехов.

У образа Лопахина глубокая корневая система.

Как же не расслышать в его речах интонации Михаила Львовича Астрова, одного из самых привлекательных чеховских героев? Лопахин: «Мне сейчас, в пятом часу утра, в Харьков ехать. Такая досада! Хотелось поглядеть на вас, поговорить... Вы все такая же великолепная». Он так же как Астров может заражаться праздностью. «Я все болтался с вами, замучился без дела. Не могу без работы, не знаю, что вот делать с руками; болтаются как-то странно, точно чужие». И так же, как Астров, видит в работе и смысл, и удовлетворение. «Когда я работаю подолгу, без усталости, тогда мысли полегче, и кажется, будто мне тоже известно, для чего я существую. А сколько, брат, в России людей, которые существуют неизвестно для чего».

И слова Пети Трофимова о душе Лопахина прозвучат, как эхо слов Орловского из «Лешего»: «Человек ты добрый, прекрасная у тебя душа, но уж очень длинно говоришь и руками махаешь...»

Переключки и «рифмы» можно продолжить.

Чехов не боится «повторяться», его генеральша из «Пьесы без названия», Аркадина, Елена Андреевна Серебрякова, Любовь Андреевна Раневская больше сестры, чем Маша, Ольга и Ирина. Характеры разные, но тип жизни — один.

Астров, Войницкий, Вершинин, Лопахин — это тоже своего рода братство людей, принимающих жизнь такой, какая она есть, с ее добром и злом, и стремящиеся при этом жить достойно.

Душа Лопахина — интереснейшее и в высшей степени национальное образование, характерное явление в нравственной истории отечества.

Не случайно же, конечно, что в таких важнейших политических движениях XIX века, как декабристское, народническое, марксистское, отсутствовал сословный эгоизм как движущая сила.

В Лопахине, как мне кажется, Чехов мог видеть преемника именно этой традиции, носителя именно этого качества национального духа.

Лопахин наделен автором самым редким и, быть может, самым ценным талантом — человеческим. «Есть таланты писательские, сценические, художнические,— рассуждает о своем друге студент-химик в рассказе «Припадок»,— у него же особый талант — *«человеческий»*. Он обладает тонким, великолепным чутьем к боли вообще». Речь идет о вещах настолько важных, что Чехов прибегает к редкому в его практике средству — выделяет слово *«человеческий»* курсивом.

Человеческий талант может быть обнаружен и проявлен лишь в настоящем времени, обращенный в прошлое и будущее, он мало чего стоит. Добрейшая Любовь Андреевна и милый фразер Гаев хотели бы остановить время. Петя и Аня, отрываясь от земли, на своем «воздушном шарике» собираются воспарить к «яркой звезде», и потому они совершенно свободны от необходимости совершать добрые поступки, все в прошлом или все в будущем. Один Лопахин живет в реальном историческом времени.

«Вишневый сад» — пьеса о рвущемся времени.

Вся игра в четвертом акте вокруг Фирса, все разговоры — отвезли Фирса в больницу или нет,— это и есть материализованные отношения с прошлым. Легкомысленная Аня, доверчивая Варя, рассеянная Раневская, ленивый и злобный Яша, незадачливый Епиходов... В результате Лопахин принимает в наследство с домом законченного Фирса. Великолепный знак, превосходный образ! Но прежде, чем закроется занавес, Фирс свяжет прерванную нить: передав звание и титул «недотепа» новому хозяину.

И если бы на смену одному недотепа, «Вишневый сад» не был бы комедией, и если бы в жизни на смену одним недотепами к штурвалу жизни не бросались другие недотепа, жизнь не казалась бы таким злым фарсом.

Чехов не только писал, но и написал комедию, веря в то, что одна хорошая

насмешка сделала бы гораздо больше, чем десяток проповедей. Оптимизм, как мне кажется, его прощания с прошлым не только в признании того, что «прошлое было просто гадко», но и в признании порожденного этим прошлым Лопахина; купца с тонкими пальцами и нежной душой. Впрочем, не грех напомнить новому хозяину, что недотепа может оказаться не только барин, проевший на леденцах состояние.

Автор пьесы «Вишневый сад» Антон Павлович Чехов, драматург опытный, то есть уже не раз обжегшийся на молоке, испытывавший, что значит быть прочитанным не вдоль, а поперек, позаботился о том, чтобы пьеса не попала в разряд загадочных.

Но разве не загадка в самом жанре — комедия? Что смешного в «Вишневом саде»? Епиходов, роняющий букет? Варя, бьющая палкой Лопахина? Шарлотта?

Да сам вишневый сад, в первую очередь.

«Вишневый сад» — это одновременно комедия и характеров, и положений, если адресоваться к старинной классификации. И комедией положений пьесу делает именно сад.

Преувеличение — закон комедии, ее правило, ее норма и отличительный признак.

Вы обратили внимание на «тысячу десятин» у Чехова?

Боркин в «Иванове» еще советовал: «Рациональное хозяйство... Тысяча десятин земли — и ни гроша в кармане... Винный погреб есть, а штопора нет». Лаевский, кажется, мечтает посадить именно тысячу десятин кукурузы. А Лопахин-таки посадил тысячу десятин мака и положил в карман чистыми сорок тысяч.

Вишневый сад тоже занимает тысячу десятин!

Тысяча десятин — это пространство длиной в десять километров, а шириной в один километр!

Десятина равняется одному гектару, чуть больше. Угодья современного совхоза на юге России, занимающие тысячу гектаров, считаются внушительными.

Вишневый садик Раневской и Гаева, которым они непрестанно умиляются,— монстр. Это гипербола, это комическое преувеличение. Чтобы оно не казалось ужасной выдумкой, пришлось это необъятное чудовище занести в качестве уника в какой-то Словарь. Гаев и Раневская сидят не то что в винном погребе без штопора, на

мешках денег. Чтобы разориться, пойти по миру, располагая необъятной латифундией, нужно, как говорится, иметь столь же гиперболическое легкомыслие.

Ну что ж, сегодня, располагая территорией в одну шестую часть суши нашей планеты, мы умудрились-таки пойти по миру в самом прямом, а не переносном смысле. Трудно отвлечься от мысли о том, что сегодня мы все проедаем миллионы вовсе не ярославской, а американской «бабушки», которые придется с лихвой отдавать.

Только опасением автора быть непонятым можно объяснить такое количество повторяющихся фраз в «Вишневом саду», такое число повторяющихся сведений, или откровенное, с комической преувеличенностью, настаивание на цифре «два». Будто других цифр автор не знает. Как началось со второй реплики в пьесе: «Скоро два...» так и пошло — поезд опоздал на два часа, имение в двадцати верстах от города, торги на двадцать второе августа, Епиходов — двадцать два несчастья, дачники размножатся, разумеется, лет через двадцать. Дашенка выиграет по билету, естественно, двести тысяч и т.д.

Не иначе, как автор хотел обратить наше внимание на некоторую двойственность предложенной материи. И, в первую очередь, эта двойственность должна иметь отношение к главному действующему лицу — Лопихину. Действительно, этическая коллизия, в которой оказался Ермолай Алексеевич, в полной мере отражает новую этику, скажем так, буржуазную, основоположницей которой была та самая бабушка, которая всегда говорила *на д в о е*, про капитал и про невинность, про утверждение общечеловеческих ценностей и о реальности рыночных отношений.

Лопихин герой и не-герой одновременно. Герой, поскольку в нем заложена добротная нравственная основа, и не герой, поскольку живет во власти стихии, бессознательно, по сути так же, как и Гаев, и Раневская, и Петя, и Фирс. Он постоянно делает не то и не так, как собирался, как предполагал, как хотел. Нечаянно, неожиданно для себя стал владельцем вишневого сада, трижды в восторге кричит: «Вишневый сад теперь мой!» И именно в эту минуту осознает, что его мечта, неясная, но повелевавшая им, не сбудется никогда, отсюда и горькая ирония в словах вовсе не победителя: «Идет новый помещик, владелец вишневого сада!»

И не помещик, да и саду пришел конец. Его хлопоты о спасении сада, о том,

чтобы сад остался у прежних хозяев, преследуют высокую корысть, он хочет приобрести то, что нельзя получить за деньги. Он хочет стать своим в этой семье, которую любит, хочет признания. Хочет стать близким, родным человеком для Любви Андреевны.

Но материальное выражение человеческих отношений ограничено, неполноценно, оно частично по отношению к человеку.

То, что продается, может быть куплено. Но то, что не продается, не купишь ни за какие деньги. Мысль вроде бы и не новая, но актуальная до чрезвычайности.

Поражение Лопихина, Раневской — урок нам. пусть они не понимают, что за история с ними приключилась, понимает автор, быть может, поймем и мы.

Лопихину или мне бросила со сцены Раневская, а впрочем, сам Антон Павлович: «Вам бы не пьесы смотреть, а смотреть бы почаще на самих себя. Как серо живете, как много говорите ненужного».

Такая возможность предоставляется не только нам, но и участникам пьесы, они дwoятся, то есть, как и полагается в комедии, карикатурно отражены в других персонажах. Дуняша с ее тонкими чувствами — пародия на Раневскую, Яша — на Гаева, Шарлотта — отражение в кривом зеркале Вари, которая тоже ниоткуда и не знает, куда себя деть. Симеонов-Пищик — карикатурная копия усердного Лопихина. «Развитой» Епиходов, читающий Бокля, явный двойник Пети Трофимова.

Где же опора, где же твердь в этом двоящемся, зыбком мире?

В дом Чехова ведет не один, не два входа, нелепо и несправедливо было бы считать, что Художественный театр не нашел себя в доме Чехова, нашел и сумел выразить одну из глубинных мыслей автора, выразить, быть может, даже и неосознанно.

Создав обаятельные, трогательные, вызывающие живое сочувствие и сострадание образы Раневской, Гаева, Вари, Фирса, театр вместе с автором утверждает ценность каждой человеческой жизни, ее единственность, неповторимость, они делают нас, так же, как Лопихина, причастными к этой жизни. Способность обратить сердце в сторону беспутных и никчемных, но до зависти свободных, свободных и в грехе и в правде, и в бескорыстии, и в стихийном эгоизме, разумеется, пробуждает в зрителе возвышающие и облагораживающие чувства.

Пустой фразер Гаев, безвольная и порочная его сестрица, глуповатая, восторженная Аня — почему же возникает ощущение их превосходства, почему к сочувствию примешивается еще и зависть? Может быть, потому, что их связывает любовь, просто любовь, которую не могут разрушить ни пороки, ни житейская несостоятельность каждого из них.

Чехова легко читать, кажется, все его герои, если не знакомы между собой, то живут где-то неподалеку и одной, общей жизнью, и разве это не из «Вишневого сада»: «Мир погибает не от разбойников и не от воров, а от скрытой ненависти, от вражды между хорошими людьми, от всех этих мелких дрязг, которых не видят люди, называющие наш дом гнездом интеллигенции». Нет, пожалуй, не из «Вишневого сада», слишком драматично. Но мысль все о том же, об обращенности людей лицом друг к другу, и еще о доверии.

Трудно перечислить, как часто герои Чехова обращаются друг к другу с мольбой, просьбой, заклинанием о доверии.

«Верьте мне», — умоляет Гурова Анна Сергеевна. Он поверил. Началась новая жизнь. «Доверяйте нам», — пытается убедить Елена Ивановна привыкших к обману и обирательству мужиков («Новая дача»). Мужики не поверили. У господ не хватило терпения. Пришлось все бросить. Уехали. Что с ними случилось — не поняли. И Лопахин просит Любовь Андреевну верить ему. «Не надо смотреть так хитро... Надо всем верить, иначе жить нельзя», — убежденно говорит Елена Андреевна в «Лешем». Впрочем, и Гаев просит Аню верить ему. И сам Антон Павлович Чехов, приветствуя МХТ в связи с открытием сезона 1899 года, напоминает в телеграмме: «Верьте искренности моей дружбы».

...Придет время, Чехову поверят, и зритель увидит комедию «Вишневый сад», где в центральной роли, в роли Лопахина будет выступать гениальный артист масштаба Станиславского, отличающийся от Константина Сергеевича лишь тем, что не станет претендовать на соавторство с великим драматургом.

Ну что ж, театральный, сценический Лопахин ждал и еще обождал своего часа, не ждет Лопахин живой, нынешний, грядущий... Он нетерпелив, деятелен, тщеславен.

Прошел всего лишь год со дня объявления конкурса, организованного двенад-

цатью богатенькими учредителями «Ордена орла», как двадцать один победитель собрались почти что в Кремле, чтобы получить почти что от имени России первые награды как бы государственного значения, но учрежденные и отчеканенные как бы наградным кооперативом.

Российское телевидение приучало зрителей целый час к мысли, определяющей общественное сознание сегодняшнего Лопахина: «Государство — это мы, лопахины.»

Гремят фанфары, плещется шампанское, учредители и кавалеры «Ордена орла» довольны друг другом, все многозначительно, все символично. Мастер задушевного слова Лев Лещенко дарит новым хозяевам оставшуюся бесхозной песенку Тиля Уленшпигеля с Нарвской заставы «Крутится, вертится шар голубой...» Ну что ж, песенка легендарного Максима спета. Ясно.

«Деловой человек!» «Формула успеха!» «Совершенствовать российское законодательство в смысле наградной системы!» «Поддерживать связи с иностранными наградами и орденовыми организациями!» «Орден орла» — это «выявление опыта развития соревнования!»

«Музыка, играй отчетливо!»

«ЛОПАХИН. ... (С иронией.) Идет новый помещик, владелец вишневого сада!»

Это у Чехова.

У нас — без иронии, вот и вся разница.

«Божьей милостью Мы, Николай II, Нашему потомственному дворянину Попечителю Талежского сельского училища Серпуховского уезда Антону Чехову по засвидетельствованию Министерства Народного Просвещения об отличном усердии и особых трудах Ваших Всемилоостивейше пожаловали Мы Вас указом в 6-й день декабря 1899 года Капитулу данным кавалером Императорского и Царского ордена нашего Святого Станислава 3-й степени.

Дано в Санкт-Петербурге. 28-й день декабря 1899 года».

Проявивший «отличное усердие и особые труды» в строительстве сельских школ Антон Чехов чести принадлежать к привилегированному сословию не принял. Факт, «ни одному из чеховских биографов не известный», был обнародован Ю.Соболевым лишь в 1930 году.

Зато из писем к О.Л.Книппер было известно, что на внимание к своей персоне со стороны царской фамилии — «Великая княгиня очень осведомлялась о тебе», — ответил насмешливо.



М. КУРАЕВ

Кто войдет в дом Чехова?

Проницательный читатель Чехова Михаил Петрович Громов, не найдя ни в письмах, ни в бумагах Антона Павловича ни слова радости, ни слова печали, вообще ни единого слова, ни улыбки, ни чиха по поводу посвящения в дворяне, обратил внимание на строчки в записной книжке, появившиеся после того, как была объявлена царская милость:

«Желание служить общему благу должно непременно быть потребностью души, условием личного счастья; если же оно проистекает не отсюда, а из теоретических или иных соображений, то оно не то».

Так какую же Россию возрождать, учреждать, обустривать,— романовскую или чеховскую?

Каждому — свою.
Места всем хватит.

«Двадцать два «Орла» — это авангард новой России со старыми русскими традициями!» — торжественно сообщил телевизор.

Все правильно — со старыми русскими традициями.

Один из удостоенных «Ордена орла» за наградой не пришел, не принял, не явился, не по болезни, не по забывчивости, просто «высокой» чести не принял.

Наш современник, без кавычек.

Писатель.

Живет в Москве...

ИНТЕРЭТНОС

ДЕНИС ДРАГУНСКИЙ

САМЫЙ КОРОТКИЙ ДЕНЬ

(РОССИЯ — НОВОЕ АМПЛУА)

Институт «ДН — ИнтерЭтнос» начинает свои публикации 1993 года предлагаемым аналитическим обзором. Разумеется, в одной краткой статье невозможно охватить все многообразие проблем, связанных с новой исторической ролью России. Для этого не хватит целой книги или даже целой серии монографий.

Дело не только в объеме исследования. Нынешняя российская ситуация крайне противоречива. Возьмем лишь один аспект — геополитический. С одной стороны, Россия, состоящая из слабо связанных регионов, может повторить путь бывшего СССР, со всеми тяжелыми последствиями дезинтеграции. С другой стороны, России как правопреемнице Союза гораздо легче войти в мировое сообщество (или даже в клуб великих держав), чем любому из новосозданных независимых государств. Подобные «противоречия выбора» характерны для всех сторон российской действительности от экономики до национальной идеи.

Неоднозначность ситуации естественно порождает разнообразие точек зрения. В публикуемой статье российские проблемы обсуждаются «в предельном режиме», заостренно и откровенно, без реверансов и умолчаний. Одних читателей такой подход может шокировать, других — вовлечь в полемику. Редакция будет благодарна читателям за отклики, за новые мысли, доводы и контрдоводы в нескончаемом споре о России. Тема России и русского народа, русской культуры и российской политики постоянно присутствует на страницах «ДН» (№№ за 1989; 6, 7, 8 — 1990; 5 — 1991; 1 — 1992). В ближайших номерах «ДН» разговор будет продолжен.

209

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ МОДЕРНИЗАЦИИ

21 декабря 1991, в самый короткий день года, после подписания Алма-Атинского соглашения о СНГ, прекратила свое существование страна великая и ужасная. Речь идет не о «коммунистической империи зла» (Р.Рейган) и не о «Союзе социалистических советов» (М.Горький), а о России. Именно Россия, в 1922 году переименованная в СССР, завершила имперский этап своего развития. Он длился лет пятьсот — с послеордынкой поры. Время собирать земли прошло — наступило время отпускать земли, расставаться с ними.

За годы истории СССР его вожди сделали все возможное, чтобы тщательно и всесторонне подготовить процесс дезинтеграции. В ходе осуществ-

ления советской национальной политики внутри контуров единой страны кропотливо создавались и были-таки созданы — почти созданы, с остановкой на предпоследней ступени, — национальные государства. Со своими национальными политическими, культурными, военными и рабочими элитами, с парламентами, правительствами, профсоюзами, с национальными академиями, киностудиями, операми и энциклопедиями. Вместо «народов, живущих под русским подданством», как простодушно писал словарь Брокгауза, были созданы НАЦИИ, то есть этнополитические сообщества, готовые к обретению собственной политической власти. Вот этой-то власти, национального суверенитета, новосозданным нациям как раз и недоставало. Недоставало скипетра, державы и короны — армии, МИДа и свободно избранного национального лидера.

(Проблема экономической независимости не слишком беспокоила новосозданные нации. «Межреспубликанское разделение труда» привело к тому, что практически на каждом клочке советской земли расположено производство, остановка которого грозит крупными неприятностями всей остальной экономике страны. Единое пространство оказалось не экономическим, а технологическим. Рубильники, задвижки и запчасти стали предметом политического торга.)

Обычно нация развивается с фундамента: сначала обретает суверенитет, а потом уже занимается изданием энциклопедий и развитием национальной оперы. Нации бывшего СССР росли с крыши — классики национальной литературы и корифеи национальной науки появились раньше, чем институты национального суверенитета.

Но голодному человеку в какой-то момент становится безразлично — потерял он свой кусок хлеба или не сумел его раздобыть. Он просто голоден.

Поэтому все союзные республики и почти все автономные образования волей-неволей обрели самочувствие национальных государств, лишенных государственной самостоятельности. Проще говоря, оккупированных. В этом смысле республики Прибалтики ничем не отличались от всех остальных: в конце концов, чем хан Абулхайр лучше (или хуже), чем Иоганнес Лауристин? Генерал Скобелев — чем генерал Деканозов? И поэтому вслед за всесторонним расцветом наций и народностей в единой братской семье СССР закономерно наступил этап национально-освободительной борьбы.

Было ли создание СССР на месте России очередным насилием большевиков над русской историей? Думаю, что нет. Еще до Октября в Российской империи сложилась политико-правовая иерархия этносов, плавно перетекающая в иерархию национальных территорий. Весной 1917 г. партия Конституционных демократов признала необходимость украинской автономии, хотя «кадеты» были убежденными государственниками.

Говорят и пишут — если бы Россия пошла по пути Февраля, то, быть может, потихоньку сложилась бы общероссийская нация, подобная американской. Но для этого нужен интен-

сивный экономический рост. А для такого роста в отсталой многонациональной стране нужны «национальные кадры на национальных окраинах», что подразумевает рост национализма. Круг замыкается. Страна попадает в «постимперскую ловушку». Вслед за Россией — СССР в нее угодила Югославия.

В России начала XX века социальный и военно-политический кризис совпал с кризисом структурным. Территориальная экспансия превратила Россию в организм, ломающийся под собственной тяжестью. В XIX веке численность чиновников росла втрое быстрее, чем население, но Россия, по признанию Николая I, теряла управляемость. В пространство империи включались огромные фрагменты иных культур, религий, жизненных стилей. Всю эту чересполосицу народов объединяла общая принадлежность к традиционной (доиндустриальной, «деревенской») цивилизации. В историческую повестку дня вошли модернизация экономики и дезинтеграция империи. Дезинтеграция не как диверсия против «Единой и Неделимой», а как попытка по-новому структурировать ее пространство.

Сознательно или нет — большевики эту задачу выполнили. Модернизация — пусть примитивная, неоконченная, застрявшая на стадии «гигантов социндустрии» — все же состоялась. И как предпосылка и одновременно следствие модернизации — создание национальных государств (пусть квазигосударств, находящихся в разной степени недовершенности) — состоялось тоже.

Вообще же мысль о том, что семьдесят пять лет назад Россия пошла по ложному пути, — эта мысль таит в себе огромную политическую опасность. Ее логическое следствие — призывы к реставрации имперско-губернской системы управления в границах 1917 года.

Бессмысленность подобных мечтаний заставляет серьезно задуматься о новых проблемах новой (то есть оставшейся после распада империи) России.

2. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ СКВОЗНЯК

Российско-советская империя была мощным и, в общем-то, надежным

фильтром между Юго-Востоком и Северо-Западом, смягчала и балансировала это противостояние цивилизаций. Не просто дверь между Мировой деревней и Мировым Городом, а сложная система коридоров и переходов. Сейчас перегородки рухнули. По пространству бывшей империи гуляет сквозняк — сильный юго-восточный ветер, сметающий хрупкие строения послевоенной Европы.

Прекращение общемирового военно-политического противоборства, благотворное в исторической перспективе, вызвало весьма болезненные сиюминутные последствия. Прежде всего — пересмотр границ, а значит — войны, беженство и совершенно иная концепция защиты прав человека

Благородные Хельсинкские принципы — нерушимость границ и уважение прав человека — могли родиться только в условиях «холодной войны». Начиная с гомеровской древности и до 1945 года границы в Европе постоянно и кроваво корректировались. И лишь в условиях шаткого равновесия двух гигантских военных блоков Европа замерла. Боевые марши НАТО и ОВД заглушали трансильванскую рапсодию и вольные напевы басков. Сейчас, на фоне распада СССР и передела Югославии, говорить о принципе нерушимости границ — по меньшей мере наивно. А разве создание единой «Европы 12» не есть нарушение прежнего статуса на континенте? В конце концов, граница — это не линия на карте и даже не следовая полоса с колючей проволокой. Граница — это прежде всего пограничный режим. Смягчение его внутри «Европы 12» обернется ужесточением по ее внешнему контуру.

Что же касается прав человека, то их защита была проста и понятна. Это действительно была защита прав конкретного человека — диссидента, отказника, политзэка — страдающего по ту сторону «железного занавеса». В конечном итоге все сводилось к предоставлению диссидентам статуса беженца.

Теперь, когда количество беженцев подползает к семизначному числу, а Европа, начавши с Балкан, может незаметно втянуться в привычное состояние Семилетних, Тридцатилет-

них и Столетних войн, — теперь защита прав человека сводится, грубо говоря, к интервенции. Вооруженной рукой водворить тишь, гладь и демократическую благодать в регионах, где эти права нарушаются. Главное — заstopорить поток мигрантов с Юго-Востока на Северо-Запад, лишить их формальных политических резонансов считаться беженцами. Ради этого символические миротворческие силы ООН или СБСЕ готовы превратиться в мощные карательно-оккупационные соединения.

Сама Российская Федерация придерживается в целом сходных позиций. Военное присутствие РФ в ново-созданных суверенных государствах сводится, в частности, к недопущению массовых миграционных потоков — будь это этнические русские, так называемые «русскоязычные» или местное население, бегущее от войны и голода.

Более того. В недрах Верховного Совета вырабатываются концепции, в которых России отводится роль, говоря попросту, «евразийского жандарма». Вот небольшая цитата: «РФ должна исходить в своей внешней политике из доктрины, объявляющей все геополитическое пространство бывшего Союза сферой своих жизненных интересов и добиваться от мирового сообщества понимания и признания своих особых интересов в этом пространстве. Россия также должна добиваться от международного сообщества роли политического и военного гаранта стабильности на всем бывшем пространстве СССР.» («Известия» 07.08.92).

Может быть, мировое сообщество и не против России в роли надзирателя — но самой России такая роль не на пользу. Наблюдение за стабильностью, вкупе с защитой прав русского и русскоязычного населения, тут же превратится в войну за имперское наследство. Кроме того, в самой России начинаются процессы федерализации и регионализации.

3. РУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ. ТЕРРИТОРИЯ, ЭТНОС И ГРАЖДАНСТВО

Подъему национального самосознания практически всех народов бывшего СССР сопутствует сильнейший кризис самосознания русского.

Национальное самосознание — это осмысление той роли, которую этнос играет — или хотел бы играть — на исторической сцене. Столетиями слово «русский» было синонимом понятия «общегосударственный». Поэтому для русского национального самосознания в настоящее время характерно болезненное ощущение распада старой национально-государственной конструкции («...Сплотила навеки великая Русь»), в которую было заложено главенство русских в СССР.

Русские начинают ощущать себя меньшинством, борющимся за признание своих национально-государственных прав. «Человек с улицы» легко поддается простой логике: если нельзя восстановить прежний статус русских в рамках империи, то единственный выход из положения — это «чисто русское» государство. На этом настаивает, например, экстремистское Русское освободительное движение: создать «Республику Русь» с соответствующей перекройкой границ, чтобы выделить «чисто русские регионы», и с генеральной кадровой чисткой, чтобы создать «чисто русскую администрацию». Государственность видится как гарантия национальной самобытности и, главное, как надежная защита от разрушительных влияний чуждой культуры и идеологии, от нашествия инородцев и иноверцев.

Но в реальности все происходит как раз наоборот.

Я полагаю, что существует такая этнополитическая закономерность: консолидация и гомогенность этноса обратно пропорциональны уровню его огосударствления.

Иными словами, этническая однородность и духовное единство лучше всего сохраняются тогда, когда этнос является меньшинством. Тогда происходит сосредоточение на проблемах собственной культуры, выработка и сохранение традиций. Печальный парадокс — переживаемые народом гонения являются едва ли не главным фактором, формирующим национальный дух — эту неуловимую и вместе с тем очевидную субстанцию.

Как только этнос огосударвляется, на смену социальной и духовной самодостаточности приходит все возрастающая открытость. Государство не может жить по законам племени, табо-

ра или княжества — вассала Золотой Орды. В итоге для национальной самобытности остается все меньше и меньше места. Пик национальной самобытности русских пришелся, очевидно, на эпоху монгольского ига. Начиная с XVI века русское Московское царство стало превращаться в многонациональную Российскую империю. Господство русских сопровождалось размыванием их собственной этнической определенности и духовного единства.

Утратив имперскую роль, русский народ должен обрести новое национальное «Я» в рамках новой России (Российской Федерации). Возникает проблема создания русского национального государства и, следовательно, проблема русского национализма.

Не надо пугаться этого слова, и трактовать его исключительно как шовинизм, ксенофобию и вообще «знамя дурных народных страстей» (Вл. Соловьев). У этого понятия есть некоторое позитивное содержание.

Национализм как политическая доктрина требует совпадения границ этноса с границами государства. Речь идет не только о географических границах, но и о контурах политического устройства, которые должны соответствовать национальным традициям и интересам.

Националистам бывших союзных республик и автономных образований легко: ощущая себя «под русским подданством», они руководствуются формулой Жанны Д'Арк: «Быть независимыми от чужеземцев на своей земле и иметь своего собственного верховного главу». Русский океан расплескался по всей империи и омывает три десятка автономий. Русским еще предстоит решить, где здесь СВОЯ ЗЕМЛЯ, и кто на ней ЧУЖЕЗЕМЦЫ.

Сама возможность адекватного ответа на эти вопросы должна показать, насколько жизнеспособен русский национализм как позитивная политическая доктрина.

Итак, где кончается новая Россия (РФ) и начинается новая граница? Вопрос о рубежах тем более труден, что Российская Федерация в ее нынешних очертаниях никогда не существовала как реальное государство — достаточно заглянуть в школьный исторический атлас. Эти очертания менялись по административному произволу. Один

лишь пример — ситуация с Казахстаном (в 1920-1936 гг. автономия в составе РСФСР) и Карелией (в 1940-1956 гг. союзная республика). Сейчас существуют суверенный Казахстан и Карелия в составе России — но, наверное, могло бы быть наоборот.

Границы между РСФСР и союзными республиками, а также между автономиями и областями внутри самой России, существовали лишь формально. Свыше половины этих границ не были проведены, что называется, «в натуре». Однако известные политические и экономические причины заставляют Россию приступить к демаркации границ. Здесь возникают труднейшие проблемы.

Москва и Киев постоянно говорят о нерушимости границ между Украиной и Россией. Но российское политическое сознание все еще не может — и, наверное, не скоро сможет — переработать и изжить «украинский синдром», травму, вызванную распадом восточнославянского единства. Равновесие здесь очень шаткое. Оно будет немедленно нарушено при попытке физического установления границы между Украиной и Россией. Это вызовет шок у населения приграничных областей; немедленно возникнет проблема Слобожанщины — частей Курской, Воронежской и Белгородской областей, населенных украинцами, и проблема Донбасса, населенного русскими.

Борис Ельцин в своем интервью по вопросу о границах («Известия» 10.06.92) говорил, что с Грузией будет установлена «полупрозрачная граница». В этом регионе расположена взрывоопасная цепь — Адыгея, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чечня и Дагестан — республики, которые формально входят в состав РФ, но проводят достаточно независимую политику. Заявление о полупрозрачных кавказских границах воспринимается как признание собственной слабости. Решительно заявить, что горские республики находятся «по нашу сторону» российской границы — означает готовность к столь же решительным действиям. События в Абхазии и Осетии заставляющие контролировать российско-грузинскую границу, обострили проблему, но не решили ее. Вместе с тем полупрозрачная граница между боль-

шой и малой странами (Россией и Грузией) свидетельствует о продолжении имперской политики — особенно если малая страна только что получила независимость от большой, но еще не избавилась от ее военного присутствия.

Проблему границы с Казахстаном в том же интервью Ельцин свел к охране южных границ государств Средней Азии, чтобы таким образом охранять СНГ в целом. Вместо того, чтобы строить собственную границу, Россия собирается укреплять чужую, рассматривая государства Средней Азии как свою буферную зону. Другое дело, эти страны пока не возражают против русских пограничников на своих южных рубежах, используя русские войска как козырь в своих внутренних играх. Но русское военное присутствие очень скоро станет опасным фактором в центральноазиатских раскладах.

Трудно очертить внешние границы России, но еще труднее определить ее национальное содержание. Россия — страна русских или Россия — страна «россиян», то есть жителей России независимо от их национальной принадлежности? Какая идентичность должна доминировать — этническая или гражданская?

Формирование «нации россиян», т.е. гражданской идентичности, хотя и соответствует всем демократическим стандартам, но практически недостижимо. Внутри РФ уже существуют суверенные республики, со своими национальными элитами — носительницами собственных национальных идей.

Да и само единое российское гражданство, столь необходимое для окончательного правового оформления российской государственности, в настоящее время вряд ли возможно ввести. И дело не только в сопротивлении бывших российских автономий, ныне суверенных государств в составе РФ. Главным препятствием является наличие «русскоязычного населения» в новосозданных независимых государствах. Сюда относятся не только 25 млн. человек с паспортной национальностью «русский», но и большое число людей разных национальностей, большей частью выходцев из России, родной язык у которых — русский, а идентичность — «общесоветская».

Легко себе представить, как среагируют новосозданные независимые государства на «пятую колонну» в виде граждан России. Кроме того, одно дело — общие призывы защищать своих соотечественников (скажем, в Прибалтике), и совершенно другое — конкретные обязательства государства по отношению к своим гражданам. Готова ли Россия их выполнять?

Вместе с тем Россия вряд ли сможет стать национальным государством русских, хотя на первый взгляд эта идея основана на убедительной арифметике: русских в России 81,5% (перепись 1989 г.). Только в Армении процент титульной национальности больше (90%), а в остальных бывших советских республиках — меньше.

Однако эти 18,5% нерусского населения России составляют в абсолютных цифрах весьма значительную величину — более 27 млн. человек. Ситуация осложняется тем, что в «своих» автономных образованиях живет лишь менее половины нерусского населения. Курс на создание русского национального государства в нынешней России наверняка спровоцирует межэтнические столкновения.

Все это не позволяет выполнить главное требование националистической доктрины. Границы РФ не совпадают с границами расселения русского этноса. Каждый пятый русский живет вне России, и это не дает сформировать единую этнополитическую (националистическую) идеичность.

4. ДЕЛИМАЯ РОССИЯ

Национальный вопрос вплотную примыкает к проблеме федеративного устройства России. Как мы только что увидели, РФ — это не национальное государство русских, но и не космополитическое сообщество типа США. Но российские национально-государственные парадоксы на этом не кончаются. Россия — это государство одновременно не унитарное и не союзное.

Унитарным государством Российская Федерация не может быть по определению. Но союзное государство подразумевает равноправие частей, образующих федерацию. В этой

связи странным выглядит, например, договор между Татарстаном и Россией, частью которой он является.

Возникает двойной стандарт. Если стоит вопрос о распоряжении своими недрами, тогда перед нами государство, на равных подписывающее договор с Россией — как будто существует некая «остальная Россия», Россия минус данный субъект федерации. Если же речь идет о транзите своих товаров через «остальную Россию» за рубеж, то суверенное государство превращается в обычную российскую область, с которой и взятки гладки.

Проблема же, как представляется, в том, что новая Россия унаследовала от СССР принцип иерархии территорий. В России существуют территории двух типов: «национальные», большая часть которых провозгласила свой государственный суверенитет, и как бы «федеральные», то есть обычные края и области. При этом ни те, ни другие не являются этнически однородными. Из 31 «национальной территории» лишь в 7 титульная (или, если угодно, коренная) национальность составляет более половины населения. Точно так же не все «федеральные территории» являются исключительно русскими. Но первые обладают институтами государственности (президент, парламент, кабинет министров), вторые — лишь органами местного управления.

Теоретически решить проблему могла бы конституционная реформа, уравнивающая все российские территории в смысле обладания одинаковыми институтами государственности, подобно землям Германии или штатам США. Но поскольку бывшие автономии не согласятся «снижаться» до федеральных земель, речь пойдет о повышении статуса российских областей до уровня независимых государств, субъектов международного права.

Кроме того, есть опасность дальнейшего дробления регионов. Соблазненные наличием собственных сырьевых ресурсов, субрегионы также могут искать самостоятельности. В этой ситуации возможны временные союзы между Москвой и субрегиональными сепаратистами против региональных сепаратистов и наоборот; между бюрократией центра и региональной буржуазивающей номенклатурой против

местного «частника» и опять же наоборот; но все эти политические игры не смогут остановить регионализацию, которая становится ведущей тенденцией государственного развития России.

Сибирский регионализм поддерживается сибирским субэтническим самосознанием: большинство русских сибиряков считает себя другим народом, по сравнению с русскими из Европейской России. Аргументы сибирских регионалистов сводятся к следующему:

Единство хозяйственных связей — на уровне России оно безнадежно разрушено и может быть восстановлено лишь на межгосударственном (т.е. на межрегиональном) уровне. Оборона — большую Россию били чаще, чем маленькую Швейцарию. Благосостояние — чем больше и агрессивнее держава, тем оно ниже. Национальное единство — но Россия не моноэтническое государство. Что же касается духовной нераздельности русских, русской идеи и т.п. то все это лишь «груда таинственных словосочетаний», не имеющих практического воплощения. («Литературная газета» от 02.09.92).

Активисты Дальневосточной республиканской партии поставили целью восстановление ДВР, которая существовала в 1920–22 гг и, по их мнению, была незаконно аннексирована Россией. Имея в виду планы создания в этом регионе свободной экономической зоны, эта идея может получить поддержку местных деловых кругов. Подобная ситуация наблюдается в Калининградской области, где учреждена Балтийская республиканская партия под эгидой местного Союза предпринимателей.

В формировании самостоятельности Юга России особую роль играет казачество; о проблемах возрождения казачества мы поговорим далее.

В 1991 г. была образована ассоциация «Большая Волга», объединяющая деловые круги областей и республик Волжско-Камского региона. Есть основания полагать, что именно этот регион может преобразоваться в федеративное государство в точном значении этого термина.

Трудно сказать, как конкретно будет происходить регионализация. Сторонники жестких «катастрофических сценариев» утверждают, что по-настоящему морозная зима или по-насто-

ящему засушливое лето переведут всю страну на межрегиональный продовольственно-энергетический бартер, с полным отказом подчиняться перераспределительной политике Москвы «Век XX и мир», 1991, № 12).

Есть и мягкие, «правовые сценарии». Их недостаток в том, что общедо-федеральный уровень остается главным. Региональная реформа «сверху» только укрепляет центральную власть: регионы организуются так, чтобы сделать необходимым верхний этаж управления. Это путь к новому унитаризму, федеральному унитаризму, если угодно. Оно бы и неплохо, но «парад суверенитетов» уже состоялся. Даже на кратчайших отрезках пути история не знает обратного хода.

Скорее всего процесс регионализации завершится с окончанием приватизации по регионам. Сейчас региональная элита (бывшая партгосноменклатура) рассматривает Москву как союзника в борьбе с местными предпринимателями, не желающими вписываться в планы номенклатурной приватизации. А далее московской бюрократии (которая не теряет времени в приватизации Центральной России) будет предоставлено почетное право сопредседательства на конференциях будущего Содружества.

5. ВЕЛИКОДЕРЖАВНАЯ ДЕМОКРАТИЯ

Среди приоритетов российской внешней политики, сформулированных А Козыревым («Независимая газета» от 20.08.92), обратим внимание на следующий: «Защита прав человека, и особенно русскоязычного населения в соседних республиках».

Принцип «гегемонизма через диаспору» прост: если русское меньшинство будет дискриминироваться в новосозданных независимых государствах, то Россия будет принимать меры политического, экономического и военного давления. Не исключено, что русской диаспоре еще предстоит сыграть трагическую роль имперского авангарда.

Казалось бы, такая перспектива отвечает чаяниям одних только национал-большевиков. Однако идеи великодержавности разделяют многие демократы. Те самые люди, которые в начале перестройки выступали против

советской империи и за независимость республик — зачастую явно в ущерб русским и «русскоязычным» — после августа 1991 г. заняли посты в руководстве России и несколько изменили свою позицию. Теперь от них можно услышать о российских интересах на Кавказе, в Прибалтике, в Азии и тому подобную великодержавную риторику.

И никто не задает вопрос: зачем Россия передает свое оружие сражающимся сторонам (Армении, Азербайджану, Грузии, Молдове и т.д.)? Если оружие нельзя вывести из района конфликта, его необходимо уничтожить, это самоочевидно, но этого не происходит — почему? Трудно поверить, что это знаменитое российское разгильдяйство. Страшно поверить, что это делается сознательно, чтобы конфликтующие стороны истекли кровью и сами запросились под российское крыло. Как это у Лермонтова: «И Грузия цвела с тех пор в тени своих садов, за гранью дружеских штыков не опасаясь врагов».

К сожалению, лучшие из демократов иногда становятся великодержавнее государя императора. Во имя защиты прав человека и прав народов на самоопределение Е.Боннэр предлагает устанавливать в неспокойных регионах режим «совместного управления», то есть всеобъемлющего международного контроля («Известия» от 04.09.92). Тем самым проблема суверенитета выносится за скобки. Во главу угла ставится мораль. Но это и есть великодержавность — устанавливать в чужих краях порядок согласно собственным представлениям о морали. И не все так просто с правами человека. Согласно классической американской Декларации, они включают в себя и право свергнуть дурное правительство. Значит, право на насилие тоже входит в число прав человека.

Еще дальше идет Г.Старовойтова. Ей принадлежит идея «Клуба цивилизованных государств», который занимается управлением планетой, защищает меньшинства путем посылки войск, а также осуществляет право народов на самоопределение и пересматривает границы («Известия» от 10.08.92). Вопрос о том, войдет ли Россия в этот клуб, автор обходит молчанием.

Ирония истории — в семидесятые

годы наша страна, ведя полемику о правах человека, провозглашала приоритет коллективных прав. Теперь принцип коллективной правосубъектности берут на вооружение наши бывшие оппоненты, а вслед за ними российские демократы. Защищают права курдов и иракских шиитов, приднестровских молдаван и русских в Эстонии, армян Карабаха и просто армян, и в этой геополитической круговерти как-то теряются права отдельной личности.

Демократия — это не совокупность государственных или даже общественных институтов. Демократия — это повседневный навык поведения, от быта до политики. Там, где принято мыть тротуар перед домом, где политическому деятелю нельзя лгать, воровать и распутничать, где плохо лежащую вещь не берут не потому, что она чужая, а потому что она не твоя (огромная разница в мотивах: в первом случае страх наказания, во втором — моральный императив), — там, как окончательное оформление этого жизненного стиля, возникли свободные выборы, разделение властей, права и свободы граждан. Поэтому демократия как внешняя форма правления, внесенная в наше озлобленное общество, не дала немедленно всех ожидаемых благ. Тем более странно ожидать положительного результата от демократии, принесенной на штыках воздушно-десантного миротворческого корпуса.

Впрочем, мы это уже проходили. Ради стремления к счастью большевики надолго лишили Россию жизни и свободы. Такая вот коллизия в области прав человека.

6. КАПКАНЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ. ЧТО НАМ СПАСАТЬ?

Усталость от бесконечных социальных экспериментов сделала наиболее привлекательными идеи возрождения, восстановления, возвращения на столбовую дорожку цивилизации и т.п. В самом деле, зачем стране с великой историей в который раз изобретать неизвестно что, когда можно вернуться к своим собственным истокам?

Но ведь Россия никогда не шла по столбовой дорожке — особенно если под этим понимать дорожку европейского капитализма. Сам вопрос о российских

традициях нетак прост. Россия — страна бесконечных реформ, которые не дали сформировать ИНСТИТУЦИОНАЛЬНУЮ традицию (веками хранимые конституция, законы, парламент, суд и т.п.). Взамен ее возникла традиция СТИЛЕВАЯ, традиция житейского навыка. А в условиях правовой нестабильности этот навык сводился, мягко выражаясь, к минимизации собственных усилий. Позволю себе длинную цитату:

«...то топкие, то пыльные проселки, /.../ бревенчатые, под соломою избы, шелудивые, из необчищенных жердей плетни — все на авось проложенное, проезженное, протоптанное, все кое-как, на глаз, из подручного материала сложенное и справленное! Во всем изумительное единство стиля, основанное на полном подчинении форм жизненного устройства бесформенности застраиваемой земли, но и варварское отсутствие всякого тяготения к культуре, но и чисто русское упорствование в своем исконном убожестве. /.../

За четыреста лет территория России увеличилась в 36 раз. Факт этот, лежащий в основе русской истории, коренным образом определил собою не только стиль русского земельного хозяйствования, но в известном смысле и стиль всякого русского делания и творчества.

Труд, положенный русским народом на создание Державы Российской, был, конечно, громаден, и все же он никогда не был тем, что под словом «труд» понимает трудолюбивая Европа, что под ним ныне понимаем уже и мы: он не был упорною, медленною работою /.../ Так столетиями создавался в России стиль малокультурного, варварского хозяйствования, психология безлюбовного отношения к любимой земле.» (Ф.А.Степун. Мысли о России. Статья IV. 1927 г.)

Надо надеяться, что изживанию подобного стиля будет способствовать регионализация России, превращение бескрайней державы в компактные территории, требующие «упорной и медленной работы».

В поисках утраченного российско-го единства вряд ли можно надеяться и на возрождение великой русской культуры. Наша культура — и литература в особенности — была феодальным явлением. Русский писатель был самым свободным писателем в ми-

ре — он был в плену у Бога, у собственной совести, у царя, у цензора — но он был свободен от рынка, на котором текст есть товар. Даже голодая, даже идя в кабалу к издателю, русский писатель соображался только с внутренними критериями — гражданственности ли, искусства ли, но никак не с мнением толпы, лениво прогуливающейся вдоль книжного развала.

Идиллия государственно поддерживаемой культуры длилась до самого последнего времени. О, сладкий гнет цензуры! О, литература — трибуна общества! «О, времени тому!» — как восклицал протопоп Аввакум.

В печальном состоянии оказались и театр, и кино, и живопись с ваянием. Вот только зодчество, пожалуй, будет процветать. Говорят, каждый архитектор мечтает построить виллу. Наверное, эти мечтания сбудутся — появились богатые заказчики, издатели детективов, «суперэротических романов» и больших цветных плакатов и календарей.

Грустно, разумеется. Но возродить великую русскую культуру можно только вместе со всем ее социальным контекстом. Поэтому сейчас наиболее резонно говорить не о русской культуре, а о русской культурной памяти.

Реабилитация репрессированных народов — морально безупречное дело. Но увы, в реальности она приводит лишь к обострению межнациональных конфликтов. Границы уже передвинулись и устоялись, в старых домах живет третье поколение новых жильцов, и реабилитация одних оборачивается репрессиями против других.

Особняком стоит вопрос о возрождении казачества. Казаки считают себя носителями и хранителями идеи русской государственности. Их лидеры полагают, что казачьи формы землепользования и общинно-военной демократии могут быть распространены на всю Россию.

Это не вызывает восторга у всех остальных русских. Протест вызывает использование казаков в качестве полицейских, и разрешение казакам носить оружие (в качестве «детали традиционного костюма»), хотя везде в России это считается уголовным преступлением. Осуществление казачьей демократии (в виде публичных порок) воспринимается неказаками как беззаконие и самосуд. Можно предполо-

жить, что экспансия казачества вызовет конфликты уже между русскими. Тем более что казаки требуют возвращения «исконно казачьих земель».

В этом следует разобраться.

По переписи 1897-1905 гг. всего в России жило 2,9 млн. казаков, составляющих 278.650 дворов, занимающих 14.689.505 десятин земли (1 дес. = 1,09 га). Таким образом, средний казачий надел — 52,7 дес. на двор (а не на одного казака).

Однако по оценке специалистов Кубанской казачьей Рады, чистых родословных казаков осталось в Краснодарском крае около 6% «Независимая Газета», 17.09.92), т.е. около 42 тыс.чел. от указанных в старой переписи 700 тыс.чел.

Собираются ли кубанские казаки делить свой исконный земельный клин (6,8 млн.дес.) между оставшимися шестью процентами, или будут «добирать» казачье войско? Уставы казачьих движений разрешают принимать в их ряды славян вне зависимости от родословной. Следовательно, речь идет не о возрождении, а о создании казачества как нового военно-землевладельческого сословия. Появляются московские, петербургские и даже прибалтийские казаки, чего в России, кажется, не было видано.

Но казачья земля в целом (включая «войсковой запас» и прочие категории) составляет до 54 млн. десятин. На что претендуют казаки? На землю казачьих дворов или на всю землю? В конце XIX в. около половины населения казачьих областей составляли т.н. иногородние (неказаки). Сейчас их еще больше. Какова будет их судьба?

Допустим, что все эти вопросы будут решены точно и справедливо. Роль казачества в укреплении Российской державы несомненна. Но, кроме казаков, в России были и другие сословия, чьи заслуги столь же велики, а понесенный в годы большевизма ущерб — не меньше.

Например, славное российское дворянство, деловитое купечество и трудолюбивое мещанство. А главное — многострадальное крестьянство. Вот средние размеры их земельной собственности в конце XIX века: дво-

рянской — 598 дес.; купеческой — 758 дес.; крестьянской — 50 дес.; мещанской — 45 дес. Если реабилитировать, так всех. Хотя понятно, к чему приведет новый «возрожденческий» передел.

Отовсюду слышно — Россию надо спасать.

Но что такое Россия? Российское государство, русский (российский) народ или просто люди?

Государство — ценность политическая. Народ — историко-культурная. Ну, а люди... не хочется приклеивать какой-то особый ярлык. Люди — просто ценность.

Как ни странно, спасти людей — проще всего. В конце концов, их можно расселить по всему земному шару, накормить, одеть и обучить ремеслу. Правда, они перестанут быть русскими. Исчезнет народ, носитель великого языка и громадной культурной памяти. А от этого обеднеет весь мир.

Спасение народа, если его проводить «сверху», планомерно и централизованно, оборачивается погромами.

Спасать государство — значит военной силой стягивать расползающиеся части, не щадя своих и чужих людей.

Сейчас мы переживаем самый короткий день в истории России. Больше нельзя балансировать между русским и многонациональным государством, между единой страной и федерацией, между империей и разбродом наций, между великой державой и второразрядным получателем гуманитарной помощи. Россия снова находится в ситуации исторического выбора. Проблемы, очерченные выше, усугубляют его драматизм. Но петь отходную великой стране — по меньшей мере нерасчетливо. Сохранившийся костяк промышленности, неисчерпаемые сырьевые ресурсы, культурная память и невостребованный духовный, интеллектуальный и деловой потенциал народа, традиционный авторитет в международных делах, — все это служит надежной гарантией того, что новая Россия займет достойное место в мировом сообществе. Но речь идет именно о новой, преображенной России, рельефно осознавшей свои проблемы и необходимость поиска новых путей.

МИХАИЛ ГЛОБАЧЕВ

В КОШАЧЬЕМ КОНЦЕРТЕ НАЦИЙ

РУСОФОБИЯ — НЕ МИФ И НЕ ДОГМА

Долгое время — пожалуй, неоправданно долгое — большинство российских дискуссий о национальных проблемах в СССР сосредоточивалось на взаимоотношениях метрополии с «национальными окраинами» и, соответственно, на вопросе «русофобии». Это понятие вошло в обиход с подачи математика И.Шафаревича, чей одноименный трактат был официально обнародован у нас в конце перестроечной эпохи.

Аргументы его сторонников с тех пор сделались расхожими. Но вот что интересно: к «малому народу», стремящемуся разрушить исконные ценности и подорвать устои «Большого Народа», автор «Русофобии» отнес не только современных космополитических интеллигентов преимущественно еврейского происхождения, но также... французских гугенотов с английскими пуританами, в незапамятные времена подло предававших свои католические отечества.

Сам собой напрашивается вывод, что народы этого ревнителя национальной самобытности — по сути вненациональны: это литературные знаки любого традиционного, патриархального общества и сил модернизации, рано или поздно появляющихся в нем независимо от национальности, веры и обычаев.

Однако либеральные критики «Русофобии» не обратили внимания на этот — несомненно, любопытнейший момент трактата. В основном они упирали на то, что в работе Шафаревича нет ни слова прав-

Гоблины, скажу я вам,— жестокие, злобные и подлые создания. Они не умеют делать красивые вещи, зато отлично мастерят все злодейское. Молоты, топоры, мечи, кинжалы, крючья, клещи и прочие орудия пытки — все это они прекрасно делают сами или заставляют других... Механизмы, моторы и взрывы всегда занимали и восхищали гоблинов.

Дж.Р.Р.Толкиен.
Хоббит, или Туда и обратно.

ды: даже бард А.Галич был по паспорту не Рабиновичем, как умудрился сообщить автор, а Гинзбургом. И вообще, русофобии как таковой не существует, а есть общая неприязнь к тоталитарному Центру. Стоит отменить социалистический выбор с коммунистической перспективой, разделить русский народ и советскую империю, как это станет очевидным...

И здесь начинается самое жуткое, на взгляд невольного наблюдателя, и самое примечательное, с точки зрения психологии общества. По Шафаревичу со товарищи, русофобия устойчива и неизменна: у Большого Народа нет настоящих друзей. Едва ли не весь мир заинтересован в распаде тысячелетней государственности, скрепленной русским этносом.

И после всех возбуждающих разговоров на «окраинах» о том, что русские сперва построили тюрьму народов, потом кровавый социализм, а все остальные были безвинными жертвами,— гнев, по логике вещей, должен был бы повсеместно обратиться именно на них. А что происходит на самом деле?

Людям русской культуры пришлось пережить опасность, например, в Душанбе. Но в том же регионе, в Оше и Фергане, тюркоязычные мусульмане безжалостно громили общины, куда более близкие им по духу, чем соседи-славяне. Немало русских живет в Грузии, абхазы до последнего времени были в большинстве своем настроены вполне «пророссийски». Казалось бы, устрашающие заявления прежней администрации об «агентах Кремля»

и «врагах грузинского народа» должны были метить только в них. Но тяжело пострадали от грузинского оружия не считая, разумеется, цхинвальских осетин, пока только грузины¹. В Приднестровье кишиневская полиция стреляла и в казачьих волонтеров, и в местных «русскоязычных» (у которых в паспорте сплошь и рядом стоит «украинец»), и в «чужих» молдаван. В Литве не стреляют сейчас, но больше всего административных неприятностей достается полякам из глубинки, которые сроду не разъезжали на танках и насколько не расходятся с литовцами в догмате о Св.Троице.

В то же время антирусские настроения распространены во многих российских регионах, жители которых с незапамятных времен сосуществовали практически нераздельно с русскими, а кое-где успели и значительно ассимилироваться.

Наконец, именно сейчас, когда качество «массовой» жизни в Москве и других некогда «хлебных» центрах упало впервые за шестьдесят с лишним лет до заурядной в масштабах страны отметки, претензий к ним со стороны жителей обделенной благами глубинки отнюдь не убавилось. Напротив, они стали ещё более жесткими и приобретают новое свойство. Если «при социализме» рядовой обыватель не мог простить москвичам съеденных ими мясopодуктов, а управленческая элита — отобранных лимитов и фондов, то сегодня свой счет предъявляет политолог «новой волны», уроженец Рыбинска:

«Мне жаль вас, москвичи... И меня охватывает странное злорадство, когда я думаю о ваших проблемах. Вам плохо потому, что вы наконец (Выделено мной.— М.Г.) стали таким же городом, как и все... Москва неинтеллигентна... Талантливые люди должны были бы объявить бойкот вашему городу... Вы уникальный социально-психологический тип, господа-товарищи москвичи. Вы — продукт империи в гораздо большей степени, чем все остальные... Городской обыватель именно вашего неповторимого типа стал вирусоносителем массовых митингов, гнойным червем нового Вавилона» (А.Новиков. Вам! «Век XX и мир» № 1. 1992).

Болезненные откровения

публициста, всего три-четыре года назад начинавшего как поборник гражданского мира и согласия, — лишь верхушка айсберга читательских писем в московские редакции. С позиций «Русофобии», девятистоплювиноймиллионное население российской столицы — в подавляющем большинстве русских, недавних провинциалов — вполне резонно было бы считать еще одной разновидностью «малого народа»...

Словом, всюду, где русские — традиционно важный компонент национального ландшафта, там и русофобия. А где их, быть может, и не меньше, но они воспринимаются аборигенами как совершенно экзотический культурный или даже расовый тип, — там ненависть прекрасно обходится вовсе без них. И квазинациональная концепция русофобии Шафаревича, и «административно-командная» демократов гораздо чаще опровергаются, чем подтверждаются нашей действительностью.

АЗБУКА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ: РЕАЛИИ И ТОТЕМЫ

Полностью рациональных факторов в любом конфликте современных этносов, строго говоря, только два. Это распределение: 1) сфер влияния между политическими, экономическими и духовными элитами разных этносов и 2) основной массы населения в социо-культурных нишах. Ясно или подспудно реализуемое здесь стремление к переделу в различных комбинациях слу-

жило подоплекой межнациональных столкновений во все времена и во всех странах. Кроме страны Советов. Для нее такой вариант нередко оказывается чересчур «вульгарным».

Если кратковременные вспышки национальной вражды в СССР начиная с первой «оттепели» и до наших дней в основном соответствовали общепринятой схеме, то нынешние зоны устойчивых боевых действий — в Нагорном Карабахе, Осетии, Приднестровье и Абхазии — выглядят с этой точки зрения более или менее «странными». Это не открытие автора статьи, но все же есть смысл еще раз обобщить известные факты.

Самый показательный пример — Южная Осетия. По-

¹ По наблюдениям автора, в прифронтовой полосе абхазской войны, на всех некартвельских кавказцев автоматички Госсвета смотрели с пристрастием, подозревая в них агентов горской Конфедерации; на всякого русского, даже из местных уроженцев, — с благодушным безразличием. Примечательно, что контроль совершенно не распространялся на женщин, независимо от национальности. Вероятно, и славяне, подобно им, в патриархальном мире Закавказья остаются как бы вне традиционных сфер конкуренции — они существа «иной породы». (На Северном Кавказе дело обстоит иначе, в силу его специфического опыта общения с кавказством). Точь-в-точь латиноамериканский уклад machismo, куда практически нет доступа «глупым гринго».

жалуй, за всю историю совместной жизни двух народов на этих землях меж ними не бывало сколь-нибудь значимых трений, исключая несколько лет первой гражданской (кажется, так теперь ее нужно называть?) войны. Оба народа беспрепятственно занимали общую нишу, неудобства осетин как меньшинства могли ощущаться разве что на «большой земле» республики — и явно не превышали союзных стандартов бытовой ксенофобии. И с национальной «самостью», по многим независимым свидетельствам, дело обстояло лучше, чем на севере, где народ быстро терял родной язык и традиционную культуру.

Идиллия нарушилась, когда перед массовым сознанием со всей прямотой был поставлен вопрос о возвращении государственной независимости Грузии. Не только в Москве, но и в Южной Осетии это кого-то сильно задевало. Кого же? В тот момент, разумеется, еще не мирных обывателей, привыкших жить бок о бок, без какой-либо обособленности или конкуренции, а местную элиту, для которой всегда и везде неприятна перспектива остаться наедине с ближним, малым сюзереном, лишившись «третьей стороны» дальней и потому менее ненавистной метрополии.

При полной поддержке со стороны общественных авторитетов, в соответствии с испытанными методами «пятой колонны», эта местная элита ответила на провозглашение государственной независимости Грузии выразительным, но малоэффективным жестом — самочинным повышением своего номинального статуса. Тогдашние тбилисские власти, в свою очередь, отреагировали со всей грациозностью политического идиотизма — полной отменой номинала, а затем принялись раскручивать пропагандистскую кампанию, переименовывавая Южную Осетию средневековых хроник на разные лады в «исконно грузинском» духе.

Пока, заметим, все разыгрывалось вне связи с подлинно этническими реалиями, а целиком и полностью в выморочной сфере типично «совковых» этикеток-указателей. Не кем быть, а как называться: то ли очень автономной республикой, то ли владением рода Мачабели («Самачабло»).

Но первая же пролитая кровь автоматически перенесла конфликт из знакового измерения в другое, не менее иррациональное, но породившее лавину всамделишного насилия. В результате никто не видел, где выход из тупика, коль скоро у массы вовсе не было поводов для конф-

ронтации, а у элиты они толком не успели реализоваться, застряв на полпути в категориях советскости, в бинарной оппозиции пустых знаков «грузины за демократию — осетины за империю» (или же наоборот, в зависимости от того, к какому из враждующих тотемов относил себя говорящий).

В июле-августе 1992 года югоосетинский сценарий был заново срежиссирован и разыгран в Абхазии — в ином составе действующих лиц, но без заметных изменений в сюжете, разве что притязания местных суверенов дополнительно подкреплялись ссылками на некогда существовавшую государственность сталинской легитимации. Открытие нового театра военных действий почти в точности совпало с попыткой «замирения» в Цхинвале.

Безнадежный, по очевидности, опыт ближайшей войны никого ничему не научил — вряд ли по одним только объективным причинам. Конечная бессмысленность нисколько не мешает провинциальным политикам повышать свой ранг, молодым маргиналам самоутверждаться в узаконенной стрельбе и «экспроприациях», а всем их жертвам — слепо мстить «врагу». Когда у «конного мерзавца» (по выражению П.Мериме) появляется шанс походить в героях, цена для него значения не имеет.

Очень сходны структуры и мотивации конфликта в Приднестровье. Здесь он слабее, чем где-либо в бывшем Союзе, связан с индивидуальной этнической принадлежностью враждующих. Можно было бы даже предположить, что это уникальный для наших пределов случай отхода от привычного пятого пункта к «гражданскому» пониманию нации, не будь этот прорыв не просто кровавым (все современные нации когда-то рождались в войнах), но умственно извращенным. Попытка создать «изнутри» две молдавских республики на одной земле — уже не национально-государственное строительство, а нечто иное. Некоторые типические черты здесь выражены еще ярче: в частности, на одной стороне комбатанты демонстративно сохраняют советскую геральдику, на другой некая группа агитирует за уход страны из ничего и озлобленного СНГ, минуя не сулящую ничего лучшего сепаратную государственность, в лоно ничуть не менее обремененной проблемами Румынии. Конечно, одна культура и язык и 22 года общего суверенитета за всю историю Нового времени — тоже не пустяк, но... Бухарест, похоже, манит уже тем, что он хотя бы по определению не «совок», а какая-никакая заграница.

Знаковая активность этой группы явно несоизмерима ее численности и идейному влиянию (последнее, впрочем, дело наживное и прямо зависит от поведения российских политиков). Тем не менее, массовое сознание Левобережья, как и любого постсоветского края, решительно предпочитает символы сущностям. И здесь, в отличие от двух других театров военных действий, исключительную роль сыграло конфликтное отношение к государственному языку (даже к алфавиту!) — то есть, опять-таки, к правилам применения знаковых систем.

В Карабахе оба фактора, массово-бытовой и элитный (истолкованный в некоторых комментариях как соперничество национальных мафий) созрели столетиями и к моменту взрыва были продвинуты значительно сильнее. Однако восприятие и этого конфликта долго формировалось вокруг чисто «совковой» антиномии, лишенной реального содержания: «демократическая Армения и тоталитарный Азербайджан». Даже прошлым летом именно в таком ключе высказывались о карабахской войне многие участники форума сторонников реформ в Парламентском центре России, по инерции сознания забывая о том, что в Баку уже не первый месяц правят политики Народного фронта, по всей форме «отряхнувшие прах» коммунистической идеологии.

И не важно, что выдохся главный генератор всей этой символики — союзный Центр, бывшие пятые колонны, в одночасье лишившись авангарда, представляют теперь непонятно какую государственную идею, отчего вынуждены беспорядочно перестраиваться на марше; новое же политическое и военное руководство России где стыдливо отворачивается, где на редкость неуклюже подыгрывает поочередно обеим сторонам. Нервозную растерянность можно понять: до сих пор многие наблюдатели, побывавшие в местах боев, впадают в детское изумление, а то и в обиду — стоит убедиться воочию, что знаки политического добра и зла никак не выявлены в реальном поведении любой пары антагонистов. Перед соседями классический образец той дилеммы, что в старину называли выбором дьявола: «оба хуже»... Даже цинизмом тут не отделаешься, ибо что такое государственный цинизм в отношении малых наций? Когда представитель державы заявляет: «Такой-то, конечно, сукин сын, но он наш...» А тут — где чьи дети?..

РЯД ЭКСКУРСОВ В ИЗЯЩНУЮ СЛОВЕСНОСТЬ

Три года назад рижский журнал «Родник», которым тогда, до российской свободы слова и бумажного кризиса, зачитывалась московская интеллигенция, стал печатать роман А.Тарвида «Нарушитель границы». Критики «Молодой гвардии» и «Литературной России» могли бы с ходу определить его героя-эмигранта (а заодно, как водится, и автора) в самые злостные русофобы. Однако здешних патриотов сюжет оставил равнодушными: подозреваю, что весь заряд приличествующего случаю негодования был израсходован их аналогами... на латышском языке.

В самом деле хирург Арнольд со своей «фобией» не видит ни малейшей разницы между «оккупантами» и соплеменниками: весь пафос национального возрождения он воспринимает как дрязги экскоммунак, возжаждавших новой карьеры. «Оба хуже». Единственно родное для него на этой земле — собственная персона. При этом он не какой-нибудь опустившийся пошляк-нигилист, а явный интеллектурал, «в сумме» не более циничный, чем другие, и отнюдь не лишенный известных моральных принципов.

Размышлять было бы вовсе не о чем, окажись это просто очередной крепко скроенный образ «нового лишнего человека», патологического эгоцентрика. Но, кажется, латышскому писателю удалось — еще на сукровично-бледной зорьке всяческих национальных фобий (роман задумывался явно прежде Сумгаита) — точнее нащупать нерв проблемы, чем множеству его собратьев по перу.

Невиданная в истории общность людей имени товарища Леонида Ильича, над которой в дозволенный срок солидарно произдевались либералы-космополиты и национал-радикалы, все-таки не фикция, в чем-то большом и важном она успела состояться. Миновало любовное упоение очередной Великой Эпохой, которая побыла у нас совсем не долго и упорхнула на зиму глядя. прослезившись и подсчитав, мы (те из нас, у кого праздничное опьянение не перешло прямым в белую горячку), как водится, задумались о судьбе. И вот другому писателю «кажется, что нет уже ни русских, в исконном понимании, ни грузин, ни армян, есть советские или, в лучшем случае, русско-советские, грузино-советские и т. д. (Выделено мною.— М.Г.) люди» (Б.Окуджава. Мы больны, мечемся в бреду. «Столица» № 24. 1992).

Так что, не любят «нацмены» русских «большевиков»? Полноте, это просто один хомо советикус ненавидит другого, который (как, в частности, хорошо видно из романа Тарвида) ничем не хуже и не лучше его.

Совок ненавидит свое *зеркальное отражение* в другом совке. Они ненавидят сами себя и бегут от собственной тени — кто, как Арнольд, в ОВИР, кто в ближний лес с обрезом.

«...ЕЖЕДНЕВНО помните, что мы, русские, — высокоталантливый, героически-отважный, знающий радость осмысленного, созидательного труда, могучий духом народ», — заявлено в патетической концовке одного из современных образцов коллективного творчества советских писателей, так называемого «Письма 74-х».

Вопрос «на засыпку»: назовите любой народ бывшего СССР из числа так называемых коренных, в котором за перелицовочную семилетку ни разу не пошел по рукам манифест, подобный означенному. (Напомню, в нем до процитированных строк пространно излагалось, как могучий высокоталантливый дух умело и эффективно угнетает жалкая кучка русофобов, сильная единственно своим коварством и сплоченностью.)

Народ-злоумышленник может иметь любую численность и происхождение; вражья стая вообще может оказаться одной крови с «нашими», но при этом быть агентами (КГБ, сионизма, Кремля, ЦРУ — ненужное зачеркнуть), манкуртами или, на худой конец, породненными лицами. Результат не меняется, ибо принцип всегда один и тот же: «Создать анти-я и наполнить этот образ своими — худшими и неотрефлексированными — чертами» (Д.Шушарин. *Культура посяда: перед зеркалом, как перед иконой. Декоративное искусство № 4, 1989*). Увидев же ненавистный образ, не выдавить его — по капле ли, по стакану — из самого себя, а убить его в другом.

Хрестоматийный пример в обучении диалектике: человек Петр видит человека Павла и через осознание его человеческой сущности постигает собственное «я».

Совок отказывается видеть человеческое в другом совке. Напротив — ходячая антиценность, попросту говоря, *тварь* вроде иноразумных монстров из одноименного голливудского сериала, умевших принимать человеческий облик. Компромисс с ней невозможен, ее нужно только уничтожить или бежать, ибо единственная цель

чужого, доступная пониманию людей, — убийство.

Чем полней и точнее подобие — смуглых ли ликов южан, древнего ли мессианства притязаниям «Нового Иерусалима», — тем жестче взаимное отталкивание.

Зеркало, бывшая икона, превратилось в окошко автоматного прицела.

Почему?

ТЕРРОР НАЧИНАЕТСЯ С ВЕШАЛКИ

«В метафизическом космосе разлито сейчас нечто такое...» — подметил недавно один молодой историк. (Д.Чернышевский. «Покайтесь, ибо приблизилось...» — «Дружба народов» № 11. 1991) Однофамилец или потомок революционного демократа имел в виду вселенское противостояние буржуазной бездуховности, ради чего и пришлось звать на подмогу — не совсем складно с точки зрения подлинной метафизики — столь туманные силы. Но во многих других случаях сегодняшней жизни обращение к ним кажется едва ли не единственно уместным.

Космос совка поражает необъятным разливом садистской подлости, не оправданной никакой видимой пользой, абсолютно самоцельной во всех уровнях и в любых структурах — от продуктовой лавки до Гулага.

«Понимаю, каким образом, — сетовал герой Дж.Оруэлла. — Не понимаю, зачем». Но его изощренные мучители, чекисты социалистической Британии-1984, кажутся убогими прагматиками рядом с простой советской паспортисткой или больничным вахтером (помните вопрос известного своей «русофобией» В.Шукшина: «Что с нами происходит?»). Сплошь и рядом от оруэлловской формулы объяснения отлетает даже первая часть: цель власти — власть, остается: *цель пытки — пытка*.

Насилие было господствующим типом поведения на всем протяжении советской истории: в форме пытки — в отношениях между людьми; в форме вандализма — в отношениях людей с живой и неживой окружающей средой. Просто в постсоветском пространстве болезнь из вялотекущей хронической формы, картина которой, как сказали бы медики, постоянно смазывалась идейной легитимацией и худо-бедно устоявшимся бытом, перешла в открытую, острокризисную.

...Первый вариант статьи был уже закончен, когда автору попались на глаза

размышления диакона А.Кураева в «Московских новостях» (№ 29. 1992). В них православный священнослужитель — человек, надо думать, действительно понимающий толк в метафизике, — делится горестным недоумением, которое испытал когда-то, узнав историю девушки, покончившей самоубийством из-за обвинения в мелкой краже.

«Душевная инвалидность людей, затравивших девчонку, страшна, — пишет Кураев. — Но самая страшная пустота была все-таки именно в ее собственной душе! Оказалось, что в ней самой настолько не было жизни, настолько она привыкла жить лишь в качестве собственного отражения в глазах других (Выделено мной. — М.Г.), что едва это отражение замутилось — прервалась и ее собственная жизнь».

Здесь все сошлось воедино с редкой точностью: привычка жить в мире зазеркальных знаков, бессмысленный (и вполне заурядный) садизм «общества справедливости» и, как венец системы, — самоубийство.

Тот же Шафаревич в другой своей работе 70-х («Социализм») определил коммунистическое строительство как «социально обусловленный инстинкт самоубийства» России.

Все, что можно сделать в связи с этим в тесном пространстве журнальной статьи, — всмотреться в него, ограничиваясь минимумом оценочных комментариев, в им же заданной системе координат. Прежде всего, оно вполне согласуется с известной романтической концепцией нации как единого гигантского организма — «соборной личности», обладающей подобиями темперамента, возраста и даже пола, а следовательно, возможностями психологических отклонений.

Под самоубийством социума Шафаревич подразумевает — как всегда, о чем бы ни писал — модернизацию, гибель дорогого ему уклада жизни. То, что впоследствии назовет «дорогами к одному обрыву», демонстративно приравняв в этом смысле Запад и СССР. Здесь ученый исключает важнейшую посылку: такой образный взгляд проницателен лишь в отношении авторитарных модернизаций, череду которых Россия переживает с незапамятных времен. Те действительно губят на корню человеческие ценности, подрывая основы их естественного воспроизводства. Либеральную же модернизацию западного образца вернее было бы сравнивать со сменой вре-

мен года — в итоге она оказывается ничуть не менее «органичной», чем любой из отринутых ею укладов. Но метафора Шафаревича уводит еще глубже.

Человека могут спровоцировать на самоубийство разные обстоятельства. Однако окончательное решение все же принадлежит самой личности и ничто внешнее по высшему счету не может служить оправданием ее свободного выбора. Даже если соборная личность «Большого Народа» является только жертвой злоумышленников, тогда к ней неизбежно должны быть применимы законы виктимологии — той ветви криминалистики, что на основе изучения психологических особенностей и поведения жертвы устанавливает меру ее собственной вины в содеянном.

В знакомых нам ценностных системах — атеизме и единобожии — самоубийство одинаково являет собой акт тотального самоотрицания, *абсолютной фобии*. Безбожник добровольно уничтожает свое брренное существо и целый мир в самом себе; верующий, покушаясь на божественное право, губит бессмертную душу. Жизнерадостный самоубийца — абсурд. А неотвязные напоминания о собственных достоинствах как раз очень свойственны жертвам болезненного состояния духа на грани рокового поступка. У «роевой личности» он, естественно, длится не один миг, но растянут на поколения. Как всегда, навязчивые мысли и «примерочные» попытки сменяются краткими перемириями с бытием; потом может наступить момент, когда очередная попытка удастся.

Примерно такой вывод следует из неканонической истории авторитарных модернизаций на «одной шестой» — частной летописи Русофобии, рука об руку с Социализмом влекущей нацию к Обрыву. Та история породила (отчасти и породила) всех нас, сегодняшних жителей российской ойкумены — какими бы страшными взглядами мы ни меряли ближайших соседей, придумывая все новые оправдания самим себе.

Старики в местах смешения неродственных культур (знаком с этим, например, по Абхазии) упрямо вспоминают: вот до войны жить было тяжелей, но была настоящая дружба народов. Потом ее не стало. Что же сдвинулось с тех пор? Верно, именно в войну и после нее были высочайше объявлены народы-молодцы, народы-предатели и «самый выдающийся» из всех народов. Но, быть может, не менее важно то, что стержневым в жизни общества как

раз тогда стало первое поколение, воспитывавшееся уже полностью при совке?

Потому мало убеждают доводы нынешних радикалов из разных лагерей, будто бы национальное в народах все еще важней общего, выпестованного десятилетиями террора и «собственной гордости». («Конечно, кое-какие традиции, обряды, бытовые особенности, язык все же сохранились, но это чисто внешние признаки, национальная психология и самосознание извращены», — добавляет Окуджава в том же интервью «Столице».)

Происки врагов народа и народов-врагов — детские забавы в сравнении с реальностью нашей *всемирной аутофобии*.

После публицистической черноты следовало бы, как в античной трагедии, сказать нараспев нечто примиряющее с действительностью, возвышающее душу. Увы, не сказывается.

Оголтелая гонка суверенитетов вплоть до уровня отдельно взятого подъезда, как еще недавно шутили отечественные эстрадные сатирики (теперь больше не шу-

тят), это, помимо ставших рутинными аппаратных игр, не попытка ли массового подсознания вернуть самооценку «я», избавившись от опостылевшего двойника? Потому у процесса и не видно логического конца: каждый осколок бьющегося зеркала лишь множит уменьшенные отражения до тех пор, пока последний осколок не будет стерт в пыль, не способную отразить уже никого и ничего. Но в зеркальной магии совка стороны равно реальны и тождественны по природе: удар по неотвязному антиподу оборачивается самоуничтожением.

Рассуждения о том, что этнократия не выход из «совкизма», давно стали общим местом. Скажем так: самоубийца в предпоследний миг вроде бы твердо решил сбросить петлю, но ножки табурета слишком хрупки и готовы вот-вот подломиться.

Это как кризисная развилка тяжелой болезни: неизвестно, выздоровеет больной или умрет. Хуже того, нельзя сказать, точно ли это кризис — или временная ремиссия, какие случаются при запущенном раке. Ни лекарств, ни врачей, ни времени, как известно, уже нет в запасе.

Остается уповать на метафизику...



РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЛЕВ АННИНСКИЙ

ЭХО НА ЭХО

226

Юрий Евгеньевич З*** из Приморского края прислал мне письмо в отклик на мою заметку «Про наше и не наше» («ДН», 1992/2, рубрика «Эхо»). В этой заметке я, опираясь на суждения израильской журналистки Нелли Гутиной («евреечки», как ласково называет ее Ю.Е.), скептически высказавшейся о наших попытках выйти из кризиса культуры, попробовал взбодрить себя и читателя словами, которые Юрий Евгеньевич и цитирует в начале своего письма:

«Здравствуйте!

«Пройдет митинговое безумие, минует истерика кризиса, преодолееется паралич лени и отчаяния...» — но нас-то с Вами, Лев Александрович, не будет! Вы упрекаете евреечку в старых приемах, но разве Ваш неоправданный оптимизм не оттуда же? Конечно, верить полезнее, чем не верить. Но мне на этот раз Ваша вера кажется неискренней, то есть «липовой». Хотя бы один пример обнадеживающий привели в подтверждение своего оптимизма. Где М.Ульянов? Где С.Бондарчук? Где Е.Светланов? Они, конечно, работают. Но ведь молчат! Зато другие, на кого глаза бы не глядели, говорят... Будьте здоровы! 15.08.92».

Не знаю, станет ли Вам легче, уважаемый Юрий Евгеньевич, если корифеи, которых Вы перечислили, прервут молчание. Мне — нет. Потому что дело в нашем общем внутреннем состоянии, а не в том, что кто-то не поработал или не постарался, не в том, что люди, на которых глаза не глядят, вытеснили людей, на которых глаза глядят. Если общая ситуация такова, что глаза ни на что не глядят (и у меня тоже, не только у Вас), то можно и говорить, и помалкивать, а легче все равно не станет. Простите мне евангельскую аналогию, я, естественно, не мыслю примерять к такому контексту ни себя, ни наших современников, но когда среди людей появляется проповедник, призывающий к добру и любви, а ему говорят: сотвори чудеса,

тогда поверим, — то это и есть требование обнадеживающих примеров. Стало быть, убеждает он нас не потому, что угадывает готовность нашу к добру и любви, а потому, что попутно еще и целитель, то есть убеждает дополнительными медицинскими эффектами.

Нету у меня обнадеживающих примеров. Мой оптимизм (если Вам хочется назвать мое настроение именно так — я его называю иначе) не основан ни на чем, кроме все того же внутреннего состояния и совершенно нелогичной веры в людей. Или, чуть более конкретно, — веры в мой народ, попавший в критическую ситуацию. Или — если еще более четко, — убеждения, что сколько бы бед ни свалилось на народ извне, сколько бы чудовищных обстоятельств ни совпало (ну, к примеру, правительство отпустило цены, а тут еще и картошка не уродилась; мало нам было расстройств с Прибалтикой и Украиной, так еще и на юге рвануло... зачем все так совпадает?), дело не в этом. Беда вообще не ходит одна, тут и обсуждать нечего, но наше внутреннее состояние, из-за которого все беды к нам липнут, — это обсуждать приходится, об этом думать надо, да только об этом сегодня и можно думать.

Мне, чтобы катастрофу почуять, не надо «примеров»: что такие-то корифеи молчат, а журналы гибнут, а библиотеки горят, а театры пустуют, а пошлость заливают эфир. Это все следствия, подтверждения. Корень — в нас. Тут и докапываться не обязательно, так внутри болит и опустошается.

Впрочем, можно и докопаться. Ради логики. Когда взрывается в одном месте — это случай. Ну, скажем, поехал советский генерал из Ленинградской области домой в отпуск, а там, в родном ауле, да и во всем крае — заварушка: «коренное население» свергает «партократию» (терпеть не могу этих слов, но — для простоты). Старики просят: «Сынок, помоги». Он включается... и эта цепь его уже не выпускает: он — уже не советский генерал, он — сын СВОЕГО

народа, и в результате он — глава новорожденной национальной республики. В чем причина? В том, что генерал поехал в отпуск, а мог и не поехать? Нет, причина в другом. В общей ситуации. В том, что старики попросили, что народ ждал помощи, что атмосфера была накалена. Не этот, так другой встал бы. Примеры можно приводить в изобилии: и обнадеживающие, и обескураживающие. Но если горит везде, — это уже не случай, это «статистика». Хорваты не сговариваются с квебеками, и бантустаны Африки не координируют своих действий ни с индийскими сикхами, ни с прибалтийской «охраной края». А по всему миру идет процесс дробления гигантских государств и объединений. Надо понять, чего от нас хочет история. Нация принакает к земле теснее, чем «транснациональная» или «интернациональная» общность. Так, может, история именно и хочет притиснуть нас поближе к земле? Чтоб мы поменьше летали и гуляли и побольше землей занимались?

Можно, конечно, возмущаться ростом цен на хлеб и ругать правительство, требуя и от него «обнадеживающих примеров». Но дело-то не в нем. Дело в том, что еды вообще мало. Что хлеб не посеян, или не убран, или не сохранен, или не выпечен. Дело в том, что люди этим не занимаются, не хотят заниматься, имеют возможность не заниматься. Раньше скажи: «а мне все по фигу!» — и быстро зубья на полку положишь. А теперь: «Все по фигу!» и который год живем «на грани» и не мрем. Возможность появилась! Демократия буйствует, потому что толпы людей кантуются в городах «без определенного места жительства» и без определенных занятий. Это же кайф!

Земля пустует. Деревни брошены. Можно, конечно, сказать, что все это натворили партократы застоя, составлявшие списки «неперспективных деревень», но ясно же, что списки составлялись из деревень УЖЕ брошенных, и бросали их жители не потому, что «Сталин гнал», а потому, что сами хотели. Лучше в общаге, чем на земле. Да и сами «партократы» — не с той же разве земли сбежали?

Наверное, и этот процесс всемирно-фатален. За последние полвека в Европе тоже произошло «раскрестьянивание»: в 50-е годы люди стали бросать землю; началось с латиноязычных стран, охватило весь континент; первая волна унесла людей на фабрики, вторая (в 70-е годы) в сферу обслуживания; третья (сейчас) уводит

в «неполный найм», в надомный труд, в свободные профессии и т.п. Так что нам для утешения и Европа годится, которая тоже «гуляет», но хотел бы я знать, куда деваются с земли наши люди и где потом обнаруживаются. Что-то после Шукшина свидетельств на этот счет маловато, и «обнадеживающих примеров» тоже. А раз так — хлеба дешевого не будет, хоть ты еще десять правительств смени.

Смотреть в корень — так чем люди заняты? Фигурально говоря, один завод варит танки, другой завод рядом их режет. Все при деле. Конечно, это история наша вогнала нас в оборонный комплекс неполющенности, который мы и преодолевали с диким надрывом эти полвека. И не надо говорить, что это была ошибка или глупость. Это была логика и, боюсь, неизбежность. Если бы Сахаров не сделал бомбу, может, иностранные благодетели давно уже диктовали бы нам свою волю и кормили бы нас по rationам МВФ. Впрочем, бомбу сделал бы другой. Кстати, персональный сюжет замечательный: человек, вооруживший страну физически, разрушил ее идейно... но это уже другой разговор, а так — все к одному, что было, то было, и жалеть не о чем. Это не «ошибки руководства», это страшная логика событий, и это наша с вами психология, выкованная тысячелетней ВОЕННОЙ историей.

Теперь логика поворачивается — на конверсию. Дробятся государства, дробятся и производства. Оказывается, это дело не на год-другой — на десятилетия. Поколения в землю уйдут, пока обновятся структуры. И, как Вы, Юрий Евгеньевич, резонно заметили: нас-то с Вами не будет.

Не будет. Так что же? Дети будут. В никишинском фильме «Русский исход» показан художник, замечательный русский мастер, живущий в Латвии. Русскому там тяжело теперь. Надо уезжать. Значит — надо бросать все свои работы (он монументалист).

Его спрашивают:

— Кому же все это достанется?

Ответ, потрясший меня: — Неважно, кому достанется, а важно, что сделано.

Делать надо. А будем ли мы участвовать в дележке плодов, — об этом лучше не думать. Никакой отдельной дележки и не будет, а наступит очередной акт драмы, и навалится новая работа, и обнаружится в ней смысл, сегодня неведомый. Или не обнаружится. В этом последнем случае придется продолжать жить из одного упрямства. И верить в культуру и созидать ее. Даже если

М.Ульянов, С.Бондарчук и Е.Светланов по-прежнему будут молчать. (Почему, кстати, в этом списке Ульянов? Вот уж кто не молчит, а орет, — если бы Вы послушали его в «Соборях» у Виктюка).

Разрешите закончить цитатой из американского президента, книга которого вышла в свет лет тридцать назад и поразила людей моего поколения, тогда молодых. Вернее, не книга даже, а вся жизнь этого человека поразила, и смерть его, — а кни-

га вышла посмертно, он был уже убит, застрелен, схоронен торжественно, а убийц, разумеется, не нашли, как будто застрелили его не на сверкающем проспекте, а в темных джунглях.

С того света донесли до нас слова:

— Человеку неоткуда взять мужества, кроме как из самого себя.

Будьте счастливы, Юрий Евгеньевич! Спасибо за отклик.

Л.А.

Дом как миф

Есть латинское выражение — *pro domo sua*. Его можно перевести на русский как «в защиту дома своего», и смысл его близок нам, как и римлянам. Ничего странного в этом, конечно, нет. В античные времена жили иные люди, иной жизнью, но им, как и нам, как и вообще всем людям, было свойственно стремление иметь надежный, по мере возможностей защищенный от природных и общественных пертурбаций, дом.

Да что античность! Обратимся ко временам доисторическим, когда человек становился Человеком, начинал создавать семью, входить в Племя, в Народ, в Человечество и увидим, что и тогда он строил или устраивал себе Дома. Связь Человек — Семья — Дом — закон. И такие пещеры, как Альтамира в Испании, на стенах которой художник энеолита оставил нам изумительно точные и чрезвычайно экспрессивные изображения животных; и свайные постройки древней трипольской культуры на Украине — все это дома человека. Наверное, имели свои дома люди, жившие на самом краю «великого глетчера» и оставившие нам на окраинах Владимира «сунгирьскую мадонну», вырезанную из кости. Не из костей ли мамонтов собирали они свои жилища — именно такие восстановили украинские археологи.

Мы заговорили о доме человека... Ведь жилище, хотя бы временное, строит себе едва ли не каждое живое существо. Значит, не человеку принадлежит сама идея Дома? Тут надо дать двоякий ответ. Есть дом у пчелы и птицы, и люди, наверное, многому научились у них. Однако животные одного вида строят свои дома из тысячелетия в тысячелетие одинаково, в соответствии с той программой, которую в них вложила природа. А люди, принадлежащие к тому или иному народу, хоть тоже подолгу следуют принятым канонам, тем не менее, программу строительства своих жилищ вырабатывали сами и непрерывно совершенствовали ее. Палата, хижина, усадьба, лачуга, дворец, хата... Все это имена Дома. Более того, в каждом отдельном доме, его особенностях как правило проступает и характер человека, его склонности — сам дом становится индивидуальностью.

Конечно, в связи с понятием Дом встает много общих проблем. Скажем, так ли уж неразрывна связь Человек — Семья — Дом? Нет, разумеется. Известны люди, имеющие дом, но не имеющие семьи. Есть люди и семьи без дома — беженцы. И еще: всякое ли жилище можно назвать домом? Кочевника, к примеру? Бесспорно, да. Мне приходилось жить в юртах в далеких краях — в засаянском районе Овюр у тувинцев, у киргизов на высокогорных памирских плато близ Каракуля, Черного озера. Эти родственные народы пасут овец, лошадей и сарлыков-яков. Так вот, в тамошних суровых краях я хорошо понял, что для чабанов нет дома лучше юрты. Ее не продувают злые ветры, вся утварь — ковры, мягкие подстилки-курпачи, резные и расписные шкафчики, сундучки, посуда — приспособлено, чтобы жить вокруг очага, пылающего в центре. И потом — подчистило чабанское стадо пастбище, так ему ничего не стоит в считанные часы перенести юрту на другое место. Моментально стягиваются войлоки с решетчатого, складного деревянного каркаса, увязываются тюки — и в путь! На новом месте обустроишься за те же считанные часы.

Когда-то во имя прогресса иные «цивилизаторы» предлагали заменить юрту на что-нибудь более современное — автотрейлер или, на худой конец, надувной полиэтиленовый шатер. Куда там! Цивилизаторы забывали, что надо сначала менять жизнь, труд чабана, если угодно, среду, в которой он живет, а уж потом — жилище. К существующим условиям жизни и труда люди приспосабливали юрту веками... Другое дело, что теперь чабаны как правило имеют дома современного типа в постоянных поселках — там живет лучше.



Только человек, живущий в таком доме, уже неохотно идет в степь со стадом. А мясо и шерсть нужны по-прежнему.

В очерке, которым мы открываем новую рубрику, Олег Ларин рассказывает еще об одном удивительном доме — северной русской избе. Не буду предварять рассказ, выскажу лишь два-три общих соображения. Тут надо помнить, что северная изба служила жилищем государственным, в известной степени вольным крестьянам. Во всяком случае, жили они вольнее, чем в те времена, когда их загоняли в колхозы и тем самым уничтожили многие северные села. В избе или нескольких соседних избах часто жили одной семьей несколько поколений, вместе работали — делали кому что под силу, многие свои потребности — в пище, одежде, мебели сами и удовлетворяли. Искусство, развлечения тоже были незаемными — в таком доме рождались песни, сказки, игры. Все свое! Утерят ли рай? Да во многом мы потеряли понятие дома, как своего, только этому человеку и его семье присущего места обитания. Свой дом для тысяч людей стал мифом.

Тем не менее надо сознавать: возврата к прошлому нет. Когда пытаются это делать впрямую, получается маскарад — с русскими ли народными костюмами, с казачьей ли формой, с домами ли. Я знал на Карамышевской набережной в Москве удивительное кафе. В стеклянный коробок, пристроенный к девятиэтажке (знаете, наверное, — в таких размещены магазины, ателье и т.п.), засунули деревянный сруб. Была такая мода на русское, рубленое — и избу построили прямо в стекляшке. Смотришь с улицы — что за притча! Сквозь пыльные стекла просвечивают бревенчатые венцы, резные наличники. Это походило на то, как при Сталине его избушку в Курейке, где он отбывал ссылку, обстроили пыльным кирпичным павильоном.

Строить по-старому в городах мы не умеем и не будем. Но нынешнее строительство, когда дома делают на заводах, это унификация, стандарт, убивающие в человеке творческие задатки. Маргарет Тэтчер, тогдашнего британского премьера, привезли в московский микрорайон Крылатское, где живет и ваш покорный слуга, чтобы похвастаться: хорошо строим — облицованные керамическим кирпичом семнадцатизэтажные великаны, рядом — живописные холмы, спортивный комплекс, чистые вода и воздух, — а «железная леди» ужаснулась: муравейник! Англичанину нужен свой коттедж с садиком, ничего милее он не знает.

С ним можно согласиться. И не исключено, что наше домостроительство — и городское, и сельское — находится перед или даже в самом начале нового витка развития. Были «щитовые», «фибrolитовые» дома тридцатых годов и тогдашние бараки; было послевоенное кирпичное строительство — да слишком вялое — между прочим неплохие дома настроили пленные немцы на столичном Хорошевском шоссе, зачем их посносили? Были пятиэтажки — «хрущобы», которые мы сейчас кланем, а тогда новоселы почитали за счастье переселиться из коммуналки пусть в низкопотолочную, пусть с сидячей ванной, но отдельную, свою квартиру... А что теперь? Похоже, что наступает время, когда городу надо возвращаться в село, столицам — в провинцию, бывшим военным — садиться на землю, сооружая себе коттеджи на льготных условиях... Такие программы уже есть. Снова приходит время индивидуальных домов, и думая о них, надо ясно сознавать, каким наследством в этой области мы владеем. Не строить по-старому, но знать, чего достигли. И учиться — у прошлого, у соседей, иностранцев. Бояться заимствований не надо — все у всех всегда заимствовали, и слава Богу. Кремль в Москве строили итальянцы, и кто только не строил Санкт-Петербург? По-моему, если по-русски, то это значит, и то, что «все флаги в гости будут к нам». В ярославском селе моих предков, Великом, фабрикант Локалов в конце прошлого века построил этакий замок — и русский. и готический. Его авторство приписывают молодому Шехтелю. Ничего! Смотрится, вот только уж какое десятилетие пребывает в запущенности.

Союз распался, тенденции к национальному изоляционизму налицо, так неужели и нашим народам забывать друг о друге, рвать связи? И вот мы попросили писателей рассказать о своих домах в свободных очерках, эссе, зарисовках, в рассказах об обычаях.

БРОНИСЛАВ ХОЛОПОВ

ОЛЕГ ЛАРИН

Эхо вещего дерева

Это почти как наваждение: плывешь на лодке час, другой — и вдруг сквозь лесные дебри откроются холмы и пригорки с зеленеющей отавой. И на каждом пригорке деревенька. Мелогора. Целегора, Пого-релец, Козьмогородское — это справа. На левом берегу угрюмым отшельником отгородилось от реки Кильце известное в прошлом старообрядческое поселение с глаголицей прясел, изгородей и обетных крестов, обернутых пестрой домотканью. Кресты стоят позабытые, иной раз заросшие сорной травой, скорбно доживая свой деревянный век. Некоторые уже пошатнулись, погнили, но многие еще держатся, и крепко держатся, и, видимо, не далек тот час, когда их увезут отсюда в Малые Корелы, что под Архангельском, в музей-заповедник под открытым небом. Прежде такие кресты, похожие на языческих идолов, ставили в знак чудесного избавления, рождения ребенка, обещанного дара, а также в память о каком-нибудь деревенском событии. Их ставили не обязательно на кладбищах, а чаще всего у домов, на взгорье или у дороги. В какой-то мере это отголоски раннехристианских верований или языческих обрядов, так называемой «кумирской прелести», с которой хоть и боролись отцы церкви, но ничего поделать не смогли. Обожествление природы и вера в Христа на равных правах жили в душе северного жителя, а культ Богородицы ему нередко заменяли вот такие «кумирские болваны наподобие человека», допотопные кресты, увешанные пестрядиной материей, о которых писал еще академик Иван Лепехин, ученик М.В.Ломоносова, литературный первооткрыватель Мезени.

Каждая мезенская деревенька — это праздник для глаз и души. Легко представить себе обессиленного, облепленного прожорливым комарьем путника, который долго плывет на лодке, окруженный угрюмой тайгой, покорно следуя бесчисленным речным извилам и поворотам. Но душа его упрямо стремится вперед, к родному очагу. И когда сквозь расступившиеся заросли покажется на взгорье двускатная крыша, а за ней и колодец-журавль, и пылящее за околицей стадо, и слышатся ребячьи

крики, только тогда он почувствует, сколь велика его радость и какова сила притяжения у этой неказистой с виду деревеньки-невелички. Такое впечатление, что поставили ее специально для того, чтобы приветливо встречать всех путников, знаемых и незнаемых. Она словно втянута в движение реки и составляет с ней одно неразрывное целое. Убери с берега эту стайку амбаров и черных банек, эту кроткую часовенку с покосившимся крестом или двухэтажную хоромину с затейливой резьбой по карнизу — и речной пейзаж омертвеет, а путник невольно очерствеет душой. А тут он увидел дымок над крышей, услышал скрип колодца, гортанный вопль петуха — и словно выпрямился, взбодрился. Остро волнуют звуки и запахи жилья!

Никогда не забуду, как много лет назад вместе с художником Вадимом Костровым я плыл на резиновой лодке. Судя по карте, мы находились на полпути к крупному кусту деревень, где нас поджидал рыбинспектор, а это значит — почти двенадцать часов хода по извилистой, с обманным течением реке. Мы давно стучали зубами, вспоминая цивилизацию и ее верное, испытанное детище — мотор «Вихрь».

Но вот — это должно было случиться! — в дождливых сумерках на фоне тусклого неба показались черные силуэты изб. Они подковой обтекали обрывистый берег и терялись за стеной притихших, почти обморочных берез.

— А деревенька-то нежилая, — с мстительным удовольствием произнес мой товарищ и с шумом потянул воздух. — Что-то в ней есть сатанинское...

— Пошел ты к черту! — разозлился я и еще сильнее заработал веслами. — Крыша над головой и охапка сухих дров — вот что нам нужно. А мистику оставь при себе.

Вокруг стояла вязкая, настороженная тишина, и действительно, чем-то мистическим пахло на нас с берега. Приниженная тяжестью свинцового неба, деревня враждебно молчала: ни людских голосов, ни лая собак, ни звяканья ведер у колодца. Будто попрятались все или затаились, предчувствуя недоброе. Как озябшие, на-



хохлившиеся птицы на проводах, избы выстроились в ряд и изредка скрипели немаязанными дверями. Многие из них были распахнуты настежь.

— Ну, что я тебе говорил, — не унимался Вадим, разглядывая узкие, давно не мытые оконницы. — Сейчас откроется дверь и выйдет скелет с косой...

Дверь на ржавых петлях действительно подалась вперед. В сенях витал дух исчезнувшей жизни. Валялись без всякой надобности ржавые лопаты, груды цветного тряпья, старый радиоприемник «Рекорд», битые пластинки с Утесовым и Шульженко и облупившаяся, старого письма икона Николая Угодника. Вид пустого жилища наполнял душу детским суевренным страхом.

— Ну, что остановился — заходи! — гостеприимно предложил приятель, стараясь держаться за моей спиной. — Тебя там встретит желтая старуха без глаз и осенит крестным знамением.

— А тебя греет ржавой косой! — засмеялся я, смелая от собственных слов, и ухватился за дверную скобу.

В горнице из притаившихся сумерек ударил спертый, тлетворный запах гниющего дерева, истлевших вещей, мышиного помета. Вдоль стен вытянулись пустые, выщербленные лавки, сверху свешивались гирлянды паутины и печной копоти. И вдруг в зеве русской печи кто-то заворочался, с грохотом выпал обломок кирпича и покатылся к нашим ногам. Мы в страхе попятнулись к двери... Это был филин или неясный, в потемках точно не разобрали. В проеме разбитого окна мелькнул темный ком и, паря над самой землей, унесся в сторону реки.

Мы ходили из дома в дом и всюду видели те же черты угасания, заброшенности. Отовсюду веяло тоской, кладбищенским смиренным покоем. Самое интересное, что люди покинули эти дома совсем недавно и даже не успели вывезти с собой часть мебели и домашнего скарба. Должно быть, веками жила себе эта лесная деревенька-невеличка, а теперь вот раскидало ее вихрем на все четыре стороны... Тогда, в начале 70-х годов, процесс вымирания малых деревень еще только начинался, и было непривычно и больно видеть эти покинутые жилища.

А деревенька была чудо как хороша! Особенно что поразило: природа и жилище как бы срослись воедино, одно было продолжением другого. Архитектура-природа и человек-архитектор трудились в паре, со-

обща, не покушаясь на индивидуальность друг друга. Это было приращенное, из веков идущее умение старых плотников-мастеров использовать рельеф местности, умение привязывать ее «пейзажные возможности» к общему зодческому плану. Эстетика природы отразилась на всем, чем окружил себя человек, на всем, к чему прикасались его руки, — от обеденной ложки и до ткацкого стана-кросны, от пустяшного на первый взгляд амбара до высившейся на холме деревянной часовенки. Архитектурный замысел являлся как бы рукотворным продолжением природы. И что самое невероятное: зарождался он, этот замысел, не на бумаге, а прямо на земле, без всяких поправок, уточнений и согласований.

На русском Севере до сих пор бытуют поговорки: «Плотник — первый на селе работник», «Добра голова сто рук кормит», «Кабы мужик на печи лежал, корабли бы за море не плыли», «В своем доме хозяин больше архиерея». И поскольку все зависело от его усилий и старания: полнота закромов, ухоженность полей и сенокосов, красота деревень и веселье праздников, где дела рук, мыслей и сердца были сопряжены с созерцанием окружающей природы, то и дом свой он сделал сродни этому миру. Дом — как внешняя оболочка сущности человека после одежды и кожи тела.

При выборе места для строительства неграмотный, но на редкость ушлый северный мужик углядел, кажется, все складки рельефа и особенности местного климата — удобство сообщения, розу ветров, ориентацию по солнцу, направление дождевого стока, на какой глубине залегают грунтовые воды и, конечно же, красоту расположения. А если и делались какие-то поправки, то опять-таки с учетом природного ландшафта и собственного вкуса и разума...

Пока мы ходили, опустевшая деревенька погрузилась в матовый полумрак ночи. Переменчиво и неуловимо мерцали дальние леса за рекой, влажная луговина с желтыми купальницами — розами северных широт. Марево бледных берез струило запахи клейкой листвы и перебродившей грибной прели. И было так тихо, звеняще и тревожно тихо, что не верилось, неужели еще есть на свете такая тишина?!

С околицы деревеньки утратила обаяние сказки, зато перед нами открылся план сложного и мудрого хозяйства. Бессистемная, на первый взгляд, застройка

была глубоко продуманной в практическом отношении. Кузница, например, стояла на отшибе, загороженная от жилья стеной глухого осинника, чтобы глохли в нем удары металла о металл и запахи угольной пыли. Борьбу с шумом и грязным воздухом здешние крестьяне объявили задолго до нынешнего экологического бума. Точно так же они поступили с баньками, расположив их уступами, одна над другой, на крутом берегу реки, подальше от домов, но поближе к воде.

И еще одна деталь остановила мое внимание: где бы мы ни были, по каким тропинкам ни колесили — отовсюду маячила деревянная часовенка. Уже потом, спустя много лет, я узнал, что начиная с XVI века существовало специальное «Уложение о градостроении», которое предусматривало: если твое строение загораживает «благородный вид» из окон соседа, он может поставить вопрос о перенесении твоих хором на другое место. Это еще раз говорит о важности эстетических начал в повседневной жизни человека, о том, что он никогда не разделял функциональную, практическую ипостась от художественной. Оба эти начала всегда выступали как равноценные.

...Много лет прошло с тех пор, но память о пустой деревушке (она так и называлась — Пустя) я храню по сей день. И хотя после этого мне приходилось бывать в десятках ей подобных, есть у нее, впрочем, как и у человеческой памяти, некое избирательное притяжение. Деревушка дала толчок к пониманию того, что есть северная изба, хозяйственный амбар или простая часовня. При всем разнообразии памятников деревянного зодчества я видел в них единые строительные приемы, единые начала пользы и красоты, повторяемости и неповторимости.

Вчитаемся в порядную (от древнерусского «ряд» — договор) запись 1684 года, которую оставил неизвестный нам плотник, готовясь к строительству большого деревенского дома: «...на две горницы и на сени лесу высечь соснового, доброго, ядреного, глаткого, несукватого и не дублецатого, и не закомлистого, красного сколько понадобится и на наряд, и на горницы, и на подволоки, и на окошка, и на косяки, и на двери, и на кровли тесу сколько понадобится...».

Далее мастер делает точный подсчет, словно расшифровывая для нас, будущих

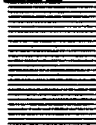
потомков, что это значит — «сколько понадобится». А надо было, как считал плотник, ни мало ни много, 150 бревен разной длины и ширины, учитывая, что дом планировался в два этажа, с двумя жилыми горницами, не считая светлиц, с восемью окошками по фасаду и с множеством хозяйственных помещений, которые предполагалось подвести под общую крышу.

И все-таки о многом эта порядная запись умалчивает, многие секреты плотницкого ремесла до сих пор остаются за пределами нашего понимания, как бы мы ни стремились поникнуть в строительную и конструктивную логику народных мастеров XVII века и представить себе облик исчезнувших жилых строений. Но вопросы, обращенные к прошлому, не напрасны. Как бы мы ни пытались забыть свое прошлое, оно всегда оставляет зацепку, ухватившись за которую, можно вытащить саму суть. Тем более, что есть еще люди на русском Севере, кто помнит славных мастеров-древосделов. А дедушка Лука Назарович Шестаков из мезенской деревни Кеслома даже видел, как закладывался его дом.

Прежде всего, плотники разобрали по бревнышку старую — прапрадедовскую избу-развалюху и на том месте, где обитали предки Шестакова, заложили новую. Под каждый угол бросили серебряную монетку и крыло рябчика: примета была такая — чтоб не сглазить. И первый удар по бревну нанес будущий хозяин, отец Луки Назаровича. В нижние венцы сруба клали лиственницу — своего рода «деревобетон», остальные бревна были из кондовой сосны, выросшей на песчаных кручах.

Плотницкую артель, говорил Шестаков, набирали числом поболее — и в основном вздымщиков, крепких, жильных ребят, чтобы не утруждать мастера-славутника тяжелой работой. Подымали избу всем миром: кто бревна отесывает, кто их размечает, кто на сруб подает — и всеми славутник заправляет. А когда матица готова — тяжелая доска, что идет на потолок, — существовал специальный обряд. К бревну привязывали большой пирог с рыбой, который после подъема наверх плотники съедали сообща, запивая домашним пивом. Винное угощение тоже выставляли...

Чего только не было в доме Луки Назаровича! Под одной крышей располагался целый комплекс — изба-зимовка, изба-летница, одна-две светелки, проходной заулочулан, подполы, клетки, кладовки, загоны



для скота, баня, мастерская — в два этажа дом. Разумеется, это далеко не полный перечень. Когда-то на приусадебном участке Шестакова находились еще постройки коллективного пользования, которыми он владел совместно с родичами. Конюшня, кузница, колодец, ветряная мельница. Все они располагались в такой последовательности и порядке, которого требовал уклад крестьянской жизни и вкус хозяина.

Конечно, дом дедушки Луки не мог сравниться с теми теремами, чьи фото украшают искусствоведческие издания, но это было достаточно прочное, внушительное сооружение, которое могло похвастаться и некоторыми декоративными изысками. Передо мной была постройка, вобравшая в себя многовековой крестьянский опыт. Ведь суровый климат при- нуждал северянина строить так, чтобы в зимнее время можно было работать, не выходя на улицу. Все было под боком, под одной крышей — и маленькая столярная мастерская, и многочисленные хлевы, подклетки, сараи, и огромная, как клубный зал, поветь с запасом сена на всю зиму.

Когда-то на повети сушились веники для бани, хранились жернова для помола муки, ткацкий стан-кросна, плуг с бороной, доморощенный сепаратор. Здесь же хозяйка делали грабли, направляли косы, сбивали масло, плели корзины и рыбацкие сети, красили и сушили шерсть. А внизу, под двойным полом, находились помещения для скота, и через специальные отверстия сено сбрасывали овцам, корове и лошади, кому сколько требовалось. Не дом, а маленькое предприятие по производству молока, мяса, масла и шерсти!

А жилые помещения! Максимум разумного, отнюдь не развращающего комфорта, максимум уюта, тепла, экономии времени. Жилые горницы — как оазис радости и веселья среди белой, на зиму замершей природы. Чтобы по-настоящему оценить такое жилье, нужно пожить в нем в сорокаградусный мороз или в сезон затяжных дождей. Сруб прочно держит тепло, лишен духоты, сырости и сквозняков. Изба дышит, пар не осаждается в ней, а впитывается через стены и уходит наружу. Пропитанные смолой бревна озонируют воздух, нейтрализуют бытовые запахи. Об избяном духе, о котором написано столько вдохновенных строк, — запахе смолы, печного дымка, свежеепеченного хлеба, аромате настоящих трав и ягодных листьев для заварки чая с удовольствием вспоминают все горожа-

не, кто хоть раз побывал и пожил в крестьянской избе.

Ну, а русская печь-лежанка — вообще целая поэма. Мало того, что она создает тепловой режим и служит регулятором чистого воздуха, — русская печь служит своего рода домашним университетом для подрастающего поколения. Печь — место для озорства, место встречи старого и малого, деда с внуком, урок нравственности на всю жизнь. С печи начинался русский фольклор, на печи заучивался русский алфавит. Здесь прочитывались первые книжки, прочитывались вслух, в собственное удовольствие, на радость отцу-матери и младшим братишкам, которые, когда пробьет их час, тоже будут читать книжки и их так же будут слушать.

Кроме всего прочего, печь это еще и лекарство, если хотите. Особенно, когда испытываете озноб или приступ радикулита. На худой конец, в остывающей печи можно и помыться. С баней, конечно, не сравнится, но тепла хватает. Я, к великому сожалению, этой радости не испытал. Глупо, конечно, и вспоминать об этом не хочется, но залезть в пышащий жаром зев я наотрез отказался, хотя Лука Назарович очень настаивал, даже сердился. Я пришел с мороза, спину сотрясал колотун, и ноги не слушались, но при одной мысли, что нужно лезть в эту дьявольскую дыру, источающую запах тлеющих углей, у меня на лбу выступила испарина. Тем и согрелся, что напугался.

Несмотря на малые размеры (примерно 20 квадратных метров) жилая изба кажется широкой и светлой. А в белую ночь можно даже читать, не зажигая света. Об умении расставлять домашние вещи так, чтобы при этом не скрадывать простоанство, а наоборот высвобождать его, писал когда-то великий американский зодчий Райт, покоренный русской избой. Но северный мужик уразумел это за несколько веков до Райта. Ведь ему нужно было много работать в доме, много двигаться, входить и выходить в другие помещения, и все вещи и инструменты должны были быть под рукой. Такой дом максимально отвечал потребностям как всей семьи в целом, так и каждого человека в отдельности. И ребенка, и старику, и взрослому — всем находилось место и дело, и никто не мешал друг другу. Один плотничал, пахал, охотился; другой пряд, ткал, вышивал, шил; третий ухаживал за скотиной, стряпал, стирал, подметал — и при этом каждый при необходимости мог подменить своего родича. Не случайно, под одной крышей жили

представители сразу трех поколений. И старый и малый в меру сил и возраста вносили свою лепту в спайку семьи, участвовали в общем деле домостроительства. Зимой все держались тесно и кучно, поближе к теплу, а летом норовили расселиться по многочисленным светелкам, клетям, чуланам, а то и сеновалам. Тот самый биоритм, о котором столько пишут психологи, озабоченные разладом внутрисемейных связей, был заложен много веков назад.

У северной избы тысяча лет истории. Этот тип жилья, начавшийся с обыкновенной курной клетки, прошел много стадий развития, совершенствовался десятками крестьянских поколений и окончательно сложился к концу прошлого века. Но прошлое — прошло, выпало плотницкое ремесло из рук крестьянина. И не нам винить его в этом — эпоху!

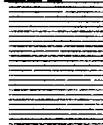
Несмотря на обилие серийных проектов для села, лучше избы пока ничего не придумано. Правда, нельзя не согласиться с тем, что многие избытные помещения стали уже анахронизмом. Но это, как говорится, у дурных хозяев, там, где распалась семейная традиция, и молодые уходят жить в город. Принадлежащие им вместительные подполы, клетки, чуланы, кладовки, столь необходимые при натуральном хозяйстве, нередко простаивают без всякой пользы, притягивая алчущие взоры пожарной инспекции. И все же не умерла еще северная изба. И, по всей видимости, не скоро еще умрет, хотя разговоры о том, каким быть сельскому дому, не утихают по сей день.

Приходил ко мне как-то Саша Соболев, родом с Соловецких островов, крестьянский сын и начинающий писатель. У парня золотые руки плотника! Его предки строили когда-то Петербург, по всей России с топорами ходили. Церковь сладить — пожалуйста, избу или мельницу — да ради Бога! И проснулась в парне прадедовская страсть к дереву, и увязались за ним пятеро друзей. За неполные три года построили они большой дом на Севере, пятнадцатиметровый мост, восстановили деревянные конструкции храма XIII века в Калининграде, отреставрировали деревянную церковь на Урале — и все это своими руками, без всякой механизации. Можно было бы долго перебирать, как разноцветный бисер, названия деревень и мест, где они поработали: Крутец, Золотица, Костаиха, Гигант, Грязь, Тимофеиха, Скородум...

— Дерево — оно всегда теплое, доброе. Об него если и ушибешься, то не больно, — говорил мне Саша в приливе лирического откровения.

Он изучал сруб как особый метод строительной культуры, как живой организм со свойственными ему формами, дыханием, своеобразием стилей. И изучал отнюдь не умозрительно, а непосредственно с топором в руках. Для этого ему пришлось искать старую форму топора, и самому же выковать его, пользуясь указаниями порядных грамот. Но главное, Соболев решил возродить саму методику работы народного мастера, образ его строительного мышления, пройти вместе со своим рукодельным предком по всем этапам домостроительства. Он и лес рубит для замены венцов, и бересту заготавливает, чтобы обеспечить гидроизоляцию кровли, и осваивает особую систему тески бревен, чтобы обезопасить их от преждевременного старения. И каждый раз Саша испытывает чувства удивления и восхищения, когда видит на Севере деревянные мавзолеи, дома-крепости с гордыми коньками на крышах. И — чувства бессилия, профессиональной зависти одновременно: нет, ему еще рано тягаться со своими предками! Ведь старый мастер обладал неисчислимым запасом строительных приемов и разнообразил их бесконечно, независимо от того, что требовал заказчик — терем или красную избу, храм о «пяти главах» или скромную часовню.

Эти постройки могут служить своего рода учебным пособием для начинающих архитекторов и плотников. От этих хором веет богатырской мощью, дивной теремковой красотой. Даже привнесенные элементы декора, в которых можно узреть влияние чужеродного барокко, восприняты, переосмыслены и применены так, что это выглядит как собственное изобретение плотника-зодчего. Все органично вписывается в окружающую среду, и все — как загадка. Ходишь вокруг, задираешь голову, чтобы охватить дом в целом, в совокупности всех его деталей, но взгляд выхватывает то кружево резьбы под крышей, то задиристый крюк-«курицу», что держит водосток, то замоховевшее кровельное покрытие из множества пластин-лемехов, а то сказочный орнамент, в который вмазана птица счастья — Сирий... Конек — венец плотницкого творения — застыл на стыке стропил и скатов. Иногда у него очень правдиво вырезана голова, шея, уши, но чаще всего изображение



довольно схематичное, стоишь, закинув голову, и недоумеваешь — то ли гусь это, то ли тетерев, то ли еще какая-то биологическая особь...

Но больше всего удивляет, когда рядом с коньком видишь ТВ-антенну (хоть и нелепо, незстетично — а что делать?), когда хозяин с сыном, встав на стремянку,

наводят по фронтому свежий узор из растительных нитей, кладут в фундамент свежие венцы взамен прогнивших, охорашивают наличники — и старая замшелая хоромина вдруг приобретает внешность молодого щеголя.

Нет, не умерла изба!

КАЛЕНДАРЬ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

- 7 января — Рождество Христово.
15 февраля — Сретенье. На сороковой день после рождения Иисуса Христа Пресвятая Богородица принесла его в Божий храм, где он был встречен святым Симеоном и пророчицей Анной, по наитию Святого Духа благословившими его.
7 апреля — Благовещение. Архангел Гавриил возвестил Пресвятой Деве Марии о непорочном зачатии и предстоящем рождении Иисуса Христа.
11 апреля — Вход в Иерусалим (Вербное воскресенье).
18 апреля — Пасха. Светлое Христово Воскресенье.
27 мая — Вознесение Господне.
6 июня — Троица (Пятидесятница). В честь и прославление триединства Божьих ипостасей — Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого. Второй день Троицы — Духов день, поминание усопших.
7 июля — Рождество Иоанна Предтечи.
12 июля — Петра и Павла, славных святых и первоверховных апостолов благодатный день.
19 августа — Спас-Преображение (Яблочный Спас). Святое преображение Христа Спасителя в молитве на Фаворской горе.
28 августа — Успение Пресвятой Богородицы.
11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи. День скорби по невинно убиенному Иоанну Крестителю.
21 сентября — Рождество Богородицы, Пресвятой Девы Марии.
27 сентября — Воздвижение.
14 октября — Покров Пресвятой Богородицы.
4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Родители Марии — Иоаким и Анна — ввели свою трехлетнюю дочь во храм Иерусалимский, где она пребывала во служении Господу до совершеннолетия.

КАТОЛИЧЕСКИЕ ПРАЗДНИКИ

- 1 января — Праздник Пресвятой Девы Марии Богородицы. Новый год.
6 января — Богоявление.
2 февраля — Сретенье.
24 февраля — Пепельная среда. Начало Великого поста.
4 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).
11 апреля — Пасха.
20 мая — Вознесение Господне.
30 мая — День сошествия Святого Духа.
6 июня — Троица.
10 июня — Праздник Тела Христова.
29 июня — День святых апостолов Петра и Павла.
6 августа — Преображение Господне.
15 августа — Успение Пресвятой Богородицы.
8 сентября — Рождество Богородицы.
12 сентября — Прославление Девы Марии.
14 сентября — Воздвижение Креста Господня.
1 ноября — День Всех Святых.
28 ноября — первое воскресенье Адвента, начало рождественского поста.
8 декабря — Непорочное Зачатие Пресвятой Девы.
25 декабря — Рождество Христово.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

за лучшее произведение, опубликованное в 1992 году

Н. М. ЛЮБИМОВ. «Неувядаемый цвет». Главы из воспоминаний. № 7.

В. Н. МЕДВЕДЕВ. «Нечаянная революция. Бухара, 1920 год», «Басмачи — обреченное воинство». Документальное повествование. № № 1, 8.

Л. А. ЮЗЕФОВИЧ. «Самодержец пустыни». Документальное повествование. № 9.

М. Р. ЮЗЕФОВСКАЯ. «Октябрина». Повесть. № 8.

Редакция сердечно поздравляет всех лауреатов, считая в их числе и **М. С. ХАРИТОНОВА**, который был удостоен премии Букера (Великобритания) за лучший русский роман «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича», опубликованный в № № 1—2 «ДН». Все авторы — желанные гости на страницах журнала.

Мы с огорчением сообщаем, что премия **Н. М. Любимову** вручается посмертно и еще раз передаем свои соболезнования родным и близким прекрасного писателя.

Вы лучше узнаете, кто они, наши лауреаты, прочитав короткие интервью, которые взяли у них сотрудники редакции.

В. МЕДВЕДЕВ. «Нас объединяет не общее экономическое пространство, а общая судьба»

— Не странно ли, что вы, журналист, а не историк, взялись за историю гражданской войны в Восточной Бухаре в то время, когда на этой земле — в нынешнем Таджикистане — полыхает новая гражданская война?

— Я всегда испытывал острую потребность не просто узнать внешнюю сторону событий, но понять их суть. А этого не сделаешь, не разобравшись в прошлом, как ни набила оскомину эта нехитрая мысль. Так и не найдя книги, объяснившей мне, что происходило в Средней Азии в начале века, я попытался написать ее сам. Да и история ли это?.. Для традиционных обществ Средней Азии события семидесятилетней давности — всего лишь вчерашний день. Это доказала нынешняя гражданская война в Таджикистане, которая во многом повторяет прежнюю и, более того, является как бы ее продолжением. К работе над книгой меня подтолкнули февральские события 90 года в Душанбе, обнажившие социальные механизмы традиционного общества, их мощь и действенность. Они позволили увидеть в новом свете так называемое басмачество, которое в свою очередь дает ключ к пониманию сегодняшней трагедии в Таджикистане.

— ...в Таджикистане, который стал уже для вас зарубежным государством. Как вы к этому относитесь?

Я не считаю Таджикистан, как и всю Среднюю Азию, зарубежьем. Мы не имеем права забывать, что некогда Россия (кто бы в то время ни правил, действуя от ее имени) втянула Среднюю Азию в свое энергетическое поле, необратимо изменив тамошнюю жизнь и лицо земли. Нас объединяет не «общее экономическое пространство», а общая судьба. Россия не может повернуться и уйти — живите, дескать, дальше как сами хотите (я не призываю к вмешательству во внутренние дела, а говорю об ответственности за тех, с кем связали судьбу).

И все же, течение событий разносит нас в стороны, как льдины. Грустно, что Азия уплывает, а мы так и не успели расслышать то, что она могла бы поведать России. От нас удаляется фантастически прекрасный мир, проникновение в который могло бы обогатить и углубить русскую культуру, расцветить ее новыми красками. И я, в меру своих сил, пытаюсь понять этот мир и рассказать о том, что понял и увидел.

Л. ЮЗЕФОВИЧ. «Проблема Восток-Запад отнюдь не умозрительна»

— Вы, с одной стороны, автор детективов, с другой — сугубо научных работ по истории России XV—XVII вв. И вдруг Унгерн, Монголия, буддизм. Почему?

— Мой интерес к этой теме нельзя назвать внезапным. Он был со мной в течение двадцати лет, с тех пор, как юным лейтенантом я служил в Забайкалье и там услышал несколько потрясших мое воображение легенд о «кровавом бароне». Одна из них легла в основу моей повести «Песчаные всадники», опубликованной в 1984 году. Позднее я решил написать роман об Унгерне, но когда начал собирать материал, когда, в самый разгар перестройки, два года просидел в архивах и библиотеках, передо мной открылся

совершенно неведомый мир. У меня возникло чувство, что я как бы не имею права беллетризовать эту реальность, раз она никем еще не только не осмыслена, но толком и не описана. В итоге появился «Самодержец пустыни» — вещь, чей жанр я сам затрудняюсь определить. Одно для меня несомненно: мой давний интерес был подогрет современной ситуацией. Сегодня фигура Унгерна воспринимается не как исторический казус, а как символ. Этот человек неотделим от вечной проблемы «Восток-Запад», которая для всех нас, живущих здесь и сейчас, в последние годы стала отнюдь не умозрительной.

— Унгерн с его идеями вполне мог бы послужить аргументом в нынешних спорах, но вы написали книгу на редкость аполитичную и в то же время очень современную. В чем тут секрет?

— Политический взгляд на прошлое всегда есть взгляд моделирующий, урупняющий. Я работаю на другом уровне приближения. Моя стихия — подробности психологии, этнографии, быта. Что же касается аналогий с современностью, то еще Плутарх заметил, что в самом богатстве своих сущностей история находит щедрый источник для созидания подобий.

— Надеюсь, что при всех трудностях в наступившем году выйдет наконец полное издание «Самодержца пустыни».

— Хочется в это верить. Ведь журнальный вариант содержит лишь около половины всего текста книги.

Н. ЛЮБИМОВ. «Я уверен, что Россия возродится»

— Николай Михайлович, вы прожили долгую жизнь, а в нашей стране любая долгая жизнь — трудная. Сейчас тоже по-своему нелегкие времена. И тем не менее вы, — с вашим опытом и историческим чутьем, — что скажете о нашем общем будущем?

— Я уверен, что Россия возродится. Недаром книга моих воспоминаний называется «Неувядаемый цвет» — это название иконы Божьей матери, и в этих словах большая надежда. Мы окажемся буквально на дне преисподней, но мы оттуда выберемся. Это нам сейчас так тяжело, а что было, когда пришли татары, до Куликова поля очень страшно было! А Смутное время? А война с Наполеоном? Я думаю, что будут в России хорошие времена, другое дело, что я вряд ли до них доживу, но мне кажется... все-таки... Россия... такая великая... Ну неужели зря в ней были Пушкин, Достоевский, Глинка, Левитан, Чайковский!!! Неужели все это должно погибнуть!!! Даже маленькая Бельгия с ее Метерлинком и Верхарном уцелела... Вы знаете, я часто вспоминаю строки Максимилиана Волошина:

Доконает голод или злоба,
Но судьбы не изберу иной:
Умирать, так умирать с тобой
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба.

(Фрагмент из беседы Е. Шубиной с Николаем Любимовым, опубликованный 5 августа 1992 года в «Независимой газете»).

МАРИАМ ЮЗЕФОВСКАЯ. Здесь нет конца, но есть начало.

— Теперь, когда за плечами у вас уже солидный писательский опыт — что вы думаете о жизни, о себе, о своей работе?

— Писать я начала в более чем зрелом возрасте. Долго не решалась вынести это занятие на люди. Мое поколение, приговоренное к пожизненному топтанию в детском манеже, было обречено на позднее, робкое осмысление действительности. Подрастая в тени героизма наших отцов, мы были всего лишь дети победителей. Кстати, так назывался мой первый рассказ, опубликованный в «ДН».

Но у истории свои причуды. На нашу долю выпало увидеть крах того, что казалось незбылемым. Восторг, растерянность, страх — все это пережито нами всего лишь за несколько прошедших лет. У каждого сложился уже свой личный список потерь, и главная из них — детская иллюзия защищенности нашей общностью. Как много вдруг оказалось чужаков и изгоев в нашем доме или в том доме, что не задумываясь привыкли считать своим. Чужаки по крови, чужаки по духу — сегодня им несть числа. Кто из нас не ощутил леденящего одиночества? Но разве в этом нынешнем мире все же нет обретений? Привыкшие, точно птицы в клетке, к хозяйской руке, отмеряющей корм, мы делаем первую попытку добыть хлеб своей насущный. И этот вольный хлеб намного слаще того, прежнего. А наша несмелая любовь к слабым просверкам своей духовности. Как резко вспыхивают они в нас и как быстро гаснут от малейшего дуновения ненависти и страха. Но они уже есть.

Не мне судить, удалось или не удалось жизнеописание моей героини из повести «Октябрина». Но хочется верить, что прочитавшие разделят со мною убеждения: обретение себя — путь не из легких. Ведь каждый карабкается в одиночку. Здесь нет ни первых, ни последних, здесь нет конца, но есть начало. Оно открыто для всех.

S U M M A R Y

Anguish of the heart — this could be the motto for the non-fiction writing on the pages of 'DN'. Monologue of a famous poet **Boris Chichibabin** opens the issue.

The poet reflects passionately and bitterly upon the ordeals the peoples of Russia are passing through again. He penetrates to the lowest depth of human soul facing eternity and God.

This piece is written in the vein of the classical tradition of Russian civic literature from Radishchev and Chaadaev till Tolstoi's famous «I can't keep silent» and Korolenko's letters to Lunacharsky.

New poems by B. Chichibabin express the same thoughts and feelings in a lyric form.

Leonid Lihodeev. «Once Upon a Time There Lived an Old Man and an Old Woman». An ancient story.

Until recently the readers knew L.Lihodeev mainly as a satirist. Now that two volumes of his epic novel «The Family Calendar» have been published (Moscow Worker Publishing House, 1991, 1992, the third one is still to be completed) and «The Russian Treasure» anthology gave one of its issues entirely for his fiction, it is revealed that satire is only one - and probably not the main - facet of his works. The protagonist of the «ancient story» is the author's grandfather. The last «serene» years before the Revolution, the World War I, the Civil War, the beginning of collectivization make the historical background for the story of his life.

G.Robakidze. «Maggie. A Georgian Girl». A novel.

Translated from German by S.Okroperidze.

This is a novel about the passion that seized the protagonists, but didn't bring them happiness. It seems that the ancient soil of Colchis itself - with its customs, the myth of the Argonauts, the legend about the Amazons - guides Maggie, a Georgian girl, a new Medea, who suffers again the tragic fate of her golden-haired forester.

This novel by the Georgian classic is written in 1926 and now translated into Russian for the first time.

Victor Suvorov - a man, who managed to break off with the Soviet Army Intelligence - entitled his book «An Icebreaker». Stalin considered Hitler an icebreaker, which was to cut a path through Europe for the Red Army. It's a new, thoroughly motivated version of the World War II unleashing.

Freedom of speech and freedom of market are the topic of the discussion between A.Arkhangel'sky (Russia), J.Niva (France) and S.Markish (Israel), entitled «Urbi et Gorbys».

D.Dragunsky. «The Shortest Day».

An analytical note on the problems and perspective of the national-state development of Russia a year after the foundation of CIS.

M.Globachev. «In the Caterwaul of the Nations».

The character of the interethnic conflicts, which unfortunately recur in the ex-Soviet Union, contradicts the main world tendency in the inter-national relations. The author analyses the specificity and the sources of this contradiction.

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографии-изготовители, указанные в выходных сведениях журнала.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Сдано в набор 25.11.92. Подписано в печать 19.01.93. Формат бумаги 70×108^{1/16}. Печать офсетная. Усл. печ. л. 21. Усл. кр.-отт. 21,7. Уч.-изд. л. 24,51. Тираж 40 000 экз. Зак. 3300. Цена свободная.

Российский информационно-издательский центр «Республика». Полиграфическая фирма «Красный пролетарий» 103473, Москва, Краснопролетарская ул., 16.

Цена свободная

Индекс 70250

ISSN 0012-6756. Дружба народов, 1993, № 1, 1-240